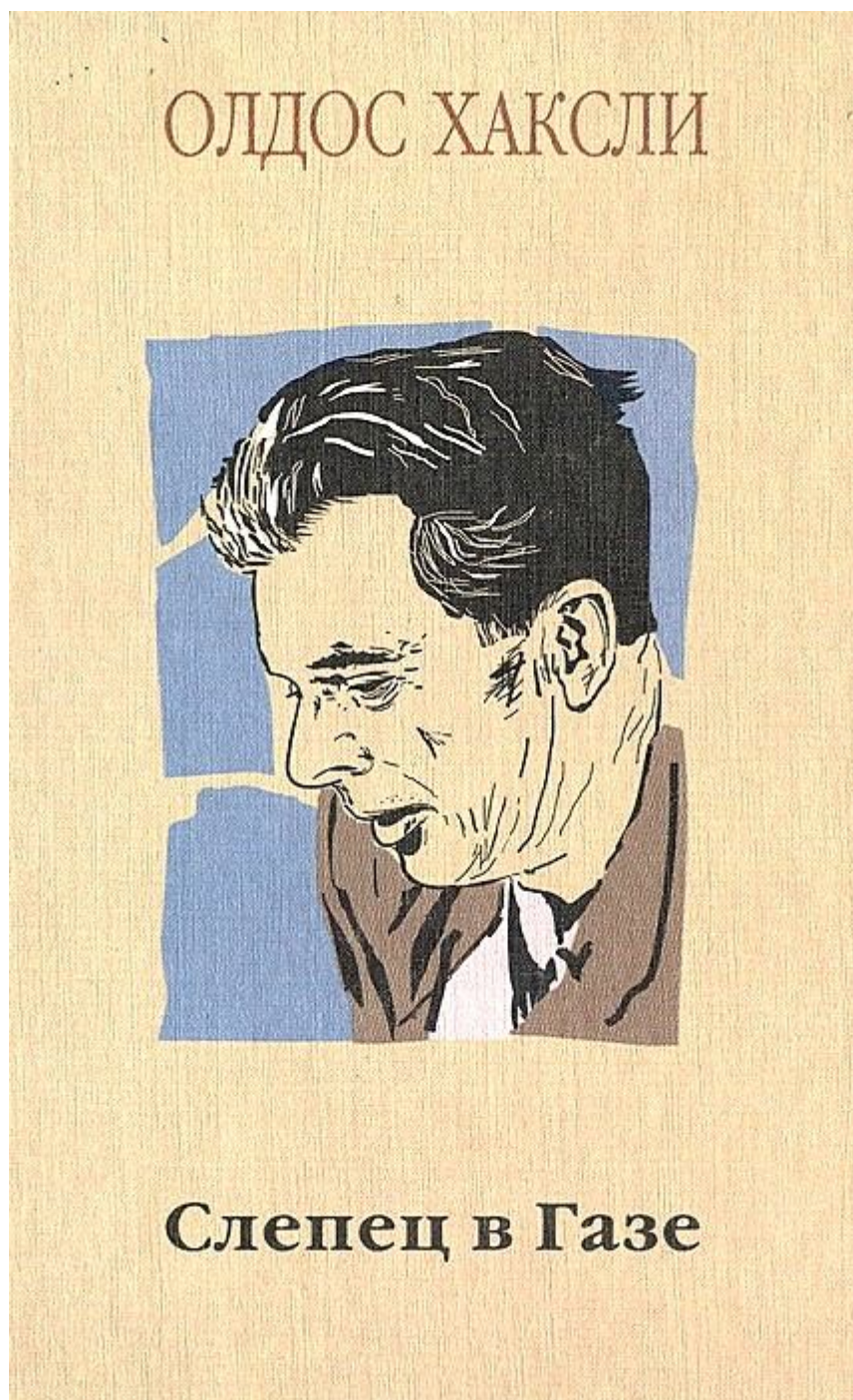


**Олдос Хаксли  
Слепец в Газе**



«Олдос Хаксли. Слепец в Газе»: Гудьял-Пресс; Москва; 1999  
ISBN 5-8026-0033-0

**Аннотация**

*Роман, который многие критики называли и называют «главной книгой Олдоса Хаксли».*

*Холодно, блистательно и безжалостно изложенная история интеллектуала в Англии тридцатых годов прошлого века — трагедия непонимания, нелюбви, неосознанности*

*душевных порывов и духовных прозрений.*

*Человек, не похожий на других, по мнению Хаксли, одинок и унижен, словно поверженный и ослепленный библейский герой Самсон, покорно вращающий мельничные жернова в филистимлянской Газе.*

*Однако Самсону была дарована последняя победа, ценой которой стала его собственная жизнь.*

*Рискнет ли новый «слепец в Газе» повторить его самоубийственный подвиг? И чем обернется его бунт?*

## **Олдос Хаксли Слепец в Газе**

*Слепец в Газе, на мельнице среди рабов.  
Дж. Мильтон. «Самсон-борец»*

## **Алексей Зверев Правда о поколении**

Олдос Хаксли замечательный английский прозаик, один из корифеев прозы кончающегося века. Когда-то его начинали активно у нас издавать, и по сей день романы, принесшие Хаксли мировую славу — «Шутовской хоровод» (1923), «Контрапункт» (1928), — публикуются в чуть подправленных переводах И. Романовича, ставшего жертвой репрессий в 30-е годы. К тому моменту, когда сделалось неупоминаемым имя переводчика, под запретом в СССР уже находился и сам Хаксли.

«Литературоведам» от политики резко не понравилась его знаменитая антиутопия «О дивный новый мир» (1932). Хаксли объявили клеветником и с порога отмели робкие попытки оправдывать его тем, что в той книге он описывал Америку, а вовсе не страну Советов. Справедливость требует признать, что эти попытки в самом деле выглядели неубедительными. Проекты строительства коммунизма вызывали у Хаксли такой же желчный скепсис, как славословия «эре Форда», что якобы сплошная механизация разрешит все проблемы, над которыми бьется человечество.

В романе, который читатель держит в руках, есть персонаж очень левых взглядов: он считает себя марксистом и уверенно возлагает надежды на социальный прогресс. Однако и ему приходится констатировать, что только экономические сложности пока что не превратили Россию в страну самодовольного лицемерия и торжествующей пошлости, — со временем, впрочем, это обязательно случится. Между персонажем, которого зовут Марк Стейтс, и автором, конечно, существует солидная дистанция, но тут они едины. Просто Хаксли судил о мире XX столетия — об Америке ли, об Англии или о России — еще более трезво и жестко.

Поэтому можно понять логику советских идеологических цензоров, решивших отлучить нашу читающую публику от этого ироничного и слишком наблюдательного британца. Запрет на книги Хаксли продержался лет сорок. А когда его снова начали понемногу печатать, то предпочитали выбирать для перевода вещи сравнительно безопасные. Выпустили по-русски самый ранний его роман «Желтый Кром» (1921), затем том рассказов, которые, кстати, давались ему хуже, чем крупные произведения. Появление русского перевода его антиутопии стало лет двенадцать тому назад одним из литературных событий, показавших, что перестройка — это не только разговоры. И все же еще не так мало предстоит сделать, чтобы мы узнали Хаксли по-настоящему.

Публикация романа «Слепец в Газе» (1936), который стал одним из главных творческих свершений писателя (а по его оценкам, похоже, и самым главным), приобретает особое значение, поскольку знакомство с этой книгой резко расширит горизонт восприятия

феномена Хаксли. Очень многое будет теперь увидено по-новому даже в давно известных его книгах. И образ самого Хаксли приобретет для читателя неожиданные, интригующие оттенки после того, как перед ним пройдет несколько ключевых эпизодов из жизни героя этого романа — Энтони Бивиса. Ведь это персонаж откровенно автобиографический, что никогда не было тайной для посвященных (хотя бы в общих чертах) о происхождении, жизненном пути и духовных метаниях самого писателя.

Другое дело, что Хаксли, удивительно сочетавший в себе дерзость экспериментатора и консерватизм типично английского поборника традиций, всегда считал роман — как все великие англичане до него — прежде всего способом постижения нравов, традиций, предрассудков и страхов целого общества (а не формой исповеди какого-то представителя этой среды, пусть даже очень яркого как личность). Он вложил в свою книгу размышления, подытоживающие не только его собственный жизненный опыт. Прочитав вышедший восемью годами ранее «Контрапункт», Д. Г. Лоренс, прославленный литературный современник Хаксли, писал ему: «Вы высказали последнюю правду о нашем поколении». Когда вышел «Слепец в Газе», Лоренса уже не было в живых, не то он наверняка повторил бы свое мнение о более ранней книге — и даже с большим основанием, чем прежде. Ведь «Слепец в Газе» — это воистину правда о поколении, беспощадная правда, начиная с заглавия и с эпиграфа из Мильтона, побуждающего уподобить это поколение стаду незрячих, которые возлюбили рабский труд.

Отношения самого Хаксли со своим поколением складывались непросто: было чувство общности, была и обоюдная враждебность. Во всяком случае, Хаксли никак не назовешь певцом тех, кто, подобно его сверстникам, прошли через Первую мировую войну, через разочарование на грани цинизма, ставшее характерной приметой 20-х годов. Певцами были другие: Хемингуэй, Фицджеральд, а в Англии — Олдингтон, напечатавший в 1929 г. «Смерть героя», один из художественных манифестов того времени.

Хаксли в своих ранних книгах передал настроения времени ничуть не менее достоверно и выразительно, чем Олдингтон, но позиция у него была другая: критическая, ироничная, даже насмешливая. Хотя всегда с элементом сопереживания — Хаксли сознавал, что сам принадлежит этому времени, сформировавшему его представления о мире. И все-таки система ценностей у него была другая: кому-то казавшаяся искусственной, кого-то не устраивавшая своей старомодностью, но своя.

Тут многое объясняется происхождением, воспитанием, семейными традициями, словом, биографическими обстоятельствами. О них, приступая к чтению «Слепца в Газе», нелишне знать. Это поможет лучше разобраться в хитросплетениях сюжета и идейных коллизий.

Олдос Хаксли (1894–1963) принадлежал к знаменитой семье. Его дед был прославленным биологом, одним из сподвижников Дарвина. Отец долгие годы возглавлял «Корнхилл мэгэзин», журнал, ставший любимым чтением английских интеллигентов. А старший брат Джулиан, одно время колебавшийся между поэзией и естествознанием, в итоге выбрал научную карьеру и приобрел такой высокий международный авторитет, что сразу после учреждения в 1946 г. ЮНЕСКО его кандидатура в качестве первого директора была признана оптимальной.

Мальчику, выросшему в такой среде, разумеется, могла предназначаться только стезя интеллектуала, и Олдос отправился в Оксфордский университет. Он не сразу определил, что станет его профессией. Биология рассматривалась как один из вариантов, но в конце концов была отвергнута, хотя практически любая книга Хаксли так или иначе затрагивает проблематику, соприкасающуюся с этой областью знаний и с философскими категориями, о которых она заставляет размышлять.

Отказаться от мысли о дипломе естествоиспытателя и врача Хаксли заставило скверное зрение — он не мог работать с микроскопом. У него вообще было неважно со здоровьем, и когда началась война, он, охваченный, как почти все в те первые месяцы, патриотическим исступлением, вынужденно смирился с ролью сочувствующего аутсайдера. Вскоре он

ощутил, что эта роль как раз по нему. Патриотизм выветрился, на смену пришли боль и скепсис. Энтони Бивис вспоминает, как ему, призванному и готовившемуся к отправке во Францию, на фронт, чуть не оторвало ногу в армейском лагере, где обучали метанию гранат: какой-то новобранец оказался уж очень неловким. Тут важны не расхождения в деталях, а сходство позиции постороннего, которую, пусть не по своей воле, пришлось в годы войны занять и автору, и герою. «Слепец в Газе» — книга, в которой Хаксли говорит о самом сокровенном и существенно важном, что ему довелось пережить. Первая мировая война, пусть он в ней и не принимал непосредственного участия, была одним из этих ключевых эпизодов.

Хаксли воспринял и осознал ее как вселенскую катастрофу. В этом он близок всему своему поколению, которое недаром стали называть «потерянным»: многие, кто к нему принадлежал, после шока войны оказались действительно потеряны для будущего, так и не сумев выйти из состояния эмоционального и духовного паралича. Одно время могло показаться, что такая же судьба уготована Хаксли. Он, уже пробовавший свои силы на поэтическом поприще, опубликовал в 1916 году «Карусель», большое стихотворение в прозе, которое заполнено предчувствиями вплотную приблизившегося конца света. Своими метафорами оно вызывает прямые ассоциации с Апокалипсисом. В этом стихотворении мир показан несущимся по безумному кругу, точно бы он сжался до размеров луна-парка, который сильно напоминает какой-нибудь кабинет доктора Калигари из сюрреалистского фильма ужасов (как раз в те годы входил в моду жанр «страшной картины», с которым во многом связано рождение художественного языка кинематографа). И у пульта, которым регулируется движение летящего в пропасть агрегата, сидит обезумевший машинист.

Впоследствии Хаксли не любил вспоминать о своих стихах (начинающим литератором, еще до «Желтого Крома», он выпустил четыре сборника, но противился их перепечаткам). Ему казалось, что стихи у него получались сверх меры экзальтированными, с привкусом ходульной патетики, с обилием прямолинейных, почти плакатных образов. Причины его недовольства можно понять — он в самом деле не обладал дарованием настоящего поэта. Однако мысли, пока еще не отстоявшиеся и не сформулированные в стихах с необходимой отчетливостью, были для Хаксли не мимолетной прихотью, а скорее вызревающим убеждением. Варьируясь и углубляясь, они будут повторяться и в тех книгах, которые принесли ему славу.

Откроем «Слепца в Газе» на одиннадцатой главе, где Энтони пытается обобщить свое понимание современного мира и того места, которое в нем принадлежит личности. Там сразу вводятся шекспировские параллели, без которых прозу Хаксли просто невозможно представить, — Шекспира он воспринимал как неисчерпаемый запас мудрости на все времена. На этот раз герою всего больше импонирует «Гамлет». Принц Датский, в сознании Энтони, — персонаж исключительный в том отношении, что он единственный, кто не уподобляет флейту свистулке с несколькими клавишами, способными производить примитивные мелодии. У флейты, как сказано в переводе Б. Пастернака, «чудный тон... и вы не можете заставить ее говорить. Что ж вы думаете, я хуже флейты?... Вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя».

Вот эта уверенность Гамлета как раз и не кажется Энтони обоснованной. О своем времени он знает, что это век полониев, тех, чье сознание сродни свистулке, приверженцев всего элементарного, плоского и аксиоматичного. И в такой век нет места Гамлетам, которым известно, что реально представляют собой в своем большинстве люди, но ведомо и другое — чем человек мог бы стать, отвергнув рабские привычки и преодолев собственный конформизм.

Гамлеты не востребованы, им в лучшем случае уготована судьба безумцев, и напрасно они (как сам Энтони в свои далекие романтические времена) тешат себя иллюзией, что ими никто не сможет манипулировать. Мир — все тот же несущийся к гибели луна-парк, и по-прежнему у пульта сумасшедший машинист, и если есть какая-то защита, то она только в том, чтобы уподобиться Полонию: ведь он олицетворяет тот тип массовидной, стертой

личности, которая обладает приспособляемостью к любым социальным условиям и к любым временам. Что поделаешь, «сильная личность» — это теперь достояние фашистских и тоталитарных режимов, которые специально готовят подобных героев посредством отлаженной системы воспитания. Никто не свободен от «коллективного неразумия» того или иного правящего класса, той или иной господствующей формы социума. Гамлетам остается одно — защищаться от этого гнета иронией. Мрачной иронией, порою отчетливо напоминающей висельный юмор.

Схожие мысли не оставляют Энтони ни на минуту. Социолог по образованию, он обдумывает, а затем начинает осуществлять грандиозный проект — некую энциклопедию верований, понятий и нравов своих современников, в которой будет действительно полная, исчерпывающая правда о его поколении. И хотя Энтони — человек науки, образец для реализации своего замысла он берет из литературы: «Бувар и Пекюше» Флобера. В этом неоконченном произведении два пошловатых обывателя, начитавшиеся книжек с «прогрессивными» идеями, самоуверенно судят обо всем на свете и демонстрируют поразительную скудость ума, как, впрочем, и чувства. По замыслу Флобера, его роман, который должен был содержать в себе иронический «обзор всех современных идей», завершался глоссарием, красноречиво озаглавленным «Лексикон прописных истин». Энтони Бивис составляет, в сущности, точно такой же лексикон, и его труд превращается из социологического описания в нескрываемое издевательство над всей системой взглядов и представлений, отличающих мир, в котором он живет. Энциклопедия тщеты, бессмыслицы, убожества, выморочности всех понятий, упований, устремлений (не исключая и самых передовых, к которым устремлены такие персонажи, как Стейтс с его марксизмом и бежавший из нацистской Германии догматик-коммунист Гизебрехт) — такая идея могла прийти в голову, пожалуй, только Хаксли с его нетерпимостью к любым возвышенным иллюзиям и любому либеральному пустословию, с его рано проявившейся скептичностью и скрытой за нею горечью безверия.

Энтони тщательно скрывает эту горечь, иронизируя по любому поводу, и постоянно занят тем, чтобы отыскать какое-то оправдание своей жизни, которая его самого страшит бесцельностью и пустотой. Отношения с Элен, важные для развития сюжета, он пробует строить по романтической модели незаконной, но целиком его захватившей любви, но это тоже самообман, не больше. Хаксли вернет героя на землю, отважившись на рискованную — как возмущались ханжи, как уверенно объявляли, что у него грязное воображение! — эротическую сцену, которая завершается в духе трагифарса, заставляя Энтони лишней раз убедиться, что даже в интимной жизни он лишь марионетка, зависящая от гнусного шутовства судьбы. И чувство бессмыслицы всего с ним происходящего только усугубляется.

Набрасывая идеи своего будущего великого труда, он пишет о том, что вся современная история подчинялась одному главному импульсу — обретению свободы от власти диких предрассудков и архаичных установлений. Но реальным итогом оказалась как раз многократно преумножившаяся зависимость каждого от социальных институтов, которые не по его воле созданы и не им контролируются. Все, что почитают свершениями прогресса, на деле становится лишь новым рабством, усовершенствованные социальные порядки на поверку еще более бесчеловечны, чем прежние. И этот парадокс неразрешим.

Хаксли в те годы думал примерно так же, но это не означает, что он во всем солидарен со своим героем. Дистанция между ними сохраняется почти до самого конца повествования, и она особенно ощутима из-за того, что рядом с Энтони почти во всех важнейших эпизодах находится один из центральных персонажей — Брайан Фокс, типичный маргинал, вечно в себе неуверенный искатель морального совершенства, которое невозможно в реальной жизни. Эта фигура и сам путь, приведший Брайана к трагической развязке, получали очень разные толкования в критике (вплоть до обвинений Хаксли в спекуляции на неподдельной человеческой драме). Как это вообще свойственно английскому прозаику, всегда страшившемуся слишком категоричных суждений и подчеркнуто резких линий, тут и правда не все прояснено до конца, и Брайан, провоцирующий сострадание в одних эпизодах,

выглядит жалко, а порою и комично в других. Но этот персонаж, как ни захватывает его история, все-таки важен тем, что его присутствие постоянно составляет контрастный фон, на котором отчетливее видятся слабости, метания, заблуждения и надежды Энтони Бивиса.

Есть радикальное различие между этими двумя молодыми интеллектуалами, принужденными обретаться в таком духовном климате, когда заведомо неосуществимы лучшие побуждения, а состояние духовного тупика становится невыносимым. Для Брайана это и вправду ситуация, с которой он не может сжиться, просто плывя по течению, и оттого ожидающая его развязка неотвратима. Энтони выстраивает свою жизнь так, чтобы, насколько возможно, обратить пустоту в привычку, скрасить ее игрой, защититься от ощущения катастрофы насмешкой — над всем и над всеми, не исключая себя.

Их спор с Брайаном, происходящий, когда оба они оксфордские выпускники и жизнь, собственно, вся впереди (глава X), — один из кульминационных эпизодов романа. Спотыкаясь на каждом слове и словно бы сам смущенный своей велеречивостью, Брайан рассуждает о прекрасном обществе будущего, в котором само понятие греховности сделается анахронизмом. Он, конечно, не догадывается, что станет жертвой собственного идеализма: прекрасного, но безжизненного. А Энтони не по годам трезв, и в ответ на патетику университетского приятеля разражается тирадами, которые отдают то пошлым гедонизмом, то махровым декадентством (отечественному читателю они, возможно, напомнят стихи Брюсова, который, желая, «чтоб всюду плавала свободная ладья», готов был восславить и Господа, и дьявола). Конечно, Энтони несколько бравирует, поддразнивая своего простодушного собеседника, однако никому еще подобная бравада не сходила с рук. Анемия души и чувство бесцельности своего существования, которое будет его преследовать год за годом, — все это еще и расплата за слишком раннюю искушенность, отдающую безразличием даже к настоящей беде.

Перерождение, которое совершилось с Энтони в последних главах романа, почти все критики расценили как натяжку. И действительно, этот поворот темы недостаточно подготовлен внутренней логикой развития действия. Фигура врача Миллера, так сильно способствовавшего свершившемуся перелому, выглядит безжизненной, а Энтони, проникшийся мистическим чувством любви ко всему людскому сообществу, слишком непохож на самого себя.

Есть в романе эпизод, когда, после тяжелого для него объяснения с невестой Брайана, Энтони — до перелома еще добрых два десятка лет — отправляется в свое излюбленное место, в Лондонскую библиотеку, и, оглядывая стеллажи с бесконечными рядами книг, саркастически думает о том, что люди, их написавшие, были убеждены, будто обладают абсолютной истиной, которой жаждет человечество. Но на самом деле даже мелочи, считавшиеся достоверными в январе, начинают восприниматься как ложные к августу. Хаксли не раз высказывался в том же духе и непосредственно от своего имени, каждый раз навлекая на себя обвинения в преступном релятивизме духовных ценностей и нравственных принципов, которые он исповедует.

Обвинения чаще всего оказывались вздором и не свидетельствовали ни о чем, кроме явного непонимания специфики миро-чувствования, отличающего Хаксли как крупную и по-своему очень целостную личность. Но даже когда для таких нападок появлялись какие-то реальные основания, искусство Хаксли от этого бескомпромиссного и всеобъемлющего скепсиса страдало все-таки намного меньше, чем от проповеди. Вещать он просто не умел. Но — обычная ситуация с выдающимися сатириками — всегда стремился именно объяснить миру, в чем его спасение, сделав это словно бы раз и навсегда.

Можно вспомнить о Гоголе, о Марке Твене, а из современников Хаксли — о Зощенко: все они прошли тот же путь от пленительного и разящего смеха к морализаторству и поиску рецептов всеобщего оздоровления. Сегодня едва ли кто-нибудь вспомнил бы «Выбранные места из переписки с друзьями», не будь написаны «Мертвые души», или стал бы читать вторую, философическую часть «Голубой книги» Зощенко без первой, юмористической. С Хаксли происходит примерно то же самое: страницы, для него самого, видимо, обладавшие

чрезвычайно важным смыслом и суммирующие главную идею книги, выглядят самыми бледными в мозаике эпизодов, из которых складывается повествование (оно намеренно лишено последовательного движения фабульных линий, поскольку память так устроена, что сохраняет только фрагменты, вспышки, блики).

Но зато, пожалуй, нигде больше не встретить у Хаксли ни такого богатства сатирических образов, ни такой россыпи убийственно метких наблюдений, ни такой органики слияния драматизма и бурлеска. Наверное, он был все-таки прав, не раз повторяя, что «Слепец в Газе» — книга, в которую вложено все, что отличало его талант. Уникальный талант, как становится все яснее и яснее с движением времени.

## Глава 1

*30 августа 1933 г.*

Снимки стали такими же тусклыми, как и воспоминания. Самое начало нового века. В саду стоит молодая женщина, похожая на призрак, который вот-вот исчезнет с первым криком петуха. Моя мать, подумал Энтони Бивис. Год или два, а может быть, месяц или два до того, как она умерла. Но какова прическа, думал он, вглядываясь в бурый призрачный туман фотографического отпечатка, она похожа на фигурно подстриженные кусты. Эти кривые, словно лебединая шея, бедра! Эти поникшие, опущенные вниз продолговатые груди, глядя на которые было совершенно невозможно представить их на обнаженном теле! А эти волосы! Прическа напоминала узорчатый куст, придававший черепу нелепую, прямо-таки уродливую форму! Каким до странности отвратительным и отталкивающим казалось все это теперь, в тридцать третьем году. И все же, все же, стоило ему закрыть глаза (он просто не мог этого не сделать), как перед его внутренним взором возникал образ матери: вот она с видом томной красавицы сидит в своем любимом шезлонге; вот, про-являя необыкновенную живость, играет в теннис или скользит на коньках по льду давней-давней зимой.

То же самое можно было сказать и о фотографиях Мери Эмберли, сделанных десять лет спустя. Та же длинная юбка, узкий клеш которой скрывал нижние конечности — казалось, что безногая женщина скользит по траве на роликах. Правда, надо признать, что груди были немного приподняты, а мощный зад сильно обтянут, однако общая форма тела была до странности нелепой. Краб, оплетенный китовым усом. А этот писк моды одиннадцатого года — огромная шляпа с перьями — ну ни дать ни взять сцена французских похорон первого разряда! Неужели мог найтись мужчина в здравом рассудке, способный увлечься этим антиподом Афродиты? И все же снимки врут — Энтони хорошо помнил Мери — она была живым воплощением страстно желанной женственности. Даже теперь при одном взгляде на этого украшенного перьями краба на колесиках у Энтони сильно забило сердце и перехватило дыхание.

Прошло двадцать, затем тридцать лет после того события, и снимки вынесли на поверхность лишь далекое и неведомое. Но неведомое (печальная закономерность!) всегда граничит с нелепостью. Напротив, все, что ему удалось вспомнить, было чувством, испытанным в то время, когда неизвестное казалось известным, когда бред, воспринимаемый как должное, не кажется такой нелепицей. Трагические воспоминания всегда похожи на Гамлета в современном наряде.

Как прекрасна была его мать — прекрасна, невзирая на нелепые завитки волос, выступающий зад и отвислую грудь. А Мери! Да она же способна свести с ума в своем черепашьем панцире и траурных перьях! Да вот и он собственной персоной: в светло-бежевом коверкотовом пальто и ярко-красном шотландском берете; или в зеленой бархатной куртке с манжетами; или в школьной форме — бриджах с кожаными крагами; или в котелке и накрахмаленной манишке (это воскресный наряд), в будни на голове маленького Энтони красовалась черная школьная фуражка с красным околышем — даже он сам, вспоминая себя в те годы, видел этого мальчика только в современной одежде, но никак не в уродливых

одеяниях, изображенных на фотографиях. И все же внутреннее чувство подсказывало, что и в тех нарядах он тогда выглядел не хуже, чем мальчики тридцатых годов в своих вязаных свитерах и шортах. Это доказательство, отчужденно подумал Энтони, разглядывая итонскую<sup>1</sup> фотографию, на которой он был изображен со спины в цилиндре и фраке, доказательство того, что прогресс можно лишь выразить словами, но нельзя прочувствовать. Он достал записную книжку, открыл ее и записал: «Прогресс, вероятно, ощущается историками, но его никогда не чувствуют те, кто его в действительности переживает. Для молодых прогресс — естественная среда обитания, а старики через несколько месяцев или лет начинают воспринимать новшества как нечто само собой разумеющееся — они тоже перестают ощущать новшества в качестве таковых. Никто не испытывает по их поводу признательности, только раздражение, если по тем или иным причинам прогресс дает сбой. Люди не благодарят Бога за автомобиль; они лишь ругаются, когда отказывает карбюратор».

Он закрыл записную книжку и вновь принялся созерцать старомодный цилиндр.

Послышался звук шагов, и Энтони поднял глаза. Элен Ледвидж решительной подпрыгивающей походкой шла по террасе к дому. Ярко-красный пляжный костюм отбрасывал огненный отсвет на прикрытое широкими полями шляпы лицо женщины, придавая ему нечто inferнальное, словно Элен находилась в аду. Немного поразмыслив, Энтони решил, что это действительно так Сознание — вот истинное место преисподней, и, следовательно, Элен постоянно носит с собой свой ад — ад нелепого замужества и, возможно, не его одного. Но Энтони всегда воздерживался от того, чтобы слишком пристально вникать в природу этого ада, притворяясь, что ничего не замечает даже тогда, когда Элен сама предлагала себя на роль Вергилия своего чистилища. Такое дознание приведет лишь к всплеску эмоций и осознанию ответственности, а у него нет ни времени ни сил на эмоции и ответственность. Работа прежде всего. Подавляя любопытство, он упрямо продолжал играть роль, которую давно для себя выбрал — роль Диогена<sup>2</sup>, отстраненного философа, фанатика от науки, который не видит вещей, очевидных для каждого нормального человека. Он вел себя так, словно в лице Элен не было ничего, кроме внешней красоты и отличной кожи. Однако, конечно, нельзя отрицать, что плоть не бывает совершенно непроницаемой; душа всегда прорывается сквозь стены своего обиталища. Эти ясные серые глаза, этот рот со слегка вздернутой верхней губой бывали жесткими и временами почти безобразными, когда выражали печаль и обиду.

Отблеск дьявольского пламени погас, как только Элен вошла с яркого солнечного света в тень дома, но внезапно ставшее бледным лицо все равно несло на себе явный отпечаток горькой меланхолии. Энтони взглянул на нее, но не поднялся с места и даже не счел нужным поздороваться. Между ними существовал уговор — никаких внешних проявлений чувств, никакой сентиментальности. Никакой, даже той, которая нужна для того, чтобы просто сказать: «С добрым утром». Когда Элен вошла в кабинет через открытую стеклянную дверь, Энтони вновь погрузился в рассматривание фотографий.

— Вот и я, — произнесла она без улыбки. Она сняла шляпу и красивым нетерпеливым движением головы отбросила назад рыжеватые локоны. — Отвратительная жара! — Она швырнула шляпу на диван и подошла к письменному столу, за которым сидел Энтони.

— Не работается? — спросила она с удивлением. Энтони редко можно было увидеть не зарывшимся в книги и бумаги.

Он покачал головой.

— Давай сегодня обойдемся без социологии.

---

<sup>1</sup> Итонский колледж (*Итон*) — одна из самых дорогих и престижных частных школ в Англии.

<sup>2</sup> *Диоген Синопский* (ок. 400 — ок. 325 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-киник, практиковал крайний аскетизм, доходящий до юродства. По преданию, жил в бочке.



— Что ты так внимательно разглядываешь? — Подойдя сзади к его креслу, она склонилась над разбросанными по столу фотографиями.

— Свой собственный труп. — Он протянул ей фотографию призрака давно не существующего итонца.

Несколько мгновений Элен молча рассматривала снимок:

— Ты был в то время очень мил, — заметила она.

— *Merci, mon vieux*. — С преувеличенной фамильярностью он похлопал ее по заду. —

В Итоне у меня было прозвище Вениамин, сын Рахили<sup>3</sup>. — Кончиками пальцев Энтони чувствовал округлость упругой плоти, хотя сухой, скользкий и невероятно гладкий шелк платья придавал этому ощущению неприятный оттенок, — Вениамин был вечно голоден. Я выглядел как сущее дитя.

— Ты был очень мил, — произнесла она, не обратив внимания на то, что он перебил ее. — На самом деле, мил и очень трогателен.

— Я таким и остался, — улыбнулся Энтони.

Она молча посмотрела на него. Обрамленный темными густыми волосами лоб был гладок и безмятежен, как у задумавшегося ребенка. Детским, и это было немного комично, был и короткий вздернутый нос. В глазах, прикрытых сощуренными веками, плясали искорки смеха, уголки рта приподняты в едва заметной улыбке — в легкой иронической усмешке, противоречившей тем чувствам, для выражения которых были созданы губы Элен. У нее были полные, чувственные, изящно очерченные губы; соблазнительные и в то же время мрачные, печальные и почти трепетно чувствительные; эти губы казались совершенно беспомощными и покинутыми на произвол судьбы маленьким, безвольным подбородком.

— Худшее заключается в том, — произнесла наконец Элен, — что ты прав. Ты действительно мил, ты действительно трогателен. Самое ужасное, что ты не должен вызывать таких чувств. Это сплошной обман, когда ты пускаешь людям пыль в глаза и заставляешь их любить себя совершенно ни за что.

— Ну, знаешь ли!.. — воспротивился он.

— Ты даешь им повод давать тебе что-то в обмен на дутый пузырь.

— По крайней мере, я не притворяюсь. Нет толку в том, чтобы изображать великую страсть. — Он распевно протянул «е» и скартавил на «эр». — Нет, даже то, что называется *Wahlverwandschaft*, — добавил он, перейдя на немецкий, из-за чего вся романтика родственных душ и вакхических страстей зазвучала смешно. — Можно просто чуть-чуть повеселиться.

— Чуть-чуть повеселиться, — отозвалась Элен, задумавшись о том времени, когда началось их знакомство и когда она, еще совсем юная, стояла на пороге дома, что называется Любовью, никак не решаясь войти. Но как уверенно, без лишних слов и с подчеркнутой галантностью, как безнадежно и окончательно захлопнул он перед ней дверь! Он не пожелал быть любимым. В течение секунды она была на грани духовного опустошения; затем же, с горьким и саркастичным отворачиванием, без которого ей уже невозможно было смотреть на его лицо, она согласилась на все условия. Они были приемлемы, поскольку ничего другого в будущем не предвиделось, да и хотя бы по причине того, что он был знаменитостью и она в конце концов сильно привязалась к нему; может быть, еще и потому, что он по крайней мере знал, как доставлять ей физическое удовольствие. — Чуть-чуть повеселиться, — повторила она и презрительно усмехнулась.

Энтони смерил ее удивленным взглядом, чувствуя неудобство оттого, что она едва не нарушила молчаливое согласие между ними и коснулась запретной темы. Однако его опасения оказались напрасными.

— Приму к сведению, — вымолвила она после небольшой паузы. — Ты, как всегда,

---

<sup>3</sup> *Вениамин, сын Рахили* — один из двенадцати сыновей Иакова, родоначальник одного из «колен Израилевых».

честен, но это не меняет того, что тебе достается все в обмен на мыльный пузырь. Считай, что это непреднамеренный обман. Твое лицо твое главное достояние. Внешность есть внешность. — Она снова согнулась, рассматривая фотографии. — Кто это?

Он секунду помедлил с ответом, затем, улыбаясь, но чувствуя и то же время некоторое неудобство, произнес:

— Одно из несерьезных увлечений. Ее звали Глэдис.

— Весьма возможно. — Элен презрительно поморщила нос. — Почему ты расстался с ней?

— Она ушла сама. Предпочла кого-то другого. Да я не особенно и возражал.

Он хотел сказать что-то еще, но она перебила его:

— Может, ее любовник часто беседовал с ней в постели. Энтони покраснел.

— Это ты к чему?

— Довольно странно, но некоторые женщины любят разговоры перед сном. А когда она поняла, что ты не собираешься с ней разговаривать... Ты же никогда этого не делаешь. — Она, отложив в сторону Глэдис, взяла в руки фотографию женщины, одетой по моде начала века. — Это твоя мать?

Энтони кивнул.

— А вот твоя, — произнес он, указывая на снимок Мери Эмберли в «похоронной» шляпе. Потом с едва заметным отвращением добавил: — Человек постоянно обречен тянуть за собой груз прошлого. Существует все же какой-то способ избавиться от ненужных воспоминаний. Терпеть не могу этого Пруста<sup>4</sup>. Просто не выношу. — И с неподдельно клоунским видом он принялся рисовать портрет чахоточного искателя утраченного времени, скукоженного, мертвенно-бледного, с дряблыми мышцами и грудью почти что женской, поросшей длинной черной растительностью, обреченного вечно барахтаться в помоях своего незабываемого прошлого. Высохшие мыльные хлопья от бесчисленных ванн, принятых за всю жизнь, клубились вокруг него, и многолетняя грязь облепила коркой стены лохани и оседала мутной взвесью на дне. Он сидел там, бледнотелый, уродливый старик, загребая горстями мыльную мягкость и размазывая ее по лицу, черная блеклую пену и раскатывая грязный песок вокруг губ, засасывая его ртом и носом, как пандит<sup>5</sup> в потоках Ганга.

— Ты описываешь его как заклятого врага, — заметила Элен. Энтони не нашел ничего лучшего, как рассмеяться.

Последовало молчание, и Элен подняла с пола упавшую фотокарточку своей матери, принявшись внимательно разглядывать ее, будто та представляла собой некую тайнопись, которая, будучи расшифрованной, могла бы стать ключом к разгадке важного секрета.

Энтони какое-то время наблюдал за ней; затем, сделав над собой усилие, загреб ворох фотографий и вынул из него дядюшку Джеймса в теннисном костюме тысяча девятьсот шестого года. Он умер давно — от рака, бедный старик, нашедший утешение в католической религии. Он бросил этот снимок и взял в руки другой, групповой портрет на фоне туманных альпийских гор: отец, мачеха и две сводных сестры. «Гриндельвальд, 1912» — стояла надпись на обороте, сделанная четким почерком мистера Бивиса. Энтони заметил, что у всех четверых в руках были альпенштоки.

— Я бы тоже хотел, — произнес он вслух, кладя на стол фотографию, — я бы хотел, чтобы мои дни отделялись друг от друга периодами противоестественного неверия.

Элен взглянула на него, оторвав глаза от таинственной криптограммы.

— Зачем ты тратишь время, перебирая старые карточки?

---

<sup>4</sup> *Пруст Марсель* (1871–1922) — французский писатель-модернист, автор семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени». В основе творческой манеры Пруста лежит ретроспективный метод анализа происходящего.

<sup>5</sup> *Пандит* — в Индии почетное звание ученого брахмана.

— Я делал уборку в шкафу, — объяснил он. — И они вылезли на свет Божий. Как мумия Тутанхамона<sup>6</sup>. Я не мог противиться искушению, чтобы не взглянуть на них. Кроме того, сегодня мой день рождения.

— То есть как день рождения?

— Сорок два года. — Энтони покачал головой. — Слишком удручает. И поскольку человеку всегда свойственно драматизировать события... — Он поднял со стола еще одну пачку фотографий и разжал пальцы. — Мертвые воскреснут по гласу трубному. В этом виден перст Судьбы. Все во власти его величества Случая, если хочешь знать.

— Ты, наверное, крепко любил ее? — спросила Элен после очередной паузы, держа перед ним призрачное изображение своей матери.

Он кивнул, и, чтобы перевести разговор на другую тему, внезапно заявил:

— Она пробудила во мне интерес к культуре. Я был наполовину дикарем, когда попал к ней руки. — Ему не хотелось разглашать свои чувства к Мери Эмберли, особенно (хоть это и был, без сомнения, глупейший пережиток варварства), когда дело касалось Элен. — Бремя белой женщины<sup>7</sup>, — добавил он с усмешкой. Затем, снова взяв в руки фото с альпенштоком, произнес: — Вот откуда она меня вытащила. Темные ущелья Швейцарии. Никогда не перестану благодарить ее.

— Жаль, что она не сумела родить саму себя, — проговорила Элен, когда вдоволь нагляделась на альпенштоки.

— Кстати, как она теперь?

Элен пожала плечами.

— Чувствовала себя лучше, когда вышла из санатория этой весной. Потом, естественно, все началось сызнова. Старая история. Морфий, а в перерывах алкоголь. Я видела ее в Париже по пути домой. Это было невыносимо. — Она содрогнулась.

Насмешливо-ласковая, его рука все еще гладила ее по бедру, что неожиданно показалось совершенно неуместным. Он опустил руку.

— Не знаю, что и хуже, — заметила Элен после паузы. — Грязь, ты даже не представляешь, в каких условиях она живет. Либо хамит, либо не говорит ни слова правды. — Она глубоко вздохнула.

Движением руки, в котором не было ничего насмешливого, Энтони сжал ее запястье.

— Бедняжка Элен!

Отвернувшись, она постояла несколько секунд молча, без движений, затем тряхнула головой, словно отгоняя какое-то наваждение, и Энтони почувствовал, как ее безвольная ладонь внезапно сильно сжала его руку. Она обернулась к нему, ее лицо оживилось, став наигранно веселым.

— Нет, это Энтони бедняга. — Из ее горла вырвался странный и неожиданный звук от сдвинутого смеха. — Фальшивое притворство!

Он попытался уверить ее, что сейчас он и не думал притворяться, но она наклонилась и, словно злобный насильник, прижалась своими губами к его губам.

## Глава 2

### Из дневника Энтони Бивиса

*4 апреля 1934 г.*

---

<sup>6</sup> Тутанхамон (XIV в. до н. э.) — египетский фараон, чье захоронение было раскопано в 1892 г.

<sup>7</sup> «Бремя белой женщины...» — в этих словах Энтони содержится реминисценция на стихотворение Киплинга «Бремя белых»

Жизнь любого человека увенчивают пять слов: *video meliora proboque; deteriora sequor*<sup>8</sup>. Как и все живые существа, я знаю, что я должен делать, но почему-то продолжаю делать то, что не должен. Сегодня днем, например, я вышел проведать несчастного Беппо, который лежит с осложнением после гриппа. Я знал, что нужно было посидеть с ним и дать ему излить все жалобы на неблагодарность и жестокость со стороны молодых, развеять страх перед приближающейся старостью и одиночеством, жуткую мнительность по поводу того, что окружающие считают его занудой и *perasa la page*<sup>9</sup>. Князя Болинские устраивают вечеринку и не приглашают его, Хзгворм не звал его на воскресный бал с ноября месяца... Я чуял нутром, что должен был с сочувствием ему внимать и давать хорошие советы, умолять его не убивать себя по поводу и без повода. Советы он, разумеется, все равно бы не принял, следуя своему принципу, и все-таки — кто знает? — никогда не следует пренебрегать тем, чтобы давать их. Вместо этого я скрепя сердце купил ему фунт дорогого винограда и тотчас же поспешил скрыться под предлогом того, что нужно было бежать на важную встречу. Истина состояла в том, что я был просто не в состоянии выслушивать, как он снова станет рассказывать о своих несчастьях. Я оправдал свое поведение тратой в пять шиллингов и благочестивыми мыслями — в пятьдесят лет мужчина должен быть достаточно разумным, чтобы бросить любовные интрижки, званые обеды и встречи с нужными людьми. Как его угораздило оказаться таким ослом? Может быть, поэтому (как безупречна логика!) мне не следовало делать того, что, я знал, нужно сделать. Но я поспешил откланяться четверть часа спустя, оставив больного друга в одиночестве, мучимого самоуничижением. Хотелось бы все же зайти к нему завтра по крайней мере часа на два.

«Греховная природа» — можно ли теперь употреблять это выражение? Нет, разумеется. Оно рождает столько негодных побочных ассоциаций: жертва агнца, страшно впасть в руки Бога живаго, геенна огненная, сексуальная озабоченность, хамство, благочестие вместо благотворительности. (Этот старик Беппо, если его вывернуть наизнанку, — Комсток или апостол Павел<sup>10</sup>). «Греховная природа» означала также ту бесконечную занятость собой, что губит живую душу. Почитайте, если хотите, дневник принца Альберта<sup>11</sup>, ревностного евангелиста, у которого тем не менее хватило смелости основать Дом Любви «под духоводством», как говорят бухмакиты<sup>12</sup>; поскольку его долго угнетало вожделение, и он совокуплялся с кем попало, оно в дальнейшем абсолютно открыто стало повелением Святого Духа, храмом которого он в конце концов провозгласил себя, ставшего «единой плотью с Богом». И он продолжал «соединяться» прилюдно, ни от кого не скрываясь, на диване в гостиной.

Нельзя употреблять эту фразу, как нельзя общаться с помощью клише и мыслить в виде ощущений. Это не значит, конечно же, что постоянных искушений не существует или вообще не следует соваться в эти дела и пытаться что-либо изменить. Я помню, как старик Миллер заметил однажды, когда мы ехали на лошадях к одному из больных индусов в

---

<sup>8</sup> Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему (*лат.*). — Овидий «Метаморфозы».

<sup>9</sup> Отставший от жизни (*фр.*).

<sup>10</sup> *Павел* (еврейское имя Савл) — не знавший Иисуса Христа во время его земной жизни и не входивший в число двенадцати апостолов, Павел почитается как первопрестольный апостол в силу его миссионерско-богословских заслуг.

<sup>11</sup> *Принц Альберт* (1819–1861) — муж королевы Виктории, известный своим интересом к искусству и новейшим научным достижениям.

<sup>12</sup> *Бухмакиты* — одна из религиозных сект, действовавших в Англии в начале XX в.

Гималаях: «На самом деле человек по природе — единство, но ты умышленно превратил его в триединство. Один умный и два идиота — вот что у тебя получилось. Блистательный жонглер идеями, управляемый тем, кто по глубине самопознания и чувств чистый недоумок, а двое остальных имеют лишь косвенное отношение к телу, наполовину лишенному разума. К телу, которое никоим образом не осознает, что оно делает и что значат его ощущения, так как лишено черт, присущих индивидуальности, и не знает, где найти себе применение. Два полоумных и один интеллигент. Человек — воплощение демократии там, где правит большинство. Остается только с умом распорядиться этим большинством». Эти записи — лишь первая ступень. Самопознание — вот что всегда предшествует развитию личности. (Сначала чистая наука, и лишь потом прикладная). У меня одно чувство — безразличие. Меня не могут беспокоить другие люди. Лучше сказать, не будут. Именно поэтому я тщательно избегаю любого случая, когда меня могут побеспокоить. Неотъемлемая составляющая лечения — собрать в памяти все ситуации, которые не дают спокойно жить, и сойти с пути их создания. Безразличие есть форма безделья. Можно работать не покладая рук, что я всегда и делал, и при этом быть совершенным лентяем, уйти с головой в работу и проявлять потрясающую лень во всем, что не имеет к ней отношения. Потому что в конце концов работа — это удовольствие, в то время как то, что лежит вне ее, и есть личная жизнь, которая у меня скучна и утомительна. Все более и более скучна по мере того, как привычка избегать ее становится все сильнее со временем. Безразличие есть форма лени, а лень, в свою очередь, есть отсутствие любви. Человек не бывает ленив по отношению к любимому существу. Вся сложность заключается в том, как любить. (Жаль, что мы опошлили это слово; оно уже черно оттого, что его долго мусолили поколения Стиггинсов.) Для слов тоже существует своя стирка и химчистка. Любовь, чистота, благородство, душа — куча грязного белья, ожидающего прачку. Как можно любить, если само слово «любовь» стало истертым, как носовой платок, как при этом чувствовать стойкий и неувядаемый интерес к людям? Как антропологически подходить к ним, как сказал бы старина Миллер? Не так-то легко ответить.

*5 апреля*

Работал все утро. Было бы глупо не придать формы всему тому, что сделано. Я имею в виду, конечно, новую форму. Мой первоначальный замысел был сочинить некий труд, основанный на исторических фактах. То была бы картина тщетности познания, объективная и в высшей степени научная, но созданная, как я прекрасно понимаю, только для того, чтобы оправдать мой образ жизни. Если бы люди всегда вели себя, как гориллы или олигофрены, если бы они не могли вести себя иначе, то я мог бы со спокойной совестью сидеть в партере и наблюдать за ними через театральный бинокль. Но что, если можно что-то сделать, что, если такое поведение можно изменить... Тогда описание человеческого поведения и поиск путей его изменения может представить какую-то ценность, хотя и не такую значительную, чтобы оправдать уклонение от любых других видов деятельности.

На вечере у Миллера я познакомился со священником, который очень серьезно относится к христианству и приступил к созданию пацифистской организации. Зовут его Перчез. Это рослый мускулистый мужчина средних лет, воспитанный в христианском духе. (Трудно признать, что человек может использовать в своей речи штампы и оставаться при этом интеллигентным!) Но он очень достойный человек. Более чем достойный. Производит сильное впечатление.

Моя цель — использовать и расширить организацию Перчеза. Сейчас это объединение представляет собой маленькую группу, наподобие раннехристианской агапе<sup>13</sup> или коммунистической ячейки. (Интересно, что все движения, одержавшие верх, начинались с

---

<sup>13</sup> *Agape* — христианская любовь, любовь к ближнему.

кружков по восемь человек, как в гребле, или по одиннадцать, как в футболе.) Объединение Перчеза послужит началом для братства всех христиан. Опыт показал, что религиозные узы повышают дееспособность и укрепляют дух сотворчества и самопожертвования. Но братство в терминах христианской религии будет по большей части неуместным. Миллер полагает возможной нетеологическую практику медитации, которую он, конечно, хочет сочетать с тренировками, стихами Ф. М. Александра, использованием возможностей собственной личности, каковое использование начинается с физического самоконтроля, а это, в свою очередь (поскольку тело и дух суть одно) к достижению контроля над импульсами и чувствами. Однако на практике это невозможно осуществить, поскольку нет квалифицированных учителей. «Мы должны удовольствоваться тем, что можем сделать в плане духовном. Физическое потянет нас вниз, это ясно. Плоть слаба в гораздо большей степени, чем мы можем предполагать».

Я согласился вложить в это дело деньги, подготовить нужную литературу и провести в группах беседы. Последнее было самым трудным, поскольку я всегда воздерживался от публичных выступлений. Когда Перчез ушел, я спросил Миллера, не стоит ли мне взять несколько уроков ораторского искусства.

Он ответил: «Если вы начнете брать уроки до того, как будете иметь хорошую координацию движений, вы будете просто усваивать неправильные принципы самоиспользования. Работайте над своим телом, добейтесь координации, ведите себя как следует. Трудности, связанные со сценическим страхом, постановкой голоса исчезнут сами собой».

Затем Миллер дал мне первый урок «самоиспользования». Учил, как сидеть на стуле, как вставать, облакачиваться и наклоняться вперед. Он предостерег меня от того, что на первый взгляд могло показаться бессмысленным и убедил в том, что интерес и понимание придут впоследствии с успехом. Сказал, что мне нужно найти решение проблемы *video meliora proboque, deteriora sequor*: метод, позволяющий переводить благие намерения в благие деяния, чтобы быть полностью уверенным в том, что делаешь то, что должен. Провел вечер с Беппо. Выслушав длинный перечень несчастий, высказал мнение, что лекарства быть не может, только предупреждение и профилактика. Следует избегать причины. Реакцией была вспышка гнева: он сказал, что я пытался лишить смысла его жизнь и подстрекал к самоубийству. В ответ я намекнул, что смысл можно и изменить. Он же заявил, что скорее умрет, чем изменит своему смыслу; потом в его настроении случился перепад и он взмолился Богу о том, чтобы быть в состоянии отказаться от своих ценностей. Но ради чего? Я предложил ему стать пацифистом, но он уже им был, причем всю жизнь. Конечно же я знал об этом, но его пацифизм был бездейственным, со знаком минус. Выступления против войны, сказал я, бывают искренними и показными. Он выслушал, ответив, что подумает. Возможно, это будет неплохой выход, сказал он на прощание.

### Глава 3

30 августа 1933 г.

С плоской крыши дома открывался живописный вид на запад, где полоса между городом и пляжем была усажена сосновой рощей; голубую средиземноморскую бухту окаймляли бледные скалы цвета слоновой кости, между которыми виднелись высокие холмы, поросшие вьюнами на склонах и серые от оливковых зарослей, затем черные от сосен, глинисто-красные, скалисто-белые и бурые от роз и выгоревшего вереска.

Через пустошь между близлежащими холмами металлически четко пролегла длинная гряда Сен-Бом, голубая на горизонте. К северу и к югу сад обрамляли сосны, а с восточной стороны виноградники и оливковые сады поднимались к террасам с суглинистой почвой, образуя гребень. Деревья, росшие ближе всего к морю, были то мрачными и задумчивыми, то дрожали, отливая серебром на небесном фоне.

На крыше валялись матрасы для солнечных ванн, и на одном из них Энтони и Элен лежали головой по направлению к узкой тени южной перегородки. День шел к полудню; солнечный свет струился с неба без единого облачка, и легкий ветерок налетал, ослабевал и затем снова усиливался. Охваченная судорожным жаром кожа, казалось, стала более чувствительной, почти обретя высшую силу воспарения. Она словно впитывала нектар жизни, посылаемый солнцем. И эта странная, мятежная, пламенеющая жизнь открытого пространства, видимо, проникала через поры, пронизывая и прожигая плоть, пока все тело не превращалось в угли, а душа будто сама вылетала из своей оболочки и становилась пятым элементом, чем-то иным, какой-то внеземной субстанцией.

Существует не так-то много мимических жестов, можно сказать, что их вообще очень мало по сравнению с богатством мыслей, чувств и ощущений — непостижимая нищета лицевых рефлексов — даже если гримасничать сознательно и целенаправленно! Все еще пребывая в состоянии самоотчуждения, Энтони наблюдал картину оврага смерти, к которой был причастен и как убийца, и как сопереживающая жертва. Элен без устали ворочала головой из стороны в сторону, словно пытаюсь, меняя положение хотя бы отчасти, хотя бы чуть-чуть, на одно-единственное мгновение избавиться от невыносимых мучений. Иногда, как будто подражая тому, кто в минуту отчаяния взмолился, чтобы миновала его чаша сия, она молитвенно складывала руки и, поднеся их ко рту, впивалась зубами в костяшки пальцев или прижимала кисть к губам, словно желая заглушить готовый сорваться с уст крик боли. Искаженное лицо представляло собой маску нестерпимого горя. Энтони склонился к ее губам и внезапно понял, что сейчас эта женщина похожа на Деву Марию у подножия креста на картине Рогера ван дер Вейдена<sup>14</sup>.

А затем на несколько секунд воцарилась тишина. Жертва больше не поворачивала голову на подушке; умоляющие руки стали как ватные. Выражение предсмертной боли уступило место нечеловеческому, почти экзальтированному спокойствию. На губах запечатлелась серьезность, как у святого, а закрытым глазам, наверное, открылось какое-то чарующее своей красотой видение.

Так они лежали довольно долго в золотой солнечной отрешенности, пресытившись всем. Первым очнулся Энтони. Тронутый немой, благодарным безмыслием и нежностью довольного тела, он протянул ласкающую руку. Ее кожа была горячей на ощупь. Он подпер голову рукой и открыл глаза.

— Ты как будто сошла с полотна Гогена<sup>15</sup>, — сказал он секунду спустя. Как у гогеновских персонажей, ее фигура стала коричневой и плоской, загар уничтожил игру перламутровых, карминовых, синеватых и зеленоватых оттенков незагорелой кожи, которые придавали белому женскому телу особенную пышность и рельефность.

Его голос пугающе вторгся в восхитительное, разморенное забытие Элен. Почему он никак не оставит ее в покое? Она чувствовала себя такой счастливой в ином мире своего преображенного тела, а теперь он звал ее назад в земную жизнь, в обыденную, словно адскую, пустоту, к зною и тревогам. Она не ответила на его слова и, закрыв глаза еще плотнее под угрозой возвращения в реальность, попыталась заставить себя очутиться вновь в том раю, из которого ее вытащили.

Загорелая, как на полотне Гогена, и такая же плоская... Но его первое знакомство с Гогеном (тогда он притворился, что творения француза понравились ему гораздо больше, чем в действительности) произошло во время путешествия в Париж с Мери Эмберли — какое это было волнующее, необыкновенное и — особенно для двадцатилетнего мальчика,

---

<sup>14</sup> *Рогир ван дер Вейден* (ок. 1400–1464) — нидерландский живописец. Наиболее известна его картина «Снятие со креста».

<sup>15</sup> *Гоген Поль* (1848–1903) — французский живописец, один из главных представителей постимпрессионизма, провел часть своей жизни на Таити, где рисовал картины на сюжеты из тамошней жизни.

каким он тогда был — апокалиптическое время.

Он нахмурился: его прошлое стало чересчур навязчивым. Но когда, чтобы уйти от него, он нагнулся и поцеловал плечо Элен, он обнаружил, что в воздухе царил слабый, едва ощутимый соляной и дымный запах, запах, преследовавший его ежеминутно до мелового карьера у Чилтерн-Хиллз<sup>16</sup>, где он проводил невыразимо приятные часы в обществе Брайана Фокса, ударяя друг о друга два кремня и восторженно пыхтя, когда искра оставляла характерный запах загоревшегося моря.

— К-как д-дым на м-морском д-дне, — заикаясь произносил Брайан, когда Энтони давал ему понюхать кремень.

Даже, казалось бы, самые крупные осколки нынешней реальности раздроблены противоречиями. Что может быть ближе к настоящему, чем женское тело, лежащее под солнцем? И все же оно изменило ему. Ее твердая реакция на его чувства и его почти животную нежность погрузила его в совершенно иное пространство и время, вся Вселенная грозила распадом на атомы. Даже от ее тела веяло разлагающимися водорослями. Живое тело, настоящее тело, еще существовавшее спустя двадцать лет после смерти Брайана.

Меловой карьер, картинная галерея, смуглая фигура на солнце, тело, от которого теперь шел запах соли и дыма с примесью, как в свое время у Мери, резкого мускуса. Где-то на периферии сознания безумец перебирал пачку фотоснимков, вынимал один наугад, опять смешивал их как попало, раскладывал в произвольном порядке, вновь бессмысленно тасуя. В раскладе не было никакой хронологии — идиот не мог удержать в памяти, что было раньше, а что позже. Карьер был таким же реальным и отчетливым, как и галерея. Истекшие десять лет отделили кремни от полотен Гогена, и не вызывало сомнения, что цепкая память могла Спутать одно с другим. Тридцать пять лет его сознательной жизни теперь внезапно предстали перед ним как хаос — пачка фотографий в руках сумасшедшего. И кому решать, какие снимки нужно было хранить, а какие выбросить? Запуганному, движимому инстинктом животному, как пишут фрейдисты. Но последователи Фрейда<sup>17</sup> стали жертвой случайной ошибки, ведь безупречные рационалисты всегда найдут достаточно доводов и объяснят что угодно. Страх и похоть — самые понятные мотивы из всех. Поэтому... Но психология не имела большего права посягать на человека и даже на животное, чем любая другая наука. Помимо тела и разума человек обладал еще набором составляющих, которыми распоряжается случай. Одни считались полезными как органические вещества или потому, что относились к высшему типу психики, прочие же, будучи унаследованными от животных, запечатлевались или вычеркивались из памяти из-за того, что обладали чувством. Но для чего было нужно то, что не имело чувства, не обладало красотой, не служило разуму? Память в таких случаях казалась просто делом везения. Когда это произошло, некоторые человеческие качества оказались в благоприятном положении. Фотоаппарат щелкал, и фрагмент реальности навсегда сохранялся на пленке. По-иному и быть не могло. Если бы только ему в голову не пришла мучительная мысль, если бы причина не открывалась после самого события, а не до него, если бы она не таилась в будущем. Что, если бы картинную галерею можно было Зафиксировать и хранить в закоулках памяти, чтобы потом, то есть теперь, она была бы извлечена из подсознания? Извлечена сегодня, когда он, сорокадвухлетний, чувствовал себя твердо и непоколебимо стоящим на ногах, воскресла вместе с беспокойными годами его молодости, вместе с женщиной, многому научившей его и бывшей первой его любовью, той, что теперь едва Сохранила человеческий облик, живя в одиночестве в грязной дыре. И что, если в этой бессмысленной детской игре с кремнями был

---

<sup>16</sup> *Чилтерн-Хиллс* — возвышенность в Юго-Восточной Англии, на территории графств Бедфордшир, Бакингемшир, Хартфордшир и Оксфордшир.

<sup>17</sup> Фрейд Зигмунд (1856–1939) — австрийский психолог, невропатолог и психиатр, основоположник психоанализа; представления Фрейда о бессознательном, о сублимации, о мотивах человеческого поведения, о постоянном влечении к эроту и смерти нашли широкое распространение в современной культуре.



глубокий, сокровенный смысл, который можно было просто воссоздать вот здесь, на раскаленной крыше, теперь, когда его губы касались изомлевшего под солнцем тела Элен? В случае, если его заставят во время этого порыва бесстрашной и безответственной чувственности думать о Брайане и о том, ради чего он жил и ради чего умер — да, умер... Внезапно другое видение снизошло на Энтони; он вспомнил, как мальчиком у подножия такой же скалы, как та, внизу, он играл в меловом карьере. Да, даже самоубийство Брайана, которое он с ужасом восстанавливал в памяти, даже пожелтевшее тело на скалах таинственно сквозили в этой горячей коже.

«Раз, два, три, четыре», — считая каждое движение своей руки, он принялся ласкать ее. Магический жест любви, если его часто повторять, вернет его, пронзая прошлое и будущее, истину и ложь, в осколочно-бессвязное, хаотичное настоящее. Обрывки мыслей, желаний и чувств струились, как поток, проходя через мрак времени, сталкиваясь и расходясь. Игрный дом, больница, зоосад, дальше в углу библиотека и задумавшийся незнакомец. Безымянный, полностью зависящий от милости крупье, дураков и полускотов, и все же не сломленный и неутомимый. Еще два или три года, и курс социологии для начинающих будет закончен. Несмотря ни на что мысль его, хрипя, уносила ввысь и пульсировала счетом: тридцать два, тридцать три, четыре, пять...

## Глава 4

*6 ноября 1902 г.*

Он увидел рога с копной огненно-рыжей шерсти посередине — розовая морда с любопытством тянулась к чашечке с блюдцем. В глазах выражалось больше, чем простое человеческое изумление. БЫК В ЧАЙНОЙ ЧАШКЕ, гласила шестидюймовая надпись, служившая рекламой говяжьих кубиков. Бык в чайной чашке. Слова, звучавшие смехотворно, портили родной округ, как экзема на коже. Одна из тех жутких и постыдных болезней. Поезд, увозивший Энтони Бивиса в Суррей<sup>18</sup>, оставлял за собой огромные километры, покрытые коростой пошлости. Таблетки, мыло, микстура от кашля и, что казалось более гнусным и никуда не годным, чем все остальное, — говяжье мясо, бык и его чашка.

«Тридцать один, тридцать два», — шептал про себя мальчик, жалея, что не начал считать быков с самого начала. Между Ватерлоо<sup>19</sup> и Клэпхемским узлом<sup>20</sup> их, должно быть, сотни. Или тысячи. В углу напротив, запрокинув голову, сидел отец Энтони, заслонив лицо от солнца рукой. Его верхняя губа судорожно подергивалась, а над ней виднелись желтые от табака усы.

— Приди ко мне, — напевал Джон Бивис, что относилось к особе, которая, закрыв глаза, казалась то живой, то уже окостенелой и неподвижной, как строчки, внезапно пришедшие ему в голову:

Приди ко мне — я буду ждать тебя  
В юдоли мрака, веря и любя.

---

<sup>18</sup> *Суррей* (Surrey), графство в Великобритании, к юго-западу от Лондона.

<sup>19</sup> *Ватерлоо* (Waterloo Station) — самый загруженный железнодорожный вокзал в Лондоне и во всей Великобритании.

<sup>20</sup> *Клэпхемский узел* (Clapham Junction) — железнодорожный пересадочный узел в Лондоне.

Нет жизни после смерти. После Дарвина<sup>21</sup>, после сестер Фокс, тем более после деда — отца Джона Бивиса — хирурга... За той юдолью мрака есть лишь небытие. И все же, и все же... эта песня бессмертна: приди ко мне, ко мне, мне-мне, мне-мне...

«Тридцать три».

Энтони отвернулся от окна, мимо которого проплывали деревья и поля, и содрогнулся при виде руки, закрывшей глаза. Его навязчивое желание пересчитать быков теперь вдруг вызвало стыд, показавшись предательством. И дядя Джеймс на другом конце сиденья, читающий «Таймс»<sup>22</sup>, и его лицо в этот момент, меняющее выражение каждые несколько секунд из-за нервного тика. Он мог бы по крайней мере иметь совесть не читать теперь — теперь, когда они были на пути к... Энтони не смог произнести эти слова, сделавшие бы все ясным, словно капля воды, он хотел избежать этой ясности. Чтение «Таймс», может, было постыдным, но это не так ужасно, как сама невыносимость преследовавшей его мысли и невозможность отделаться от нее. Энтони снова, уже сквозь слезы, посмотрел в окно. Окрасившаяся в золотые краски зелень бабьего лета плыла в мерцающих сумерках. И внезапно колеса поезда застучали по шпалам. «Мертва-мертва-мер...» — кричали они. Мертва навеки. Слезы хлынули потоком, на мгновение согрели его щеки, затем обожгли холодом. Он вынул платок и вытер их, убрав пелену, нависшую перед глазами. Лучившийся под солнцем мир лежал перед ним как огромный причудливый бриллиант. Листья вязов пожухли, приобретя цвет бледной охры. Неподвижные великаны, возвышающиеся над полями, они, казалось, задумались о чем-то в хрустальном утреннем свете, что-то усиленно вспоминая, извлекая из-за грани невидимости и возвращая призракам форму, вглядываясь при последнем дыхании в глубину прошлого, стремясь раствориться в моментальных вспышках осеннего цвета, бесконечного летнего торжества.

«Мертва-мертва-мер... — в бешеной гонке повторяли колеса, когда состав переезжал мост. — Мертва-мертва».

Энтони попытался не слушать, но все напрасно, затем его воображение стремилось заставить колеса твердить другую фразу — к примеру, почему бы им не говорить: «При опасности нажми стоп-кран»? Именно это они обычно произносили. С огромным усилием он заставил их сменить рефрен.

«При опасности нажми стоп-кран-мертва-мер-кран». Мертвый кран. Ничего не получалось. Мистер Бивис на секунду открыл глаза и выглянул в окно. Осенние деревья блестели ярким светом. Переливались, казалось, жестокими бликами, убийственно, если не считать какого-то обреченного безмолвия, по-стеклянному хрупкого, которое пророчески возвещало о наступлении тьмы. Черные ветви мучительно колебал ветер, и они заслоняли звезды, а воющий буран ранил снежинками, как стрелами.

Дядя Джеймс перевернул страницу «Таймс». «Ритуалисты и кенсититы опять борются, каждый за свои права, — с удовольствием заметил он. — Пускай перегрызутся. «Мистер Чемберлен» в школе при университетском колледже». Что еще понадобилось старому черту? Церемония открытия мемориальной доски погибшим в англо-бурской войне<sup>23</sup>. Свыше ста парней отправили на фронт, и двадцать из них пали смертью храбрых, отстаивая честь империи в Южной Африке. (Аплодисменты!) Обманутые дураки», — подумал дядя Джеймс, который всегда страстно защищал буров.

---

<sup>21</sup> Дарвин Чарльз Роберт (1809–1882), англ. естествоиспытатель, создатель учения о происхождении видов путем естественного отбора.

<sup>22</sup> *Таймс* (Times) — влиятельнейший консервативный орган в Англии, ежедневная газета, основанная в 1788 г.

<sup>23</sup> Англо-бурская война (1899–1902) — Война Великобритании против бурских республик Южной Африки — Оранжевого свободного государства и Трансвааля. В результате войны обе республики были превращены (1902) в английские колонии.

Чучела посреди настоящих коров на пастбище, огромные рога, парусовидные, сбившиеся космы палено-рыжего цвета, любопытные, чашка из-под чая. Энтони закрыл глаза, дав волю фантазии. Нет, твердил он со всей решимостью, надеясь побороть в себе грохот колес. Он заградил дорогу ужасу, наотрез отказываясь узнавать быка. Но была ли от отказа какая-либо польза? Колеса все еще грохотали. А как ему было стереть из памяти то, что этот бык справа тридцать четвертый у стрелки рядом с Клэпхемом? Число всегда оставалось числом, даже по дороге к... Но считать казалось позорным, таким же пошлым, как газета дяди Джеймса. Счет был сродни трусости, предательству. И все же то, о чем им оставалось думать, было еще страшнее. Может быть, более противоестественно.

«Что бы мы ни думали или продолжали думать о причинах, о необходимости и оправданности войны, ныне благополучно завершившейся, я думаю, у нас есть право чувствовать глубокое удовлетворение от того, что в час, когда страна призвала своих сыновей к оружию, лучшая часть нации откликнулась на ее зов...» С лицом, пышущим негодованием, дядя Джеймс отложил газету и взглянул на часы.

— Опаздываем на две с половиной минуты, — сердито сказал он.

«Будь это на сто лет позже, — подумал мистер Бивис. — Или на десять лет раньше, нет, лучше на двенадцать-тринадцать. На первом году их свадьбы».

Джеймс снова посмотрел в окно.

— Еще по крайней мере миля до Лоллингдона<sup>24</sup>, — закончил он.

Его пальцы потянулись к хронометру в кармане жилета, словно к ране или больному зубу. Время ради себя самого. Время, всегда диктующее, повелевающее, существующее для того, чтобы смотреть и узнавать, который час.

Колеса стучали все медленнее и медленнее, пока их однообразный грохот не стал почти невнятным. Послышался визг тормозов.

— Лоллингдон! Лоллингдон! — затянул кондуктор. Но дядя Джеймс уже спрыгнул на перрон.

— Быстрее, — кричал он, скача вперед на своих журавлиных ногах по платформе, вдоль которой еще двигался поезд. Его рука снова потянулась к той таинственной язве, продолжавшей грызть его совесть. — Быстрой!

Внезапное негодование прожгло мозг его брата. «Зачем он торопит меня?» Как будто ему угрожала опасность потерять что-то, какое-то приятное переживание, головокружительное, но мимолетное развлечение. Энтони вылез из вагона вслед за отцом. Они прошли под арку мимо стены, покрытой надписями: НА БЕДНОСТЬ И С БОГОМ ВСЕМ ЖИВУЩИМ ПИКВИК И ФИЛИН СРЕДСТВО ПРОТИВ МОЛИ ЖУКОВ ПАУКОВ КЛИН КЛИНОМ КОФЕ КОМПАНИИ БРЭНСОН БЫК В... И внезапно встали перед глазами те самые рога, выпученные глаза, чашка — тридцать пятая по счету... Нет, я не хочу этого, мне это противно — но все пошло сызнова — тридцать пятый бык справа от стрелки рядом с Клэпхемом.

В коляске пахло соломой и кожей. Соломой, кожей и восемьдесят восьмым годом — ведь тогда это случилось? Да, как раз под Рождество, когда они поехали на бал к Чамперноунам — он, она и ее мать — на холоде, в овчинном тулупе вокруг колен. И он как будто случайно обхватил ее руку своею. Ее мать говорила о том, как трудно нанять слуг, и что когда их наймешь, увидишь, что те ничего не умеют, что они не радуют обо всем. Она не убрала руку! Значило ли это, что она не возражала? Он пошел на риск, стиснув ладонь. Они постоянно дерзят, говорила мать, они... Он почувствовал, как ее пальцы сжали в ответ его и, взглянув ей в лицо, догадался по его смутным очертаниям, что она улыбалась ему.

— В самом деле, — говорила она, — я не знаю, чем все это теперь кончится.

Он заметил, как зубы Мейзи блестят недобрым блеском. Легкое сжатие руки стало слегка таинственным, интригующим, неприличным.

---

<sup>24</sup> Лоллингдон — железнодорожная станция в Оксфордшире.

Старая лошадь медленно везла их по тропинкам прямо в самую глубину огромного осеннего самоцвета, блещущего золотом и хрусталем, пока они наконец не остановились в самой его сердцевине. При свете солнца церковная башня отливала черным янтарем. Часы на ней, как с недовольством заметил Джеймс Бивис, шли с опозданием. Они проследовали сквозь крытый проход на кладбище. Впереди них, испуганно вытягивая грязные головы, тащились четверо чернокожих. Две представительные дамы (Энтони они показались великаншами) выросли среди могильных плит темно-синими манекенами. Впереди них шествовали двое огромных мужчин, которых изящные цилиндры делали еще выше.

— Чамперноуны, — сказал Джеймс Бивис, и знакомое имя прозвучало как кинжал, который еще больнее язвил душу его брата — Чамперноуны и... — как зовут парня, за которого вышла их дочь? Энсти? Эннерли? — Он вопросительно взглянул на Джона, но тот неподвижно смотрел прямо перед собой, не говоря ни слова.

— Эммерсхем? Этертон? — Джеймс Бивис раздраженно нахмурился. Педант по натуре, он придавал огромное значение именам, датам и числам. Он гордился тем, что может правильно называть их. Отрывочное воспоминание привело его в бешенство. — Этертон? Эндерсон? — И убийственной всего было то, что этот молодой человек был весьма хорош собой и обходителен, вел себя не так, как негнущиеся, твердолобые солдафоны вроде его тестя-генерала, а свободно, с изяществом... — Не знаю, как его зовут, — заключил он, и его правая щека вновь задергалась, как будто какая-то мошка случайно оказалась у него на лице и отчаянно пыталась спастись.

Они шли дальше. Энтони казалось, что душа его ушла в пятки — провалилась через колени вниз. Он чувствовал себя довольно плохо, и все же кто-то словно подгонял его.

Черные великаны приостановились, обернулись назад и бросились им навстречу. Полетели шляпы, друзья обменялись рукопожатиями.

— Ах ты милый Энтони! — воскликнула леди Чамперноун, когда до него наконец дошла очередь. Она порывисто бросилась к нему с поцелуями.

Эта женщина страдала полнотой. Ее губы оставили отвратительное влажное пятно у него на щеке. Энтони не выносил ее.

«Наверное, мне тоже стоит его поцеловать», — думала Мери Эмберли, наблюдая за своей матерью. Таких странностей можно было ожидать во время свадьбы. Полгода назад, когда она была еще выпускницей колледжа Мери Чамперноун, такое считалось невыносимым. Но теперь — кто бы мог подумать? В конце концов она все-таки решила, что не будет целовать мальчика, поскольку эта формальность казалась ей смешной. Она молча пожала ему руку, улыбнулась, но лишь от распиравшего ее ощущения тайного счастья. Она была на пятом месяце и последние две-три недели пребывала в состоянии какой-то блаженной дремоты, невыразимо сладостной. Блаженство в мире, ставшем прекрасным, многоликим и несметно богатым несмотря ни на какие опасности. Деревня, которую они проезжали тем утром в едва покачивающемся ландо, напоминала райский сад — тот маленький зеленый уголок между золочеными кронами и башней стал Эдемом.

Медная миссис Бивис умерла, ушла безвозвратно такой прекрасной и юной. Печаль омрачила сад, но, к удивлению, не тронула ее тайного блаженства и была тоскующе-тихой, словно грусть какого-то тихого обитателя далекой планеты.

Энтони на мгновение взглянул на улыбающееся лицо, такое яркое в траурном обрамлении и, казалось, излучавшее покой и мир, потом застеснялся и опустил глаза.

Между тем Роджер Эмберли как зачарованный наблюдал за своим тестем и удивлялся, как можно иметь такой ровный характер. Мог ли человек командовать армией и в то же время выглядеть и точно так, как генерал из оперетты? Даже на похоронах, даже произнося заранее написанную речь, обращенную к безутешному супругу. Скрытые тонкими тараканьими усиками, его губы постоянно дергались.

«Похоже, он сильно расстроен», — думал генерал, разговаривая с Джоном Бивисом и чувствуя сострадание к бедняге даже в те минуты, когда тот вызывал у него открытую неприязнь. Тот был действительно порядочным занудой и ханжой, чересчур заумным и

вместе с тем круглым идиотом. Хуже всего то, что он был немужественным. Его испортило женское общество — сперва он находился под опекой матери, затем тетки, затем жены. Несколько лет в армии сослужили бы ему величайшую службу. Его оправдывало лишь глубокое осознание своей вины и связанная с ним невыразимую печаль. А Мейзи, писаная красавица, была слишком хороша для него.

Они остановились на секунду, затем снова медленно двинулись к церкви. Энтони шел посередине, лилипут среди великанов. Темнота обступила его, заслонила небо, поглотив янтарную башню и деревья. Он шагал будто по дну зыбкого колодца, и черные его стены трещали, готовясь задавить его. Энтони расплакался.

Он не хотел *знать* и изо всех сил старался понимать происшедшее лишь поверхностно, как, например, человек понимает, что после тридцати четырех следует тридцать пять; но черная яма была бездонной, заключая в себе весь ужас смерти. Выхода не было. Рыдания стали душить его.

Мери Эмберли, унесенная далеко в радужных мечтаниях о золотой листве на фоне бледного неба, мимолетно взглянула на это несчастное создание, плачущее на другой планете, и тотчас же отвернулась.

— Бедное дитя! — произнес про себя его отец и затем, очнувшись, добавил: — Бедный сиротка! — Он был доволен тем, что, желая изображать страдание, говорил с огромной болью в голосе. Он посмотрел сверху вниз на сына, увидел убитое горем лицо, полные, чувственные губы доведенного до отчаяния ребенка, красивый высокий лоб над тем, что пощадили горькие слезы, и, когда почувствовал близость чистого, безутешного создания, сердце его скрутил очередной приступ боли.

— Сынок! — сказал он громко, будучи уверенным, что горе еще теснее сблизит их. Ему было трудно вести себя достаточно непринужденно с ребенком, чтобы расположить его к себе. Но эта боль несомненно вызывала общие воспоминания. Он крепко сжал ручонку сына в своей.

Они стояли у церковной паперти. Колодец растворился.

«Можно представить, что мы на Тибете, — подумал дядя Джеймс и сиял шляпу. — Почему здесь не положено разуваться?»

В церкви царил поистине египетская тьма, откуда исходил столетний запах деревенской набожности. Энтони дважды вдохнул сладкий от ладана и свечей воздух и почувствовал, как в груди все переворачивается от отвращения. Жалкий, унижающий страх уже заставил его почувствовать себя насекомым, и теперь этот тлетворный дух, лезший в ноздри, свидетельствовал о том, что храм был полон заразы.

«Да здесь рассадник микробов!» — Он услышал ее голос, который вечно казался неузнаваемым, стоило ей заговорить о бактериях. Обычно, когда она не была рассержена, он звучал мягко и даже лениво, с призвуком иронии или усталости. Микробы вселили в него какое-то остервенение и вместе с тем испуганность. «Всякий раз сплюнь, когда вокруг микробы, — бывало, говорила она ему. — В воздухе могут быть тифозные бациллы». При этой мысли рот его наполнился слюной. Но как можно плевать здесь, в церкви. Больше не оставалось ничего, кроме как проглотить слюну. Он содрогнулся, охваченный страхом и чувством отвратительной тошноты. А если ему и вправду станет худо в этой душегубке? От подобной мысли у него чуть не подкосились ноги. Что еще можно делать во время службы? Это были первые похороны в его жизни.

Джеймс Бивис взглянул на часы. Через три минуты должно было начаться самое интересное. Почему Джон не настоял на гражданской панихиде без отпевания? Все было бы проще, если бы бедняжка Мейзи не вбила себе это в голову. Маленькая глупышка, они никогда не была по-настоящему религиозной. Ее глупость были обычной мирской, вдобавок граничившей с чисто женским Легкомыслием. Глупость, с которой читают романы на диване, чередовалась с глупостью званых вечеров, пикников и балов. Невероятно было то, что Джону удалось смириться с этим дурачеством — оно, казалось, даже нравилось ему. Женщины, кудхтающие за обеденным столом! Джеймс Бивис презрительно нахмурился. Он

был женоненавистником — слабый пол выводил его из себя. Все эти мягкие округлости их телес. Безобразно. И вдобавок их безмозглость, доходящая до идиотизма. И все-таки бедняжка Мейзи никогда не была завсегдатаем церкви. Все это в целом характерно для ее родни. В семье имелись настоятели и настоятельница, и Джон не хотел ущемлять их чувства. Было бы до обидного глупо. Оскорблять других можно лишь с определенной целью.

Зазвучал орган, и в открытую дверь вступили друг за другом священники. Внесли нечто напоминающее огромный ворох цветов. Грянула «Вечная память», затем все стихло. Потом пугающе высоким голосом псаломщик запел «Христос воскрес», и песнопение подымалось к сводам храма, глася о Боге, смерти, зверях Эфесских<sup>25</sup>, теле Христовом. Но Энтони почти не слушал, будучи в силах их думать только об этих микробах, все витавших в воздухе несмотря на запах цветов и слюну, которую приходилось глотать со всем ее тифозным чадом, угрозой заражения гриппом, и вызываемое ею невыносимое ощущение в желудке. Поскорей бы все это кончилось!

«Как козел, а?» — сказал сам себе Джеймс Бивис, слушая ропот у аналая. Он снова взглянул на зятя Чамперноуна. Эндертон, Эбди? Какой острый классический профиль!

Джон сидел, наклонив голову и закрыв лицо рукой, думая о прахе, лежащем в гробу среди цветов, о том, что некогда было ее телом.

Наконец отпевание кончилось. Слава тебе господи! Энтони тайком сплюнул в носовой платок, сложил его и спрятал бациллы в карман. Тошнота прошла. Он последовал за отцом к выходу и, миновав сумрачный притвор, с упоением вдохнул свежий воздух. Солнце еще стояло над горизонтом. Он огляделся вокруг, затем поднял голову, смотря на белесое небо. В вышине, на церковном шпиле резкие крики галок напоминали звуки, производимые камнем, внезапно упавшим на замерзший пруд и с треском взломавшим ледяную корку.

«Энтони, нельзя бросать камни в пруд, — говорила ему раньше мать. — Они вмерзнут в лед, и потом конькобежцы...»

Он вспомнил, как однажды она бежала ему навстречу, спотыкаясь, хромя и размахивая руками. Как чайка, подумал тогда он, — вся в белом. Прекрасна! А теперь...

Но почему она заставила его встать на коньки?

«Не хочу», — говорил он, и, когда она спрашивала почему, было невозможно объяснить. Конечно же он боялся, что над ним будут смеяться. Но как он мог высказать это вслух? В конце концов он разрыдался на виду у всех. Хуже не могло быть ничего. В то утро он почувствовал лютую ненависть к ней. И вот теперь она ушла, и там, на башне, галки сбрасывали камни на последний лед зимы.

Они шли по кладбищенской аллее, и мистер Бивис еще раз сжал руку своего сына, пытаясь смягчить потрясение, которое окажут на него эти последние, самые тяжелые минуты.

— Крепись, — прошептал он. Это относилось как к мальчику, так и к нему самому.

Подавшись вперед, Энтони заглянул в могилу. Она казалась неестественно глубокой. Он вздрогнул, закрыв глаза, и тотчас же она предстала перед его взором, так же маша руками, как крыльями, белая, словно чайка, и снова белая, в атласном вечернем платье, когда она приходила к нему в комнату пожелать спокойной ночи перед тем, как ехать на званый вечер, вся пышущая ароматом, который он чувствовал, стоило ей нагнуться над его кроватью, и завораживающая белизной обнаженных рук. «Ты похож на котенка, — говорила она, когда он ластился щекой о ее руку. — Почему ты не мурлычешь при этом?»

Как бы то ни было, думал дядя Джеймс с удовлетворением, он до последнего настаивал на кремации. Христианство совершенно свихнулось — говорить о воскресении плоти в лето Господне тысяча девятьсот второе!

Когда подойдет его время, думал Джон Бивис, его следует похоронить в этой же

---

<sup>25</sup> Звери, живя вместе с нами, становятся ручными, а люди, общаясь друг с другом, становятся дикими. Гераклит Эфесский.

могиле. Чтобы ее тело покоилось рядом с нею. Его прах станет одним с прахом ее.

Голос священника был по-прежнему неестественно высок.

— Тебе ведомы, Боже, сердца наши...

Энтони открыл глаза. Два дюжих могильщика опускали в яму Терракотовый гроб, размером едва превосходящий коробку из-под печенья. Гроб коснулся дна, тросы вытянули вверх.

— Персть во персть, — гомонил козлиный голосок. — Прах ко праху.

«Мой прах к ее праху, — подумал Джон Бивис. — Да будут двое едины».

Внезапно ему вспомнилось путешествие в Рим через год после свадьбы, те июньские ночи и мошки, летящие на костер под деревьями в саду Дория, словно звезды, что лишились рассудка.

— ...Который одухотворит наше тленное тело так, что оно будет подобно Его славному Телу...

Тленное... тленное? Его душа воспротивилась.

Земля падала лопата за лопатой. Гроб был почти невидим, такой маленький, ужасно и неестественно крошечный... Видение быка, чайной чашки заслонило от него то, что происходило в реальности. Пошлое до невозможности, оно становилось все навязчивее. Галки опять заклокотали на башне. Белая и прекрасная, как чайка, она снова ринулась к нему. Но бык был все еще здесь, в сноси чашке, гадкий и отвратительный, и он чувствовал, как становится все более гнусным и невыносимым.

Джон Бивис выпустил руку и обнял ребенка за плечи, прижав его хрупкое тельце к себе — все плотнее и плотнее, пока не почувствовал своим нутром рыдания и скорбь, сотрясавшие его. — Бедное дитя! Бедный сиротка!

## Глава 5

*8 декабря 1926 г.*

— Ты не посмеешь, — сказала Джойс.

— Я сделаю это.

— Нет, не сделаешь.

— Я тебе ясно говорю, что сделаю. — Элен Эмберли была неумолима.

— Тебя посадили бы в тюрьму, если б поймали, — не унималась старшая сестра. — Нет, не в тюрьму, — поправилась она. — Ты слишком юная. Тебя бы отправили в колонию для несовершеннолетних.

Кровь хлынула в лицо Элен.

— Ты со своими колониями! — закричала она, пытаясь быть презрительной, но голос получился слабым из-за трудно сдерживаемого гнева. Колония для несовершеннолетних воспринималась как личное оскорбление. Тюрьма внушала такой ужас, что в ней было даже что-то занятное. Она была в Шильоне<sup>26</sup>, пересекала мост Вздохов. Но колония — нет! Это было слишком неблагородно. Колония была таким же местом, как общественный туалет или полустанок окружной железной дороги. — Колонии! — повторила она. Джойс постоянно думала о них. Она всегда втаптывала в грязь самое привлекательное и приятное. И что было хуже всего, она была, в общем, права: грязью были доказательства, грязью был здравый смысл. — Ты думаешь, я не отважусь на это, потому что ты не осмелишься? — продолжала Элен. — А я способна и на такое. Я это сделаю для того, чтобы тебя проучить. Я буду красть что-нибудь из каждого магазина, куда мы пойдем. Из каждого. Вот так!

---

<sup>26</sup> Шильон (Chillon) — замок в Швейцарии, расположен в восточном углу Женевского озера. Замок построен на еле выходящей из воды скале (375 м над уровнем моря), соединенной с берегом мостом. Достопримечательность замка — его сводчатые, лежащие под уровнем воды подвалы, когда-то служившие тюрьмой.

Джойс не на шутку встревожилась. Она испытующе взглянула на свою сестру: бледный профиль, лицо, искаженное мимикой, вызывающе поднятый подбородок — вот и все, что Элен представляла собой в тот момент.

— Послушай меня... — грозно начала она.

— Вот еще, — отозвалась Элен, обращаясь к пустому пространству.

— Не будь душой!

Ответа не последовало. Профиль напоминал молодую королеву Викторину на монете. Они свернули на Глостер-роуд и пошли мимо лавок.

Но, допустим, несчастная девочка действительно имела это в виду. Джойс изменила тактику.

— Конечно, я знала, что ты на это способна, — сказала она миролюбиво. Ответа не последовало. — Ни на секунду в этом не сомневаюсь. — Она снова посмотрела на Элен, но ее профиль все еще высился гордо, а глаза неподвижно смотрели в сторону. Бакалейная лавка была на следующем углу, не дальше чем в двадцати ярдах. Времени больше не оставалось. Джойс проглотила остаток гордыни. — Ну взгляни сюда, Элен, — прошептала она умоляющим голосом, взывавшим к благородству сестры. — Еще раз тебя прошу.

Ее воображению уже рисовалась омерзительная сцена. Элен поймана с поличным, разгневанный продавец, кричащий все громче и громче; ее собственные попытки объясниться и извиниться безрезультатны из-за невыносимого поведения сестры.

Конечно, Элен будет молча стоять рядом и не скажет ни слова, чтобы как-то оправдать себя или раскаяться, спокойно или презрительно улыбаясь, как будто она сверхчеловек, а все остальные грязь. Бакалейщик рассвирепеет еще больше. Затем он наконец пошлет за полицией, а потом... Но что подумает Колин, когда узнает об этом? Его будущая свояченица арестована за кражу. Он может расстроить помолвку. — Ну пожалуйста, не делай этого, — беспомощно взмолилась она. — Я прошу тебя! — Но с тем же успехом она могла упрашивать профиль короля Георга на полукроне чтобы тот повернул голову и подмигнул ей. Элен держала в кармане серебряную монету с изображением бледной и решительной молодой королевы. — Пожалуйста! — повторяла Джойс со слезами в голосе. Мысль о том, что она может потерять Колина, была мучительной. — Умоляю! — Но запах бакалеи уже щекотал ей ноздри; они стояли на самом пороге. Она схватила сестру за рукав, но Элен стряхнула ее руку и шагнула вовнутрь. У Джойс наколотилось сердце, и она пошла следом навстречу своей гибели. Молодой человек за стойкой, заваленной сыром и беконом, приветливо улыбнулся двум девушкам. Сделав над собой усилие, чтобы не вызвать подозрение и заранее усмирить негодование, Джойс послала ответную улыбку, полную искусственного дружелюбия. Нет, это было уже преувеличением. Она изменила тактику, Спокойна, непринужденна, в общем, идеальная леди, да к тому же еще и обходительна; обходительна и (прекрасное слово) грациозна — как королева Александра<sup>27</sup>. Грациозно она проследовали в магазин за своей сестрой. Но почему, думала она, почему она Обошла тему преступления? Почему, зная Элен, она настолько Потеряла рассудок, что стала оспаривать то, что воспитанный Человек просто не сможет пойти на преступление? Реакция Элен была очевидной. Она сама напросилась на это.

Мать дала список покупок младшей дочери. «Потому что память у нее такая же девичья, как и у меня», — объяснила она свое решение с чувством самодовольства, которое так раздражало Джойс. Никто не имел права хвастаться своими недостатками. «Уж я сделаю из нее хорошую хозяйку. Да поможет ей Бог!» — добавляла мать с саркастическим смешком.

Стоя у прилавка, Элен развернула список, прочла его и затем Надменным тоном и без всякой улыбки, словно отдавая приказания рабу, изрекла:

---

<sup>27</sup> Александра Саксен-Кобург-Готская (Александра Луиза Ольга Виктория, 1 сентября 1878–16 апреля 1942) — принцесса Эдинбургская и Саксен-Кобург-Готская, четвертый ребенок и третья дочь Альфреда, герцога Эдинбургского и великой княгини Марии Александровны. Её бабушкой была Виктория, королева Великобритании, а дедушкой российский император Александр II.



— Дайте сперва кофе. Два фунта, два шиллинга и четыре пенса, — Сказанное относилось к продавщице, которую видимо оскорбил развязный тон и повелительная манера Элен. Джойс сочла своей обязанностью наградить ее лучистой улыбкой.

— Веди себя цивилично, — прошипела Джойс, когда девушка отправилась за кофе.

Элен продолжала хранить презрительное молчание, хотя все в ней кипело от негодования. Спокойствие давалось с неимоверным трудом. Цивильно! Подумать только. Да кто она такая, эта маленькая кривляка, замарашка, которая не моет свои подмышки? О, как она ненавидит это уродство, это безобразие, эту нечистоту! Как они ненавистны и отвратительны...

— Ради всего святого, — продолжала Джойс, — не давай глупостей. Я тебе категорически запрещаю...

Она не успела закончить свою тираду, когда Элен, не позаботившись о скрытности и ни от кого не таясь, протянула руку и взяла с прилавка одну из шоколадок, сложенных красивой витой колонной. Сделав это, она медленным движением положила плитку в корзинку.

Не дожидаясь завершения преступления, Джойс повернулась и отошла в сторону.

«Я скажу, что вижу ее первый раз», — подумала она, понимая при этом, что ей никто не поверит. Вся округа знала, что они с Элен сестры. Джойс едва не расплакалась. «О, Колин, Колин!»

Прямо перед ней высилась пирамида банок с консервированными лобстерами. Джойс остановилась.

«Спокойно, — приказала она себе. — Я должна сохранять спокойствие».

Сердце ее бешено колотилось от страха, красно-фиолетовые лобстеры на этикетках, казалось, шевелили клешнями. Девушка боялась оглянуться. В ушах, пульсируя, шумела кровь, и каждую секунду Джойс ожидала грозного окрика.

— Я и не знал, что вы интересуетесь лобстерами, мисс, — чей-то услужливый голос почти прошептал эти слова на ухо Джойс.

Она вздрогнула от неожиданности, но сумела сохранить самообладание и даже улыбнуться, отрицательно покачав головой.

— Я очень рекомендую вам этот сорт, мисс. Уверен, что если вы попробуете одну баночку...

— Так, — громко произнесла в это время Элен своим прежним тоном феодального суверена, — а теперь я хочу купить десять фунтов сахара. Но его вы доставите нам домой.

Они вышли из магазина. Молодой человек за прилавком с сыром и беконом проводил их приветливой улыбкой. Они были очаровательные девушки и постоянные покупатели. Усилием ноли Джойс еще раз заставила себя быть дружелюбной и спокойной. Но как только сестры вышли за порог, лицо Джойс исказилось от злости.

— Элен! — с яростью в голосе произнесла она. — Элен!

Но Элен продолжала хранить надменное молчание, словно профиль юной королевы на серебряном флорине.

— Элен! — потеряв самообладание, Джойс изо всех сил уцепилась Элен за руку между рукавом и перчаткой.

Младшая сестра отдернула руку и, не поворачивая головы и не меняясь в лице, произнесла ледяным тоном:

— Если ты еще раз станешь действовать мне на нервы, я просто столкну тебя в канаву.

Джойс открыла рот, но смолчала и плотно сжала губы. Какой абсурд! Она поняла, что если скажет сейчас хотя бы слово, то Элен действительно столкнет ее в канаву. Джойс удовлетворилась тем, что негодуяще передернула плечиками.

В лавке зеленщика было многолюдно. Воспользовавшись скоплением людей, Элен, дожидаясь своей очереди, без труда стянула дна апельсина.

— Хочешь, дам один? — ехидно спросила она у Джойс, когда они вышли из магазина.

На этот раз Джойс сыграла роль профиля на монете.

В магазине канцелярских принадлежностей они, на беду Элен, оказались

единственными покупателями, но начинающая преступница нашла выход, рассыпав, якобы случайно, мелочь. Пока продавцы собирали с пола пенни и фартинги, Элен украдала ластик и три отличных карандаша.

Неприятности начались в мясной лавке. Обычно Элен вообще не заходила в этот магазин. Ей внушали отвращение вид и тошнотворный запах бледных, обескровленных туш. Однако на этот раз она решительным шагом вошла внутрь. Невзирая на отвращение, вопреки всему — то было дело чести. Она сказала: «Каждый магазин», — и она сделает это, чтобы Джойс не смогла обвинить ее в мошенничестве. Первые тридцать секунд, пока ее легкие были полны чистого воздуха, который она вдохнула на улице, все было в полном порядке. Но вот она выдохнула и... о, Боже! — вдохнула. В следующую секунду Элен судорожным движением поднесла к носу платок. Острый, грубый трупный запах бесцеремонно проник сквозь барьер духов. Сначала аромат *Quelques Fleurs*, потом отвратительный смрад мертвой овцы и свернувшейся вонючей крови, смешанные с божественным запахом жасмина и амбры.

Стоящий впереди отошел от стойки, и мясник обернулся к ней. Он был уже пожилым рослым мужчиной с большим квадратным лицом, излучающим отеческую заботу. «Похож на мистера Болдуина», — сказала она про себя и затем, не убирая платка, невнятно проговорила вслух:

— Полтора фунта огузочной части, пожалуйста.

Через минуту мясник вернулся с куском окровавленной туши.

— Это восхитительное мясо, мисс! — Он загреб влажную, жилистую плоть своей пятерней, затем тронул легкое. — В самом деле восхитительное. — Он представлял собой точную копию мистера Болдуина, мнушего пальцами страницы Вергилия или Вебба с загнутыми углами листов.

«Никогда в жизни не буду есть мяса, — поклялась она, когда новый Болдуин отвернулся, чтобы разрубить тушу надвое. — Но что же мне взять?» — Она огляделась.

— Что бы тут... А вот!.. — Вдоль одной из стен тянулась мраморная полка высотой в стол. На ней на подносах валялись багрово-серые говяжьи внутренности. Между ними на стальном крюке в форме буквы S, забрызганном кровью, висело обезглавленное баранье тело. Она посмотрела по сторонам. Момент был подходящий — мясник взвешивал ее кусок, его помощник о чем-то разговаривал с отвратительной старухой, похожей на бульдога, кассирша с головой ушла в счета. Стоя в одиночестве в дверях, Джойс реалистично исполняла роль зеваки, смотрящего на небо и размышляющего, превратятся ли капли в дождь. Элен сделала три быстрых шага, подхватила крюк и только собиралась уложить то, что на нем висело, в свою корзину, как услышала голос мясника:

— Осторожно, мисс, вы испачкаетесь, если прикоснетесь к нему. Волна удивления была подобна крутому спуску на русских горках. Элен почувствовала приступ тошноты. Кровь хлынула к ее щекам, затем ко лбу и глазам, как у провинившейся кошки. Она попыталась засмеяться.

— Я просто хотела посмотреть. — Крюк упал, ударившись об мрамор.

— Я не хотел бы, чтоб вы портили платье, мисс. — Его улыбка была искренней и какой-то родной. Даже добрее, чем у мистера Болдуина.

Охваченная нервным шоком, парализовавшим ее с ног до головы, Элен истерически расхохоталась, что вынудило ее еще раз глубоко вдохнуть запах туш. Б-брр!.. Она вновь упрятала нос в платок с *Quelques Fleurs*.

— Фунт и одиннадцать унций, мисс.

Она кивнула в знак согласия. Но что бы еще прихватить? Вывода не было.

— Прикажете что-нибудь еще?

Да, единственное, что оставалось, это купить что-то еще. Это позволило бы ей выиграть время, чтобы подумать и сыграть еще раз.

— Есть ли у вас... — она слегка замялась — «сладкое мясо»?

Несомненно, у мистера Болдуина имелось «сладкое мясо», лежащее на полке вместе с

остальными внутренностями. Как раз рядом с крюком.

— Ну, не знаю сколько, — вымолвила она, когда он спросил ее о количестве. — Не очень много.

Она вновь осмотрелась, на этот раз в отчаянии, пока он занялся «сладким мясом». В этой дрянной лавчонке нет ничего — ничего, кроме крюка, что можно было бы унести. Но теперь, когда он поймал ее, крюк отпадал. Больше ничего. Если только... Ее пронзила мелкая дрожь, но она, мрачная, как туча, стиснула зубы. Она настроилась пройти испытание до конца.

— Ну а теперь, — она возвысила свой голос, когда он завернул и перевязал бечевкой «сладкое мясо», — мне нужно немного вот этого! — И она указала на упаковки бледных сосисок, сваленных грудой на полке в другом конце магазина.

«Возьму, когда он отвернется», — думала она. Но кассирша, сверив счета, теперь оглядывала лавку. Черт бы, дьявол бы ее подрал! Элен готова была реветь от гнева, но затем — о, слава Богу! — девушка отвернулась. Элен протянула руку, но взгляд настиг ее. Пропади она пропадом! Рука безжизненно опустилась. Теперь было поздно — мистер Болдуин достал сосиски, повернулся лицом и пошел по направлению к ней.

— Все, мисс?

Элен неуверенно повела бровями, желая выиграть время.

— Не могу отделаться от мысли, что нужно что-то еще... Что-то такое... — Прошло несколько секунд, пауза становилась угрожающей: она выставила себя круглой дурой, но решила не сдаваться. Элен не желала признавать поражение.

— Сегодня утром мы получили бесподобную валлийскую баранину, — сказал мясник голосом настолько артистическим, что можно было подумать, будто он говорит о «Георгиках»<sup>28</sup>.

Элен покачала головой. Покупать баранину теперь было бы чистым безумием.

Внезапно кассирша опять начала писать. Момент наступил.

— Нет, — уверенно сказала она. — Я возьму еще фунт сосисок.

— Всего один? — с удивлением вымолвил псевдо-Болдуин. Рано удивляешься, подумала Элен. Удивление наступит после.

— Да, всего лишь один, — сказала она и подкупающе улыбнулась, как будто хотела выпросить скидку. Он снова отправился к полке. Кассирша не отрывала глаз от бумаг, старуха-бульдог о чем-то тарыхтела с помощником. Молниеносно, ибо нельзя было терять ни секунды, Элен рванулась к мраморной полке недалеко от нее. На виду лежал уже облюбованный ею кусок печенки.

Пальцы ее врылись в склизкую, каракатицевидную мякоть. Гнусная тварь! В конце концов ей пришлось взять ее в ладонь. «Слава Всевышнему, что Он надоумил меня надеть перчатки». Бросив мясо в корзину, она вдруг поймала себя на мысли, что была какая-то причина, которая могла принудить ее взять этот омерзительный сгусток в рот таким, как он есть, сырым, прожевать, лелея между языком и небом, и проглотить. Она вновь содрогнулась от отвращения, которое на этот раз так сильно скрутило горло, что, казалось, было готово разодрать ей нутро.

Устав от изображения метеоролога, Джойс стояла, укрывшись зонтом, и смотрела на хризантемы в витрине цветочного магазина в соседнем доме. Она заранее заготовила оскорбительные слова, которые скажет сестре, когда та выйдет наружу, но, увидев ее понурое лицо, забыла даже упрекнуть ее за задержку.

— Элен, что случилось?

Вместо ответа Элен истерически рыдалась.

— Скажи же, что?

---

<sup>28</sup> *Георгики* — дидактическая поэма Вергилия по агрокультуре в четырех книгах, в которой идет речь об урожае, фруктовых деревьях и виноградных лозах, крупном рогатом скоте и лошадях и о содержании пчел.

Она замотала головой и, отвернувшись, принялась стирать с лица слезы.

— Расскажи...

— О-о-о... — заголосила Элен так, будто ее ужалила оса. Лицо приобрело выражение смертного отвращения, полностью изуродовавшего ее. — Как гнусно, как все это мерзко, — повторяла она, глядя на свои пальцы. Затем, поставив корзину на тротуар, она сняла с руки перчатку и резким, отчаянным жестом остервенело швырнула ее в канаву.

## Глава 6

*6 ноября 1902 г.*

Послышался свист вожатого, и поезд покорно двинулся в путь: вот проехали Китинг еле-еле шевелясь, вот Брэнсон, вон Пиквик, Оул и Веверли, миновали на высокой скорости Бичем, Оубридж, Картер, Пиэрс, пронеслись мимо сталезавода в Хампфри, Лоллингдона, въехали в Хоуэт, затем промчались мимо Эно на скорости почти двадцать миль в час, потом Пирс, Пирс, Пирс, и внезапно перрон, и его ограждения замелькали и растворились в зелени сел. Энтони сидел в уголке и беззаботно дремал, запрокинув голову. Шум в мозгу наконец прекратился. Он выкарабкался из того черного колодца, в который они столкнули его, и вновь чувствовал себя свободным. Колеса радостно пели у него в ушах: «Спаси состав, сорви стоп-кран, а без причин пять фунтов штраф». Но как невыносимо отвратителен был поминальный обед у бабушки.

— Работай, — говорил Джеймс Бивис. — В наше время остается только это.

Брат кивнул.

— Только это, — согласился он. Затем, секунду помедлив, с ощущением до предела громко говорящей совести добавил на своем странном жаргоне, бывшим, по его мнению, разговорным языком. — Жизнь сбила в нокаут. — Понятие, которое Джон Бивис имел о простонародном английском, было почти целиком сформировано на основе книг. Боксом он не интересовался. — К счастью, — продолжал он, — работы сейчас хоть отбавляй. — Он думал о своих лекциях, о вкладе в составление оксфордского Словаря, о горах прочитанных книг, типографских гранках, огромной составленной им картотеке, о письмах от коллег-филологов и об изнурительной статье о французском сленге периода якобинской диктатуры.

— Нет, мне не хочется сачковать, — говорил он, вставляя разговорное словечко, выделяя его характерной интонацией. Джеймс не должен думать, что можно забыть горе, уйдя целиком в работу. Он подыскивал нужную фразу. — Это... божественная Музыка, с которой ты сливаешься.

Джеймс продолжал слегка кивать головой, как будто заранее знал все, что способен сказать его брат. Его лицо исказилось от произвольных мышечных подергиваний. Он был весь снедаем нетерпением, словно огнем, прожигавшим его до костей.

— Абсолютно верно, — говорил он. — Абсолютно правильно. — Он еще раз кивнул. Повисла долгая пауза.

«Завтра, — думал Энтони, — будет алгебра у старого Джимбага. — Ожидание не из приятных — он не был силен в математике, и даже в лучшие дни, когда мистер Джеймсон шутил, он все равно оставался для Энтони грозным учителем. — Если Джимбаг опять насадит меня на крючок, как в прошлый раз...»

Вспоминая эту сцену, Энтони нахмурился, кровь бросилась ему в лицо. В тот день Джимбаг саркастически издевался над ним и дергал его за волосы. Энтони разревелся, да и кто на его месте не заревел бы? На уравнение, которое он пытался решить, капнула слеза, оставив на бумаге огромную круглую кляксу. Сволочь Стейтс потом дразнил его за это. К счастью, Фокс пришел ему на помощь. Над Фоксом смеялись, потому что он заикался, но по натуре он был человеком на редкость порядочным.

В Ватерлоо Энтони с отцом сели в двухколесный экипаж. Дядя Джеймс предпочел пройти пешком.

— Я дохожу до клуба за одиннадцать минут, — объявил он. Его рука потянулась к карману жилета, он вытащил часы, затем повернулся и, не говоря ни слова, зашагал широким шагом к вершине холма.

— Юстон! — крикнул Джеймс Бивис кебмену.

Осторожно ступая по гладкому скату, лошадь двигалась вперед, экипаж покачивался, словно корабль. Едва слышно Энтони мурлыкал какую-то песенку. Поездка в экипаже всегда приводила его в состояние неопишуемого восторга. Перед самым склоном кучер хлестнул лошадь, и та перешла на рысь. Проносясь мимо, они улавливали запахи пива, жареной рыбы, затем проехали «Гуд-бай, Долли Грей» на углу и на полном ходу поскакали по Ватерлоо-роуд. За окнами экипажа ревело и скрежетало уличное движение. Если бы не отец, Энтони запел бы вслух.

Над крышами домов висело яркое, подернутое дымным маревом послеполуденное небо, и внезапно взору его предстала ослепительная река с черными баржами и буксиром, а над горизонтом вдруг поднялся в небо, словно гигантский воздушный шар, громадный купол собора Святого Павла<sup>29</sup>, а вот и Стрелковая башня.

На мосту какой-то прохожий бросал хлеб чайкам. Бледные, почти невидимые, они со свистом рассекали воздух, кружились, размахивая серыми крыльями, и, замедляя лет, внезапно взмывали к свету, струящемуся сверху, как белоснежные сполохи на чернеющем небе, затем снова спешили во тьму, словно испугавшись яркого солнца.

Увидев их, Энтони перестал мурлыкать. Конькобежец, прорезающий корку льда, устремится к тебе точно так же, скользя на острых полозьях. И вдруг, словно лишенный покоя, он как будто постиг таинственную значимость этих легковесных птиц.

— Мальчик мой, — начал мистер Бивис, нарушив долгое молчание. Он сжал плечо Энтони. — Мальчик дорогой!

С замершим сердцем Энтони ждал, что он скажет дальше.

— Теперь мы должны держаться друг друга, — сказал мистер Бивис.

Мальчик невнятно выразил свое согласие.

— Не расставайтесь. Потому что мы оба... — он запнулся. — Оба любили ее. — И вновь повисла тишина. «Если бы он только остановился на этом», — внутренне взмолился Энтони. Но отец продолжал: — Мы навсегда останемся ей верны, — проговорил он. — Никогда не предадим ее, правда?

Энтони кивнул.

— Никогда, — с жаром повторил Джон Бивис. — Никогда! — И он Прорекламировал строчки, вертевшиеся у него в голове все эти дни:

Когда болезнь или тоска случит  
Меня с тем телом, что в могиле спит,  
Ты поселись в моей душе пустой,  
Давным-давно покинутой тобой.  
Останься там.

Затем громко, почти вызывающе продолжил:

— Она никогда не будет мертва для нас! Она будет вечно жить у нас в сердцах, ведь так? — Пауза. — Она приказала нам долго жить, — не унимался отец, — и мы будем жить вместо нее. Жить честно, благородно, так, как она хотела, чтоб мы жили. — Он чуть было не перешел на жаргон — такого рода жаргон, который понятен школьникам. — Будем жить... ну, как два пацана, — неестественно растягивая слова, произнес он. — А пацаны, — продолжал он сбивчиво, словно импровизируя, — пацаны они всегда пацаны. Настоящие

---

<sup>29</sup> Собор Святого Павла — англиканский собор в Лондоне, на вершине холма Лудгейт. Храм посвящен апостолу Павлу, в нем сегодня размещается резиденция епископа Лондона.

однокашники. Мы с тобой будем закадычными, правда, Энтони?

Энтони снова кивнул. Он испытывал смешанное чувство стыда и недоумения. Слово «однокашники» было взято из школьной летописи. Читать это без смеха было невозможно — обычно чтение сопровождалось злобным улюлюканьем. Однокашники! И это он и его отец! Он почувствовал, как краснеет. Высунув голому из бокового окна, чтобы скрыть волнение, он увидел, как одна из серых птиц слетела с неба и приближалась к мосту все ближе и ближе. Затем она изменила курс, взяв влево, сверкнула, преобразилась и тотчас же исчезла.

В школе все было ужасающе «как нужно». Казалось, уж слишком натянуто. Одноклассники вежливо соблюдали его неприкосновенность, не оскорбляя его бурным проявлением собственного хорошего настроения и, продемонстрировав ему несколько раз свою фальшивую и неестественную дружбу, оставили его в покое. Это, как Энтони скоро обнаружил, было равносильно полному бойкоту. Отношение к нему в классе было хуже, чем к вору и доносчику. Никогда с самых первых дней пребывания в школе он не чувствовал себя таким покинутым, как в этот вечер.

— Жаль, что ты сегодня не был на футбольном матче, — сказал Томпсон, когда все сели ужинать. Он говорил будто с приехавшим навестить его родным дядей.

— Хорошо сыграли? — спросил Энтони с той же наигранной вежливостью.

— О, великолепно! Правда, мы проиграли. Два-три. — Разговор почти выдохся. Чувствуя неудобство, Томпсон судорожно думал, что сказать теперь. Прочитать ему лимерик о леди из Илинга, сочиненный Батервортом? Нет, сегодня он не станет говорить этого вслух, когда мать Бивиса... Тогда что? Громкий смех на конце стола снял напряжение. Теперь у него была уважительная причина, чтобы отвернуться. — Что там такое? — закричал он с деланным интересом, и скоро они уже болтали и смеялись вместе. Словно одевший шапку-невидимку, Энтони смотрел и слушал.

— Агнесса! — кто-то позвал служанку. — Агнесса!

— Агнесса прекрасная принцесса! — сказал Марк Стейтс приглушенным голосом, чтобы она не слышала. Любое оскорбление слуг считалось в Балстроуде тягчайшим преступлением, и именно потому фраза была встречена с огромным энтузиазмом, даже несмотря на *sotto voce*<sup>30</sup>. «Прекрасная принцесса» вызвала взрыв хохота, хоть сам Стейтс остался невозмутимым. Отсутствие реакции на смех, причиной которого был он сам, придало ему несравненное ощущение превосходства и силы. Кроме того, в традициях его семьи было не улыбаться. Не было случая, когда бы Стейтс разделил овацию, вызванную своей шуткой, эпиграммой или остроумным ответом.

Оглядев стол, Марк Стейтс увидел, что Вениамин Бивис, этот несчастный с лицом ребенка, не смеялся, как остальные, и на мгновение почувствовал страстное негодование к тому, кто осмелился не выказать удовольствия от его шутки. Оскорбление усилилось еще более оттого, что Вениамин не представлял из себя ничего особенного. Не умел играть в футбол, еле-еле держал в руках крикетную битку. Единственное, в чем он был хорош, так это в работе. Работа! И этот оборвыш посмел сидеть с постным лицом, когда он... Но внезапно он вспомнил, что у бедняги умерла мать и, немного оттаяв сердцем, наградил его, находившегося на почтительном расстоянии, улыбкой с тенью признания и сочувствия. Энтони улыбнулся в ответ и сразу же отвел взгляд, покраснев от едва заметной смущения, будто его поймали на чем-то недозволенном. Сознание собственного великодушия по отношению к растерявшемуся Вениамину восстановило Стейтса в хорошем расположении духа.

— Агнесса! — крикнул он! — Агнесса!

Огромная, вечно сердитая служанка наконец появилась.

— Еще джема, пожалте.

---

<sup>30</sup> Приглушенный голос (*итал.*).

— Джема еще, — пропищал Томпсон. Все снова засмеялись, не потому, что шутка оказалась удачной, а просто из-за того, что хотелось посмеяться.

— И хлэфа.

— Н-да, еще хлэфа.

— Агнесса, пожалте еще хлэфа.

— Да уж, тебе хлэфа, — с негодованием выговорила служанка, поднимая со стола пустое блюдо из-под бутербродов. — Почему ты не можешь сказать нормально?

Взрыв смеха прозвучал с удвоенной громкостью. Нет, они никак не могли сказать нормально, совершенно не могли, ибо в соответствии с традицией, которая существовала в Балстроуде, хлеб именовался хлэфом в знак спайки всех учеников, и это давало им превосходство над всем окружающим непосвященным миром.

— Еще, еще пепина хлэфа, — орал Стейтс.

— Хлэфовина-пепин, хлэфовина-пепин!

Смех дошел до стадии истерики. Все вспомнили случай, произошедший в прошлом семестре, когда они проходили Пепина ле Брефа по истории Европы. — Пепин ле Хлэф! Пепин ле Хлэф!

Первым взорвался Батерворт, затем Пембрук-Джонс, вслед за ними Томпсон и, наконец, все второе отделение, возглавляемое Стейтсом. Старик Джимбаг попался на самую страшную наживку, что, однако, выглядело еще смешнее.

— Шайка маленьких идиотов, — отрезала Агнесса и, увидев, что они все еще смеются, ушла на кухню и принесла оттуда еще один поднос хлеба. — Просто дети! — повторила она с явным намерением оскорбить их. Это тем не менее нисколько не покорило ораву, вызвав нулевую реакцию. Дети не обращали на нее внимания, закатываясь как помешанные от беспричинного смеха.

Энтони посмеялся бы вместе с ними, но губы его были способны всего лишь на робкую улыбку, отчужденно вежливую, какой улыбается не владеющий языком иностранец, который не сумел уловить смысл шутки, но хочет выразить свое одобрение тем, кто желает повеселиться. Минуту спустя, почувствовав голод, он внезапно обнаружил, что его тарелка пуста. Просить еще хлеба, хотя бы ломтик, святому изгнаннику было бы бесчестным и наглым — бесчестным, потому что человеку, которого смерть матери сделала почти мучеником, определенно не подобало издеваться и говорить на жаргоне, а наглым, потому что чужак не имел права пользоваться языком, которым говорила элита. Он колебался в нерешительности и наконец вымолвил:

— Передайте мне, пожалуйста, хлеба.

Слова прозвучали крайне глупо и неестественно, и Энтони охватил огонь, прожегший его до корней волос.

Вплотную прильнув к соседу с другой стороны, Томпсон восторженно шептал ему на ухо лимерик.

— ...По всему потолку! — закончил он, и все заверещали от хохота. Слава богу, Томпсон не расслышал. Энтони испытал глубокое облегчение. Несмотря на чувство голода, он не стал просить во второй раз.

У главного стола началась толкотня. Старый Джимбаг поднялся на ноги. Невыносимый, оглушающий грохот стульев,двигаемых по деревянной поверхности, наполнил помещение, затем растворился в гробовой тишине.

— За все, что мы получили... — Речь оборвалась, и ученики затопали к двери.

В коридоре Энтони почувствовал чью-то руку на плече.

— Привет, В-вениамин!

— Привет, Фокс! — Он не назвал его Лошадиной Мордой из-за того, что произошло этим утром. «Лошадиная Морда» прозвучало бы так же неблагозвучно и неуместно при данных обстоятельствах, как только что Вениамин.

— Я х-хочу к-кое-что т-тебе показать, — сказал Брайан Фокс, и его угрюмое, совсем некрасивое лицо, казалось, внезапно просияло, когда он улыбнулся Энтони. Над Фоксом

смеялись, потому что он заикался и был похож на лошадь, но почти все его любили. Даже несмотря на то, что он слишком много зубрил и не был хорошим игроком. Он был примерным учеником, не любил грубых шуток и ни разу ни в чем не провинился перед учителями. Но даже при всем этом он был всеобщим любимцем из-за своей чистоты и порядочности. Был, может быть, слишком порядочным, поскольку держаться с Нью Багзом так, как это делал он, — совсем на равных — было, очевидно, неправильно. Смело со стороны девятилетних считать себя ровней тем, кому одиннадцать или двенадцать. Нет, Фокс определенно заблуждался насчет Нью Багза, в этом не было сомнения.

— Что у тебя там? — спросил Энтони, чувствуя огромную благодарность к Лошадиной Морде за то, что тот обращался с ним нормальным, естественным образом, и за то, что говорил слегка грубовато, боясь, как бы Энтони не догадался, что таится у него в душе.

«Пошли, покажу, — хотел сказать Брайан, но у него вышло всего лишь: — п-п-п...» Долгое шлепанье губами затянулось. В другой раз Энтони мог бы засмеяться и крикнуть: «Смотрите, Лошадиная Морда изображает морскую болезнь!» Но сегодня он не сказал ничего, только подумал, как несчастен, должно быть, был этот бедный парень. В конце концов Брайан Фокс отказался от попытки произнести «Пошли, покажу» и вместо этого выдал из себя: «В моей к-коробке для игрушек».

— З-здесь, — сказал Брайан, приподнимая крышку своего ящика. Энтони взглянул внутрь, и при виде изящного маленького корабля с тремя мачтами, квадратным рангоутом и бумажными парусами воскликнул:

— Слушай! Во здорово! И ты сделал это сам?

Брайан кивнул. К его услугам была целая столярная мастерская — все инструменты, которые могли пригодиться. Вот почему судно было так похоже на настоящее. Он хотел уже рассказать, что представляет собой каждая частица корабля, и разделить восторг от достигнутого с Энтони, но боялся своего заикания. Этот восторг исчез бы немедленно, как только он начал тщательно все описывать. Кроме того, рангоут было ужасным словом.

— М-мы ис-с-спытаем его сегодня ночью, — с удовлетворением выговорил он. Улыбка, сопровождавшая слова, несомненно служила извинением за всю нечеткость, с которой они были произнесены. Энтони улыбнулся в ответ. Они понимали друг друга.

Бережно, любовно Брайан открепил три мачты и опустил их вместе с парусами во внутренний карман жилета. Корпус поместился в кармане бридж. Зазвенел звонок, возвещавший об отходе ко сну. Брайан покорно закрыл ящик с игрушками, и им снова пришлось карабкаться по ступенькам.

— С-сегодня я в-выиграл п-пять л-лишних игр с м-моим с-ста-рым л-л... к-крейсером, — поправился он, сочтя слово «линкор» слишком тяжелым.

— Пять! — выкрикнул Энтони. — Вот молодец, старина Лошадиная Морда!

Забыв о том, что он был парией, святым изгнанником, Энтони во весь голос расхохотался, почувствовав радость и легкость. Такое с ним случилось всего один раз — в спальне, где он раздевался, — из-за зубного порошка.

«Два раза в день, — чудилось ему. Он вспоминал, как опускал смоченную щетку в розовую пыль, пахнущую карболкой. — И если у тебя есть время, после обеда тоже. Из-за микробов».

«Но, мама, не могу же я в самом деле чистить их три раза в день!»

Удар по его самолюбию (она что, сомневалась в чистоте его зубов?) вынудил его на грубость. Он придумал отговорку, вспомнив, что в школе было не принято уходить в спальню в течение дня.

С другой стороны деревянной стенки, отделявшей его комнату от комнаты Энтони, Брайан Фокс тщился влезть в пижаму. Сперва левая штанина, затем правая. Но, только начав натягивать их, он вдруг чуть не закричал от внезапно пришедшей ему в голову мысли: а что, если и его мама вдруг умрет? Она действительно могла умереть. Если это случилось с матерью Бивиса, может случиться и с его. И тотчас же он увидел ее лежащей в домашней постели ужасно бледной. И предсмертный хрип, тот самый предсмертный хрип, о котором



так часто приходилось читать, — он отчетливо услышал его. Он был похож на шум, издаваемый одной из деревянных погремушек, которыми пугают ворон. Громкий и непрерывный, как будто исходивший от машины. Человек, пожалуй, такого бы издать не смог. И тем не менее он исходил из ее рта. Хрип был предсмертным. Она умирала.

Брайан стоял подле в брюках, закатанных по колено, в безмолвии уставившись глазами, полными слез, на покрытую коричневым лаком перегородку. Горе было непоправимым. Гроб, затем опустелый дом, и, когда он будет ложиться спать, никто не придет пожелать ему спокойной ночи.

Внезапно выведя себя из состояния неподвижности, он натянул пижамные брюки и порывистым движением завязал тесемки.

«Но она не умерла, — сказал он себе. — Не умерла».

Через две перегородки, в спальне Томпсона, вдруг раздался изрыв от привязанной к ручке хлопушки, когда кто-то резко открыл дверь. Послышались крики, затем взрывы смеха. Засмеялся даже Брайан, который обычно не находил ничего смешного в том, что человека с ног до головы обсыпало конфетти. Но в этот момент он почувствовал громадное облегчение, и любой повод для смеха был кстати. Она была все еще жива. И словно ей понравилось бы то, что он смеется над вещью достаточно искусной, он просто выплеснул наружу свою благодарность ей. Он захохотал, зачем внезапно осекся, подумав о Бивисе. Его мать была по-настоящему мертва. О чем должен думать он? Брайан почувствовал стыд, оттого что посмел смеяться над этим.

Потом, когда везде потушили свет, он взобрался на решетку в изголовье своей постели и, заглянув поверх перегородки в комнату Энтони, прошептал:

— Слышь... п-пойдем п-посмотрим, как плавают н-новый к-к... новое судно?

Энтони вылез из постели и надел халат и туфли, поскольку ночь выдалась холодная. Затем он бесшумно встал на стул и оттуда, отдернув длинную байковую занавеску, на оконный эркер. Занавеска качнулась за его спиной, оставив его перед стеклом, соединяющим края толстой стены.

Окно было узким и высоким и делилось на две части. Нижняя, большая часть состояла из двух рам; маленькая фрамуга сверху крепилась с помощью шпингалетов и открывалась наружу. Когда рамы были закрыты, нижняя из них образовывала узкий выступ, стоя на котором мальчик мог без труда просунуть голову и плечи сквозь небольшое квадратное отверстие сверху. Высунувшись из него, можно было видеть черепичный скат, и прямо перед окном шел длинный желобок для дождевой воды.

Желобок! Брайан был первым, кто открыл его возможности. Кусок торфа, украдкой пронесенный в спальню в оттопыренном кармане, несколько камней — вот и все, что требовалось для сооружения дамбы. Когда она была построена, нужно было собрать все кружки для умывания, наполнить их водой и вылить все их содержимое в желобок. На следующее утро умывание отменяется, ну и что? Длинное, узкое море потянулось по крыше в темноту. Утлое суденышко плыло по нему, и эти пятьдесят футов безбрежного океана будили воображение. Единственной опасностью являлся дождь. Если он был сильным, то кто-то должен был во что бы то ни стало сломать дамбу. Иначе желобок бы переполнился, что повлекло невольное расследование и малоприятное наказание. Устроившись высоко между холодным стеклом и ворсистой байковой занавеской, Брайан и Энтони высунулись каждый из своего окна в темноту. Кирпичная стенка была единственным, что разделяло их, и они говорили шепотом.

— Ну, а теперь, Лошадиная Морда, — скомандовал Энтони, — дуй!

И, как мифологический Зефир на картинке, Лошадиная Морда дунул. Под грузом бумажного паруса лодка медленно скользила по узкому водоходу.

— Здорово! — в упоении произнес Энтони и, перегнувшись через раму так, что его щека почти соприкасалась с водой, стал следить полузакрытым, специально невооруженным глазом, как игрушка приближается, превращаясь, словно в сказке, в огромный трехмачтовый, зыбкий фантом, появляющийся издали, безмолвно прорезающий тьму идвигающийся

прямо на него. Огромный линкор в сто десять орудий под тучевидным парусом, надуваемым норд-остом, несется со скоростью в десять узлов, и восемь колоколов бьют с... Он резко вздрогнул, как только передняя мачта пришла в соприкосновение с его носом. Мечта вновь стала реальностью.

— Как самый настоящий корабль, — сказал он Брайану, повернув маленькую лодочку в другую сторону. — Нагни голову и скоси взгляд. Я буду дуть.

Медленный, величественный трехмачтовый поплыл обратно.

— П-похож на «Борющегося Т-т...». Ты знаешь эту картину.

Энтони кивнул. Он никогда не любил выдавать свое незнание.

— Т-темерера, — наконец выговорил тот.

— Да, да, точно, — с явным нетерпением произнес Энтони, как будто знал это всю жизнь. Он снова согнул голову, чтобы еще раз взглянуть на огромный линкор в сто десять орудий, гонимый норд-остом; маленькое суденышко не хотело уступать ветру. И все же это был прекрасный корабль.

— Прекрасный! — сказал он вслух.

— Т-только с-слегка п-перекошен, — отвечал Брайан, критикуя свою работу.

— Мне очень нравится, — похвалил Энтони. — Он словно крестится под штормовым ветром. Крестится. — Ему доставило огромное удовольствие произнесение этого слова — он никогда не употреблял его, только видел в книгах. Восхитительное слово! И, не отказывая себе в удовольствии повторить его еще раз, произнес: — Гляди, как он крестится, когда дует ураган.

Он дунул, и маленький кораблик чуть не опрокинулся. Ураган, говорил он про себя, сбил его вправо, разорвав передние брам-стенги<sup>31</sup> и спинакеры<sup>32</sup>, сделал пробоину в нашем единственном корабле, накренил его так, что планшир коснулся воды... Но дуть не переставая долгое время было утомительно. Энтони посмотрел наверх, взгляд его бродил по небосклону, и он напряженно вслушивался в тишину. Воздух был на удивление безмолвным, ночь почти безоблачной. А какие звезды! Вон Орион, у которого ноги запутались в ветвях старого дуба. Вон Сириус и еще тысячи, миллионы, чьих названий он не знал.

— О боже! — прошептал он наконец.

— К-как ты д-думаешь, д-для чего их с-столько? — спросил Брайан после долгого молчания.

— Кого, звезд?

Брайан кивнул.

Вспомнив слова дяди Джеймса о том, что они совершенно бесполезны, Энтони дал соответствующий ответ.

— Но должно же б-быть у них какое-то п-предназначение, — возразил Брайан.

— Почему?

— П-потому что все д-для чего-то с-создано.

— Я не верю в это.

— Н-ну, допустим, п-пчелы, — с усилием произнес Брайан. Энтони был потрясен. Они изучали ботанику у старого Бамфейса, рисовали всякие пестики и тычинки. Пчелы — конечно же они для чего-то существовали. Как жаль, что он не помнил дословно, что говорил дядя Джеймс. Железные что-то природы. Но что железное?

— И г-горы, — старательно артикулировал Брайан. — Если б-бы их н-не было, н-не шел бы д-дождь.

— Ну и для чего, ты думаешь, они существуют? — поинтересовался Энтони, указывая

---

<sup>31</sup> Брам-стенга — стенга является продолжением мачты, а брам-стенга — продолжением стенки.

<sup>32</sup> Спинакер (англ. spinnaker) — тип паруса, предназначенный для использования на полных курсах, от галфвинда до фордевинда.

на звезды движением подбородка.

— М-может быть, т-там живут л-люди.

— Разве только на Марсе, — сказал Энтони с непоколебимостью ортодокса.

Наступила тишина. Затем уверенно, будто наконец решившись высказаться чего бы то ни стоило, Брайан произнес:

— Ин-ногда мне к-кажется, что з-звезды н-наделены ж-живой д-душой. — Он с опаской взглянул на своего собеседника: не собирается ли Вениамин смеяться. Но Энтони, смотрящий на небо, не показывал ни малейшей тени издевки, лишь кивал с серьезным видом в знак согласия. Стыдливая, беззащитная тайна Брайана была в безопасности, не получив оскорбительного удара. Он чувствовал глубокую благодарность, но внезапно какая-то огромная волна поднялась в его душе, словно буря. Его почти душил странный прилив братской любви и (о боже! Если бы это была моя мать!) всепоглощающего сочувствия к бедному Вениамину. В горле застыл комок, на глаза навернулись слезы. Ему захотелось сжать руку Вениамина, но он, вовремя поборов порыв, сдержался.

Тем временем Энтони все еще рассматривал Сириус. «Жива, — повторил он про себя. — Жива». Сириус был похож на сердечко на небе, пульсирующее светом. Тотчас же Энтони припомнился птенец, которого он нашел на прошлых пасхальных каникулах. Он лежал на земле и не мог летать. Мать посмеялась над Энтони, потому что он не захотел поднять птичку. Больших зверей он любил, но по какой-то причине ему становилось страшно, когда нужно было прикоснуться к чему-то маленькому. В конце концов, сделав над собой усилие, Энтони взял птенца в руки, и это маленькое создание теперь показалось сердечком в оперенье, удары которого он ощущал ладонью и пальцами. Там, в вышине, над кронами деревьев, Сириус был другим сердцем. Живым. Но дядя Джеймс несомненно стал бы смеяться.

Уязвленный этим несуществующим презрением и стыдясь оттого, что его неприкрытая детскость вышла наружу, он негодуяще выговорил, отворачиваясь от звезд:

— Они не могут быть живыми.

Брайан поморщился. «Почему он рассердился?» — удивился он. Затем промолвил вслух:

— Ну если Б-бог жив...

— Мой отец не ходит в церковь, — возразил Энтони.

— Н-нет, п-просто... — Как не хотелось ему вступать в спор прямо сейчас.

Энтони не мог больше ждать.

— Он не верит во всю эту чушь.

— Н-но дело в Б-боге, не в ц-церкви. — О, если бы ему не мешало это чудовищное заикание! Он бы выразил свои мысли так ясно, он бы в точности повторил все, что говорила его мать. Но неведомо почему даже ее слова казались в эту минуту неуместными. Дело не в том, что говорить, а в том, чтобы заботиться о людях, заботиться и не причинять им боли.

— Мой дядя, — сказал Энтони, — совсем не верит в Бога. И я тоже, — добавил он исподтишка.

Но Брайан не принял вызов.

— П-послушай, — резко выпалил он. — П-послушай, В-в-в... — Напряжение, которое он испытывал теперь, вынудило его заикаться еще сильнее. — В-вениамин, — наконец произнес он. Было невыносимо осознавать, как любовь, закипевшая в нем, так грубо обманута. Сдерживаемый причудливо бессмысленным заграждением, бурный поток ширился и наполнялся, набирая силу, пока наконец не достиг такой духовной мощи, что, забыв о странности подобного поступка, Брайан положил руку на плечо Энтони. Пальцы опустились по рукаву, пока не коснулись обнаженного запястья, но заикание всякий раз стояло между его чувством и тем, к кому оно было направлено. Он сжал руку мальчика отчаянно, словно скованный внезапным пароксизмом.

— Я ч-чрезвычайно с-сочувствую т-твоему г-горю, — продолжал Брайан. — Я н-не хотел г-говорить эт-того р-раньше. П-по крайней м-мере н-не перед вс-сми. З-знаешь, я д-д-

д... — Он еще крепче сжал руку Энтони, словно пытаясь восполнить свое косноязычие красноречивым жестом, пытаясь доказать ему, насколько мощен был поток в его душе, насколько он был неудержим, даже несмотря на многочисленные пороги в его русле. Он начал мысль сначала, набрав достаточно сил, чтобы перешагнуть этот барьер. — Я д-думал сейчас, — сказал он, — что это м-могла быть моя мать. О, Б-бивис, это, д-должно быть, ужасно!

Энтони смотрел на него сперва удивленно, с явно заметным подозрением, почти страхом, отобразившимся на лице. Но когда Брайан продолжил свою сбивчивую речь, первое чувство сострадания, сковавшее его, рассеялось, и, не чувствуя стыда, он заплакал.

Опасно балансируя на высоком выступе окон, они долго стояли, не проронив ни слова. У обоих щеки покрылись холодными слезами, но утешающая рука, схватившая запястье Энтони, была упрямо цепкой, как рука утопающего.

Внезапно из мрака налетел гулкий порыв ветра, взвив в воздух опавшие листья. Маленькое трехмачтовое судно пустилось, словно разбуженное после обморочного сна, бесшумно, с какой-то намеренной спешкой, кормой вперед по желобку.

Слуги легли спать, и в доме все стихло. Медленно, словно кошка в кромешной тьме, Джон Бивис вышел из своего кабинета и взобрался, миновав площадку мезонина, по отвесной лестнице, ведущей к гостиной, на третий этаж. Снаружи по пустынной мостовой зацокали копыта и тотчас смолкли во мраке ночи. Снова воцарилась тишина — тишина его одиночества, тишина (он содрогнулся) ее могилы.

Несколько секунд он стоял не двигаясь, вслушиваясь в удары своего сердца, затем уверенным шагом поднялся еще на две ступеньки, пересек темную площадку и, открыв дверь, включил свет. Его взору предстало собственное отражение в зеркале над туалетным столиком — он поразился бледности своего лица. Серебряные кисти были на месте, миниатюрные подносы, подушечки для игл, ряд хрустальных бутылей — все нетронуто. Он осмотрелся. Угол широкого розового одеяла загнут; он заметил две подушки, лежащие вплотную друг к другу, а над ними, на стене, висела фотогравюра «Сикстинской мадонны», которую они купили вместе в магазине рядом с Британским музеем<sup>33</sup>. Обернувшись, он снова увидел себя в зеркале гардероба в полный рост, в траурном сюртуке. Гардероб... Он шагнул в середину комнаты и повернул ключ в замке. Тяжелая стеклянная дверь распахнулась, издав характерный скрип, и внезапно он ощутил до боли знакомый запах ее присутствия, едва уловимое благоухание фиалкового корня, к которому примешивался, как и раньше, аромат каких-то более острых, гонких духов. Серое, белое, зеленое, розовое, цвета раковины, черное — он пересчитал ее платья.

Казалось, будто она умирала десять раз и десять раз висела здесь, обмякшая, пугающе обезглавленная и все же, будто в насмешку, с ореолом вокруг головы, прекрасно-таинственным, одухотворенным символом ее жизни. Он протянул руку и дотронулся до гладкого шелка, кисеи, бархата... Потревоженные прикосновением складки пахнули ароматом еще сильнее. Он закрыл глаза и вдохнул запах, воображая, будто она здесь. Но все, что осталось от нее, было предано огню, а пепел покоился на дне той ямы на Лоллингдонском кладбище.

— Останься там! — отчетливо прошептали тубы Джона Бивиса.

Комок еще сильнее подступил к горлу, слезы стояли в глазах. Захлопнув дверь гардероба, он отвернулся и принялся разоблачаться.

Внезапно он почувствовал все усиливающуюся дурноту. Ему стоило невероятных усилий умыться. Забравшись в постель, он тотчас же заснул.

В часы перед восходом солнца, когда свет нового дня едва забрезжил и уличный шум начал проникать сквозь темную завесу, окутавшую его мозг, Джону Бивису приснилось,

---

<sup>33</sup> Британский музей (англ. British Museum) — главный историко-археологический музей Великобритании и один из крупнейших музеев мира.

будто он идет по коридору, ведущему в его лекционный зал в Королевском колледже. Даже не идет, а бежит. Коридор вдруг оказался бесконечным, и какой-то неведомый голос требовал быстро добраться до конца и не опоздать. Не опоздать куда? Он не знал, но, убыстряя и убыстряя шаг, он чувствовал, что тошнота все усиливалась, как и раньше, мутящее отвращение нарастало и становилось все невыносимее с каждой минутой. Когда он наконец открыл дверь лекционного зала, вдруг оказалось, что это не лекционный зал, а спальня в их доме, и Мейзи лежала там на кровати, задыхаясь от приступа астмы; лицо ее было багрового цвета, ожидая страшного приближения неподвижности, а губы, похожие на два рубца, синели мертвенной бледностью. Сновидение было настолько ужасным, что он проснулся в холодном поту. Утренний свет слабо пробивался сквозь занавески, стеганое одеяло раздражало глаза малиновым цветом, зеркало в гардеробном шкафу блестело ослепительным блеском. Снаружи завывал молочник, обходя дворы: «Молоко-о-о!.. Молоко-о-о!..» Все было по-домашнему обычно, каждая вещь лежала на своем месте. Это был всего лишь кошмарный сон. Затем, повернув голову, Джон Бивис увидел, что место рядом на широкой постели пусто.

Колокольчик звенел все ближе и ближе, пробиваясь сквозь томную негу после глубокого сна, пока наконец его навязчивое дребезжание не приблизилось вплотную к вискам, беззастенчиво терзая обнаженный до нейросетчатки мозг. Энтони открыл глаза. Какой отвратительный шум! Тепло нагретой постели было божественным. Затем — это испортило все — он вспомнил, что первым уроком была алгебра с Джимбагом. Он содрогнулся. Эти жуткие квадратные уравнения! Джимбаг мог снова начать кричать на него. Это было нечестно, и он бы разревелся. Но потом ему пришло в голову, что Джимбаг не посмеет и пальцем тронуть его, памятуя о том, что произошло вчера. «Лошадиная Морда вел себя до неприличия положительно вчера вечером», — подумал он вновь.

Наступило время подъема. Раз, два, три — о, как холодно! Он только собирался натянуть сорочку, как кто-то осторожно постучал в дверь его спальни. Последнее движение, и его голова вышла на свет Божий. Он открыл. На пороге стоял Стейтс — ухмыляясь, но полный дружелюбия, хотя... Энтони растерялся. Недоверчиво, с неискренне приветливой улыбкой, он начал:

— Что случилось?

Стейтс приложил палец к губам.

— Сходи и посмотри, — прошептал он. — Выглядит бесподобно. Энтони польстило приглашение со стороны того, кто, будучи капитаном футбольной команды, имел право (и пользовался им) быть грубым с ним. Он боялся Стейтса и ненавидел его, и именно потому его особенно удивило то, что тот не постеснялся прийти к нему в комнату по своему собственному желанию.

Комната Стейтса уже была полна ребят. Заговорщицкое молчание таило в себе бурное и поэтому плохо скрываемое волнение. Томпсону пришлось запихать себе в рот носовой платок, чтобы удержаться от смеха, а Пембрук-Джонс корчился в беззвучных припадках хохота. Партридж, вклинившийся в узкое пространство между ножками кровати и умывальником, стоял, прижавшись щекой к перегородке. Стейтс коснулся его плеча. Партридж обернулся и вышел на середину комнаты; его веснушчатое лицо исказилось от ликования, он дергался и переминался с ноги на нету, словно у него рвался мочевой пузырь. Стейтс указал на освободившееся место, и Энтони, потеснив остальных, занял его. В заградительной стенке была проделана дырка, и сквозь нее было видно все, что происходило в соседней комнате. На кровати в одной шерстяной фуфайке и бандаже лежал Гогглер Ледвидж. Его глаза за толстыми стеклами очков были закрыты, рот приоткрыт. У него был блаженный и кроткий вид, как у покойника во время отпевания.

— Он все еще здесь? — прошипел Стейтс.

Энтони повернулся с ухмыляющимся лицом и кивнул, затем вплотную прижался к глазку. Его особенно рассмешило то, что это Гогглер, школьный клоун, козел отпущения, которого слабость и робость заранее обрекли на гонения. Теперь появилась новая приманка.

— Давайте устроим ему темную, — предложил Стейтс, забравшись на перила в изголовье кровати.

Партридж, бывший центральным нападающим в лучшей из двух футбольных команд школы, сделал движение, чтобы последовать за ним. Но Стейтс повернулся, на этот раз к Энтони.

— Давай, Бивис, — прошептал он. — Давай вместе. — Он хотел вести себя полегче с беднягой из-за случившегося с ним. Кроме того, ему польстило то, что он сумел осадить этого оболтуса Партриджа.

Энтони принял лестное предложение почти с охотой и вплотную подошел к Гогглеру. Остальные толпились у изголовья. По сигналу Стейтса все выровнялись и, высунув головы из-за перегородки, загудели презрительно.

Гогглер снял напряжение сдавленным смехом; его зрачки расширились, полные ужаса, лицо на секунду сделалось белесым, затем вспыхнуло. Двумя руками он напялил на себя сорочку, но та была слишком коротка, чтобы прикрыть его наготу или хотя бы грыжу. До нелепости коротка, как детская фуфайка. «Попробуем сделать так, чтобы она прослужила еще один сезон, — говаривала его мать. — Эти шерстяные вещи ужасно дороги». Она пошла на огромные жертвы, чтобы отправить его в Балстроуд.

— Ну тяни же, тяни! — кричал Стейтс, полный сарказма и смелости от своих потуг.

— Почему Генрих Восьмой не позволял Анне Болейн<sup>34</sup> заходить в свой курятник? — спрашивал Томпсон.

Конечно же все знали ответ, и раздался взрыв смеха.

Стейтс поднял одну ногу с перекладки, стянул с ноги туфлю на кожаной подошве, прицелился и выстрелил. Она ударила Гогглера по лицу. Тот издал крик боли, выпрыгнул из постели, оставшись стоять с опущенными плечами, и тонкая, словно искалеченная рука поднялась, чтобы защитить голову. Он смотрел на ухмыляющиеся лица сквозь пальцы, закрыв появившиеся слезы.

— Сейчас достанется и вам, — прикрикнул Стейтс на остальных. Затем, оглядывая только что пришедших, что стояли на пороге, буркнул, сбросив вторую туфлю:

— Привет, Лошадиная Морда. Подойди и пульни в него. — Стейс поднял руку, но Лошадиная Морда запрыгнул на постель и схватил его за запястье.

— Нет уж, стой! — сказал он. — Остановись.

Энтони взял за руку Томпсона и, опершись на плечо Стейтса, размахнулся так сильно, как только мог. Гогглер юркнул под кровать. Туфля ударилась о деревянное ограждение за его спиной.

— Б-бивис! — крикнул Лошадиная Морда с таким укором, что Энтони испытал внезапный приступ стыда.

— Ему это не повредило, а? — проговорил он, словно извиняясь, и по какой-то странной причине обнаружил, что думает о той страшной могиле на Лоллингдонском кладбище.

Стейтс вновь обрел язык.

— Мне непонятно, чем ты занимаешься, Морда Лошадиная, — разгневанно взревел он и вырвал ботинок из рук Брайана. — Почему не думаешь о своем деле?

— Это н-не ч-честно, — ответил Брайан.

— Именно честно.

— Пятеро на одного.

— Но ты не знаешь, что он сделал..

— Мне вс... не важно.

— Тебе было бы важно, если б было понятно, — отрубил Стейтс и принялся

---

<sup>34</sup> Анна Болейн (англ. Anne Boleyn)(1507–1536) — вторая жена (с 25 января 1533 до казни) короля Англии Генриха VIII. Мать королевы Англии Елизаветы I.

изображать преступления Гогглера во всех красках.

Брайан опустил глаза, щеки его внезапно покраснели. Когда приходилось слушать, как других обливают грязью, ему казалось, что обливают грязью его.

— Посмотри, как краснеет Лошадиная Морда! — крикнул Партридж, и все заверещали от смеха, не столь, однако, издевательского, как у Энтони. У Энтони тем не менее было время испугаться своего позора, время отказаться от мысли о том откосе на Лоллингдонском кладбище и время для того, чтобы вдруг почувствовать непримиримую вражду к Лошадиной Морде. За то, что тот был слишком необычным, ведь у него было мужество иметь свое мнение, только он не умел возвыситься до того, чтобы высказать его. Это произошло именно потому, что он любил Лошадиную Морду, одновременно чувствуя отвращение к нему. Или, скорее, потому, что было гораздо больше причин, по которым ему нужно было быть снисходительным к нему — так же мало причин, с другой стороны, почему Лошадиная Морда одарен всеми теми качествами, которые отсутствовали у Энтони полностью или частично. Этот внезапный истерический взрыв смеха был выражением какого-то завистливого негодования против гордыни, которую он любил и которой восхищался. На самом деле любовь и очарование подчас оборачивались протестом и завистью, но оставались, как правило, в глубине подсознания из-за тайной неопределенности, откуда внезапный кризис, подобный нынешнему, мог извлечь их.

— Видел бы ты его, — заключил Стейтс. Почувствовав себя в более благоприятном расположении духа, он рассмеялся — позволил себе рассмеяться.

— С его повязкой, — добавил Энтони тоном, полным тошнотворного презрения. Грыжа Гогглера представила Фокса еще большим преступником.

— Угу, с его дурацкой повязкой! — одобрительно подтвердил Стейтс.

— Он безобразен, — упорствовал Энтони, теперь несколько смягчившись и изображая праведный гнев.

В первый раз после того, как Стейтс начал свой рассказ о похождениях Гогглера, Брайан посмотрел ему в глаза.

— Н-но п-почему он б-безобразнее всех? — забитым голосом спросил он. — В к-контде к-кон-цов, — заговорил он громче, и кровь снова хлынула ему в лицо, — он н-не единственный.

Повисла двусмысленная пауза. Конечно же, таких, как Гогглер, было много. Беда была в том, что на него одного валились вес-шишки, и лишь из-за того, что он носил очки, грыжевой бандаж и футболку не по размеру, на единственного, кто не скрывал своих недостатков и подставлял себя под удар. В этом была вся разница.

Стейтс повел наступление с другого фланга.

— Проповедь святейшей Лошадиной Морды! — издевательски забубнил он и в одно мгновение завладел вниманием остальных. — Черт! — его интонация резко изменилась. — Поздно уже. Отваливать пора.

## Глава 7

### Из дневника Э. Б.

*8 апреля 1934 г.*

Условный рефлекс. Какое безмерное удовольствие я получил от Павлова<sup>35</sup>, когда впервые прочел его. Последний крест на всех самообманах человека. Все мы были нелюди

---

<sup>35</sup> Иван Петрович Павлов (1849–1936) — русский физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года.

да жители пещерные. Собака гавкает — вот обнюхала фонарный столб, подняла заднюю лапу, закопала кость в землю. Кончился весь этот бред насчет свободы воли, прописные истины и вся подобная шелуха. В каждую эпоху живут те, которые будоражат умы. Ламетри<sup>36</sup>, Юм<sup>37</sup>, Кондильяк<sup>38</sup>, за ними всеми маркиз де Сад, последний и наиболее сокрушительный из всех революционеров мысли восемнадцатого столетия. Мало кто, однако, нашел в себе смелость последовать за скандальными доводами де Сада. Тем временем наука не стояла на месте. Просветительские взрывы и без де Сада потерпели крах. Деятнадцатому веку пришлось начинать все сызнова — и Гегелю<sup>39</sup>, и Марксу, и дарвинистам. Маркс и до сих пор сильно осаждаст наши мозги. Начало двадцатого столетия породило новое племя разрушителей — Фрейда и его продолжателей, и, когда они начали распространять свои законы замещения и вытеснения, появились Павлов и бихевиористы<sup>40</sup>. Открытие условного рефлекса, насколько я помню, как раз и положило конец всему. Хотя на самом деле он всего-навсего по-новому сформулировал учение о свободе воли. Если можно сформировать один условный рефлекс, то можно вместо него сформировать следующий. Научиться пользоваться собой правильно после того, как всю жизнь делал это шиворот-навыворот, что это, как не выработка нового условного рефлекса? Обедал с отцом. Он гораздо бодрее, чем тогда, когда я видел его в последний раз, только сильно постарел и, кажется, рад этому. Гордится тем, что с трудом выбирается из сидячего положения и медленно, с остановками шаркает по лестнице. Может быть, это поднимает его в его собственных глазах. Видимо, он только и ждет сочувствия, приказывая, чтоб оно последовало по первому его желанию. Ребенок кричит так, что мать спускается и не находит себе места возле него. Такие вещи у особого рода людей происходят с пеленок до гробовой доски. Миллер говорит, что старость — это скорее дурная привычка. Привычка ставить всем условия. Расхаживай, словно страдающий ревматизмом, и действительно обречешь свое брэнное тело на большие муки, чем раньше. Веди себя, как старик, и твое тело постепенно одряхлеет, — ты и будешь чувствовать себя, как старик. Тощий Панталоне в домашних туфлях — вот самый подходящий для этого образ. Если откажешься и научишься мотивировать свой отказ, не превратишься в Панталоне. Я считаю, что это по большей части верно. Как бы то ни было, мой отец сейчас с удовольствием играет свою роль. Одно из великих преимуществ пожилого возраста то, что при условии сравнительно неплохой материальной обеспеченности и не подводящем здоровье можно позволить себе ханжеское добродушие. Переселение в мир иной не за горами, жизненные неурядицы не воспринимаются так близко к сердцу, как в юные лета, и вполне можно взирать на все с высоты Олимпа. Мой отец, к примеру, с поразительным спокойствием рассуждал о мире. Да, люди совершенно дичают, и Европу абсолютно точно ожидает новая война, около 1940 года,

---

<sup>36</sup> Жюльен Офре де Ламетри (1709–1751) — французский врач и философ-материалист.

<sup>37</sup> Дэвид Юм (1711–1776) — шотландский философ, представитель эмпиризма и агностицизма, предшественник позитивизма, экономист и историк, публицист, один из крупнейших деятелей шотландского Просвещения.

<sup>38</sup> Этьен Бонно де Кондильяк (1715–1780) — французский философ, аббат. Вращался в кругу энциклопедистов, в 1768 году стал членом французской академии, был воспитателем внука Людовика XV, инфанта Фердинанда Пармского.

<sup>39</sup> Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) — немецкий философ, один из творцов немецкой классической философии и философии романтизма.

<sup>40</sup> Бихевиоризм (англ. behavior — поведение) — направление в психологии человека и животных, наука о поведении. Это направление в психологии, радикально преобразовало всю систему представлений о психике. Его кредо выражала формула, согласно которой предметом психологии является поведение, а не сознание.



по его мнению. Будет, конечно, гораздо хуже, чем во время войны четырнадцатого года, и может статься, вся западная цивилизация окажется грудой пепла. Но так ли уж это важно? Цивилизация вновь станет развиваться на других континентах и заново поднимется на опустошенных пространствах. Юлианское летоисчисление давно пошло вкось. Нам нужно мыслить себя живущими не в тридцатые годы двадцатого столетия, а между двумя ледяными веками. В конце он процитировал Гёте: «*Alles Vergangliche ist nur ein Gleichniss*»<sup>41</sup>. И то, что не вызывает сомнений, может считаться правдой. Но не обладает всей полнотой истины. Дилемма в том, как примирить убеждение, что мир большей частью — иллюзия, с тем, что не становится менее необходимым совершенствовать эту иллюзию? Как быть одновременно бесстрастным, но не безразличным, кротким и добродушным, как старец, и неумным, как юноша?

## Глава 8

30 августа 1933 г.

— Куда бы деться от этих слепней! — Элен растирала покрасневшую руку. Энтони воздержался от замечаний. Она взглянула на него мельком, не говоря ни слова. — Как ты отощал за последнее время! — наконец произнесла она.

— Маниакальное самоизнурение, — ответил он, не опуская руки, которой закрывал лицо от яркого света. — Вот из-за чего я здесь. Предназначен самой природой.

— Предназначен для чего?

— Для социологии, а в перерывах вот для этого. — Он поднял руку, сделал ею круговое движение, после чего рука вновь упала на матрас.

— Что значит «это»? — не отступала она.

— Это?.. — повторил Энтони. — Ну... — Он замялся. Ему не хотелось говорить о принципиальном разрыве между разумом и страстями, отвлеченных чувствах, рафинированных идеях. — Ну, скажем, ты, — наконец проговорил он.

— Я?

— Ну, полагаю, это мог быть кто-нибудь другой, — сказал он, Непритворно любуясь собственным цинизмом.

Элен тоже рассмеялась, но с горьким удивлением.

— Я — кто-нибудь еще?

— Это что значит? — грозно спросил он, посмотрев на нее из-под ладони.

— Значит то, что я говорю. Ты считаешь, что я должна быть здесь — истинная Я.

— Истинная Я! — издевательски повторил он. — Да ты рассуждаешь, как теософ.

— А ты рассуждаешь, как круглый идиот. Специально. Хотя уж ты-то не глуп.

Последовало долгое молчание.

Истинное Я? Но где, как и по какой цене? Да, прежде всего — по какой цене? Всякие Кейвелы и Флоренс Найтингейл<sup>42</sup>. Но такое казалось абсурдным и вдобавок смешным. Она нахмурилась, потом покачала головой и, открыв глаза, подернутые пеленой, искала ими какой-нибудь предмет в пространстве вокруг, который отвлек бы ее от бесполезных и навязчивых мыслей. Прямо перед ней сидел Энтони. Она секунду смотрела на него, затем с удивлением и неохотой подалась вперед, словно он был каким-то странным и невыносимо противным животным, и коснулась сморщенной розовой кожи, образованной шрамом, пересекавшим его бедро в дюйме или двух выше колена.

<sup>41</sup> «Все преходящее есть только символ» (нем). Эти слова произносятся мистическим хором в финале «Фауста».

<sup>42</sup> Флоренс Найтингейл (1820–1910) — сестра милосердия и общественный деятель Великобритании.

— Все еще болит? — спросила она.

— При быстрой ходьбе. И иногда в сырую погоду. — Он приподнял руку с матраса и, согнув правую ногу в колене, рассмотрел шрам. — След ренессанса, — задумчиво произнес он. — В виде гранатного осколка.

Элен вздрогнула.

— По всей видимости, это было ужасно. — Затем, с непонятно откуда взявшейся страстью, выкрикнула: — Как я ненавижу боль! — В ее голосе слышалось яростное, глубоко личное негодование. — Ненавижу! — повторила она, чтобы все на свете Кейвелы и Найтингейл слышали ее.

Она снова заставила его думать о прошлом. О том осеннем дне в Тидворте восемнадцать лет назад. О правилах поведения во время бомбежки. О сумасшедшем новобранце, который не добросил гранату. Об истерике и панике в самом начале войны, первоначальном ужасе. Теперь это казалось поразительно далеким и несовременным, как некая звезда, разглядываемая не с того конца телескопа. И даже боль, не прекращавшаяся месяцами, теперь почти ушла в небытие. Физически это было самое худшее, и память его, как память безумца, уже почти избавилась от этих образов.

— Нельзя помнить боль, — произнес он вслух.

— Я могу.

— И ты не можешь. Можно помнить сам факт и то, что ему сопутствовало.

Тот случай произошел в родильной палате на Том-Иссуар, а сопутствовали ему нищета и унижение. Ее лицо исказилось при этих словах.

— То, как все было, ты никогда не будешь помнить, — продолжил он.

— Ты даже не будешь помнить чувство наслаждения. Сегодня, например, ты *не помнишь*, что было полгода назад. И это к счастью. — Он улыбнулся.

— Подумай, что было бы, если бы ты помнила запахи всех духов и все поцелуи. Какой унылой была бы жизнь. И есть ли на свете женщина, которую Создатель наделил бы как памятью, так и хотя бы двумя детьми?

Элен охватило волнение.

— Я не представляю, как все это вообще возможно, — тихо сказала она.

— Именно так, — утверждал Энтони. — Муки и наслаждения новы всякий раз, когда мы их испытываем. Свежи, как весенняя листва. Каждая гортензия, аромат которой ты вдыхаешь, есть первая гортензия в твоей жизни. И первое заключение под арест...

— Ты снова говоришь, как идиот. — Элен сердито прервала его. — Запутался окончательно.

— Мне казалось, тебе становится яснее, — возразил он. — И все-таки чего ты от меня хотела?

— Я хотела, чтоб ты объяснил мне меня, себя, нашу жизнь, счастье. А ты разглагольствуешь, как философ. Глупый, как бревно.

— А ты сама? Совершила ты хоть один умный поступок? Специалист по счастью!

В этот момент в воображении обоих возник образ робкого человека в очках, из-за которых не было видно глаз.

Тот брак! Что в самом деле могло склонить ее? Старина Хью, конечно, был полон романтической любви, но достаточно ли этого? И в конце концов наступило разочарование. Прежде всего из-за разницы в возрасте. Он всегда горько усмехался, когда ему вспоминались их отношения с Хью. Уголки губ Энтони слегка подернулись. Для Элен, однако, последствия шутки могли оказаться роковыми. Он бы дорого дал, чтобы узнать все подробности, но через кого-нибудь еще, чтоб не принимать на себя роль хранителя ее тайн. Тайны были опасны, тайны опутывали ее с ног до головы, как паутина. Да, совсем как паутина.

Элен вздохнула, затем, расправив плечи, резко произнесла:

— Из двух петухов не сделаешь одного орла. Кроме того, это мое личное дело.

«Которое обернулось как нельзя лучше», — подумал он. Повисла тишина.

— Как долго ты провалялся в больнице после ранения? — Ее тон внезапно изменился.

— Почти десять месяцев. Было жуткое нагноение. Пришлось десять раз оперировать.

— Кошмар!

Энтони пожал плечами. По крайней мере, это уберегло его от военных окопов. Но по милости Божией...

— Странно, — произнес он, — в каком убогом обличий нас подчас посещает Господь! Блаженный идиот с ручной гранатой.

Если бы не он, я бы в корабельном трюме отправился во Францию и подход бы там — почти наверняка. Я обязан ему жизнью. — Затем после паузы: — И свободой в начале войны. Где гарантия, что я пережил бы отравление газами, такое, как в Ипре? — «Сошла на землю правда, Царь Царей». Ты, мне кажется, слишком молода даже для того, чтобы слышать о бедном Руперте. Тогда, в четырнадцатом году, это имя значило больше. «...Сошла на землю правда». Но он, однако, забыл упомянуть, что глупость сошла тоже. В больнице у меня было много времени, чтобы подумать о расширении империи на всю планету. Глупость сошла на землю, но не как царь, а как император, богоподобный Вождь Всей Арийской Расы. Мысль об этом отрезвила меня. Я почувствовал себя более здоровым и более свободным, чем был. И всем я обязан этому недоумку. Он был одним из верноподданных фюрера.

Опять помолчали. Голос Энтони зазвучал еще глуше.

— Иногда я нервничаю, как Поликрат<sup>43</sup>, потому что в жизни мне слишком часто выпадало счастье. Все будто специально складывалось в мою пользу. Даже это. — Он дотронулся до шрама. — Может быть, мне стоит что-то сделать, чтобы успокоить зависть богов, — бросить перстень в море во время следующего купания. — Он слегка усмехнулся. — Беда в том, что у меня нет перстня.

## Глава 9

2 апреля 1903 г.

Придя на Паддингтонский вокзал, мистер Бивис и Энтони заняли места в купе третьего класса и принялись ждать отправления поезда. Для Энтони железнодорожное путешествие до сих пор оставалось очень важным событием, почти священнодействием. Незрелый мужчина в душе всегда остается человеком *naturaliter ferroimlis*<sup>44</sup>. Взять, к примеру, этого зеленого монстра, который медленно и важно подползал сейчас к первой платформе, — если бы не Уатт и Стефенсон<sup>45</sup>, то это чудо технической мысли не выглядело бы так величественно под стеклянными сводами своего паровозного храма. Сама глубина восторга, который испытывал Энтони, вдыхая запах угля и горячего машинного масла, то произвольное желание, с которым его губы подражали звуку «чах-пах, чах-пах, чах-пах», говорили о том, что приход «Пыхтящего Билли» и «Ракеты» был чудесным образом предвосхищен неким прообразом локомотива, который существовал в душах мальчишек еще во времена палеолита. Чах-пах, чах-пах. Пауза, а потом душераздирающий свисток при выходе отработанного пара. Чудесно, здорово!

Две тучные невысокие пожилые леди в капорах и черных платьях, удивительно похожие на королеву Викторию, медленно проходили мимо, занятые поиском купе, где бы

---

<sup>43</sup> *Поликрат* (ум. 522 до н. э.) — древнегреческий торговец из Самоса, впоследствии ставший тираном. Случай с перстнем изложен Геродотом; на этот же сюжет написана баллада Шиллера «Поликратов перстень» (1797), известная в переводе В. А. Жуковского.

<sup>44</sup> *Здесь* естественное движение (лат.).

<sup>45</sup> *Уатт Джеймс* (1736–1819) и *Стефенсон Джордж* (1781–1848) — изобретатели парового двигателя.

им не перерезали горло и не заставили слушать непристойности. Мистер Бивис, по их мнению, выглядел, видимо, безупречно. Они остановились, советуясь между собой, но Энтони, высунувшись из окна, скорчил такую рожу, что они поспешили скрыться. Он победно улыбался. Занять хорошее купе было одним из неперенных атрибутов священнодействия, именуемого путешествием. Если сравнивать путешествие с игрой в безик<sup>46</sup>, то отделаться от случайного попутчика соответствовало марьяжу короля и дамы. Обед в вагоне-ресторане стоил столько же, сколько туз и король — двадцать шиллингов. А двойной безик (хоть это Энтони никогда не подсчитывал) равнялся отцепному вагону.

Раздался свисток помощника машиниста, и состав тронулся.

— Урра-а! — закричал Энтони.

Игра началась успешно: в первом же раскладе оказался марьяж. Но через несколько минут Энтони уже жалел, что спугнул пожилых дам. Выйдя из отрешенной задумчивости, мистер Бивис наклонился вперед и, коснувшись колена сына, спросил его тихим, но невыразимо проникновенным голосом:

— Ты помнишь, какое сегодня число?

Энтони с сомнением взглянул на отца, затем попытался изобразить на лице тяжелую работу мысли, многозначительно нахмурившись. В отце появилось что-то такое, что делало эту игру неизбежной.

— Сейчас посмотрим, — неестественным тоном произнес Энтони, — нас отпустили тридцать первого, или нет, это было тридцатое? Тогда была суббота, а сегодня понедельник...

— Сегодня второе, — проговорил отец тем же самым проникновенным голосом.

Энтони был озадачен. Если отец знает дату, то зачем спрашивает?

— Сегодня ровно пять месяцев, — пояснил мистер Бивис. Пять месяцев! Энтони стало нехорошо на душе. Он понял, о чем говорит отец. Второе ноября, второе апреля. Пять месяцев с тех пор, как она умерла.

— Второе число каждого месяца для нас святой день.

Энтони кивнул и отвел глаза, чувствуя неловкость и вину.

— Эта святая скорбь сплотила нас воедино, — продолжил мистер Бивис.

Господи, о чем он говорит? И зачем? Зачем он считает, что обязан говорить такие вещи? Это так ужасно, так неприлично; да, неприлично; не знаешь, куда спрятать глаза. Так бывало, когда после обеда у бабушки начинало громко урчать в животе.

Глядя на сына, отвернувшегося к окну, мистер Бивис ощутил его сопротивление и был уязвлен и опечален тем, что мальчик не испытывает той боли, какую испытывал он сам. Собственно говоря, он был даже возмущен. Конечно, мальчик еще слишком мал, чтобы полностью оценить свою потерю, но все же, но все же...

К невыразимому облегчению Энтони, поезд замедлил ход, останавливаясь на первой станции. Предместья Слау все медленнее и медленнее проплывали мимо окна. Вопреки всем правилам священной игры мальчику вдруг страстно захотелось, чтобы в их купе кто-нибудь сел. Бог услышал молитвы Энтони — этот кто-нибудь нашелся. В купе вошел багроволицый толстяк, которого Энтони в других обстоятельствах возненавидел бы от всей души, но теперь был готов полюбить от всего сердца.

Прикрыв рукой глаза, мистер Бивис снова погрузился в свое скорбное молчание.

Когда поезд отъезжал от Туайфорда, отец подсыпал соли на раны Энтони.

— Ты должен вести себя наилучшим образом, — высокопарно произнес он.

— Конечно, — коротко ответил Энтони.

— И всегда будь пунктуальным, — продолжал мистер Бивис — За столом не жадничай. — Он помедлил, улыбнувшись в предвкушении того, что собирается сказать, и

---

<sup>46</sup> *Безик* — карточная игра для двух или четырех игроков с использованием колоды в шестьдесят четыре карты.

перешел на жаргон: — Каким бы вкусным ни был харч. — Последовала секундная пауза. — И будь вежлив с Абигайлами, — добавил он.

Поезд свернул с магистрали на ветку дороги, петлявшей между высокими кустами рододендрона<sup>47</sup>. Вскоре показалась лужайка с островками деревьев, на дальнем краю которой стоял особняк с белыми оштукатуренными стенами. Дом был не слишком велик, но солиден, комфортабелен и элегантен. Такой дом мог принадлежать человеку, способному без подготовки цитировать при случае Горация<sup>48</sup> на латинском языке. Видимо, отец Рейчел Фокс, кораблестроитель, был человеком достаточно состоятельным, чтобы оставить дочери порядочное наследство. Должно быть, старику удалось каким-то изобретением заинтересовать лордов Адмиралтейства. (Как очаровательны эти желтые нарциссы в тени деревьев!) Сам Фокс тоже не бедствовал, занимая высокое положение в угольной промышленности. Однако, этот угрюмый, молчаливый и начисто лишенный чувства юмора человек, как вспомнилось мистеру Бивису, был не способен решить простейшую филологическую задачу со словом «карандаш». Хотя если бы Джон знал, что у бедняги язва двенадцатиперстной кишки, он не стал бы рисковать, задавая такие вопросы.

Миссис Фокс и Брайан встретили гостей у вагона. Мальчики сразу принялись за свои игры, а мистер Бивис последовал за хозяйкой в гостиную. Она оказалась высокой, стройной и чрезвычайно прямолинейной женщиной, в каждом движении которой сквозило что-то величественное, черты лица и все его выражение были полны благородной суровости, и мистер Бивис чувствовал себя слегка испуганным и потерянным в ее присутствии.

— Вы были очень добры, что пригласили нас, — сказал Джон. — Я не могу выразить словами, сколь много это значит... — Он поколебался секунду, но потом, вспомнив, что сегодня второе число, продолжил, понизив голос и покачав головой: — для моего маленького паренька, так рано лишившегося матери, провести каникулы здесь, с вами.

Пока он говорил, ее ясные карие глаза потемнели от сострадания. Всегда твердые, всегда серьезные, неприступно сомкнутые, почти скульптурно очерченные губы выражали больше, чем обыкновенную серьезность.

— Что вы говорите, я сама очень рада, что Энтони приехал к нам, — произнесла она теплым мелодичным и слегка дрожащим от избытка чувств голосом. — Эгоистично рада — из-за Брайана. — Она улыбнулась, и Джон заметил, что даже когда эта женщина улыбалась, ее губы каким-то непостижимым образом ухитрялись сохранять поразительную способность к выражению страдания, радости, серьезности и непорочности, которые были столь присущи миссис Фокс даже в те минуты, когда она не следила за своей мимикой. — Да, да, эгоистично, ибо когда счастлив он, счастлива и я.

Мистер Бивис кивнул, затем со вздохом добавил:

— Невольно чувствуешь благодарность, когда тебе достается Так много — быть свидетелем чужого счастья. — Он щедро предоставил Энтони право не мучиться, хотя, конечно, если бы ребенок был чуть постарше, он смог бы в полной мере осознать...

Миссис Фокс не продолжила эту тему. В его словах и манере было что-то, что показалось ей крайне неприятным, что-то, что посягало на ее понятие о чести, и она не замедлила избавиться от этих ненужных мыслей... В конце концов, самым важным, самым первостепенным было то, что бедняга страдал до сих пор. Фальшивая нота, если в данном случае вообще можно говорить о фальши, заключалась в самой попытке выразить скорбь.

Она предложила прогуляться перед чаем, и они вышли в сад, откуда направились на заросший травой и деревьями участок, примыкавший к дому. На небольшой просеке, что лежала у северной границы владения, три ребенка-инвалида собирали первоцветы. С мрачным проворством они передвигались на костылях от купы к купе бледно-золотых

---

<sup>47</sup> *Рододендрон* — кустарник сем. вересковых с крупными яркими цветами.

<sup>48</sup> *Гораций* (65–8 гг. до н. э.) — римский поэт, автор сатир, од и эподов.

цветов, громкими криками выражая свой неподдельный восторг.

Дети жили, как объяснила миссис Фокс, в одном из ее особняков.

— Трое моих калек, — назвала она их.

Услышав голос миссис Фокс, дети оглянулись и заковыляли через полянку по направлению к ней.

— Посмотрите, мисс, посмотрите, что я нашел!

— Мисс, посмотрите, что мы видели.

— Мисс, а как это называется?

Она отвечала на их вопросы, спрашивая их в свою очередь, и пообещала навестить их вечером. Чувствуя, что он должен сделать что-то для инвалидов, мистер Бивис начал рассказывать им о лингвистической путанице, происшедшей в среднеанглийский период со словом «первоцвет». Дети смотрели на него, в недоумении хлопая ресницами.

Наступила тяжелая пауза. Миссис Фокс поспешила сменить тему.

— Бедные малыши, — произнесла она, когда они наконец отпустили ее. — Они так счастливы, что действительно хочется плакать. А затем, спустя неделю, их снова придется отправить в трущобы. Это довольно жестоко. Но что можно сделать? Их слишком много. Нельзя держать все время одних в ущерб другим.

Несколько минут они шли молча, и миссис Фокс невольно поймала себя на мысли, что бывают также и моральные калеки. Люди с такими убогими и непостоянными чувствами, что не знают, как вообще нужно чувствовать, люди настолько ущербные, что не могут выразить себя. Может быть, Джон Бивис один из таких. Но как бесчестно она вела себя! И как самонадеянно! Не судите, да не судимы будете. И все же даже если это и так, то это просто еще одна причина чувствовать по отношению к нему сострадание.

— Думаю, пора пить чай, — громко произнесла она и, чтобы избавиться себя от искушения снова предаться суждениям, начала говорить с ним о тех школах для инвалидов, которые она помогла основать в Ноттингдейле и в Сент-Панкресе. Она описала жизнь малолетних инвалидов дома: родители ушли на работу и ни одной живой души с утра до вечера, плохая пища, отсутствие игрушек, книг, никаких развлечений — остается только лежать смиренно и ждать. Чего? Затем она рассказала ему об автобусе, отвозившем детей в школу, о специальных партах, занятиях, распоряжениях об обеспечении нормального питания.

— А наша награда, — сказала она, открывая дверь в дом, — то самое чувство счастья, которое задевает душу. Не могу отделаться от того, что к нему примешивается некий упрек, обвинение. Каждый раз, когда я вижу их, спрашиваю себя, какое право я имею занимать такое положение, которое позволяет мне с легкостью, потратив лишь немного своих денег и приятно проведя в небольших хлопотах немного времени, давать им это так называемое счастье? — Ее теплый, ясный голос дрогнул, когда она задавала этот вопрос. Она беспомощно воздела вверх руки, уронила их и вошла в гостиную.

Мистер Бивис молча последовал за ней. От ее последних слов на душе у него стало так же тепло, как после первого прочтения «Меры за меру»<sup>49</sup> или прослушивания игры Иоахима в концерте Бетховена<sup>50</sup>.

Мистер Бивис смог задержаться в доме миссис Фокс лишь на пару дней. На носу было заседание филологического общества, ну и, конечно, не могла ждать работа над «Словарем».

— Что вы хотите от старого книжного червя, — объяснил он хозяйке свой столь поспешный отъезд тоном, в котором сквозила жалость к себе, но не было ничего убедительного. Истина же заключалась в том, что мистер Бивис не мыслил себя без своей

---

<sup>49</sup> «Мера за меру» — трагикомедия Шекспира, написанная в 1604 г. на сюжет итальянской новеллы XVI в.

<sup>50</sup> Иоахим Йозеф (1831–1907) — венгерский скрипач, композитор и педагог, работавший в Германии. Бетховен Людвиг ван (1770–1827) — великий немецкий композитор.

работы, наслаждался ею, а без нее чувствовал бы себя совершенно потерянным и никчемным.

— Но вы точно уверены в том, — с беспокойством добавил он, — что Энтони не будет вам тяжелой обузой?

— Обузой? Да вы только посмотрите. — Она указала на газон за окном, где мальчики играли в велополо. — И дело не только в том, что я сильно привязалась к Энтони за последние два дня. В нем есть что-то бесконечно трогательное. Иногда он кажется очень ранимым. И это несмотря на весь его ум, понятливость и целеустремленность. В его существе есть какая-то часть, которая целиком и полностью зависит от милости окружающего мира. — Да, именно так, подумала она, от милости мира. При этом миссис Фокс представила себе ясный чистый лоб, невероятно трепетные чувствительные губы и мягкий, неагрессивный подбородок. Его очень легко обидеть и сбить с истинного пути. Каждый раз, встречаясь с его взглядом, она чувствовала перед ним ответственность и не вполне понятное ей самой ощущение вины.

— И все же, — сказал мистер Бивис, — бывают моменты, когда он до странности безразличен. — Воспоминание о том эпизоде в поезде не переставало терзать его. Хотя, конечно, он хотел, чтобы сын был счастлив, решив, что его собственное счастье заключалось в созерцании радости его ребенка. Но старое негодование было все еще живо — мистер Бивис расстраивался из-за того, что Энтони не выстрадал больше, старался противиться страданиям и избегать их, когда они начинали грозить ему. — Непонятно почему безразличен, — повторил он.

Миссис Фокс кивнула.

— Да, — согласилась она, — он носит на себе очень своеобразные доспехи. Ими он прикрыл свои самые чувствительные места, а все остальные открыты для поражения. Мелкие уколы отвлекают его от главных переживаний, служа неким противовесом. Это элементарная самозащита. Но тем не менее, — голос ее дрогнул, — тем не менее я считаю, что в жизни он будет здоровее духовно и будет счастливее, если научится поступать наоборот, закрывшись от мелких уколов и мелких радостей, открыв свои чувствительные и уязвимые места ударам судьбы.

— Абсолютно верно! — воскликнул мистер Бивис, понявший, что ее слова относились также и к нему.

Наступила тишина. Затем, вспомнив, о чем был задан вопрос, миссис Фокс уверенно возразила:

— Если бы я относилась к нему как к нахлебнику, я бы вряд ли была так очарована его присутствием здесь. Не только благодаря тому, что он из себя представляет, но и тому, кем он является для Брайана и кем Брайан является для него самого. На них так приятно смотреть. Мне бы хотелось, чтобы они были вместе каждые каникулы. — Миссис Фокс на секунду замялась, затем продолжила: — Действительно, если у вас нет никаких планов на лето, почему бы не осуществить этот? Мы сняли на август небольшой домик в Тенби. Почему бы вам с Энтони не обосноваться там?

Мистер Бивис счел мысль блестящей, и мальчики, когда им сообщили об этом, были в восторге.

— Значит, до встречи в августе, — сказала миссис Фокс, провожая его. — Хотя, конечно, — добавила она с кротостью, которая казалась еще большей из-за того, что причиной ее было напускное дружелюбие, — конечно, мы встретимся раньше.

Паровоз с грохотом тронулся, постепенно набирая скорость. Энтони бежал за поездом добрую сотню ярдов, изо всех сил махая платком и крича «До свидания» так громко и искренне, что мистер Бивис принял это проявление чувств за сожаления сына по поводу его отъезда. В действительности, конечно, это было проявлением переполнявших Энтони энергии и душевного подъема. Это возбуждение от сознания своего счастливого бытия переполняли мальчика потребностью в действии, что и выразилось в столь эмоциональном прощании. Мистер Бивис был тронут до глубины души. Но если б только, с грустью думал

он, если б только нашлась возможность направить эту любовь в нужное русло (кстати, и его любовь тоже), чтобы очистить их повседневные отношения от сухой натянутости! Женщины разбираются в таких вещах гораздо лучше. Было умилительно смотреть, как бедное дитя отвечает на заботу миссис Фокс. И может быть, продолжал размышлять он, может быть, все складывалось так лишь потому, что не нашлось до сих пор женщины, которая занялась бы воспитанием его чувств, и из-за этого Энтони пока казался таким черствым. Возможно, ребенок не смог искренне оплакать свою мать по той причине, что у него, собственно говоря, никогда ее не было. Получался порочный круг. Влияние миссис Фокс сослужило бы хорошую службу, и не только в этом деле, но и в тысяче других. Мистер Бивис вздохнул. Если бы только мужчина и женщина могли соединиться — не ради брака, а ради общей цели — ради детей, у которых нет отца или матери. Хорошая женщина, воспитательная, даже выдающаяся. Но несмотря на это (почти благодаря этому), союз могла скрепить одна лишь общая цель. Брак не нужен. Что ни говори, но на небесах его ждет Мейзи — он не подведет ее, ведь в союзе ради детей не было бы никакого предательства.

Энтони вернулся в дом, насвистывая «Жимолость и пчелу»<sup>51</sup>. Он был очень привязан к своему отцу — поистине привязан, силой привычки, как привязываются люди к родным местам, к традиционной кухне, — но это было именно чувство привязанности. Это чувство ни в коей мере не уменьшало неловкости, которую Энтони испытывал в присутствии отца.

— Брайан! — крикнул Энтони, приближаясь к дому, крикнул, ощутив легкие угрызения совести, поскольку назвал друга Брайаном вместо Фокса или Лошадиной Морды. Звучало это не по-мужски, даже слегка дискредитирующе.

Из классной комнаты донесся ответный свист Брайана.

— Предлагаю совершить велосипедную прогулку! — воскликнул Энтони.

В школе над стариной Лошадиной Мордой посмеивались из-за его любви к птицам.

— Послушайте, ребята, — говаривал Стейтс, беря Лошадиную Морду под руку. — Отгадайте, что я сегодня видел! Два куска бремотины и игреца на жалеке. — И гигантский взрыв хохота поднимался к потолку — хохота, к которому присоединялся и Энтони. Но теперь, когда никто не мог устыдить его за то, что он интересовался весенними перебежчиками, грачевниками и цапельными гнездами, он стал неутомимо наблюдать за птицами. Входя в дом, мокрый и грязный после дообеденной прогулки, он победоносно спрашивал, не давая Брайану вымолвить ни слова:

— Миссис Фокс, вы знаете, что мы слышали? Первого вальдшнепа (или первого королька-ивняка)!

И Рейчел Фокс говорила: «Как великолепно!» таким тоном, что Энтони весь наполнялся гордостью и счастьем. Казалось, что «игрецов на жалеке» никогда не существовало в природе.

После чая, когда занавески были задвинуты, а лампы внесены в дом, миссис Фокс читала им вслух. Энтони, которого Вальтер Скотт всегда мучил до смерти, неожиданно для себя был очарован «Судьбами Найгеля», чтения которых он ждал с большим нетерпением.

Наступила страстная неделя, и на некоторое время Найгеля отложили до лучшей поры. Вместо него миссис Фокс читала детям Новый Завет:

— Тогда говорит им Иисус душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты<sup>52</sup>.

Лампа отбрасывала на стол яркий, четко очерченный в темноте круг света, к которому тянулись красноватые волны от языков пламени в камине. Энтони лежал на полу, и из-за спинки высокого итальянского кресла, стоявшего в круге света, до его слуха доносились

---

<sup>51</sup> «Жимолость и пчела» — английская народная песенка.

<sup>52</sup> Евангелие от Матфея, 26: 38–39.



знакомые слова, произнесенные мелодичным теплым голосом миссис Фокс. Слова эти преобразались ее тоном и наполнялись неведомым ранее смыслом.

— И был час третий, и они распяли Его.

В десяти ударах пульса, которые Энтони отсчитал в наступившей тишине, были слышны удары молота по гвоздям. Бом, бом, бом... Он потер ладонь пальцами другой руки; тело его окостенело от ужаса, и по сжавшимся мышцам прошла сильная судорога.

— От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого<sup>53</sup>. — Миссис Фокс опустила книгу. — Вот одно из тех дополнений, о которых я говорила, — сказала она. — Узор, которым расцвечена эта история. Нужно задуматься о веке, в который жили авторы Евангелий. Они верили, что все это может произойти в действительности при каких-то важных обстоятельствах. Они хотели воздать честь Иисусу, хотели, чтобы рассказ звучал еще более удивительно. Но из-за этого легенда кажется нам, людям двадцатого столетия, менее правдоподобной, и мы не чувствуем в ней никакой чести для Иисуса. Для нас удивительное в том, — продолжала она, и в ее голосе зазвучало глубокое волнение, — что Иисус был простым человеком, не более способным творить чудеса и принимать их от других, чем любой из нас. Просто человек, и все же он мог делать то, что делал, мог быть тем, кем был. Вот и все чудо.

Наступило молчание. Лишь часы тикали, и шелковистое пламя билось о решетку. Энтони лежал на спине, уставившись в потолок. Все внезапно прояснилось. Дядя Джеймс был прав, но другие тоже не лгали. Миссис Фокс показала, как могут сосуществовать две правды. Просто человек, и все же... О, он тоже сможет делать и быть!

Миссис Фокс снова подняла книгу. Тонкие страницы шелестели, когда она переворачивала их.

— По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем<sup>54</sup>.

Камень... Но там, в Лоллингдоне была земля и один пепел в маленькой коробочке, не больше жестянки, Энтони закрыл глаза в надежде избавиться от навязчивого видения, но в багровой тьме рога, треугольная пакля рыжеватой шерсти преследовали его как наваждение. Он приложил руку ко рту и, чтобы наказать себя, начал кусать указательный палец — все сильнее, сильнее, пока боль не стала почти невыносимой.

В тот вечер, придя пожелать ему спокойной ночи, миссис Фокс села на край постели Энтони и взяла его за руку.

— Ты знаешь, Энтони, — произнесла она после недолгого молчания, — никогда не бойся думать о ней.

— Не бояться думать, — пробормотал он, словно не поняв, что она имела в виду. Однако он все осознал, осознал, может быть, больше того, что было сказано ею. Кровь бросилась ему в лицо. Он почувствовал ужас, как будто кто-то поймал его в ловушку, выгнал из надежного убежища. Страх возбудил в нем негодование.

— Не бойся страданий, — продолжала она. — Мысль о ней заставляет тебя скорбеть, это неизбежно, и это правильно. Скорбь иногда необходима, как операция, без нее не выздоровеешь. Если будешь думать о ней, Энтони, то это причинит тебе боль. Но если ты не будешь о ней думать, то обречешь мать на повторную смерть. Дух умершего пребывает в Боге, но он также живет в памяти живущих, помогая им, делая их выше и крепче. У мертвых может быть только этот вид бессмертия, если живые готовы дать его им. Ты воздашь ей этим, Энтони?

---

<sup>53</sup> Там же: 27: 45.

<sup>54</sup> Там же: 28:1–2

Безмолвно, в слезах он кивнул ей в знак согласия. Не столько благодаря самим словам, сколько благодаря тому, что они принадлежали ей, он почувствовал уверенность. Ее голос, звучавший повелевающе, успокоил всю боль, и мнительное негодование улеглось. С ней он чувствовал себя спокойным, и это спокойствие позволило ему рыдать, не опасаясь наказания.

— Бедный маленький Энтони! — Она погладила его по волосам. — Бедняга Энтони! Этому уже не поможешь, душа будет болеть всегда. И никогда ты не сможешь отделаться от боли при мысли о ней. Даже время не унесет всех страданий, Энтони.

Она погрузилась в молчание, и в течение минуты сидела, думая о своих отце и муже. Тучный величественный старик, похожий на пророка, сидевший в инвалидной коляске, парализованный и странно сморщенный, запрокинувший голову набок... Отец был тогда едва способен говорить, и по его седой бороде постоянно стекала струйка слюны... И человек, за которого она вышла замуж из восхищения его силой и уважения к его прямоте; она вышла замуж, но потом поняла, что не любила его, не могла, была не в состоянии полюбить; ибо его сила оказалась холодной и лишенной великодушия; его прямота оказалась грубой и жестокой. Боль смертельной болезни, которой он страдал, еще больше обострила эти черты. Он так и умер, не примирившись, до конца отвергая ее нежность.

— Да, всегда будут боль и печаль, — вновь заговорила она. — И в конце концов, — продолжила она с ноткой теплой гордости, почти вызова, — можно ли желать другого? Ты ведь не хочешь забывать свою мать, ведь так, Энтони? Или ты не хочешь больше волноваться по этому поводу? Всего лишь для того, чтобы избежать излишних страданий. Ты не хочешь этого?

Шмыгая носом, он покачал головой. Все сказанное было вполне справедливо. В этот момент он и не думал уклоняться. От испытанного страдания он ощущал какое-то непонятное облегчение, и он любил в этот момент миссис Фокс за то, что она сумела научить его страдать.

Миссис Фокс нагнулась и поцеловала его.

— Бедный маленький Энтони! — не уставала повторять она. — Бедный маленький Энтони!

На Страстную пятницу шел дождь, но в субботу погода переменялась, и пасхальный день выдался, как по заказу, ясным и каким-то золотистым, что подчеркивало величие этого дня. Воскресение Христа и возрождение природы — две стороны одной великой мистерии. Солнце, облака, похожие на осколки мраморной скульптуры в бледном синем небе, каким-то непостижимым способом подтверждали все сказанное миссис Фокс.

Они не пошли в церковь, и, сидя на газоне, она читала вслух сперва чин пасхальной литургии, а затем отрывки из «Жизни Иисуса» Ренана<sup>55</sup>. У Энтони на глаза навернулись слезы, и он чувствовал несказанное стремление к совершенству, к достижению целей возвышенных и благородных.

В понедельник привезли ватагу труппных детей, чтобы они могли провести день в саду или в подлеске. В Балстроуде их назвали бы попрошайками и игнорировали их существование. Ничтожные зверьки, что рвут из рук подачку, а вырастая, обычно превращаются в громил и разбойников. Здесь, пожалуй, все обстояло по-иному. Миссис Фокс превратила попрошайек в несчастных детей, которые, весьма вероятно, больше никогда не увидят дикой природы.

— Обездоленные дети, — сказал ей Энтони, когда они прибыли. Но несмотря на сострадание, которое он старался сохранять сообразно уровню своего развития, несмотря на неизменную гуманность, он втайне боялся этих чахлах, но до ужаса зрелых детей, с которыми он согласился играть и которых боялся и вследствие этого ненавидел. Они казались совершенно чуждыми. Их залатанная, грязная одежда, бесформенные ботинки

---

<sup>55</sup> Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский писатель богослов.

напоминали шкуру пятнистого леопарда; их кокни был понятен Энтони едва ли больше китайского. Даже их внешность заставляла чувствовать за собой вину. И вдобавок они смотрели на него как-то по-особенному, то с издевкой, то с ненавистью, завидуя его новому костюму или аристократическим манерам, а самые смелые из них перешептывались и смеялись между собой. Когда Брайан становился объектом их насмешек из-за заикания, он смеялся вместе с ними, и немного спустя смех прекращался или же становился дружелюбным или даже сочувственным. Энтони, наоборот, притворялся, что не замечает их издевки. Истинный джентльмен, как его учили прямо или намеками, на примере старших, не будет обращать внимания на такие вещи. Это ниже его достоинства. Он вел себя так, будто они вовсе не смеялись, то есть он игнорировал их присутствие, и они продолжали смеяться еще сильнее.

Он ненавидел это утро с прятками и английской лаптой. Но еще хуже оказалось обеденное время. Он предложил помочь накрывать стол. Работа сама по себе не вызвала возражений. Но запах бедности, когда двадцать детей собрались в столовой, был отвратителен, как запах Лоллингдонской церкви, только гораздо хуже, и ему пришлось два или три раза выбегать в ванную. «Пропахло микробами, — ему слышалось, будто мать сердито и испуганно ворчит: — Пропахло микробами». Когда миссис Фокс спрашивала его о чем-нибудь, он всего лишь кивал и издавал невнятный звук с закрытым ртом; если он говорил, ему приходилось глотать! Глотать что? Даже мысль об этом казалась ему омерзительной.

— Бедные дети, — повторил он еще раз, стоя на пороге с миссис Фокс и Брайаном и глядя, как они уезжают. — Несчастные дети! — И чувствовал еще больший стыд за собственное лицемерие, когда миссис Фокс благодарила его за помощь в их развлечении.

Когда Энтони поднялся в кабинет, она говорила, повернувшись к Брайану:

— Спасибо и тебе также, мой дорогой. Ты был великолепен. Зардевшись от похвалы, Брайан покачал головой.

— Это все т-ты, — протянул он и неожиданно, из-за сильной любви к ней, из-за ее доброты и чудесной искренности, расплакался.

Вместе они вышли в сад. Ее рука лежала у него на плече. От миссис Фокс слабо пахло одеколоном, и внезапно (это, казалось, добавило ей очарования) из-за туч вышло солнце.

— Посмотри, какие прекрасные нарциссы! — воскликнула она. Ее голос делал все, что она говорила Брайану, более истинным, чем сама истина. — И сердце пляшет и поет... Помнишь, Брайан?

Глаза его просияли, и он кивнул.

— Войдя в... Войдя в нарциссов хоровод<sup>56</sup>.

Обняв сына, она прижала Брайана к себе, чем вызвала его совершеннейшее ликование. Они шли, не говоря ни слова. Ее юбки шелестели при каждом шаге. Как море, подумал Брайан. Море в Вентноре, то время в прошлом году, когда он не мог спать по ночам из-за волн, бьющихся о берег. Лежа там в темноте, слушая дыхание моря в отдалении, он чувствовал страх и вместе с ним печаль, ужасную печаль. Но связанные с матерью воспоминания о том страхе, бездонной и беспричинной скорби стали прекрасными; в то же время тусклые и расплывчатые, они, казалось, придавали матери новую красоту, из-за чего она становилась еще более очаровательной в его глазах. Расхаживая по солнечной лужайке, она заключала в себе какую-то мистическую значимость, поглотившую ветер, тьму и зловещий шум прибоя.

— Бедняга Энтони! — сказала миссис Фокс, нарушив затянувшееся молчание. — Тяжело, невыносимо тяжело.

Тяжело было и бедной Мейзи, подумала Рейчел Фокс. Это милейшее создание и ее

---

<sup>56</sup> «И сердце пляшет и поет, / Войдя в нарциссов хоровод». — Брайан и миссис Фокс цитируют финальные строки стихотворения «Нарциссы» Уильяма Вордсворта (1770–1850) — английского поэта, главы и основоположника озерной школы романтизма.

вечная апатия, ее молчание, ее мечтания и внезапные приступы лихорадочного веселья — что общего могло быть у нее со смертью? Или с рождением? Мейзи, воспитывающая ребенка, — это едва ли не большая бессмыслица, чем мертвая Мейзи..

— Д-должно быть, это уж... — но «ужасно» ему было не выговорить. — Ж-жутко, — выдавил Брайан, он давно научился обходить препятствие, когда мысль наталкивалась на непроезжимое для него слово, — не иметь матери.

Миссис Фокс мягко усмехнулась и, склонившись, прижалась щекой к его волосам.

— Ужасно также не иметь сына, — сказала она, осознав, что ее слова несли в себе больше правды, чем она предполагала, что они были истинны и на другом, более широком витке спирали, на более совершенном духовном уровне, чем тот, на котором она сейчас находилась. Она жила настоящим, но если было ужасно не иметь любимого сына теперь, как несравнимо более ужасно было бы не иметь его тогда, когда с ее отцом случился инсульт, и во время болезни ее мужа. В то время, когда властвовали боль и полное духовное опустошение, единственное, что у нее оставалось, была любовь к Брайану. Да, как ужасно все-таки не иметь сына!

## Глава 10

16 июня 1912 г.

Книги. Стол в комнате Энтони был завален ими. Пять фолиантов Бейля<sup>57</sup> в английском издании 1738 года. Перевод Рикэби «Суммы против язычников»<sup>58</sup>. «Проблемы стиля» де Гурмона<sup>59</sup>. «Путь к совершенству», «Записки из подполья» Достоевского. Три тома писем Байрона. Произведения Хуаны Инес де ла Крус<sup>60</sup> на испанском. Пьесы Уичерли<sup>61</sup>. «История монашеского безбрачия» Ли.

Если бы только, думал Энтони, возвращаясь с прогулки, если бы у него было две пары глаз! Двудликий Янус мог бы читать «Кандида» и «Подражание»<sup>62</sup> одновременно. Жизнь слишком коротка, а книг невероятно много. Он сладострастно склонился над столом, открывая наугад то один том, то другой. «Сначала он не хотел ложиться, — прочел Энтони, — потом выяснилось, что у него слишком толстая шея для узкой прорези, и священнику приходилось почти выкрикивать свои увещания, чтобы заглушить яростные вопли осужденного. Голова была отсечена от тела в мгновение ока; однако в последний момент он попытался втянуть ее в плечи, несмотря на то, что голову тянули за волосы, голова оказалась отсечена на уровне ушей; остальные две головы были отрублены более

---

<sup>57</sup> Бейль Пьер (1647–1706) — французский публицист и философ, ранний представитель Просвещения. Основным его произведением является упоминаемый Хаксли «Исторический и критический словарь» (1695–1697).

<sup>58</sup> «Сумма против язычников» — средневековый богословский трактат на латыни, посвященный распространению христианства в Англии.

<sup>59</sup> Гурмон де Реми (1858–1915) — французский писатель и критик.

<sup>60</sup> Инес де ла Крус Хуана — испанский средневековый мистик XIV в.

<sup>61</sup> Уичерли Уильям (1640–1716) — английский драматург, представитель «комедии Реставрации».

<sup>62</sup> «Кандид, или Оптимизм» — философская повесть Вольтера (1694–1778). «Подражание» — имеется в виду книга св. Фомы Кемпийского «О подражании Христу», написанная ок. 1420 г.

чисто. После первой казни я почувствовал жар и сильную жажду; меня трясло так, что я едва не выронил бинокль...» «Счастье есть особенное благо разумной природы и должно подходить ей теми своими качествами, какие ей свойственны. Желание, однако, не является составляющей исключительно разумной природы, но, напротив, обнаруживается во всех, хотя и совершенно разных существах. Воля, как и желание, не является принадлежностью исключительно разумной природы, если только она в данном отношении находится в зависимости от разума, но разум сам по себе присущ лишь разумной природе. Поэтому счастье состоит в титанической работе мысли гораздо в большей степени, чем в работе воли...» «Даже в самом глубоком тайнике души я не мог мыслить о любви иначе, как о борьбе, которая начинается с ненависти, а заканчивается нравственным подчинением...» «Я не стану рогоносцем, говорю я, слишком уж это опасно, сделать меня рогоносцем». «Оправился ли ты от последнего удара?... — *«La primera noche o purgación es amarga y terrible para el sentido, como ahora diremos. La segunda no tiene comparación, porque es borrenda y espantable para el espíritu»*<sup>63</sup>. «Кажется, я читал где-то, что любовь к краткости зашла так далеко, что дамы не говорят больше: *«J'ai mangé des confitures»*, а *«des futures»*<sup>64</sup>... При таком резвом темпе скоро придется исключить из словаря Французской академии добрую половину слов...»

В конце концов Энтони сел за «Путь очищения» святой Терезы. Когда спустя час вошел Брайан, он добрался до Молитвы Успокоения.

— Занят? — спросил Брайан.

Энтони отрицательно покачал головой.

Брайан сел рядом.

— Я п-пришел, ч-чтобы па-аосоветоваться, не надо ли что-нибудь еще приготовить на завтра. — На следующий день в Оксфорд собирались приехать миссис Фокс и Джоан Терсли, и мистер и миссис Бивис. Брайан и Энтони решили занимать их совместно.

Рейнвейн или сотернское? Омаровый майонез или холодный лосось? И что лучше всего делать во второй половине дня, если пойдет дождь?

— Ты идешь сегодня к фабианцам<sup>65</sup>? — спросил Брайан, когда друзья обсудили планы на следующий день.

— Конечно, — ответил Энтони. В тот вечер должны были состояться выборы президента на следующий семестр. — Будет открытый бой между тобой и Марком Стейтсом. Вам понадобятся все голоса, которые вы...

Брайан перебил его.

— Я уступаю.

— Уступаешь? Почему?

— По разным причинам.

Энтони взглянул на него и покачал головой.

— Не могу сказать, чтобы когда-нибудь мечтал об избрании на руководящую должность, — сказал он. — Не могу вообразить ничего более утомительного, чем председательствовать в какой-нибудь организации.

Даже в принадлежности к какой-либо организации нет равным счетом ничего хорошего. Почему кого-то нужно заставлять делать выбор, если он этого не хочет, зачем

---

<sup>63</sup> «Первая ночь очищения горька и мучительна для чувства, как мы и говорим. Ночь вторая не выдерживает сравнения (с первой), ибо ужасна и губительна для духа» (*исп.*).

<sup>64</sup> «Я съела конфитюр» (*фр.*). *Des futures* — сокращение слова «confiture».

<sup>65</sup> В Итоне, согласно сюжету романа, существует общество по типу «Фабианского общества», созданного в 1884 г. Оно пропагандировало реформистские идеи постепенного преобразования капиталистического общества в социалистическое путем реформ.

связывать себя принципами, если суть человека заключается в его свободе, зачем вступать в тесную общность с другими людьми, когда почти всякий предпочтет действовать в одиночку; зачем связывать себя обещаниями быть в определенное время в определенном месте? Брайан с огромным трудом убедил его вступить в «Фабианское общество»; до всех остальных Энтони вообще не было дела.

— Это невыносимо скучно, — настаивал он на своем, — но если уж ввязался в это дело, то зачем уступать?

— Из Марка п-получится л-лучший президент, чем из меня.

— Более грубый, если я правильно понял, что ты имеешь в виду.

— К-кроме т-того, ему очень х-хочется быть избранным, — начал было Брайан, но осекся, почувствовал угрызения совести. Энтони может подумать, что он осуждает Марка Стейтса, присваивает себе право покровительствовать ему. — Д-дело в том, ч-что он з-знает, что сп-правится с р-работой в-великолепно, — быстро заговорил Фокс — А в-вот я... В общем, я н-не вижу п-почему...

— В действительности ты просто хочешь ублажить его.

— Н-нет-н-нет! — в полном замешательства воскликнул Брайан. — Только не это.

— Петух на навозной куче, — продолжал Энтони, не обращая внимания на протест Брайана. — Петухом ему и быть — даже если это наимельчайшая фабианская навозная куча. — Он расхохотался. — Бедняга Марк! В какое отчаяние он придет, если не сможет занять свою навозную кучу! К счастью, я предпочитаю книги. — Он с чувством хлопнул ладонью по святой Терезе. — И все же я не хочу, чтобы ты сдавался. Я бы умер со смеха, если б увидел, как Марк притворяется, что ему не придет в голову протестовать, если ты его побьешь. Кстати, — продолжал он, — ты читаешь газеты после голосования?

Почувствовав облегчение от перемены темы, Брайан кивнул.

— О син...

— О чем, о чем?

— О синд-дикализме<sup>66</sup>.

Оба рассмеялись.

— Испытываешь странное чувство, — сказал Энтони, отсмеявшись, — если начинаешь думать о том, что простой разговор с социалистами о грехе должен казаться... ну... опасным, что ли. Грех... социализм. — Он покачал головой. — Это все равно что пытаться слушать утку с зеброй.

— О грехе м-можно говорить, если начать с-с другого конца.

— С какого конца?

— С общественного. Обустроить все общество т-так, ч-чтобы невозможно было г-грешить.

— Ты действительно честно думаешь, что можно построить такое общество?

— В-возможно, — с сомнением сказал Брайан, подумав, что социальные перемены вряд ли освободят даже его самого от порочных желаний. Эти перемены вряд ли способны и как-то ограничить эти желания, если не считать каких-то узких, строго оговоренных рамок. Он покачал головой. — Н-нет, н-не знаю.

— Не думаю, что тебя хватит на большее, чем просто переводить человеческие грехи из одной области в другую. Мы, кстати говоря, уже сделали это. Возьми, например, зависть и целеустремленность. Раньше они выражались посредством физической силы. Теперь мы реорганизовали общество так, что людям приходится выражать эти качества в рамках экономической конкуренции.

— К-которую м-мы с-собираемся уничтожить.

— И таким образом вновь ввести в моду физическое насилие, так?

— Т-ты на эт-то оч-чень надеешься? — спросил Брайан, смеясь. — Т-ты п-просто уж-

---

<sup>66</sup> В оригинале игра слов: «sin» — грех и «syndicalism» — синдикализм.

жасен.

Наступило молчание. С отсутствующим видом Брайан взял в руки «Путь к совершенству» и, переверачивая страницы, прочитывал, выхватывая из текста, то строчки, то целые абзацы. Потом он со вздохом захлопнул книгу, положил ее на место и, покачав головой, сказал:

— Я н-не п-понимаю, п-почему ты ч-читаешь эту ч-чушь. Эт-то ж-же очевид-дно, что ты сам в н-нее н-не в-веришь.

— Нет, я верю, — стоял на своем Энтони. — Не в ортодоксальном смысле, конечно. Это, безусловно, было бы полной бессмыслицей. Нет, я верю в факты и в фундаментальную метафизическую теорию мистицизма.

— Х-хочешь с-сказать, что, вступив в непосредственный союз с такой теорией, можно докопаться до истины?

Энтони кивнул головой.

— Самой ценной и значимой истины можно достичь только на таком пути..

Брайан несколько минут молча сидел, спрятав лицо в ладонях, уперев локти в колени и уставившись в пол. Потом он, не поднимая глаз, заговорил:

— М-мне к-кажется, что ты пытаешься с-служить и в-вашим... и... н-н...

— И нашим, — подсказал Энтони.

Брайан кивнул.

— Т-ты используешь доводы скептицизма против религии, против идеализма в любом его проявлении, — добавил он, вспомнив о той язвительности, с которой Энтони воспринимал любое проявление восторга, которое считал избыточным. — А вот эт-то, — Брайан указал рукой на «Путь к совершенству» — ты используешь п-против научных аргументов, если это соответствует твоей к-к... — он не справился со словом книга и произнес: — к-казуистике.

Прежде чем ответить, Энтони раскурил погасшую трубку. — Ну почему же не взять лучшее у обоих миров? — поинтересовался он, бросив спичку в камин. — У всех миров. Почему нет?

— Н-ну х-хорошо, а п-постоянство, ц-целестремленность?..

— Я не ценю целестремленность в людях. Мне больше нравятся сложные, но интегральные натуры. Я думаю, необходимо развивать все свои способности — все до единой, а не цепляться, как осел, за одну. Целестремленность, — повторил он. — Устрицы целестремленны. Муравьи в муравейнике целестремленны.

— К-как и святые.

— Именно поэтому я и не желаю быть святым.

— Н-но к-как можно з-заниматься чем-либо, н-не имея определенной ц-цели? Это ж-же п-первая с-ступенька к успеху.

— Кто сказал тебе, что я собираюсь достичь успеха? — спросил Энтони. — Меня это совершенно не прельщает. Я хочу жить полноценной жизнью. И я жажду познания. Если оно того требует, я весьма целестремленно принимаю все условия его достижения. — Он указал чубуком трубки на гору книг на столе.

— Т-ты н-не примешь всех условий т-такого п-познания, — отозвался Брайан, вновь беря в руки «Путь к совершенству». — М-молитва, п-пост и т-тому подобное.

— Да, потому что это не знание, это некая разновидность опыта. Единственное существенное различие, которое имеет место в мире — это различие между знанием и опытом. Между изучением алгебры и ночью с женщиной.

Брайан оставался серьезным. Не отрывая глаз от пола, он произнес:

— Н-не считаешь ли т-ты, что м-мистический опыт заставляет с-соприкоснуться с истиной?

— Как и ночные похождения.

— Неужели? — Брайану стоило некоторого усилия этот вопрос. Ему откровенно не нравился весь разговор, не нравился потому что он был влюблен в Джоан, влюблен и все же

(он ненавидел себя за это) желал ее, желал низко, по-плотски.

— Если это та женщина, — ответил Энтони с беззаботным видом знатока, словно у него был опыт со всеми типами женщин. Тем не менее, хоть Энтони и стыдился признать это вслух, он был девственником.

— П-поэтому можешь н-не беспокоиться н-насчет поста, — заметил Брайан с внезапным сарказмом.

Энтони ухмыльнулся.

— Я вполне доволен тем, что просто познал путь к совершенству.

— Д-думаю, что мне хотелось бы испытать этот опыт на собственной шкуре, — сказал Брайан после небольшой паузы.

Энтони покачал головой.

— Игра не стоит свеч. Это трагедия всякой целеустремленной деятельности. Она будет стоить тебе свободы. Ты скоро почувствуешь, что загнан в угол. Ты станешь просто каторжником.

— Н-но чтобы п-получить с-свободу, н-необходимо отмучиться на к-каторге. Это з-залог свободы. П-подлинной свободы.

— Подлинной свободы! — Энтони повторил это гнусавым голосом священника. — Мне всегда нравится такого рода спор. Другая сторона медали не есть скрытая обратная — в этом я тебя уверяю. Это сама медаль, ее подлинная сторона. Спроси любого мракобеса, что такое консерватизм, и он скажет тебе, что это истинный социализм. А подпольные газеты — они полны статей о необходимости Истинного Воздержания. Обыкновенное воздержание — это всего лишь полный сухой закон, а истинное воздержание есть нечто более изысканное. Истинное воздержание — это бутылка кларета за каждым приемом пищи и три двойных порции виски за ужином. Лично я за истинное воздержание, потому что я терпеть не могу никакого воздержания. Я люблю свободу. Поэтому «истинная свобода» далека от меня.

— Ч-что не мешает ей б-быть истинной, — упрямо стоял на своем Брайан.

— Называй, как хочешь, — не унимался Энтони. — Как угодно, если название звучит. «Свобода» звучит великолепно. Вот почему ты так озабочен тем, какую пользу из нее извлечь. Ты думаешь, что, если называешь тюремное заключение «истинной свободой», люди будут наперебой просить, чтобы их посадили за решетку. Самое худшее во всем этом то, что ты прав. Название говорит гораздо громче, чем то, что за ним скрывается. Толпа последует за тем, кто будет больше считаться с нею, чем с пользой дела. Она последует за тем, кто будет ей громогласным трибуном. И конечно, «истинная свобода» звучит более громогласно, чем «свобода *tout court*»<sup>67</sup>. Истина — одно из чудодейственных слов. Добавь к ней «таинство свободы», и результат будет ошеломляющим. Любопытно, — продолжил он после секундной тишины, внезапно сменив тему и тон, — что люди не говорят об истинной правде. Мне думается, разговоры о ней довольно странны. Истинная правда, истинная правда, — в растерянности повторял он. — Нет, так ни в коем случае нельзя. Это похоже на авитаминоз или Вагу-вагу. Детский лепет, который нельзя воспринимать всерьез. Если хочешь сделать изнанку правды приемлемой, то лучше называй ее духовной истиной, или внутренней истиной, или высшей истиной, или даже...

— Н-но минуту н-назад ты говорил, что есть н-некая высшая истина. Иногда т-ты относишься к ней как к т-тайне. Т-ты п-про-тиворечишь себе.

Энтони расхохотался.

— Это и есть одно из достоинств свободы. Кроме того, — прибавил он уже серьезно, — есть разница, как мы выяснили, между логикой и эмпирикой. Всем известная истина есть то, что познано посредством практики. Необходимы два разных термина.

— Т-тебе уд-дается в-выкрутиться из чего угодно.

— Не из чего угодно, — настаивал Энтони. — Вот это будет всегда. — И он указал на

---

<sup>67</sup> Полная свобода (фр.)



книги. — Вечное познание. Тернистый путь познания, потому что постижение несомненно заводит в тюрьму. Но я хочу вечно оставаться в этой тюрьме.

— В-вечно? — спросил Брайан.

— А почему нет?

— С-слишком большая р-роскошь.

— Ни в коем случае. Это значит забыть об удовольствиях и пахать как вол.

— Ч-что само п-по себе приятно.

— Несомненно. Но кто сказал, что нельзя получать удовольствие от работы?

Брайан тряхнул головой.

— Н-не совсем то, — проговорил он. — Нельзя злоупотреблять своими привилегиями.

— Моя привилегия не слишком велика, — произнес Энтони. — Около шести фунтов в неделю, — добавил он, имея в виду наследство, полученное от матери.

— П-плюс в-все остальное.

— Что остальное?

— Удач-ча, что тебе нравится все это. — Он протянул руку и коснулся тома Бейля. — Кроме т-того, у тебя есть все твои дар-рования.

— Не могу же я нарочно поглупеть, — возразил Энтони. — И ты не можешь.

— Н-нет, но мы должны использовать то, что у н-нас есть для чего-то другого.

— И для чего мы совершенно не пригодны, — саркастически заметил Энтони.

Не обратив внимания на насмешку, Брайан продолжал со всевозрастающей, от сердца идущей страстностью.

— Мы должны использовать с-свой дар для чего-т-то иного хотя бы в виде благодарности, — горячо проговорил Брайан, сохраняя искреннюю серьезность.

— Благодарности за что?

— З-за т-то, ч-что нам отпущено свыше. Д-для н-начала з-за д-деньги. За знания, за вкус, за способность т-т-т... — Не сумев выговорить слово «творить», Брайан заменил его более удобным «делать дело». — Б-быть ученым или художником — эт-то значит добиваться личного спасения. Н-но в-ведь этот талант принадлежит и Царству Божию. Н-надо ж-ждать, ч-чтоб-бы б-быть п-понятым.

— Фабианцами? — спросил Энтони с нарочитым простодушием.

— И им-ми-и тоже. — Молодые люди замолчали, пауза затянулась на полминуты. «Должен ли я это высказать? — подумал Брайан. — Должен ли я сказать это ему?» Вдруг все дамбы, сдерживавшие страстность и искренность Брайана, рухнули.

— Я решил, — заговорил он и пафос его слов был так силен, что Брайан, сам того не сознавая, вскочил на ноги и начал мерить энергичными шагами комнату Энтони, — Я решил, что б-буду заниматься ф-философией, л-литературой и историей до тридцати, а потом п-перейду к делам более прям-мым.

— Прямым? — переспросил Энтони. — В каком смысле?

— В смысле обращения непосредственно к л-людям. В смысле п-постижения Царства Б-бо-жия... — Сила страсти Брайана была так велика, что он лишился дара речи.

Слушая Брайана, глядя в его строгое и пылкое лицо, Энтони почувствовал, что тронут до глубины души, и по этой причине ощутил непреодолимое желание как-то защититься от непрошеного чувства. Средство было только одно — насмешка.

— Например, ты будешь омыwać ноги нищим, — сказал он. — И вытирать их своими волосами. Представляешь, какой выйдет конфуз, если ты преждевременно облысеешь.

Только потом, когда Брайан ушел, Энтони устыдился своей низости — хуже того, он сам был унижен своим рефлектирующим автоматизмом. Повел себя, как обезглавленная лягушка, которая отдергивает лапку, если на нее капнуть кислотой.

— К черту! — громко произнес он и взял со стола книгу.

Он углубился в чтение «Пути к совершенству», когда раздался глухой стук в дверь и голос, преувеличенно хриплый, как голос сержанта, орущего на новобранцев, проревел его имя.

— Что за дурацкая лестница у тебя в доме! — загремел Джерри Уотчет, войдя в дверь. — Какого черта ты живешь в этой поганой берлоге?

Джерри Уотчет отличался светлой кожей, мелкими невыразительными чертами лица и волнистыми золотисто-каштановыми волосами. Приятный во всех отношениях молодой человек, именно приятный, ибо, несмотря на свой высокий рост и мощное телосложение, Джерри обладал смазливостью молоденькой девочки. Дня поверхностного наблюдателя этот великан представлял собой типичный образчик аркадского пастушка, однако при более внимательном взгляде становилось ясно, что эта идиллическая внешность странным образом уживалась с жестокой наглостью его голубых глаз, едва заметной презрительной улыбкой, которая то и дело кривила его губы, и с пугающей грубостью толстых пальцев с коротко остриженными ногтями.

Энтони указал ему на стул, но Джерри отрицательно мотнул головой.

— У меня мало времени. Я просто зашел сказать, что тебя приглашают на ужин сегодня вечером.

— Я не смогу.

Джерри нахмурился.

— Почему?

— Я иду на заседание фабианцев.

— И ты считаешь это достаточно уважительной причиной, чтобы не пойти в гости ко мне?

— Прости, но я пообещал, и...

— В общем, жду тебя в восемь.

— Но, собственно...

— Не будь дураком. Какая разница? Детская вечеринка.

— Но какую отговорку я придумаю?

— Говори им, что хочешь. Скажи, что у тебя только что родилась двойня.

— Ну ладно, уговорил, — сдался Энтони. — Я приду.

— Премного благодарен, — сказал Джерри с вежливостью, граничившей с издевкой. — Я бы сломал тебе шею, если б ты не пришел. Ну бывай. — Он помедлил перед тем, как выйти. — У меня будут Бимбо Эбинджер, Тед, Вилли Монмаут и Скруп. Я хотел позвать и старину Горчакова, но этот дубина простудился и слег в последний момент. Поэтому мне пришлось прийти к тебе, — добавил он будничным голосом, что было самым оскорбительным в его поведении. Лучше бы он с пафосом подчеркнул, как повезло Энтони, что заболел это бонвиван Горчаков. Джерри повернулся и стремительно вышел.

— Т-тебе он н-нравится? — однажды спросил Брайан, когда речь зашла о Джерри. Вопрос отозвался в душе Энтони очень болезненным эхом и он резко ответил, что ему, несомненно, очень приятен Джерри Уотчет.

— Почему еще, ты думаешь, я кожу с ним дружбу? — процедил он, глядя на Брайана с явным раздражением. Фокс не ответил, и вопрос, словно бумеранг, вернулся к Энтони. Да, в самом деле, что связывает его с Джерри? Конечно же ему не нравился этот человек; Джерри оскорблял и унижал Энтони и у него не было ни малейшего сомнения, что Уотчет, не задумываясь, снова и снова будет оскорблять и унижать его по любому, самому пустяковому поводу или просто без повода — всего-навсего чтобы подшутить, ведь ему всегда доставляло удовольствие обливать других грязью; у Джерри был природный талант причинять людям боль. Так почему же, почему?

Энтони был вынужден признать, что причиной этих странных отношений был обыкновенный, ничем не разбавленный снобизм. Это была тайна, но тайна постыдная. Это абсурдно и смешно; но факт оставался фактом — ему приятно в обществе Джерри и его друзей. Быть в близких отношениях с этими аристократами и плутократами и в то же время сознавать, что превосходишь их умом, вкусом, суждениями, то есть всем тем, что действительно важно. Это сознание удовлетворяло тщеславие юного Энтони Бивиса.

Признавая его интеллектуальное превосходство, эти юные варвары ожидали, что он

станет добровольно развлекать их в награду за восхищение. Он был с ними близок, но близок так же, как был близок Вольтер к Фридриху Великому<sup>68</sup>, а Дидро<sup>69</sup> к императрице Екатерине. Что поделаешь, придворного философа не всегда легко отличить от королевского шута.

С подлинным одобрением и в то же время покровительственно и с некоторым унижением Джерри повторял после своего очередного выпада: «Слава профессору!» или: «Налить еще господину профессору!» — как будто Энтони был итальянским шарманщиком, за гроши вертящим свой немудреный инструмент.

Унижение, о котором вспоминал Энтони, уязвило его, как жало скорпиона. С внезапным остервенением он встал со стула и, нахмурясь, зашагал по комнате.

Сноб из среднего класса, которого терпят лишь потому, что он может забавлять публику. Сама мысль об этом была отвратительна, болезненна. «Почему я должен это терпеть? — не унимался он. — Почему я такой богом проклятый дурак? Я пошлю Джерри записку, в которой напишу, что не смогу прийти». Но время шло, а записка оставалась ненаписанной. Ведь, в конце концов, думал он, в этом положении есть и некоторые преимущества, и удовлетворение. Вечер, проведенный с Джерри и его знакомыми, был забавным и поучительным. Забавным и поучительным не потому, что у них можно действительно поучиться чему-то полезному, нет, все они тупицы и безгранично невежественные люди. Нет, дело было в том, какими они представляли перед ним, какими их сделали обстоятельства; в том, что благодаря своим деньгам и своему положению они могли пользоваться такой свободой, о которой Энтони приходилось лишь читать в книгах; в том, что многие обстоятельства, которые сильно стесняли его, практически не существовали для этих людей. Они, как бы между прочим, позволяли себе такие вещи, которые он мог воспринимать лишь теоретически, будучи не в состоянии соотнести их с источниками тщательно извращенной метафизики и искусно состряпанной мистической теологии. Только в силу социальных и экономических обстоятельств эти дикари находили естественным такое поведение, о каком Энтони не осмеливался думать даже после прочтения всего того, что Ницше<sup>70</sup> говорил о сверхчеловеке или Казанова<sup>71</sup> о женщинах. Им не приходилось читать Патанджали<sup>72</sup> и Якоба Бёме<sup>73</sup>, чтобы оправдать свои пьяные оргии и распутство; они просто пили и баловались с девочками, словно резвились в Эдемском саду. Они смотрели на жизнь без смущения и страха, как Энтони, не скорбно, словно из-за невидимых, но прочных решеток. Они вели себя с простодушной надменностью тех, кто искренне считает, что Бог создал их для наслаждения, а сами они всегда будут окружены обожающими их друзьями.

Правда, у них были также убеждения, сковывающие их; иногда они, подобно бедняге

---

<sup>68</sup> *Фридрих Великий* (1712–1786) — прусский король с 1740 г., пригласивший Вольтера к своему двору после изгнания его из Франции.

<sup>69</sup> *Дидро Дени* (1713–1784) — французский просветитель, писатель, идеолог Французской буржуазной революции XVIII в. Дидро был почетным членом Петербургской академии наук (1773).

<sup>70</sup> *Ницше Фридрих* (1844–1900) — немецкий философ, представитель иррационализма и волюнтаризма. В своем произведении «Так говорил Заратустра» (1883–1884) воспевал сверхчеловека, сильную личность.

<sup>71</sup> *Казанова Джоватти Джакомо* (1725–1798) — итальянский писатель, автор исторических и фантастических романов и книги «Мемуаров», запечатлевших его многочисленные любовные и авантюрные приключения.

<sup>72</sup> *Патанджали* (предположительно II в. до н. э. — II в. н. э.) — древнеиндийский философ, основатель системы йога.

<sup>73</sup> *Бёме Якоб* — немецкий философ, представитель мистического пантеизма.

Брайану, были готовы наложить на себя оковы самых строгих обетов. Но эти обеты, как и предубеждения, принадлежали их элитарному обществу, и поэтому, насколько Энтони это понимал, не требовали от юных аристократов никаких видимых усилий. Их пример освободил его от тех пут, которые наложило на него воспитание, но был бессилён связать его другими путями, в которых они проводили свою жизнь. Необходимость быть учтивым, парализующий страх перед общественным мнением, заученные фразы жеманных буржуа претили ему в их обществе, но когда Бимбо Эбинджер в негодовании не хотел и слушать предложение продать старый особняк жуткого вида, который съедал три четверти его дохода, когда Скруп грозился дойти до парламента, потому что в его семье старшие сыновья заседали в палате общин перед тем, как вступить в чин, Энтони чувствовал всего-навсего странное изумление первооткрывателя, рассматривающего предметы культа негритянского племени. Разумный человек не позволит обратить себя в религию мумбо-юмбо, но побыть немного туземцем он не откажется. Культ мумбо-юмбо состоит в соблюдении табу; становление туземцем означает свободу. Истинную свободу! Энтони усмехнулся про себя, и его добродушие и беспристрастность снова вернулись к нему. Сноб, да вдобавок плебейского рода. Это не вызывает сомнений. Но его снобизму было оправдание. И если эти молодые, но тупые щеголи решили смотреть на него как на своего первосортного шута, то с этим приходилось мириться, ибо такова была цена свободы. Общение с фабианцами не требовало платы; но как мало они сами могли ему дать! Социалистические доктрины могли до определенной степени обеспечить свободу разуму, но и то лишь в теории, а пример молодых варваров показывал образцы освобождения практического.

«Мне ужасно жаль, — писал он в письме Брайану, — но я внезапно вспомнил, что иду сегодня на званый ужин. («Званый» было одним из слов, особенно любимых его отцом, слово, которое сам Энтони ненавидел из-за его аффектации. Он лгал в письме, и это слово не случайно соскочило с его пера.) Увы (это тоже был излюбленный оборот отца), но я не смогу послушать твои высказывания о грехе! С удовольствием бы отделался от этого скучного вечера, но не знаю, как это сделать. Твой Э.»

Когда на стол подали фрукты, все были уже порядком подшофе. Джерри Уотчет рассказывал Скрупу о немецкой баронессе, которую он соблазнил на пароходе, когда путешествовал в Египет. У Эбинджера не оказалось слушателей, и он для себя одного декламировал лимерики<sup>74</sup>: про юную леди из Вика, старика из Девиза, юнца Маккилана — целая энциклопедия знаменитостей страны. Тед и Вилли заспорили о том, как лучше всего подстрелить куропатку. Не имея собеседника, Энтони молчал. Разговор нарушил бы то состояние хрупкого счастья, в котором он пребывал. Последний стакан шампанского погрузил его в иное измерение, необычайно прекрасное, бесценное и неделимое. Яблоки и апельсины на серебряном подносе напоминали огромные рубины и хризолиты. В каждом из стоявших под свечами стаканов искрилось не вино, а огромные берилловые камни, желтые, твердые и прозрачные. Розы казались словно вытканными из глянцевого атласа, который обладал яркой и твердой выточенностью формы, характерной для стекла и металла. Даже звуки казались замершими и хрустальными. Юная леди Кью была для него равнозначна грандиозной нефритовой статуе, а яростная, но бесполезная дискуссия насчет куропатки походила на водопад зимой. «*Le transparent glacier des i'ols qui n'ont pas fui*»<sup>75</sup>, — подумал он с нарастающим чувством радости. Все было чрезвычайно ярким и кристальным, но в то же время каким-то дальним, необычайно потусторонним. Яркие из-за сумерек, вползающих в комнату с улицы, лица собравшихся виделись как нечто, что могло находиться по ту сторону стекла, в освещенном аквариуме. Энтони ощущал себя не только снаружи, но, что было сродни мистики, внутри. Смотря сквозь стекло на эти морские цветы и подводные

---

<sup>74</sup> Лимерик — шуточное стихотворение из пяти строк. Название от города в Ирландии.

<sup>75</sup> «Прозрачный ледник, летящий и не могущий остановиться» (фр.).

самоцветы, он чувствовал себя рыбой, но рыбой гениальной, рыбой божественной крови. ICHTHUS — *Jesos Christos theou hurios soter*<sup>76</sup>. Его божественная рыба душа витала там, в какой-то неизведанной стихии и не переставая тарасила стекловидные глаза, пронизающие все, но бессильные участвовать в том, что происходило. Даже руки его, лежавшие там, на столе перед ним, перестали в самом реальном из всех смыслов принадлежать ему. Из своей водяной твердыни он наблюдал за ними с тем же отчужденным и блаженным восхищением, которое чувствовал при виде фруктов и цветов, преобразившихся осколков застывшей жизни или лиц его друзей. Прелестные руки, созданные — о чудо! — для всевозможных дел: прицеливаться из двустволки в пролетающих птиц, ласкать бедро немецкой баронессы, одетой в трико, играть в воображаемые весы на настольном сукне и прочих. Очарованный, он следил за движением своих пальцев, плавно скользивших по гладкой поверхности ее кожи. Роскошные руки! Но не более чем часть его рыбьей души, заключенной в этом безвременном аквариуме, чем руки Эбинджера, чистящего банан, или руки Скрупа, подносящего зажженную спичку к сигарете. Я не есть мое тело, не есть мои ощущения, я не есть даже мой разум — я есть то, что я есть. Я есмь то, что есмь.

Священное слово «есмь» относится к Самому. Бог не ограничен временем. Ибо Единосуший живе вкупе со всем и превыше вещей тварна.

— Привет, профессор! — Кусок апельсиновой корки больно ударил его по щеке. Он встал и огляделся. — Черт возьми, о чем ты задумался? — голос Джерри Уотчета звучал намеренно хрипло, что забавляло его, заставляя носить отвратительную маску. Аквариумная вода, по которой на мгновение пошла рябь, уже пришла в спокойное состояние. Снова став рыбой, божественной и космически блаженной, Энтони улыбнулся ему улыбкой, полной кротости и снисхождения.

— Я думал о Плотине<sup>77</sup>, — сказал он.

— Почему о Плотине?

— Почему о Плотине? Ну, дорогой мой сэр, не ясно ли это как день? Наука есть разум, а разум есть множественность. — Рыба обрела язык, красноречие хлынуло из аквариума беспрепятственным потоком. — Но если случится так, что человек почувствует себя немногочисленным — о чем же еще думать, как не о Плотине? Если, конечно, ты не предпочитаешь Лже-Дионисия, Экхарта<sup>78</sup> или святую Терезу. Полет одиночества к Одиночеству. Даже Фома Аквинский<sup>79</sup> был вынужден признать, что ни один разум не может видеть Божественную сущность, если он не лишен пяти земных чувств в результате смерти или экстаза. Экстаза — заметь это хорошенько! Экстаз, однако, есть всего лишь экстаз, какая причина бы его ни вызвала — шампанское ли, косоглазие, или распятие, или занятую любовью — предпочтительно на пароходе, Джерри. Я первый, кто принял это — предпочтительно на пароходе. О чем говорят суровые волны? О восторге! Об экстазе! Громко выкрикивают это! Пока (заметь!), пока дыхание этого телесного остова или даже движение крови в жилах почти прекращено, душа наша погружается в сон и становится живой по мере того, как успокаивается глаз...

— Жил да был один парень из Бирмы, — внезапно задекламовал Эбинджер.

— Успокаивается, — повторил Энтони, на этот раз громче, — силой гармонии...

— Чья невеста работала в фирме...

— И глубокой силой счастья, — заорал Энтони, — мы проникаем...

---

<sup>76</sup> Спасение, посланное от Бога (*др. — греч.*).

<sup>77</sup> Плотин (204–270) — греческий философ, основатель неопантеизма.

<sup>78</sup> Экхарт Иоганн (ок. 1260–1327) — немецкий средневековый мистик-пантеист.

<sup>79</sup> Св. Фома Аквинский (ок. 1225–1274) — средневековый религиозный мыслитель, схоласт.

— Он на брачной пирушке кушал шпанские мушки...

— Проникаем в сущность вещей. Сущность вещей, говорю я вам. Сущность вещей, и к черту всех фабианцев!

Энтони вернулся на квартиру примерно без четверти двенадцать ночи и был неприятно удивлен тем, что, войдя в гостиную, увидел человека, который при его появлении вскочил с кресла, словно чертик из табакерки.

— Боже, как ты меня напугал...

— Ну, наконец-то! — сказал Марк Стейтс. На его резко очерченном лице было написано гневное нетерпение. — Жду битый час. — Затем презрительно буркнул: — Да ты, кажется, пьян?

— Как будто ты сам никогда не бывал пьян, — отозвался Энтони. — Помню, как...

— Был, был, — молвил Марк Стейтс, перебив его, — но это было на первом курсе. — На первом курсе, когда он почувствовал необходимость доказать, что он мужчина — самый мужественный, самый шумный и самый пьющий. — Сейчас у меня есть дела поважнее.

— Это ты так думаешь, — отозвался Энтони.

Марк посмотрел на часы.

— У меня не больше семи минут, — сказал он. — Ты достаточно трезв, чтобы слушать?

Энтони сел на стул с молчаливым достоинством. Приземистый, широкоплечий и крепкий, Марк навис над ним почти угрожающе.

— Разговор пойдет о Брайане.

— О Брайане? — Затем с понимающей улыбкой Энтони проговорил: — Это значит, что я должен поздравить тебя с вступлением на пост нашего президента?

— Идиот, — рассерженно выдал Марк. — Думаешь, я принимаю такие подачки? Как только он снял свою кандидатуру, я тотчас снял свою.

— И тогда этот гнусный малявка Мамби вступит в должность?

— Какое мне дело до Мамби?

— Какое нам вообще дело друг до друга? — картинно провозгласил Энтони. — Совершенно никакого, и слава Богу. Абсолютно пика...

— Чего он добивался, оскорбляя меня так?

— Кто? Мамби?

— Да нет. Брайан конечно же.

— Он считает, что всегда любезен с тобой.

— На фига мне сдалась его паршивая любезность? Почему он не может вести себя нормально?

— Его забавляет то, что он ведет себя, как христианин.

— Вот ради Христа и скажи ему, чтобы он пробовал это на ком-нибудь другом. Я не любитель христианских шуток. В действительности нужен петух, с которым можно было бы подраться.

— Это как понять?

— Иначе ты не получишь должного удовольствия, забравшись на вершину навозной кучи. А Брайан хочет, чтобы мы сошлись, как два каплуна. И уж если речь зашла о навозных кучах, я полностью поддерживаю Брайана. Когда мы заговорим о курицах, я начну колебаться.

— Марк снова взглянул на часы. — Мне пора идти. — У двери он обернулся.

— Не забудь передать ему то, что я сказал тебе. Мне нравится Брайан, и я не хочу вступать с ним в спор. Но если он снова будет корчить из себя христианина и милосердную душу...

— Бедный мальчик навеки потеряет твое уважение, — заключил Энтони.

— Шут! — крикнул Стейтс и, захлопнув с грохотом дверь, побежал вниз по лестнице.

Предоставленный самому себе, Энтони взял пятый том «Исторического словаря» и

принялся читать статью Бейля о Спинозе<sup>80</sup>.

## Глава 11

5 декабря 1926 г.

«*Condar intra MEUM latus!*»<sup>81</sup> Вот единственное наше убежище. Энтони извлек лист бумаги из пишущей машинки, положил его в стопку других листов, скрепил их и стал перечитывать написанное. Глава одиннадцатая его «Основ социологии» была посвящена индивидуальности и его концепции личности. Он провел целый день, делая предварительные, еще не окончательно созревшие наброски. «*Cogito, ergo sum*»<sup>82</sup>, — прочел он. — А почему бы не сказать «*Caco, ergo sum*»<sup>83</sup> Или «*Eructo, ergo sum*»<sup>84</sup>. Или, уж если без солипсизма, почему не «*Ftituo, ergo sumus*»<sup>85</sup>? Пошлые вопросы.

И все же что такое личность?»

«Мак-Таггарт<sup>86</sup> знает свою личность непосредственно, остальные знают ее по описаниям. Юм и Брэдли<sup>87</sup> вообще не имели понятия о ней и не верили в ее существование. Все это обыкновенное расщепление, воображаемые волосы лысого мужчины. Какое значение имеет то обстоятельство, что «личность» — это не более чем расхожее слово с общепринятым смыслом?

Люди обсуждают мою «личность». О чем они при этом говорят? Не о *homo sacans*, и не о *homo eructans*, и даже (пусть поверхностно) не о *homo futuens*. Нет, они беседуют о *homo sentiens*<sup>88</sup> (невозможная латынь) и о *homo cogitans*. И когда я публично говорю о «себе», мне приходится иметь в виду именно этих двух *homines*<sup>89</sup>. Моя «личность» согласно молчаливому договору суть мои мысли и чувства, точнее, то, что я доверяю своим мыслям и чувствам. *Caco, eructo, Jutuo* — я никогда не признаюсь, что первое лицо единственное число этих глаголов — это в действительности я. Только тогда, когда по той или иной причине, они ощутимо задевают мои чувства и мысли, процессы, которые они представляют, начинают происходить в рамках моей «личности». (Эта цензура превратила в полную

---

<sup>80</sup> Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677) — нидерландский философ-пантеист.

<sup>81</sup> Ширится пропасть вокруг меня (лат.).

<sup>82</sup> «Я мыслю, следовательно, я существую» (лат.). Один из основополагающих принципов философии Рене Декарта (1596–1650) — французского философа, физика и математика.

<sup>83</sup> «Испражняюсь, следовательно, существую» (лат.).

<sup>84</sup> «Блкую, следовательно, существую» (лат.).

<sup>85</sup> «Совокупляемся, следовательно, существуем» (лат.).

<sup>86</sup> Мак-Таггарт Джон Эллис (1866–1925) — английский философ-идеалист, создавший на основе теории диалектики Гегеля и учения Лейбница о монадах теорию об основе мира — «духовном сообществе» личностей.

<sup>87</sup> Брэдли Фрэнсис Герберт (1846–1924) — английский философ-идеалист, один из ведущих представителей неогегельянства.

<sup>88</sup> Человек чувствующий (искаж. лат.).

<sup>89</sup> Зд. людей (лат.).

бессмыслицу всю литературу. Пьесы и романы просто не соответствуют истине.)

Таким образом, «личное» всегда заслуживает доверия или потенциального доверия; но такого отношения никогда не заслуживают вещи морально недифференцированные.

Личностные процессы требуют определенного времени. Слишком краткий опыт менее личностей, нежели опыт недостойный либо просто растительный. Такие опыты становятся личностными лишь тогда, когда они сопровождаются чувствами и мыслями или когда будят значимые воспоминания.

Материя, как показывает аналитический опыт, состоит из пустого пространства и электрических зарядов. Возьмем для примера женщину и умывальник. Эти тела различны по своей природе. Но составляющие их электрические заряды практически тождественны друг другу. Однако сложенные вместе электрические заряды, составляющие женщину, и заряды, составляющие умывальник, начинают проявлять совершенно различные свойства. Изменения количества, если они достаточно велики, вызывают изменения качественные. Теперь допустим, что человеческий опыт подобен материи. Подвергнем его анализу, и мы убедимся в существовании психологических атомов. Множество этих атомов составляют тотальный опыт, а выборка атомов из нормального опыта составляет то, что мы называем личностью. Каждый индивидуальный атом нисколько не напоминает нормальный опыт и еще менее напоминает личность. И, наоборот, каждый индивидуальный атом напоминает соответствующий атом другого человека. Если рассматривать тело женщины в микроскоп, то его будет невозможно отличить от умывальника, а опыт Наполеона<sup>90</sup> станет тождественным опыту Веллингтона<sup>91</sup>. Собственно говоря, почему мы воображаем, что существует твердая материя? Только по причине грубости наших органов чувств. Почему мы воображаем, что имеем связный опыт и некую цельную личность? Из-за того, что наш мозг работает чрезвычайно медленно и имеет весьма ограниченные способности к анализу. Наш мир и мы, кто в нем живет, суть порождения глупости и плохого зрения.

Впрочем, совсем недавно наступило некоторое улучшение способности мыслить и видеть. Мы получили в свое распоряжение правила, согласно которым можно расщепить материю на весьма малые частицы, и математический аппарат, позволяющий размышлять о свойствах еще более мелких частиц.

Психологи не располагают новыми инструментами, но лишь новой техникой мышления. Все их изобретения — чисто ментальны — техника анализа и наблюдений, рабочие гипотезы. Благодаря романистам и профессиональным психологам мы теперь можем рассматривать наш опыт как в понятиях атомов и мгновений, так и в понятиях звездных скоплений и часов. В прошлом сносным психологом мог быть только человек, отмеченный печатью гения. Сравните психологию Чосера<sup>92</sup> с психологией Гауэра<sup>93</sup>, не говоря уже о Боккаччо<sup>94</sup>. Поставьте рядом Шекспира и Бена Джонсона<sup>95</sup>. Различие не

---

<sup>90</sup> *Наполеон I (Наполеон Бонапарт)* (1769–1821) — французский император в 1804–1814 гг. и в марте — июне 1815 г.

<sup>91</sup> *Веллингтон Артур Уэлсли* (1769–1852) — английский полководец и политический деятель, премьер-министр в 1828–1830 гг., наиболее известный благодаря победе над Наполеоном в битве при Ватерлоо.

<sup>92</sup> *Чосер Джеффри* (1340–1400) — английский поэт, автор «Кентерберийских рассказов», поэмы «Троил и Крессида».

<sup>93</sup> *Гауэр Джон* (1330–1408) — английский поэт. Поэмы «Зерцало размышляющего» (1376–1379), «Глас вопиющего» (ок. 1382).

<sup>94</sup> *Боккаччо Джованни* (1313–1375) — итальянский писатель, автор «Декамерона» (1350–1353)

<sup>95</sup> *Джонсон Бенджамин* (1573–1637) — английский драматург, автор пьес «Вольпоне, или Лиса» (1605), «Алхимик» (1610).



только в качестве, но и в количестве. Гении эпох знали больше, чем их просто интеллигентные современники.

К настоящему времени накопился большой и громоздкий багаж знаний, методов и рабочих гипотез. Эрудиция простого современного интеллигента огромна — гораздо больше, чем у необразованного гения, полагающегося только на интуицию.

Мешало ли Гауэру или Джонсону их невежество? Нисколько. Их невежество соответствовало среднему уровню образованности того времени. Немногие монстры интуиции могли знать больше, чем они, но большинство знало гораздо меньше. Отступление здесь, как говорят социологи, более важно, чем сама тема. Приходят и уходят моды на разные типы личности. Моды, варьирующие со временем, как моды на кринолины или юбки-бочонки. Моды меняются в зависимости от местности — носят же набедренные повязки на Золотом Берегу и фраки на Ломбард-стрит<sup>96</sup>. В первобытном обществе каждый носил ту личину, которую хотел.

Тем не менее каждое общество имеет свой духовный облик. Идеалом личности у краснокожих индейцев на северо-западном тихоокеанском побережье был слегка сумасшедший вояка, сражающийся со своими конкурентами за племенное имущество и власть. У индейцев долин идеальным считался эгоист, борющийся с другими из-за жажды свершения воинского подвига. У латиноамериканских пуэбло<sup>97</sup> идеалом был не вояка-эгоист и не явный разрушитель или сорвиголова, а сильный лидер с поистине неукротимой энергией, стоящей ему невероятных усилий, и знаток всех ритуалов, оккультных жестов и правил, внешне выглядящий как любой другой член племени.

Европейские общества крупны и разнородны расово, экономически и профессионально, поэтому трудно насадить определенную систему взглядов всем, и в них успешно сосуществуют несколько личностных идеалов. (Заметьте, что фашисты и коммунисты пытаются утвердить один канонический идеал. Другими словами, они пытаются заставить высокоиндустриализированных европейцев вести себя, как нивхи или эскимосы. Попытка в конечном итоге обречена на провал, но пока и те и другие с огромным удовольствием расправляются с инакомыслящими!)

Какой же моде принадлежит главенство в нашем мире? Есть, конечно, обычные клерикальные и коммерческие моды, созданные, словно на заказ, уличными портняжками. Но есть и *la haute couture*<sup>98</sup>. *Ravissante personalite d'interieur de chez Proust. Maison Nietzsche et Kipling: personalite de sport. Personalite de nuit, creation de Lawrence. Personalita de bain, par Joyce*<sup>99</sup>. Возьмите на заметку интересный факт, что физически сильная личность — единственное из этого перечня, что может считаться личностью в привычном смысле этого слова. Остальные в большой или малой степени обезличены, поскольку являются раздробленными. Это вновь возвращает нас к Шекспиру и Бену Джонсону. Прагматик с уверенностью скажет, что психология Джонсона вернее, чем психология Шекспира. Большинство из его современников воспринимали себя и воспринимались как Нравы. Шекспиру понадобилось многое, чтобы определить черты каждого Нрава, скрытые маской условностей. Шекспир остался в одиноком меньшинстве, если не считать Монтеня<sup>100</sup>.

---

<sup>96</sup> *Ломбард-стрит* — улица в Лондоне, где находятся банки и крупнейшие финансовые корпорации.

<sup>97</sup> *Пуэбло* — общее название группы индейских племен в некоторых штатах США и в Северной Мексике.

<sup>98</sup> Высокая мода (*фр.*).

<sup>99</sup> Внутреннее пространство Пруста. Приход Ницше и Киплинга — спортивная личность. Порождение ночи — создание Лоренса. Выходец из ванны — герой Джойса» (*фр.*).

<sup>100</sup> *Монтень Мишель де* (1533–1592) — французский философ-гуманист. В книге «Опыты» (1580–1588)

«Нравы» Джонсона работали, а сложная, многообразная система Шекспира нет.

В сказке про голого короля невидимую наготу обнаруживает ребенок. С приходом Шекспира все стало наоборот. Его современники считали, что он лишь обнажил Нравы; он увидел, что они располагали целым гардеробом маскарадных костюмов.

К примеру, Гамлет. Он жил в мире, главным психологом которого был Полоний. Если бы он знал столь же мало, сколько Полоний, он был бы счастлив. Но он знал слишком много, и в этом его трагедия. Прочтите еще раз ту притчу о флейтах. Полоний и ему подобные сочли аксиоматичным то, что этот человек был не более чем грошовая дудочка с шестью-семью отверстиями. Гамлет же знал, что по крайней мере по силе своего духа он был целым симфоническим оркестром.

Безумная Офелия проговорила: «Мы знаем, кто мы есть и кем мы можем стать». Полоний прекрасно осознает, что представляет из себя он и все другие, но лишь в рамках общепринятых норм. Гамлет знает и это, и то, кем такие могут стать — за пределами масок и характеров.

Быть единственным в своем поколении: кто знает, кем могут быть люди и кем они в действительности являются! У Шекспира в жизни должно было быть много неприятных эпизодов.

Блейку<sup>101</sup> было уготовано подвести рациональную основу под психологический атомизм и сделать его философской системой. Человек, согласно ему (и впоследствии согласно Прусту и Лоренсу), — простое чередование различных состояний. Добро и зло присущи состояниям человеческой души, а не самим душам, которые в действительности не существуют, кроме как там, где можно говорить о состоянии. Это представляет собой смерть человека как личности в самом древнем смысле этого слова. Кстати говоря, не есть ли это (что лежит, пожалуй, за пределами социологии) рождение нового типа личности? Цельной личности, не выхоленной и не подверженной селекции, не подчиненного догмам человека, не живущего, если перефразировать известное изречение, в канализационной трубе *Weltanschauung*<sup>102</sup>, словом, человека, являющегося тем, кем он может на самом деле быть. Такой человек есть противоположность любому из образов идеального христианина нашей истории. И все же в определенном смысле он представляет собой воплощение той идеальной личности, пример которой есть евангельский Иисус. Воплощенное духовное совершенство, цельный, неприукрашенный, не моралистического склада *homo* характеризуется, во-первых, тем, что делает то, что говорит, не подвержен общему стереотипу и неподкупен, не тешит себя гордыней и не пыжится, чтобы казаться лучше других, во-вторых, скромнен и не имеет чрезмерного самомнения благодаря своему нежеланию возноситься превыше человеческой природы, в-третьих, беден духовно, не выпячивает свое Я и не желает ничего ни от кого, довольствуясь тем, что есть; если это человек пожилого возраста, то ему скорее свойственна незамысловатость умственного склада, и, в-четвертых, он должен обладать детской непредвзятостью, полагаться на первичность опыта, а не познания, ради самого опыта никогда не откладывает мысль на завтра и готов предоставлять мертвым самим погребать своих мертвецов; в-пятых, не лицемер и не лжец, поскольку нет точной модели, указывающей, кем должна притворяться личность.

Встает вопрос: существовал ли когда-либо такой человек? В году  $t$  человек чувствовал  $x$  в условиях  $z$ . В году  $u$  он испытывает то же самое чувство  $x$  в условия  $x_p$ .  $X$  — главное чувство, жизненно важное для личности, но оно испытывается тогда, когда происходят изменения в моде. «Лучше смерть, чем бесчестье». Но честь подобна женской юбке — ее

---

рассматривает человека как самую большую ценность.

<sup>101</sup> Блейк Уильям (1757–1827) — английский поэт и художник, автор сборника стихов «Песни невинности» (1789) и «Песни опыта» (1794).

<sup>102</sup> Мировосприятие (нем.).

носят короткой, длинной, свободной, узкой, приталенной или со складками, носят в виде сарафана или без нижнего белья. До 1750 года считалось, что человек способен чувствовать, и он чувствовал себя смертельно оскорбленным, если видел, как незнакомец обольстительно щиплет его сестру. Настолько сильным было наше возмущение, что хотелось взять и придушить его. Сегодня честь наша не имеет ничего общего с женской плотью и имеет вес везде. И так продолжается несмотря ни на что.

Так что же представляет из себя личность? Или она ничего из себя не представляет?

Она не есть весь наш опыт. Не есть и психологическая монада или момент. Не сводится она к сенсорной активности или растительной жизни. Она есть опыт, созданный пространством и временем. Она есть чувство и мысль. Кто же делает этот выбор из целого опыта и на каком основании? Иногда это делаем мы — кто бы мы ни были. Но подчас он делается за нас стихийной волей народа или общественного класса. В серьезной степени личность не есть даже наша личная собственность.

Туманно, но этот факт еще требует осознания. В то же время все возрастающее и возрастающее количество народа извлекает пользу из современных средств, чтобы увидеть себя и других в определенном квадрате четырехмерной среды. Более того, имея рабочую гипотезу бессознательного, все растущее количество интеллектуалов знакомится с тайными поведенческими мотивами и осознает, насколько большую роль в их жизни играют постыдные биологические стороны опыта. С какими результатами? Старое понятие о личности уже мало куда годится. И не только понятие, но и сам факт. «Сильные личности», даже «яркие личности» встречаются все реже и реже. Фашисты нашли выход из положения и производят их намеренно путем образования. Образование, обедняющее человека, превращающего его в эскимоса, что влечет за собой подавление психологической науки и создание всех условий для невежества в данной области. Одиозная политика, но я подозреваю, неизбежная и, используя термин социологии, корректная. Ибо наше психологическое чутье очень может принести вред обществу. Людям нужны простые джонсоновские нравы, а не бесформенный набор самосознающих состояний. Вот еще один пример пагубности глубокого знания и излишне бурного развития технической науки.

Кроме того, Гамлет все еще является светочем разума. Полоний в гораздо большей степени живой человек, чем он. В самом деле, личность Гамлета настолько таинственна, что критики извели тонны бумаги и литры чернил, чтобы выяснить, кем он был. Конечно же Гамлет не был живым человеком, он не существовал вовсе, поскольку знал слишком много для смертного. Он догадывался о том, что обладает глобальным опытом, который накапливался с каждой секундой капля за каплей, не признавая никаких правил, которые бы определили его выбор в пользу одного набора узорчатых атомов, а не другого. Для себя и для окружающих он был просто серией последовательно сменяющих друг друга разнообразных состояний. Отсюда то смятение в Эльсиноре и в стане шекспировских критиков за минувшие три столетия. Честь, Религия, Предосторожность, Любовь, все обычные атрибуты, присущие нормальной личности, здесь были изглоданы рефлексией. Гамлет оказался своим собственным термитом — бесконечным самогрызением он превратил себя, отделенного от мира недостижимой гордыней, в кучу опилок. Только одно помешало Полонию и всем остальным немедленно прояснить ситуацию: независимо от состояния психики физически Гамлет оставался здоровым, не разложившимся на атомы, предельно безвредным для чувств окружающих. И может быть, это в конце концов и стало настоящей причиной нашей веры в личность — физическая сила и высокая приспособляемость тел. И может быть, насколько актуальным ни было бы понятие о целостности личности, она есть всего лишь продукт физической выносливости. Какие волосы, какая стройная фигура! Я думаю, у мистера Джоунза прекрасный к-характер! Когда я такое услышал в автобусе, идущем по Пятой авеню, я расхохотался. В то время как мне, наверное, надлежало слушать так, как если бы передо мной сидел Спиноза. Ибо что есть самое личное в человеке? Не его

разум — его тело! Какой-нибудь Херст или Ротермер<sup>103</sup> могут выпестовать мои чувства, заставить меня мыслить так, а не иначе. Но никакое количество информации, которую они на меня обрушат, не сделают мое пищеварение или обмен веществ в точности таким же, как у них. Я мыслю, следовательно, я существую. Но: *caco, ergo sum*.

Здесь, подозреваю я, кроется причина того настойчиво внимательного отношения к телу, проявившегося за последние годы. От бойскаутов до причудливых развратников и от Элизабет Арден до Д. Г. Лоренса, одного из самых сильных сокрушителей личности. В его книгах нет «характеров». Только одно тело, всегда и везде. Теперь тело обладает колоссальной ценностью. В то время как душа или ум, может быть, разорваны на куски — измолоты в опилки, как у Гамлета. Только самые глупые и бесчувственные в наши дни обладают самой сильной и утонченной душой. Только варвары среди нас «знают, что они есть». Люди культурные понимают, кем они могут стать и не в состоянии в силу практических социальных причин постичь, кто они теперь. Они забыли, как можно стать человеком, исходя из своего общего монадного опыта. В трясине и хаосе этой неопределенности тело остается твердым, как верстовой столб.

*Jesu, pro me perforatus,  
Condor intra tuum latus* <sup>104</sup>.

Даже вера жаждет теплого убежища для истерзанной плоти. Насколько более дики и спешны запросы скептиков, которые перестали верить даже в себя. *Condor intra MEUM latus!* Единственное убежище, оставленное нам».

Энтони сложил рукопись и, прогнувшись, стал раскачиваться с риском для себя на задних ножках стула. Недурно, думал он. Но, очевидно, здесь были упущения, непростительные обобщения. Он писал о мире в целом, как будто мир был подобен ему самому, исходя из идеала, каким он должен быть. Ведь как просто было бы, если б на самом деле так и оказалось. Как приятно! Каждый человек — набор состояний, заключенных в плоти по эту сторону рая. А если бы понадобился какой-нибудь приятный и увлекательный интеллектуальный интерес, как, например, социология, чтобы утолить вожделеющее тело. *Condor intra meum laborem* <sup>105</sup>. Но вместо этого... Он вздохнул. Несмотря на Гамлета, несмотря на пророческие книги, несмотря на «По направлению к Свану»<sup>106</sup> и «Влюбленных женщин»<sup>107</sup>, мир все еще был полон джонсоновских нравов. Полный мелодраматических негодяев, столь же отвратительных киногероев, полный Пуанкаре<sup>108</sup>, Муссолини<sup>109</sup>, Нортклифов<sup>110</sup>, полный амбициозных и алчных негодяев всех мастей.

---

<sup>103</sup> *Херст и Ротермер* — представители крупнейших в 1920-е гг. издательских компаний.

<sup>104</sup> Иисус, заступись за меня. Ширится пропасть вокруг тебя (*лат.*).

<sup>105</sup> Ширится пропасть вокруг моей работы (*лат.*).

<sup>106</sup> «По направлению к Свану» — первая часть эпопеи М. Пруста «В поисках утраченного времени».

<sup>107</sup> «Влюбленные женщины» — роман Д. Г. Лоренса.

<sup>108</sup> *Пуанкаре Жюль Анри* (1854–1912) — французский математик, физик и философ.

<sup>109</sup> *Муссолини Бенито* (1883–1945) — фашистский диктатор Италии в 1922–1943 гг. Казнен итальянскими партизанами.

<sup>110</sup> *Нортклиф, лорд* (1865–1922) — ирландский журналист, основавший вместе с братьями три лондонские газеты.

Ему в голову пришла мысль. Он привел накренившийся стул в нормальное положение и взял в руки самописку.

«Последняя немощь благородного ума — это первый и, может быть, единственный источник греха. Благородный ум = злой ум. Дерево познается по плоду. Каковы плоды стяжания славы, гордости, желанья превзойти? Между прочими, война, национализм, экономическая конкуренция, снобизм, классовая ненависть, расовые предрассудки. Комус правильно делал, что проповедовал сенсуализм, и как глупо поступил сатана, искушая Мессию во время его медитаций славой, господством над миром и гордыней. По сравнению со стремлением к известности обыкновенная чувственность совершенно безвредна. Если бы Фрейд был прав и секс доминировал в человеческой жизни, мы бы жили почти в Эдемском саду. К сожалению, он не прав. У Адлера<sup>111</sup> тоже полуправда. *Hinc illae lac*<sup>112</sup>.

Энтони посмотрел на часы. Двадцать минут восьмого — а ему нужно быть в Кенсингтоне<sup>113</sup> к восьми. В ванной он задумался, как может пройти вечер. Минуло двенадцать лет со времени последнего скандала с Мери Эмберли. Двенадцать лет, в течение которых он видел ее только на расстоянии — в картинной галерее раз или два и в гостиной общего друга. «Я даже не желаю с тобой больше разговаривать», — написал он в последнем письме к ней. И тем не менее, когда он обнаружил как-то утром вместе с остальными письмами на обеденном столе ее приглашение в знак примирения, он принял его немедленно — принял с теми же мыслями, с какими оно было написано — невзначай, обыденно, не вспоминая более о прошлом, кроме как фразой «Как давно я не обедал в номере семнадцатом! Почему бы не пойти туда?». Какой смысл в том, чтобы принимать окончательные и необратимые решения? Какое право имеет человек четырнадцатого года учить жить человека двадцать шестого? В четырнадцатом году в душах людей царил гнев, стыд, отчаяние и страх перед действием. Сегодня они радостны, кротки и наделены, как, например, Мери Эмберли, огромным любопытством. Какова она сейчас, в сорок четыре года? Все так же забавна, какой он помнил ее? Превратилась ли его лебедь в гусыню или так и осталась лебедью? Или она все еще лебедь, но (бедная Мери!) сильно постарела? Будучи не в состоянии справиться со своим любопытством, он опрометью сбежал по лестнице и поспешно вышел на улицу.

## Глава 12

*30 августа 1933 г.*

В бахрому их полузабытья вплелся какой-то едва слышный звук. Постепенно нарастая, он превратился в рокот, похожий на шум, который слышен из поднесенной к уху морской раковины. Через секунду рокот перешел в грохочущий рев. Энтони лениво приоткрыл глаза, увидел прямо над собой аэроплан и снова зажмурился от яркой синевы неба.

— Черт бы побрал эти машины! — в сердцах выругался он. Потом, усмехнувшись, добавил: — Должно быть, им очень хорошо нас видно.

Элен не ответила, но улыбнулась, не открывая глаз, представив себе, как у пилота выкатываются из орбит глаза при виде столь неприличного зрелища! В самом появлении этого небесного гостя было что-то невероятно комичное.

---

<sup>111</sup> Адлер Альфред (1870–1937) — австрийский врач-психиатр и психолог, ученик Фрейда, основатель индивидуальной психологии.

<sup>112</sup> Вот откуда эти слезы (*лат.*). В широком смысле: вот в чем подоплека.

<sup>113</sup> Кенсингтон (Кенсингтон и Челси) — большой район в западном Лондоне, состоящий, за исключением северной части, из богатых кварталов.

— Давид и Вирсавия<sup>114</sup>, — продолжил Энтони. — Жаль беднягу, при скорости сто миль в час...

Раздался собачий лай. Энтони открыл глаза как раз в тот момент, когда от самолета отделился какой-то темный предмет и стремительно понесся прямо на них с Элен. Вскрикнув, Энтони непроизвольно закрыл лицо руками. Раздался страшный, но приглушенный удар. Было такое впечатление, что в паре ярдов от того места, где они лежали, на плоскую крышу с огромной высоты рухнул ком грязи. Кожу оросила струя теплой жидкости, которая быстро остыла, вызвав чувство неприятного холода. Наступило секундное молчание.

— Боже, — наконец прошептал Энтони. Они оба с ног до головы были забрызганы кровью. В большой алой луже у их ног лежал обезображенный до неузнаваемости труп фокстерьера. Рев аэроплана, снова превратившись в легкий шум, внезапно стих. В наступившей тишине снова раздалось пронзительное стрекотание цикад.

Энтони глубоко вздохнул; затем, сделав над собой усилие, рассмеялся. Смех, впрочем вышел довольно натянутым.

— Вот и еще одна причина не любить собак. — Он поднялся, взглянул себе под ноги и лицо его исказилось от отвращения — Энтони увидел свое обрызганное кровью тело. — Может быть, нам стоит принять ванну? — спросил он, обернувшись к Элен.

Она сидела совершенно неподвижно, уставясь широко открытыми глазами на труп собаки. На бледном как полотно лице яркой линией выделялась полоса крови, протянувшаяся от подбородка до угла левого глаза.

— Ты похожа на леди Макбет, — упорно продолжая фиглярничать Энтони. — *Alloits* 115! — Он коснулся ее плеча. — «Прочь, проклятое пятно!»<sup>116</sup> Эта пакость на коже уже начинает сворачиваться. Как сок цикуты.

Вместо ответа Элен закрыла лицо руками и разрыдалась.

На мгновение Энтони застыл на месте, глядя на скорчившуюся в рыданиях женщину. Во всем ее облике проступала полная безнадежность, настолько полная, что Элен, казалось, забыла о своем залитом кровью обнаженном теле. Слушать ее рыдания было нестерпимо. «Как цикута» — его собственные слова немилосердным эхом отдавались в ушах Энтони. В его душе всколыхнулась жалость и безумная любовь к этой уязвленной и страдающей женщине, к этой личности, да, личности, которую он сознательно игнорировал, словно она не существовала или существовала только для телесных наслаждений. Теперь, когда она, стоя на коленях, рыдала у его ног, вся нежность, которую он испытывал к ее телу, вся сила, скрытая в их чувственности, казалось, прорвали плотину и хлынули наружу, осветив, словно молнией, все то, что он испытывал по отношению к этой личности, к этому воплощенному духу, который, ощущая полное свое одиночество, горько рыдал, закрыв лицо руками.

Он опустил на колени рядом с Элен и сделал движение, которое должно было выразить то, что он теперь чувствовал по отношению к ней — Энтони обнял ее за плечи.

Но стоило Энтони коснуться Элен, как она вздрогнула от отвращения и в каком-то остервенении неистово затрясла головой.

— Но Элен, — запротестовал он в тупом убеждении, что происходит какое-то недоразумение, что она не может в этот момент не чувствовать и не переживать того, что чувствует и переживает он. Надо только заставить ее понять, какой переворот только что произошел в его душе. Он снова попытался положить руку на ее плечо.

---

<sup>114</sup> *Давид и Вирсавия* — согласно Ветхому Завету царь израильско-иудейский Давид, увидев купающуюся Вирсавию, влюбился в нее и взял ее в жены.

<sup>115</sup> Пошли! (*фр.*)

<sup>116</sup> «Прочь, проклятое пятно!» — реминисценция из шекспировского «Макбета» (акт V, сц. 1).

— Но я... Ты вовсе мне не безразлична, я очень глубоко за тебя переживаю... — Даже сейчас он упрямо не желал произнести слово «люблю».

— Не прикасайся ко мне, — закричала она, с трудом разжав губы и отшатнувшись от него, как от чумного.

Он убрал руку, но не сдвинулся с места, склонившись над ней в смущенном и жалком молчании. Он вспомнил время, когда она очень хотела, чтобы он позволил любить себя, и как он избегал ее, отказываясь видеть в ней человека и не давая ей большего, нежели минутное и непостоянное телесное влечение. В конце концов она сдалась и приняла его условия — приняла полностью, и вот...

— Элен, — снова заговорил он. Она обязательно должна, просто обязана его понять. Он заставит ее это сделать.

Элен снова тряхнула головой.

— Оставь меня в покое, — сказала она и, поскольку он не двинулся с места, Элен отняла руки от вымазанного кровью лица и посмотрела на него. — Ты что, не можешь уйти? — спросила она, с видимым усилием стараясь придать своему лицу холодное и бесстрастное выражение. Внезапно по ее щекам вновь потекли слезы. — Ну, пожалуйста, прошу тебя, уйди! — выкрикнула она, как заклинание. Голос ее пресекся, и Элен, отвернувшись, снова закрыла лицо руками.

Энтони минуту колебался; затем, поняв, что будет еще хуже, если он останется, поднялся и направился в дом. «Ей надо дать время, — сказал он себе. — Дать ей время».

Он принял ванну, оделся и спустился в гостиную. Фотографии были разбросаны на столе в том виде, в каком он их оставил. Он сел и методично начал сортировать их по темам, складывая в маленькие стопки. Мери в шляпе с пером, Мери в вуали садится в довоенный «рено», Мери на пляже в Дьепе<sup>117</sup>, одетая в лиф с рукавами до локтей и панталоны, прикрытые юбочкой до колен. Его мать кормит голубей в сквере на площади Святого Марка<sup>118</sup>; а вот ее могила на Лоллингдонском церковном кладбище. Его отец с альпенштоком, привязанный к страховке, тянущейся вверх по заснеженному горному склону, вот он с Полин и двумя детьми. Дядя Джеймс в соломенной шляпе в крапинку; вот он в гребной лодке; вот он же разговаривает десять лет спустя с выздоравливающими солдатами в больничном саду. Брайан. Брайан с Энтони в Балстроуде; Брайан в лодке с Джоан и миссис Фокс; Брайан в шотландском озерном крае. Это девушка, с которой Энтони переспал в Нью-Йорке в двадцать седьмом году, это она?.. Его бабушка. Его тетки. Полдюжины снимков Глэдис...

Полчаса спустя он услышал шаги Элен, осторожно спускающейся по крутой лестнице, потом ее же стремительную походку по коридору. Ил ванной послышался плеск воды.

Время, ей обязательно надо дать время прийти в себя. Он решил вести себя так, словно ничего не случилось. Поэтому, когда она вошла, он приветствовал ее почти весело.

— Ну? — бодро спросил он, подняв глаза от фотографий. Но стоило Энтони посмотреть на это бледное, собранное, ставшее каменным лицо, как сердце его наполнилось мрачными предчувствиями.

— Я ухожу, — сказала она.

— Прямо сейчас, не пообедав?

Она кивнула.

— Но почему?

— Я так хочу, — коротко ответила Элен.

Энтони в недоумении замолчал, думая, стоит ли возражать, настаивать, говорить ей те слова, которые он собирался сказать ей на крыше. Однако ее каменное лицо ясно говорило,

---

<sup>117</sup> Дьеп — курорт на севере Франции.

<sup>118</sup> Площадь Святого Марка — знаменитая площадь в Венеции.

что все попытки окажутся тщетными. Позже, когда она оправится от первого потрясения, когда пройдет время...

— Ну ладно, — согласился он. — Я отвезу тебя в гостиницу.

Элен отрицательно покачала головой.

— Я пойду пешком.

— В такую жару?

— Я пойду пешком, — повторила она тоном, не терпящим возражений.

— Ну что ж, если ты предпочитаешь жариться на солнце... — Он безуспешно попытался улыбнуться.

Через стеклянную дверь она вышла на террасу, и ее каменное бледное лицо вновь вспыхнуло в солнечных лучах, отраженных от красной пижамы. Идя рядом с Элен, Энтони подумал: «Она снова возвращается в свой ад».

— Зачем ты вышел? — спросила она.

— Я провожу тебя до ворот.

— В этом нет никакой нужды.

— Я так хочу.

Она не вернула ему улыбку и продолжала идти, храня молчание.

По обе стороны лестницы, ведущей с террасы, росли два высоких развесистых родохитона. В жарком воздухе аромат, источаемый цветами (казалось, заключавший в себе квинтэссенцию зноя), был невероятно силен и сладок.

— Восхитительно, — вслух произнес Энтони, когда они с Элен вступили в ауру цветущих деревьев. — Слишком восхитительно. Да ты посмотри! — произнес он изменившимся голосом и схватил ее за рукав. — Посмотри, прошу тебя!

На одно из розовато-лиловых соцветий уселась яркая, как новенькая игрушка, бабочка-махаон. Светло-желтые крылья с черными точками и похожими на глаза синевато-пунцовыми пятнами были вытянуты навстречу солнцу. Передние края крыльев, изогнутые наподобие сабельного клинка, плавно переходили в красивый изгиб, заканчивающийся двумя вытянутыми хвостиками нижней пары крыльев. Бабочка казалась символом, таинственным иероглифом, обозначающим радость и стремительный полет. Расправленные крылья подрагивали от избытка жизни и рвущейся наружу энергии. Быстрыми, жадными, но невероятно точными целенаправленными движениями, маленькое создание погружало хоботок в узкие чашечки цветков. Молниеносное движение — и хоботок в цветке, вот он уже снаружи и снова погружается, но уже в другой цветок. В считанные секунды насекомое обследовало все цветы и переместилось к соседним соцветиям. Скорее. Скорее погрузить хоботок в ждущий этого прикосновения цветок, испытать из скрытого в нем источника жаркой пьянящей сладости! Какое неустанное вожделение, какая сильная страсть целеустремленной и отточенной до совершенства ненасытности!

Долгую минуту они молча созерцали эту картину. Потом Элен вдруг протянула руку и качнула соцветие, на котором сидела бабочка. Но прежде чем пальцы женщины успели коснуться цветка, яркое легкое создание стремительно взлетело. Быстрый взмах крыльев, потом красивый планирующий полет, еще один взмах и бабочка исчезла за домом.

— Зачем ты это сделала? — спросил он.

Сделав вид, что не расслышала вопроса, Элен сбежала по ступенькам на посыпанную гравием дорожку. У ворот она остановилась и обернулась.

— Прощай, Энтони.

— Когда ты теперь придешь? — спросил он.

Несколько секунд Элен молча смотрела на Энтони, потом покачала головой.

— Я не приду.

— Не придешь? — спросил Энтони. — Что ты хочешь этим сказать?

Но она уже захлопнула за собой калитку и быстрым танцующим шагом направилась по пыльной дороге под соснами.

Энтони смотрел ей вслед, понимая, что не стоит даже пытаться что-то предпринимать,



по крайней мере сейчас. Этим он только усугубит положение. Возможно, позже с ней надо будет поговорить, может быть, даже сегодня вечером, если она найдет для этого время... Однако, возвращаясь в дом и проходя мимо никому теперь не нужных родохитонов, Энтони с беспокойством подумал, что и позже никакие его попытки к примирению ни к чему не приведут. Элен была очень упряма. Да и какие права имеет он на Элен после всех тех месяцев, что он не давал ей сблизиться с собой?

— Ну и дурак же я, — произнес Энтони, открывая кухонную дверь. — Я просто сумасшедший.

Он сделал усилие обрести здравость рассудка путем приуменьшения и вытеснения из памяти всего случившегося. Естественно, было неприятно. Но не менее ли неприятно было оправдать Элен после того, как она вела себя как героиня ибсеновского<sup>119</sup> «Кукольного дома»? Здесь не было дома и не было куклы, она действительно не имела возможности пожаловаться на то, что старина Хью держал ее под замком, или на то, что он сам лелеял какие-то планы относительно ее независимости. Напротив, он настоял на том, чтобы она оставалась свободной. Его свобода была равносильна ее; если бы она полностью подчинилась ему, он несомненно пал бы к ее ногам.

То, что касалось его собственных чувств там, на крыше, этого порыва нежности, то жажда познания и любви к страдающему, к внезапно возбуждавшему желание, притягательному несмотря ни на что телу — это было бы подлинным, несомненным, то есть подтверждалось бы реальным опытом. Но в конце концов их грех можно было объяснить, оправдать, назвать простым преувеличением, сказать, что он был содеян под воздействием внезапно вспыхнувшей страсти, его сочувствия и ее отчаяния. Главное было за временем. Она бы еще раз послушала то, что он хотел сказать, и не стала бы еще раз повторять то, от чего у него вяли уши.

Он открыл холодильник и обнаружил, что мадемуазель Кайоль приготовила холодную телятину и салат из огурцов и помидоров. Мадемуазель Кайоль испытывала слабость к холодной телятине и постоянно кормила его ею. Энтони почему-то особенно не любил ее, но предпочел съесть, чем обсуждать счет с экономкой. Целые недели проходили подчас, а у него не возникало необходимости сказать больше, чем *Bonjour*<sup>120</sup> или *A demain, M-me Cayole*<sup>121</sup> или *Il fait beau aujourd'hui*<sup>122</sup> или *Quel vent!*<sup>123</sup>, в зависимости от случая. Каждое утро она приходила на два часа, делала уборку, готовила еду, накрывала на стол и снова уходила. Он получал услуги, но совершенно не обращал внимание на ту, которая прислуживала. Все его обустройство, считал он, было самым лучшим, насколько могло быть. Холодная телятина — слишком маленькая цена за такую службу.

Энтони уверенно сел за стол на террасе в тени большого фигового дерева и за едой переворачивал страницы последней записной книжки. Нет в жизни ничего лучше работы, уверял он, ничего, что так помогает отделаться от какого-то сокровенного чувства, ничто не действует так успокаивающе, ничто не бывает так уместно и удачно, как хорошее обобщение. Ему в глаза бросилось слово «свобода», и, вспомнив удовлетворение, которое он чувствовал несколько месяцев назад, когда «первые увидел эти мысли на бумаге, начал читать.

---

<sup>119</sup> Ибсен Генрик (1828–1906) — норвежский драматург.

<sup>120</sup> Здравствуйте (фр.).

<sup>121</sup> До завтра, мадемуазель Кайоль (фр.).

<sup>122</sup> Завтра будет хорошая погода (фр.).

<sup>123</sup> Какой ветер! (фр.)

«Эктон хотел написать историю Человека как историю идеи о Свободе, не желая в то же время писать историю рабства.

Сущность рабства. Или рабств, ибо в результате продолжительных попыток понять сущность Свободы человек постоянно меняет одну форму рабства на другую.

Первичное рабство не есть рабство на пустой желудок и на черный день. Одним словом, это есть природное рабство. Уход от природы через социальную организацию и технический прогресс. В современном городе можно забыть, что существует такая вещь, как природа, в особенности природа в ее негуманных и враждебных проявлениях, то есть стихия. Половина населения Европы живет во вселенной, сконструированной полностью в лабораторных условиях.

Когда преодолено естественное рабство, неизменно встает другая форма зависимости — это зависимость от институтов. В связи с этим точно так же развивается история зависимости от Институтов.

Природа бессмысленна. Институты, являющиеся плодом людского труда, имеют смысл и цель. Обстоятельства меняются быстрее, чем общество. Что однажды было бы актуально, теперь никуда не годится. Отживший институт подобен человеку, который пытается применить логическое мышление в мифической ситуации, созданной навязчивой идеей или галлюцинацией. Подобное положение дел возникает, когда институты обращаются к букве закона в каждом индивидуальном случае. Институт будет поступать разумно, если обстоятельства, изображаемые им, существуют в действительности. Но в действительности они никогда не существуют. Рабство у института подобно зависимости от параноика, страдающего от самообмана, но имеющего некоторые интеллектуальные способности. Природное рабство подобно зависимости от идиота, у которого даже нет ума, чтобы страдать от самообмана.

Восстание против институтов со временем приводит к анархии. Но анархия — раба природы, а для цивилизованного человека природное рабство еще более невыносимо, чем рабство от учреждений. Путь к покорению анархии лежит через создание новых институтов. Иногда анархию удастся победить без всякого временного порабощения — люди просто переходят от одних институтов к другим.

Институты меняются в попытке реализовать идею Свободы. Чтобы оценить факт нового рабства, требуется какое-то время. Так получается, что во всех поползновениях против институтов есть нечто праздничное, что напоминает медовый месяц, когда люди верят, что свобода наконец достигнута. «Блажен был тот, кто выжил в эту ночь». И не только в ночь Французской революции. Какое неизъяснимое счастье, например, лежит в рассвете францисканского движения, в возникновении христианства и ислама! Медовый месяц может длиться двадцать или тридцать лет. Затем новое рабство насаждается на человеческое сознание, и становится ясно, что идея Свободы не реализуется последней переменной, что новые институты способны поработать так же, как и старые. Что же делать? Сменить новые институты на еще более новые? А когда медовый месяц кончится? Снова сменить? И так далее — вечная революция, длящаяся незнамо сколько.

В любом конкретном обществе свобода существует только для немногочисленных избранных. Благоприятные экономические обстоятельства — вот условие по крайней мере частичной свободы. Но если свобода более или менее полная, то должны быть также благоприятные интеллектуальные, психологические, биографические обстоятельства. Личности, которые сумеют рационально использовать эти обстоятельства, не рабы учреждений. Для них учреждения существуют в виде твердых брусьев, на которых они могут выделывать какие угодно акробатические упражнения. Малоподвижность общества в целом делает возможным для этого элитного меньшинства блуждание в обычных интеллектуально-нравственных потемках без большого риска как для себя, так и для общества. Все чего-либо стоящие свободы, если они имеют практическое приложение, приводят к положительному результату только при условии некоей формы всеобщего рабства».

Энтони закрыл свою книжку, чувствуя, что не может более прочесть ни строчки. Нет,

его слова не казались менее правдивыми из-за того, что он сделал тогда, когда писал их. В особом смысле и на особом уровне они были правильны. Почему же тогда все представлялось ему напрочь фальшивым и ненатуральным? Не желая обсуждать этот вопрос с самим собой, он возвратился домой и сел за «Историю механических изобретений» Ашера.

Полчетвертого он внезапно вспомнил о мертвой собаке. Прошло уже несколько часов, и в такую жару... Он поспешил обратно в мастерскую. Почва в неухоженном саду была выжжена солнцем так, что выглядела как кирпич; к тому времени, как он вырыл могилу, он покрылся испариной. Затем с лопатой в руках поднялся на крышу, где лежала собака. Пятна крови на шкуре, на парапете, на матрасах приобрели цвет ржавчины. После нескольких неудачных попыток он продолжил месить тушу лопатой и заталкивать ее, полную мух, не реагируя на взмахи железа, на парпет. Затем он спустился вниз и вышел в сад, упрямо отмахиваясь от отвратительной яйценосной своры, вновь поддел тело на лопату и снова потащил его, с ужасом волоча по рыхлой земле в могилу. Вернувшись домой, он почувствовал себя таким больным, что был вынужден хлебнуть бренди. После этого он спустился к морю и долго плавал в пенистой синеве.

В шесть часов, снова одевшись, он сел в машину и поехал в отель, чтобы поговорить с Элен. К этому времени, подсчитал он, она уже оправилась от первого шока и была готова к разговору с ним. Забыв все о «Кукольном доме» и святости, которую было условлено соблюдать, он преисполнился невероятного воодушевления. Через несколько минут он вновь увидит ее. Будет рассказывать ей об открытиях, которые внезапно сделал сегодня утром: то, что он был дураком и даже хуже, чем дураком... Было бы тяжело, почти невозможно говорить такие вещи о себе, но он думал, что скажет сейчас их, и это наполняло его ликованием.

Он подъехал к двери отеля и поспешил в холл.

— *Madame Ledwidge est-elle dans sa chambre, mademoiselle?*

— *Mais non, monsieur, Madame vient de partir.*

— *Elle vient de partir?..*

— *Madame est allée prendre le rapide à Toulon* 124.

Энтони взглянул на часы. Поезд уже отправился. В маленькой ломаной машине нужно добраться до Марселя перед тем, как можно снова отправиться в Париж.

— *Merci, mademoiselle, merci* 125, — сказал он, в силу привычки вновь опускаясь до чрезмерной вежливости, с помощью которой спасался от надоедливости мира низших классов.

— *Mais de rien, monsieur* 126.

Он вновь поехал домой, уныло раздумывая, нужно ли было благодарить служашую отеля за любезность. В его отсутствие звонил почтальон. Пришло письмо от посредника с предложением продать по крайней мере часть акций золотых приисков, полученных в наследство от дяди Джеймса. По всей видимости, они не принесут больше дохода, и ввиду этого наиболее разумным было бы извлечь все, что можно, из настоящих цен и вложить заново в такие макрокомпании, как... Он отбросил письмо в сторону. Море случайностей, как всегда, грозило затопить его, злобно выплескивая роковое предложение. Теперь, в депрессии, он был состоятельнее, чем когда бы то ни было. Состоятельнее, в то время как

---

124 — Мадемуазель, мадам Ледвидж у себя в комнате?

— Нет, месье, мадам собирается уезжать.

— Собирается уезжать?

— У мадам билет на скорый поезд в Тулон (*фр.*)

125 — Спасибо, мадемуазель, спасибо (*фр.*)

126 — Не за что, месье (*фр.*)

дела других шли гораздо хуже. Свободнее, пока они находились в бездонной яме. «Поликратов перстень»... Он выглядел, словно боги уже начали свою месть.

Энтони лег спать рано, и в два часа проснулся от кошмарного сна, тревожившего его с детства и мучившего в последнее время. Содержание его оставалось неизменным. Вокруг не было видно ничего, но он знал, что кругом были люди, казавшиеся призраками.

Он взял что-то со стола и съел, и тотчас же от обилия слюны пища превратилась в жидкую кашу, став клейкой и в то же время вязкой, как кляп, измазанный жевательной резинкой, засохшей на зубах, на языке и на небе. Невыразимо отвратительная, все уплотняющаяся и затвердевающая масса затрудняла дыхание. Он пытался сглотнуть, пытался вызвать рвоту, несмотря на призрачное, но ошеломляющее присутствие незнакомцев, но безуспешно. В конце концов он засунул два пальца в рот и тщился освободиться от рвотной массы. Но все напрасно. Комок продолжал расширяться, пленка затвердевала и уплотнялась. Наконец он погрузился в обморочный сон. В эту ночь в комке было полно собачьей шерсти. Он проснулся с содроганием и теперь уже не мог заснуть. Огромная череда вытесненных в подсознание воспоминаний встала перед ним вновь, как наваждение. Эти снимки. Его мать и Мери Эмберли. Брайан в меловом карьере, разбуженный соленым запахом разморенной солнцем плоти, затем мертвый у подножия скалы, весь в мухах, как та собака.

## Глава 13

*20 мая 1934 г.*

Вчера вечером готовил свою вторую речь. И не очень сильно нервничал. Это достаточно просто, если ты твердо сказал себе, что неважно, выглядишь ты дураком или нет. Но тем не менее это подавляет. Подавляет ощущение, что те пятьсот человек, которые сидят в зале, отнюдь не представляют собой монолит. Выступающий обращается к собирательному понятию, к абстракции, но не к собранию индивидов. Понять вас хотят только те, кто и так убежден в вашей правоте. Все остальные поражены несокрушимым невежеством. В частной беседе можно быть уверенным, что твой собеседник хотя и с неохотой, но попытается понять вас правильно. Ничего не понимающий человек сидит среди других людей в аудитории, и само ее наличие укрепляет его в его неведении. Все становится еще хуже, если этот невежда имеет возможность после доклада задавать вопросы. Причина совершенно очевидна. Приятен уже сам факт, что ты встал и на тебя все смотрят — это щекочет самолюбие. Во многих случаях это удовольствие бывает настолько сильным, что причиняет сладострастную боль. Мучительный оргазм самоутверждения. Удовольствие возрастает стократ, если вопрос пронизан враждебностью к выступающему. Враждебность есть декларация независимости личности. Спрашивающий всем своим видом дает понять, что сам не выступает только по чистой случайности — случайность это или нет, неизвестно, хотя иногда такой смельчак является жертвой негодяев, которые хотят его дискредитировать. Естественно, как правило, выкрики с места и вопросы не имеют ни малейшего отношения к теме. Критиканы (каковыми являемся все мы) живут в своем замкнутом мире и не делают никаких попыток проникнуть в мир других людей. Большинство выдвигаемых публикой аргументов противоречат друг другу или, фигурально выражаясь, высказываются на не понятном никому языке, и это при полном отсутствии переводчиков.

Марк был на митинге, а потом, сидя в моей комнате, развлекался тем, что пытался вогнать меня в еще большую подавленность.

— С тем же успехом ты мог бы проповедовать это стаду коров в поле, — язвительно говорил Марк, и меня снедало искушение согласиться с ним. К такому согласию меня подталкивали старые укоренившиеся понятия о том, как следует думать, жить и чувствовать. Какое удовлетворение приносит мысль о том, что мир лишен смысла и с этим ничего нельзя поделать! Можно с чистой совестью удалиться в кабинет и спокойно писать научный трактат

по социологии — науке о человеческой безмозглости. Разговаривая с Марком вчера вечером, я поймал себя на том, что мне доставляют невыразимое удовольствие издевки по поводу недогадливости моей аудитории, да и вообще всего человеческого рода. Поймал и задумался. Я подумал, что семена посеяны и если хотя бы одно из них взойдет, то стоило проводить этот злосчастный митинг. Стоило, даже если не взойдет и одно из них, стоило ради меня самого. Это было упражнение, тренировка — залог того, что в следующий раз у меня все получится гораздо лучше.

Я не стал говорить этого вслух, просто замолчал и, как мне кажется, изменился в лице. Марк, от которого невозможно что-либо скрыть, рассмеялся. Предсказал мне, что скоро я буду обращаться с эпитетом «дорогой» ко всякому собеседнику. «Дорогие коммунисты». «Дорогие производители оружия». «Дорогой генерал Геринг<sup>127</sup>».

Я не смог сдержать смех — Марк был довольно комичен в своей свирепости. В конце концов, если в тебе достаточно любви и доброты, то можешь быть уверен, что хотя бы в некоторой степени твой собеседник ответит тебе любовью и добротой — неважно, кем он при этом является. В таком случае практически каждый действительно может стать для тебя «дорогим». Многие люди сейчас кажутся охваченными ненавистью недоумками, но если задумаешься, то поймешь, что вина за это лежит не только на них, но и на тебе.

*24 мая 1934 г.*

Сегодня утром потратил четыре часа на просмотр своих заметок. Невыразимое наслаждение! Как легко скатиться в чистую схоластику и привычку жонглировать идеями! В так называемую возвышенную жизнь, которая по сути своей является не чем иным, как смертью без оплакивания. Покой, отсутствие всяческой ответственности — все прелести смерти здесь и сейчас. Раньше для того, чтобы обрести эти прелести, людям приходилось уходить в монастырь. Платить за радости смерти покорностью, бедностью и целомудрием. Теперь их можно получать даром в нашем обыденном мире. Смерть, абсолютно не нуждающаяся в оплакивании. Смерть с улыбкой, смерть с удовольствиями от женщин и выпивки, частная смерть, в которой никто не волен ни к чему тебя принудить. Схоласты, философы, люди науки — все словно сговорились считать их непрактичными. Но есть ли еще один такой слой общества, который ухитрился бы убедить мир принять себя таким, каков он есть, и (что еще более удивительно) заставить людей оценивать себя по меркам этого слоя. Короли утратили свое божественное право, плутократы, похоже, скоро лишатся накопленных ими богатств, а люди, ведущие возвышенный образ жизни, продолжают считаться превосходящими всех других смертных. Таков сладкий плод их настойчивости. Упорно награждая себя самих изысканными комплиментами, упорно принижая других людей. И так год за годом в течение последних шестидесяти столетий. Мы — высшие, вы — низшие. Мы — дух, вы — мир. Снова и снова, не переставая ни на одну минуту, ни на один миг, продолжалось и продолжается это самовосхваление. Сейчас такое положение не требует обоснования и воспринимается как аксиома. Но в действительности возвышенная жизнь — это просто то лучшее, что можно предложить взамен смерти. Это самый лучший способ избежать ответственности жизни, гораздо лучше, чем алкоголь, наркотики, секс и накопительство. Алкоголь и наркотики разрушают здоровье, секс рано или поздно ставит его поклонников перед ответственностью, приверженные к собственности люди никогда не будут довольны количеством редких марок, китайского фарфора, домов и сортов лилий и всегда будут безнадежно желать большего. Такой уход от ответственности подобен мукам Тантала<sup>128</sup>. В противоположность этому приверженцы возвышенной жизни уходят в мир,

---

<sup>127</sup> *Геринг Герман* (1893–1946) — один из руководителей Третьего рейха, с 1933 г. глава правительства Пруссии.

<sup>128</sup> *Тантал* — герой греческой мифологии, обреченный богами на вечные муки, не имея возможности утолить голод и жажду.

который не представляет ни малейшей угрозы здоровью, не обрекает на тяжкую ответственность и не причиняет ни моральных, ни физических мук. В такой мир, который, по традиции, считается более высоким, чем мир обыденной ответственности. Возвышенный лентяй может спокойно тешиться своей чистой совестью, ибо в жизни ученых и исследователей очень легко отыскать эквиваленты всех мыслимых моральных добродетелей! Некоторые из этих добродетелей, конечно, не эквивалентны, но по видимости, несомненно, идентичны: упорство, терпение, самоотверженность и все подобное. Хорошие средства пускаются на неблагородную цель. Можно работать не покладая рук, отдавать все сердце чему угодно — от атомной физики до мошенничества и белого рабства. Все остальное есть не что иное, как этические добродетели, рассматриваемые в ментальном ключе. Аскетизм художественной или математической формы. Чистота научного поиска. Дерзновенность мысли. Смелые гипотезы. Логическая целостность. Терпимость к чужим взглядам. Смирение рассудка перед фактами. Все основные добродетели в шутовском наряде.

«Блаженны нищие духом». У людей, ведущих возвышенную жизнь есть даже эквиваленты нищеты духа. Как человек науки, такой «бедняк» старается не подпадать под влияние своих интересов и кичится своей независимостью от предрассудков. Но и это еще не все. В этическом смысле духовная нищета освобождает от мысли о завтрашнем дне, предоставляя мертвым погребать своих мертвецов; жизнью жертвуют, чтобы снова ее обрести. Возвышенный тип, таким образом, превращает самоотречение в пародию. Я могу со всей ответственностью утверждать это, поскольку и сам отличался тем же, правда, охотно извиняя себя за это. Вы живете перспективой и отвечаете лишь за тот, возвышенный мир. В нем вы порываете с прошлым, но также и отказываетесь предоставлять себя будущему, у вас нет убеждений, вы живете сиюминутными интересами, жертвуете своей индивидуальностью; точнее, той ее частью, которая не касается вашей возвышенности; вы просто переходите из одного состояния в другое. Это больше, чем нищета Франциска Ассизского<sup>129</sup>, но ее можно совместить с наполеоновским восхищением империализмом. Раньше я думал, что у меня нет нищепанской воли к власти. Теперь понимаю, что я просто с большей охотой отыгрывался на мыслях, чем на чувствах, завоевывая неизвестные области познания. Проникая вглубь проблемы, форсируя идеи для соединения или разложения, укрощая строптивые слова, чтобы придать им определенный узор. Какое это наслаждение — стать диктатором, но без всякой ответственности и риска.

## Глава 14

*8 декабря 1926 г.*

К обеду это была уже История — последнее добавление к репертуару Мери Эмберли. Это было, на вкус Энтони, очень удачное добавление, — так последнее приобретение часто венчает изысканную коллекцию старых картин. В первый раз с момента получения приглашения он понял, что его любопытство, заставившее принять приглашение Мери, было возбуждено мстительной надеждой на то, что она изменилась в худшую сторону — либо относительно, поскольку изменился его взгляд на женщину, либо абсолютно — как-никак, прошли долгие двенадцать лет; она была просто обязана подурнеть по сравнению с той, какой она была раньше, по сравнению с той, какой она казалась Энтони и какой он сохранил ее в памяти. Ему было стыдно признаться в этом, но факт остается фактом — он был разочарован, когда увидел, что нынешняя Мери едва ли очень сильно отличалась от той, которую он знал двенадцать лет назад. Теперь ей было сорок три. Но тело ее сохранило

---

<sup>129</sup> Св. Франциск Ассизский (1182–1226) — средневековый итальянский богослов, основавший францисканский монашеский орден.

былую стройность, а движения по-прежнему отличались быстротой и живостью. Однако в ее поведении появилось и что-то новое; Энтони заметил, что живость ее была теперь целенаправленной. Мери играла роль женщины, по-девичьи порывистой, стремительной и легкой; играла неплохо — но в таких обстоятельствах, в которых — будь он естественным — этот порыв не бросался бы в глаза. Перед обедом она позвала его наверх, в спальню, чтобы показать обнаженные натуры Пуссена<sup>130</sup>, только что приобретенные ею. Первую половину лестничного пролета она прошла в обычном темпе, затем, словно припомнив, что медлительность передвижения есть знак надвигающейся старости, она внезапно перешла на бег, нет, не на бег, а на галоп. Да, это слово будет здесь намного уместнее, подумал Энтони. Когда же они вернулись в гостиную, ни одна шестнадцатилетняя девушка не бросилась бы с такой бесшабашностью на диван и не поджала бы под себя ноги таким кошачьим движением. Мери 1914 года не была такой резвой, как Мери 1926-го. И не смогла бы быть, даже если б захотела, подумал Энтони, во всех своих верхних и нижних юбках. Но теперь, в шотландке... все это было нелепым, но по зрелом размышлении он решил, что эта нелепость не причиняет ему боли. Да, собственно говоря, что здесь нелепого? Мери имела полное право играть роль молодой женщины. Смеющаяся жизнерадостность прорывалась необычайно привлекательным сиянием сквозь легкую завесу усталости, которой было прикрыто почти не увядшее лицо. А что касается ее удач — то что же, последняя импровизация — а это точно была импровизация, поскольку все произошло только сегодня утром, — на тему украденного Элен куска печенки была настоящим маленьким шедевром.

— Я набальзамирую эту штуку, — сказала она в заключение с деланной серьезностью, готовая разразиться веселым смехом. — Набальзамирую и...

Шипя и булькая, словно имбирное пиво, рвущееся из неудачно открытой бутылки, в эту тишину встрял Беппо Боулз:

— Хотите я дам вам адресок одной конторы, где ее набальзамируют по высшему разряду. — Он улыбался, моргал и невыносимо гримасничал; казалось, он говорит всеми частями своего большого жирного тела. — Цитата из журнала похоронных ритуалов, — провозгласил он. — Бальзмировщики! Неужели все, к чему вы прикасаетесь, имеет такой жалкий вид? Если так, то...

Миссис Эмберли рассмеялась, правда, несколько принужденно — она терпеть не могла, когда ее перебивали в середине рассказа. Конечно, Беппо очень похож на молоденького мальчика, несмотря на внушительное брюшко и лысину. (Правда, если уж на то пошло, то его скорее можно было сравнить с девочкой.) Но все же и ему следовало бы знать меру приличия... Она оборвала его словами:

— Это слишком выпендрено, — потом обратилась к остальным гостям, сидящим за столом: — Ну так вот, я велю ее набальзамировать и положу под стеклянный колпак, ну, вы знаете — под такими колпаками...

— Это будет очень жизненно, — не удержавшись, булькнул Беппо, однако никто не обратил внимание на его остроту и Беппо пришлось хихикать в одиночестве.

— Эти колпаки, — повторила миссис Эмберли, не удостоив невежу взглядом, — выставляются в любом доходном доме. А под ними птичьи чучела. Птю-юцы, набитые опилками. — Мери произнесла гласную в слове птицы, как немцы произносят свой умлаут. Эти птицы, превратившись в тевтонских птю-юц, по непонятной причине вызвали взрыв всеобщего смеха.

Ее голос стал лучше, чем раньше, подумал Энтони. Появившаяся хрипотца была, как пушок на персике, пушок, под которым видна нежная кожица плода, как легкий туман, за пеленой которого в летние дни с моста Ватерлоо виден необыкновенный силуэт собора Святого Павла. Легкая полупрозрачная вуаль лишь подчеркивала красоту звукового ландшафта ее голоса. Прислушиваясь внимательнее, чем обычно, к каденциям ее речи,

---

<sup>130</sup> Пуссен Никола (1594–1665) — французский художник, представитель классицизма.

Энтони пытался зафиксировать их в памяти, чтобы потом проанализировать и разложить на составляющие. В задуманных им «Основах социологии» должна была быть глава о массовом внушении и пропаганде. Один из разделов будет посвящен проблеме чарующих звуков. Чарующий, волнительный звук голосов Савонаролы<sup>131</sup> или Ллойд Джорджа<sup>132</sup>. Чарующе умиротворяющий звук увещаний священника; чарующая жизнерадостность голосов Роуби и малютки Тича; чарующе обольстительные звуки, которые издают актеры, актрисы, певцы и доморощенные сирены и донжуаны. Талант Мери, считал Энтони, заключался в умении говорить голосом одновременно обольстительным и смешным. Она умела издавать звуки, которые задевали струны смеха и желания, но никогда — струны печали, сожаления или негодования. В моменты эмоциональных срывов (он хорошо помнил ужасные сцены, которые она устраивала) она полностью теряла власть над своим голосом — он становился визгливым и хриплым. Ее жалобы, упреки и печаль вызывали у собеседника лишь ощущение физического дискомфорта. В противоположность этому, сам звук голоса миссис Фокс располагал к уступчивости и вызывал симпатию. Она обладала тем таинственным даром, который привел Робеспьера<sup>133</sup> к власти, который позволял Уайтфилду простым повторением одного и того же благочестивого восклицания исторгать слезы из глаз самых закоренелых скептиков. Есть такие чарующие звуки — звуки, способные убедить слушателя в существовании Господа Бога. Эти птю-юцы! Над шуткой рассмеялись все — даже Колин Эджертон и Хью Ледвидж. Хью смеялся, несмотря на то что с того момента, как в гостиную вошел человек по имени Бивис, Хью просто потерял покой. Этот Бивис, встреч с которым он так старательно избегал... Почему Мери его не предупредила? На какое-то мгновение он вообразил, что это заговор. Мери пригласила Бивиса, чтобы опозорить его, Хью — поскольку знала, что Бивис был свидетелем его унижений в Балстроуде. Их было двое: Стейтс (Ледвидж знал, что он приглашен и его ждали после обеда) и Бивис. Хью привык встречаться со Стейтсом в этом доме и, в общем, не возражал против них. Стейтс, в этом не было никаких сомнений, все забыл. Но Бивис... при встречах с этим человеком Хью каждый раз казалось, что Энтони смотрит на него каким-то странным взглядом. Мери пригласила его намеренно, чтобы он обо всеми напомнил Стейтсу и эти двое смогли бы устроить такой вечер воспоминаний. А вспомнить им было что: как Хью боялся играть в футбол, как он плакал, когда на пожарных учениях его заставляли спускаться со стены по веревке; как он наябедничал Джимбагу и за это был прогнан сквозь строй товарищей, вооруженных вместо шпичрутенов мокрыми скрученными полотенцами; или как они подсматривали за ним через перегородку... От этих мыслей Хью стало не по себе. Естественно, по зрелом размышлении стало ясно, что это не заговор. Это просто невозможно. Об этом даже думать нечего. Но как бы то ни было, Ледвидж с облегчением вздохнул, когда гостей пригласили к столу и он оказался на порядочном расстоянии от Бивиса. Напротив сидела Элен, и в присутствии Энтони ему было бы трудно с ней поговорить. А уж после обеда он постарается держаться подальше от старого «приятеля»...

Что же до Колина, то он весь обед просидел в нарастающем оцепенении, смешанном с недовольством и отчаянием. Ощувив полную безнадежность, он наконец мысленно произнес ту фразу, которую собирался сказать Джойс при первой же возможности: «Может быть, я глуп и все такое...» Внутренний голос произнес эти слова с таким презрением, словно Колин признавался в силе, а не слабости. «Может быть, я глуп, но я знаю, что находится в рамках приличий, а что — нет». Он скажет все это Джойс, скажет, будьте покойны, и даже больше

---

<sup>131</sup> *Савонарола Джироламо* (1452–1498) — настоятель доминиканского монастыря во Флоренции, выступавший против папской власти.

<sup>132</sup> *Ллойд Джордж Дэвид* (1863–1945) — премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг.

<sup>133</sup> *Робеспьер Максимилиен* (1758–1794) — деятель Великой Французской революции, лидер партии якобинцев, казненный термидорианцами.



того; а она (Колин взглянул на Джойс, когда Беппо с увлечением рассказывал одну из своих самых душераздирающих историй, и поймал ее взгляд — несчастный, затравленный, умоляющий о прощении) согласится с каждым его словом. Да и как иначе, ведь бедное дитя похоже на подкидыша, которого опекунский совет графства по неисповедимой ошибке отдал в руки немисливо сумасбродной матери, которая заставляет несчастную девочку, насилуя ее истинную природу, общаться с этими... этими... (Колин не смог найти подходящего эпитета для выражения своего отношения к Беппо). И именно ему, Колину Эджертоу, выпадет честь и счастье стать святым Георгом<sup>134</sup>, который спасет ее. Тот факт, что она — как и всякая чистая невинная девушка, попавшая в лапы сутенеров — нуждалась в спасении, был одной из причин ее привлекательности для Колина. Он любил ее и поэтому так страстно ненавидел этого жуткого дегенерата (вот подходящее слово) Беппо Боулза и его одобрение всего того, что делала и что представляла из себя Джойс, было пропорционально неодобрению (смешанному со страхом) матери Джойс. И все же, несмотря на неприязнь, несмотря на страх перед острым языком миссис Эмберли, ее пронизательный иронический взгляд, Колин не смог удержаться от смеха. Птю-юцы под стеклянными колпаками оказались неотразимыми.

Смех миссис Эмберли походил на согревающее и развязывающее язык шампанское.

— На основании колпака, — продолжала миссис Эмберли, стараясь перекричать шум за столом, — я велю выгравировать слова: «Эту печенку, рискуя своей драгоценной жизнью, собственноручно украла Элен Эмберли и...»

— Ну мамочка, ну перестань! — Элен покраснела от удовольствия и раздражения. — Пожалуйста! — Ей, несомненно, было приятно стать главной героиней рассказа, которому все внимали. Правда, эта героиня отличалась ослиным упрямством, и то, что мать так откровенно эксплуатирует тему ее глупости, несколько злило Элен.

— ...И это несмотря на бесконечное и подсознательное отвращение к мясным лавкам», — продолжала миссис Эмберли. — Бедняжка! — добавила она с другой интонацией. — Запахи всегда были ее слабым местом. Мясники, рыботорговцы... И я никогда не забуду того дня, когда я в первый и в последний раз взяла ее в церковь!

«Первый и последний, — подумал Колин. — Неудивительно, что эта особа выкидывает подобные штучки!»

— О, я готова признать во всеуслышание, — кричала между тем миссис Эмберли, — что эти деревенские прихожане, собравшиеся в церкви в дождливое воскресное утро, изрядно воняют. Это просто оглушительная вонь! Но однако...

— Аромат святости, — вставил свое слово Энтони Бивис и повернулся к Элен. — Я и сам страдал этой болезнью. Интересно, ваша мать заставляла вас сплевывать, когда вокруг скверно пахло? Моя заставляла. Хотя сделать это в церкви довольно трудно, не правда ли?

— Она не плевала, — вместо дочери ответила миссис Эмберли, — ее просто вырвало. На каракулевую шубку леди Ворплсдон. После этого я не могла показаться в приличном обществе. Благодарение богу! — добавила она.

Беппо прошипел что-то нечленораздельное, протестуя против таких тяжких обвинений. Тема украденной печенки была исчерпана, и разговор потек по иному руслу.

Элен, на которую перестали обращать внимание, сидела за столом, не говоря ни слова. Лицо ее внезапно помрачнело; совсем недавно она поклялась себе, что больше никогда в жизни не возьмет в рот мяса и вот, пожалуйста, она сидит за столом и преспокойно отправляет в рот насаженный на вилку отвратительный красный кусок говядины с кровью. «Я просто ужасна, — подумала она. *Pas serieuse*<sup>135</sup>, как говаривала старая мадам Делеклюз. И хотя от профессионального палача девичьего племени вряд ли можно было ожидать чего-

---

<sup>134</sup> *Святой Георг* (IV в. н. э) — национальный английский святой, бывший солдатом римской армии и замученный насмерть в Малой Азии. День святого Георга празднуется в Англии 23 апреля.

<sup>135</sup> Весьма серьезно (*фр.*).

то другого, по сути своей это была правда. — Я несерьезна. Я не...»

Внезапно до нее дошло, что какой-то невнятный далекий звук, раздававшийся справа от нее, был мужским голосом и голос этот настойчиво обращался к ней.

— ... Пруст, — только сейчас Элен поняла, что голос повторяет это короткое слово уже в третий раз. Она с виноватым видом оглянулась, и, покраснев от смущения, увидела обращенное к ней, охваченное трепетом и нерешительностью лицо Хью Ледвиджа. Он глупо улыбнулся, его очки блеснули, и он отвернулся. Она почувствовала себя вдвойне смущенной и пристыженной.

— Боюсь, что я не совсем поняла, — невнятно пробормотала она.

— О, что вы, это не имеет никакого значения, — так же невнятно пробубнил он в ответ. — Нет, нет, это и в самом деле неважно.

Конечно, неважно, но ведь ему потребовалось добрых пять минут, чтобы придумать этот гамбит с Прустом. «Я должен ей что-нибудь сказать, — решил он, увидев, что Бивис занят оживленной беседой с Мери Эмберли и Беппо. — Что-нибудь...» Но что? Что обычно говорят восемнадцатилетним девушкам? Надо бы сказать ей что-то личное, может быть, даже галантное. Например, насчет ее платья. («Какое очаровательное!») Нет, это туманно и не высвечивает деталей. «Как это идет к вашему цвету лица, вашим глазам!» (Кстати, какого они цвета?)

Или можно спросить ее насчет вечеринок. Часто она ходила на них? (Весьма лукаво.) С молодыми людьми? Нет, это для него слишком сложно. К тому же ему не очень-то нравилось думать о том, что у нее могут быть какие-то молодые люди, — он бы предпочел, чтобы она была девственницей: *Du bist die eine Blume* <sup>136</sup>... Или серьезно, но с улыбкой: «Ответьте мне... — мог он сказать, — ответьте мне, Элен, что теперь в массе своей любит молодежь? Как она мыслит, как ощущает мир?» — и Элен, водрузив локти на стол, повернулась бы к нему лицом и рассказала о том потустороннем мире, где люди танцуют, ходят по банкетам и ведут кипучую личную жизнь, рассказала бы ему все до последнего факта или, что более вероятно, не рассказала бы ничего, и он почувствовал бы себя невероятным идиотом. Нет, нет, так не пойдет, это не выход из положения. Это просто фантазия; он принимает желаемое за действительное. Вот тут-то и пришла ему в голову спасительная мысль о Прусте. Каково ее мнение о нем? Это был совершенно безличный вопрос, задавая который он не чувствовал бы себя неловко и неестественно. Но именно эта безличность при некотором усилии могла стать поводом к бесконечной дискуссии — совершенно абстрактной, можно сказать, выращенной в пробирке, но при этом дающей возможность проникнуть в самые отдаленные и потайные уголки души и даже (но нет, это, конечно... хотя почему нет?) затронуть физиологические стороны. Говоря о Прусте, можно высказать все — все, но не выходя при этом за рамки строгой литературной критики. Блестяще! Он повернулся к Элен.

— Я полагаю, вы, так же, как и все, высоко цените Пруста. — Он сделал паузу, ожидая ответа. Ответа не последовало. С противоположного конца стола долетали обрывки разговора миссис Эмберли с Беппо и Бивисом — они перемывали косточки общим знакомым. Колин Эджертон был погружен в свои мысли — наверное, раздумывал об охоте на тигров в Центральных провинциях. Хью кашлянул, и сделал вторую попытку.

— Вы поклонница Пруста, не так ли? Я тоже, увы, как и все.

Унылый профиль девушки оставался мрачным и безжизненным. Чувствуя, что попал в дурацкое положение, Хью Ледвидж мужественно попробовал еще раз.

— Мне хотелось бы, чтобы вы мне поведали, — сказал он громче и спокойным голосом, прозвучавшим, как ему показалось, особенно неестественно, — что вы думаете о Прусте.

Элен не отрываясь продолжала смотреть в свою тарелку. *Pas serieuse*. Она неотвязно

---

<sup>136</sup> Подобна ты весеннему цветку (нем.).

думала о всех своих легкомысленных поступках, которые совершила в жизни, обо всех глупых, злых и ужасных вещах. Хью Ледвиджа охватила паника. Он был смущен и растерян. Было такое чувство, словно с него в центре Лондона среди бела дня свалились брюки. Любой другой на его месте просто взял бы ее за руку и сказал: «Пенни за ваши тайные мысли, Элен!» Как это было бы просто и понятно. Можно было бы обратить в шутку весь инцидент, причем за ее счет! Таким нехитрым маневром он сразу занял бы в поединке господствующее положение, она бы хихикала и краснела по его команде, в ответ на его приказания. Как опытный матадор, он одним взмахом красной ткани заставлял бы ее демонстрировать самые уязвимые места, и вот тогда он смог бы извлечь из ножен шпагу и, взмахнув ею... Однако каким бы простым, разумным и выигрышным ни казался этот ход, Хью Ледвидж был не способен сделать первый шаг. Вот прямо перед ним ее по-детски тонкая рука — надо просто взять и коснуться ее, но непостижимым образом Хью не мог заставить себя сделать этот совершенно естественный жест. И никогда он не смог бы сделать то шутовское предложение пенни — да его голосовые связки просто отказались бы ему повиноваться. Прошло тридцать секунд — секунд неуверенности и смятения. Вдруг Элен, словно пробудившись от сна, встрепенулась и посмотрела на Хью. Что он сказал? Но повторить прежний вопрос было решительно невозможно.

— О, что вы, это не имеет никакого значения. Нет, нет, это и в самом деле неважно. — Он отвернулся. Но почему, господи, ну почему он такой ни черта не соображающий идиот в свои тридцать пять лет? *Nel mezzo del cammin* <sup>137</sup>. Вообразите Данте в таких обстоятельствах! Данте с его стальным профилем, наклонившего голову в предвкушении новой духовной битвы. Интересно, что бы он сказал вместо потерявшей всякое значение ремарки о Прусте? Силы небесные, что?..

Вдруг она сама коснулась его руки.

— Я виновата перед вами, — сказала Элен с искренним чувством вины и изо всех сил пытаюсь скрыть свою отвратительную сущность и то легкомыслие, с которым она только что ела на совесть отбитое мясо, приобретенное у мистера Болдуина. К тому же ей нравился этот старина Хью, он был очень мил и добр — этот прекрасный человек не пожалел времени и взял на себя труд показать ей ацтекские древности в Британском музее. «У меня деловая встреча с мистером Ледвиджем», — сказала она, придя в тот раз в музей, и служащие проявили по отношению к ней совершеннейшее почтение. Ее проводили в кабинет помощника директора департамента, демонстрируя при этом такую вежливость, словно она была весьма важной особой. Выдающийся археолог нанес визит другому выдающемуся археологу. Это и в самом деле было необыкновенно интересно. Но, правда, — и в этом стыдно признаться, хотя это было еще одним доказательством ее крайней несерьезности, — она забыла почти все, о чем он ей тогда рассказывал. — Ради бога, простите меня, — совершенно искренне проговорила Элен, прекрасно понимая, как чувствует себя сейчас Хью Ледвидж. — У меня глухая бабушка, и я хорошо знаю, что такое повторять дважды одно и то же. Чувствуешь себя полнейшей идиоткой. Как Тристрам Шенди с часами<sup>138</sup>, если я понятно выразилась. Простите меня. — Она призывно сжала его руку, потом, опершись на локти, повернулась к нему лицом и заговорила преувеличенно доверительным тоном, чтобы он почувствовал ее особое к нему отношение: — Послушайте, Хью, вы ведь серьезный человек, не правда ли? — сказала она. — Ну вы понимаете, *serieux*.

— Ну, думаю, что да, — промямлил он. Только сейчас он с некоторым опозданием понял, что она имела в виду, упомянув мистера Шенди, и это открытие потрясло его до

---

<sup>137</sup> На полдороге странствия земного (*итал.*). — «Ад» Данте, пер. В. Брюсова.

<sup>138</sup> *Тристрам Шенди* — герой романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» английского писателя-сентименталиста Лоренса Стерна (1713–1768). Элен имеет в виду эпизод, где мать Тристрама спрашивает сына, не забыл ли он завести часы.

глубины души.

— Мне думается, — продолжала она, — что вы вряд ли работали в музее, если бы не были серьезным человеком.

— Пожалуй, да, — признал он. — Я бы там не работал. — «В конце концов, — думал он, все еще размышляя о мистере Шенди, — есть такая вещь, как теоретическое знание. (Кому, как не ему знать об этом?) Теоретическое знание, которое не имеет под собой истинного опыта, знание, которое не пережито, не пропущено через себя. О, Господи!» — мысленно простонал он.

— Ну вот, а я очень несерьезна, — продолжала Элен. Ей вдруг страшно захотелось облегчить душу, попросить о помощи. Были моменты, наступавшие довольно часто, когда по той или иной причине она сомневалась в себе, моменты, когда все вокруг нее казалось невыносимо смутным и ненадежным. Все — точнее, практически все, сводилось к ненадежности ее матери. Элен очень любила мать, но отчетливо сознавала, что та для нее совершенно бесполезна. «Наша мамочка похожа на скверную избитую шутку, — сказала она как-то в разговоре с Джойс. — Только подумай, что садишься на стул, как его выдергивают из-под тебя и ты со всего размаха грохачешься задницей об пол». Но что ответила на это Джойс? «Элен, как ты можешь употреблять такие слова?» Дура набитая! Хотя, следует признать, что сама Джойс была стулом, на котором можно сидеть, правда, в не слишком сложных обстоятельствах, а что толку в таком стуле? Джойс слишком молода; впрочем, даже когда она станет старше, она вряд ли научится правильно понимать и оценивать происходящее. А теперь, после помолвки с Колином, она вообще перестала что-либо понимать. Господи, какой же дурак этот Колин! Но все же это, если хотите, какой-никакой, но стул. Правда, существуют такие стулья, на которых не очень-то удобно сидеть, но если Джойс не возражает против такого дискомфорта, то, как говорится, вольному воля. У нее самой не было стула в этом страшно утомительном мире, и она почти завидовала Джойс. Опустив плечи, она тяжело облокотилась на стол.

— Самое плохое во мне то, — заговорила она. — что я безнадежно легкомысленна.

— Я не могу всерьез этому поверить, — произнес Хью, совершенно не понимая, почему он это сказал. Очевидно, он должен был воодушевить ее на исповедь, а не уверять в непогрешимости. Дело выглядело так, будто он в глубине души боялся именно того, чего желал больше всего на свете.

— Я не считаю, что вы...

Но к счастью, никакие его слова уже не были способны свернуть ее с избранного пути. Элен твердо решила использовать его в качестве стула.

— Нет, нет, это истинно так, — уверяла она его. — Вы и представить себе не можете, насколько я легкомысленна. Я расскажу вам, как.

Через полчаса, в задней гостиной он составлял список книг, которые она должна была прочесть. «Ранние греческие философы» Бернета, Федр<sup>139</sup>, Тимей<sup>140</sup>, «Апология», «Пир»<sup>141</sup> в переводе Джоуэта, «Никомахова этика»<sup>142</sup>, Малая антология греческих моралистов Корнфорда, Марк Аврелий<sup>143</sup>, Лукреций<sup>144</sup> в любом хорошем переводе,

<sup>139</sup> *Федр* — греческий философ I в. до н. э., глава эпикурейской школы в Афинах, оказавший влияние на Цицерона.

<sup>140</sup> *Тимей* (356?—260? до н. э.) — греческий историк из Тавромения на Сицилии, проживший большую часть своей жизни в Афинах и написавший труды по истории Сицилии и Южной Италии.

<sup>141</sup> «*Апология Сократа*», «*Пир*» — труды Платона.

<sup>142</sup> «*Никомахова этика*» — этический трактат Аристотеля (384–382 гг. до н. э.), древнегреческого философа, основателя школы перипатетиков.

<sup>143</sup> *Аврелий Марк* (121–180) — римский император с 161 г., автор трактата «Наедине с собой», написанного

«Плотин» Инджа<sup>145</sup>. Его манера говорить была непринужденной, внушающей доверие; речь была отточена до совершенства. Он был подобен зверю, внезапно оказавшемуся в своей стихии.

— Это даст вам некоторое представление о том, как мыслили древние.

Она кивнула головой. При взгляде на исписанную карандашом страницу ее лицо стало серьезным и решительным. Она будет носить очки и велит перенести стол в спальню, чтобы оградить себя от излишних беспокойств, когда перед ней стопами будут громоздиться фолианты, а рядом с ними будет стоять письменный прибор. Тетради для записей, а еще лучше, картотека. Она начала бы новую жизнь, жизнь осмысленную, имевшую конкретную цель. В гостиной кто-то завел граммофон. Помимо воли ее ноги начали отбивать ритм. Раз, два, три, раз, два, три — это был вальс. Господи, о чем она думает? Элен нахмурилась и усилием воли приказала себе остановиться.

— Что касается мыслителей нового времени, — говорил между тем Хью, — то два столпа, мимо которых нельзя пройти, то есть те, с которых начинается любая из современных культур, это, — и его карандаш заскользил по бумаге, — Монтень с его «Опытами» и «Мысли» Паскаля<sup>146</sup>. Это несомненно. — Он подчеркнул фамилии. — Затем возьмите «Рассуждение о методе»<sup>147</sup>.

— О каком? — спросила Элен. Но Хью не расслышал вопроса. — И посмотрите «Левиафана» Гоббса<sup>148</sup>, если будет время, — продолжал он со все нарастающей уверенностью и гордостью. — Затем Ньютона<sup>149</sup>. Это совсем обязательно. Потому что если не знаешь философии Ньютона, ты не поймешь, почему наука развивалась так, а не иначе. Все, что потребуется, вы найдете в «Метафизических основах современной науки» Берта.

Пока он писал, стояло недолгое молчание. Приехали Том, Эйлин и Сивилла. Элен слышала, как они разговаривают в соседней комнате, но не оторвала глаз от бумаги.

— Затем прочтите Юма, — продолжал он. — Лучше начните с «Эссе». Они великолепны. Такая глубина, такая невероятная проницательность!

— Проницательность! — повторила Элен и самодовольно улыбнулась. Да, это как раз так то слово, которое она подыскивала — как раз такой она хотела быть: проницательной, как слон, как старая овчарка, как Юм, если вам это больше нравится. Но в то же время она хотела остаться такой, какой была — юной, но проницательной, живой и привлекательной, но проницательной, порывистой и...

— Канта<sup>150</sup> я вас читать не заставляю, — снисходительно произнес Хью.

---

по-гречески.

<sup>144</sup> *Луcretий Кар Тит* (ок. 99–55 до н. э.) — римский поэт и философ, один из наиболее значительных представителей теории атомистики. Автор дидактической поэмы «О природе вещей».

<sup>145</sup> *Индж Уильям Ральф* (1860–1954) — английский писатель, проповедник, декан собора Св. Павла.

<sup>146</sup> *Паскаль Блез* (1623–1662) — французский религиозный философ, физик и математик.

<sup>147</sup> «*Рассуждение о методе*» — сочинение Рене Декарта (1596–1650) — французского философа, математика, физика.

<sup>148</sup> *Гоббс Томас* (1588–1679) — английский философ, создатель первой системы механистического материализма. Образ Левиафана заимствован Гоббсом из Библии

<sup>149</sup> *Ньютон Исаак* (1643–1727) — английский физик и математик, открывший закон гравитации и заложивший тремя законами основы современной физики.

<sup>150</sup> *Кант Иммануил* (1724–1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, автор «Критики чистого разума» (1781).

— Но думаю, — он снова начал писать, — думаю, что стоит почитать одного-двух неокантианцев. «Философию как если бы» Файхингера<sup>151</sup> и «Теоретическую биологию» Уэкслюля. Дело в том, что Кант оказал воздействие на всю науку нашего столетия. Так же, как Ньютон на науку восемнадцатого и девятнадцатого веков.

— Элен! — внезапно раздался чей-то голос.

Они прервали беседу и взглянули на дверь, откуда появилось улыбающееся, надменно красивое лицо Джерри Уотчета. Голубые глаза, блестящие на фоне загорелой кожи, смотрели то на нее, то на него с некоторой издевкой. Сделав шаг вперед, он фамильярно привлек к себе Элен.

— Чем развлекаетесь? Кроссвордами или журнальными ребусами? — Он пару раз покровительственно похлопал ее по плечу.

Словно она лошадь, мысленно вознегодовал Хью. Этот молодец и в самом деле походил на конюха. Курчавые золотисто-каштановые волосы, лицо с плоскими чертами, одновременно ребячливое и тупое. Этот парень словно только что явился из Эпсомских конюшен.

Элен улыбнулась той улыбкой, которая должна была быть презрительно-надменной, улыбкой образованной женщины.

— Ты бы в любом случае подумал, что это кроссворд, — произнесла она. Затем вдруг добавила, сменив тон: — Кстати, вы знакомы? — И она перевела свой пристальный взгляд с Джерри на Хью.

— Так точно, — ответил Джерри, не убирая правой руки с плеча Элен, а левую приложил к виску, пародируя армейское приветствие. — Добрый вечер, полковник.

Покорно, как овца, Хью приложил ладонь к виску. Вся его сила, весь его авторитет рассеялись, когда ему поневоле пришлось покинуть мир книг и вернуться к сложным обстоятельствам личной жизни. Он почувствовал себя как раненый буревестник, упавший на сухой песчаный берег, беспомощным неудачником, робким и безобразным. И как легко, однако, было напустить на себя такую всепроницающую улыбку и многозначительно сказать: «Да, я знаю мистера Уотчета весьма хорошо. Знаю его», — и тон подразумевал бы всю сущность человека, о котором шла речь: джентльмен-бонвиван, профессиональный игрок и профессиональный любовник. В настоящее время он был в фаворе у Мери Эмберли, как полагали все. «Весьма близко знаком с мистером Уотчетом», — вот что надо было сказать. Но он не сказал этого, а лишь улыбнулся и глупо прижал руку к виску в военном салюте.

Тем временем Джерри устроился на подлокотнике дивана и сквозь дым сигареты принялся рассматривать Элен со спокойной и непринужденной наглостью, оценивая ее по частям: бедра, талия, грудь.

— Знаешь, Элен, — наконец сказал он, — ты с каждым днем становишься все привлекательнее и привлекательнее.

Вспыхнув, Элен запрокинула назад голову и расхохоталась; но внезапно ее лицо окаменело. Она разозлилась — разозлилась на Джерри за его невыносимую наглость, разозлилась больше всего на себя за то, что ей польстила эта наглость, за то, что с унижительным автоматизмом отреагировала на его вызывающую лесть. Покраснела и захихикала, как школьница! А «Философия как если бы», очки в роговой оправе, новая жизнь и картотека?.. Стоило только мужчине сказать о ее привлекательности, как вся эта науки перестала казаться слишком важной. Она повернулась к Хью, ища защиты и поддержки. Но он поспешно отвел взгляд и отвернулся. Его лицо стало задумчиво-рассеянным — было видно, что он думал о чем-то постороннем. Он рассердился на нее? — подумала она. Был оскорблен тем, с каким удовольствием она приняла комплимент Джерри?

---

<sup>151</sup> *Файхингер Ханс* (1852–1933) — немецкий философ-идеалист, создатель концепции фикционализма, учения о мире как совокупности иллюзий.

Но ведь это все равно что мигнуть от грохота револьверного выстрела — человек не властен над такими действиями. Должен же Хью понять, что она искренне хочет начать новую жизнь и стать благоразумной. Вместо этого он отошел в сторону, показав, что не желает больше иметь с ней дело. О, как это нечестно!

За холодной личиной отчужденности Хью более чем когда-либо чувствовал себя как бодлеровский альбатрос:

*Ce voyageur aile, comme il est gauche et wide!  
Lid, naguere si beau, qu'il est comique et laid!* 152

Ах, эти захватывающие дух лазурные неокантианские выверты. Из соседней комнаты ревел граммофон: «Да, сэр, она моя девчонка». Джерри просвистел пару тактов, затем повернулся к Элен:

— Как насчет фокстрота? Если, конечно, ты закончила с полковником.

— Он бросил язвительный взгляд на отвернувшегося Хью. — Я не хотел бы прерывать...

Теперь подошла очередь Элен взглянуть на Хью.

— Понимаете... — нерешительно произнесла она.

Не поднимая глаз Хью поспешил сказать:

— Нет-нет, не возражаю, — и сам удивился своему поступку. Какой бес ударил его в ребро, заставив признать свое поражение до самой битвы?

Уступить ее конюху. Размазня и трус! «И все же, — цинично сказал он себе, — она, пожалуй, предпочтет конюха. Наверное». Он поднялся, пробормотал что-то насчет важного разговора с кем-то, кто должен был вот-вот подойти, и двинулся к двери, ведущей на лестницу.

«Ну что ж, если он не хочет, чтобы я была с ним, — в негодовании думала Элен, — если я ему не нужна». — Она была обижена и уязвлена.

— Полковник вышел в отставку, — заметил Джерри. Затем, вновь возвращаясь к той же теме. — Ну так как насчет того, чтобы чуть-чуть потанцевать?

Он поднялся с подлокотника, и подал ей руку. Элен сжала ее ладонью и встала с низкого стула.

— «Нет, сэр, не говорите: «Может быть», — пропел он, обняв ее за талию. Вихрь танца увлек их, и они, извиваясь в такт музыке, двинулись в соседнюю комнату.

## Глава 15

*Июнь 1903 — январь 1904 г.*

Это был ритуал, священнодействие (именно так назвал его сам Джон Бивис) — священнодействие единения. Сначала он открывал дверцы шкафа, перебирал ее платья. Закрыв глаза, вдыхал аромат духов, который они источали; сквозь пропасть разделявшего их теперь времени он ощущал слабый, едва уловимый запах ее тела. Потом наступал черед ящиков. Вот в этих трех, что слева, хранится ее белье. Вот мешочки с лавандой, аккуратно перевязанные голубыми ленточками. Он развернул кружева на ночной рубашке, которых касалась... Даже мысленно Джон старался не произнести слов «ее грудь», хотя живо припоминал ее округлую, слегка поникшую плоть, высвечивавшуюся сквозь ажурную полупрозрачную ткань. В памяти всплыли незабываемые римские ночи, воспоминания о которых сменили мысли о Лоллингдоне, юдоли печали и могильном мраке. Он сворачивал

---

152 Недавно был красив, и вот смешон и мертв/ (*фр.*) — Из стихотворения французского поэта-декадента Шарля Бодлера (1821–1867).

ночную рубашку и переходил к следующему ящику. Перчатки, облежавшие ее руки, пояса, заключавшие ее талию. Джон задумчиво оборачивал эти невесомые пояса вокруг запястья или висков. Обряд заканчивался чтением ее писем, писем, которые она писала ему после помолвки. Это венчало сто муки — ритуал заканчивался, и Джон отправлялся спать с еще одной раной в сердце.

За последнее время, однако, боль от этих ран несколько притупилась; казалось, ее смерть, до сих пор мучительно живая, сама начала умирать. Ритуал, очевидно, уже терял свое колдовское действие, сладкие муки становились все недоступнее и недостижимее, а когда все-таки наступали, то были менее болезненными и поэтому перестали удовлетворять Бивиса, ибо только боль оправдывала его существование все последние месяцы, боль невозможной утраты. Его желание и нежность внезапно лишились своего предмета. Но теперь причинявший страдания, пораженный гангреной член был отсечен. Теперь боль — а это все, что осталось ему в наследство от жены, — эти драгоценные для него муки ускользали от Джона, умирали, как умерла сама Мейзи.

Сегодня боль, видимо, исчезла полностью. Он зарылся лицом в ароматные складки ее платьев, трогал кружева и батист, касавшиеся ее нежной кожи, надул одну из ее перчаток, некогда облежавших ее руки, и тупо смотрел, как воздух постепенно выходил из пальцев перчатки и тонкая кожа безвольно обвисла, не пытаясь больше представляться живой. Ритуал оказался бесполезным и не достиг цели — ничто больше не трогало сердце Джона. Умом он понимал, что она мертва и что эта разлука ужасна. Но она больше не трогала его душу — он не чувствовал ничего, кроме пыльной пустоты.

Он лег спать неудовлетворенным, даже в какой-то степени униженным. Магические ритуалы оправдывают себя только если достигают цели. Если же эмоциональный результат не достигнут, то исполнитель ритуала чувствует, что его предали и одурачили.

Чувствуя себя высохшей мумией, лежащей в пыльной и душной пустоте своей гробницы, Джон долго не мог заснуть. Двенадцать, час, два, и потом, когда его охватило отчаяние, пришел сон, и ему привиделось, что она была здесь, рядом с ним, и это была та Мейзи, которую он знал на первом году их совместной жизни, с теми круглыми холмами и долиной под кружевами, с разомкнутыми губами (о боже!), дававшими невинное согласие. Он сжал ее в объятиях.

Это был первый раз со дня ее кончины, когда он увидел ее во сне не омраченной флером смерти.

Джон проснулся от чувства стыда, и, когда позже он увидел мисс Гэннет, ждавшую его, как обычно, в коридоре перед аудиторией, он сделал вид, что не заметил ее, и поспешил мимо, потупив глаза, хмурясь, словно был озадачен какой-то таинственной, неразрешимой проблемой высшей филологии.

Однако на следующий день он нанес свой еженедельный визит престарелой тетушке Эдит. И конечно же — хотя он не преминул высказать свое глубочайшее удивление — мисс Гэннет тоже была там, и он точно знал, что она придет, поскольку никогда не пропускала четвергов тетушки Эдит.

— Вчера вы ужасно торопились, — вымолвила она, дав улечься его наигранному удивлению.

— Я, когда? — Он притворился, что не уловил смысла ее слов.

— В колледже, после лекции.

— А вы были на лекции? Признаться, я вас не видел.

— Теперь он думает, что я прогуляла его лекцию, — пожаловалась она несуществующему третьему собеседнику. С тех пор как они впервые встретились в салоне тетушки Эдит два месяца назад, мисс Гэннет исправно посещала все его публичные лекции. «Чтобы совершенствовать мое образование, — всегда объясняла она. — Ведь оно так в этом нуждается», — добавляла она с усмешкой и одновременно с печалью.

Мистер Бивис воспротивился.

— Я никогда не говорил вам ничего подобного.



— Я покажу вам свои конспекты.  
— Нет, пожалуйста, не нужно этого делать, — теперь играть начал он.  
— Если б вы знали, как я устал от собственных лекций.  
— Но вы же чуть не перешагнули через меня в коридоре после лекции.  
— Ах, тогда!  
— Я никогда не видела, чтобы человек так спешил. Он кивнул.  
— Да, я очень спешил, это правда. У меня было заседание. Чрезвычайно важное, — внушительно добавил он.

Она широко открыла глаза, и тон ее голоса, как и выражение лица, сменилось от шутливого к серьезному.

— Должно быть, иногда бывает очень скучно, — сказала она, — ощущать себя значительной персоной, не правда ли?

Мистер Бивис снисходительно улыбнулся, глядя на взрослого дитя, объятые благоговением перед ним, на невинное создание, которое было розовощекой и по-детски красивой молодой женщиной лет двадцати семи, улыбнулся, почувствовав удовлетворение, и погладил усы.

— Ну, не такой уж важный, как вы думаете, — возразил он. — Не настолько... — Он на минуту замялся, рот его искривился, глаза блеснули.

— Не сливки общества, как вы, видимо, думали.

Он в очередной раз воспользовался если не жаргоном, то, по крайней мере, простонародным языком.

В то утро пришло только одно письмо. «От Энтони», — заметил мистер Бивис, вскрывая конверт.

*«Балстроуд, 26 июня.*

Дорогой мой отец, спасибо тебе за письмо. Я думал, мы на каникулы поедem в Тенби. Не договорились ли вы об этом с миссис Фокс? Брайан говорит, что она ждет нас и, может быть, нам, вместо того чтобы ехать в Швейцарию, стоит погостить у них. Мы сыграли вчера два матча, один с первой командой «Солнечного берега» и другой с Мамбриджем. Мы выиграли оба раза, и это было здорово. Я играл во второй сборной и сделал много успешных подач. По французскому начали читать новую книгу под названием «Письма с моей мельницы»<sup>153</sup>. По мне, это бред. Больше новостей нет, а потому остаюсь твой любящий сын  
*Энтони.*

P. S. Не забудь написать миссис Фокс, потому что Брайан говорит, она думает, что мы приедem в Тенби».

Мистер Бивис насупился, читая письмо, и, когда обед закончился, спустился в кабинет писать ответ.

*«Эрлскот-Сквер, 27 июня 1903 г.*

Дорогой Энтони! Меня постигло разочарование, поскольку ты воспринял то, что я считал волнующей новостью, с меньшим энтузиазмом, чем я надеялся. В твоём возрасте я несомненно использовал бы возможность съездить за границу, особенно в Швейцарию, с безмерным восторгом. Договоренности с миссис Фокс были весьма неопределёнными. Не стоит, однако, даже и говорить о том, чтобы я написал ей, как только подвернулась блестящая возможность исследовать Альпы в близкой по духу компании; это случилось всего лишь несколько дней назад и заставило меня отложить реализацию наших смутных планов насчет Тенби. Если хочешь увидеть точно, куда мы поедem, возьми свою карту

---

<sup>153</sup> «Письма с моей мельницы» — роман французского писателя Альфонса Доде (1840–1897).

Швейцарии, найди Интерлакен<sup>154</sup> и Боденское озеро, продвись на восток от конца озера до Меирингена и затем в южном направлении к Гриндельвальду. Мы сделаем остановки у перевала Шайдек, у Розенлои, почти под сенью таких звездных мест, как Юнгфрау, Вайсхорн и прочих. Я не знаю, где точно находится это место, но по свидетельству тех, кто там был, оно просто — рай на земле.

Я рад слышать, что ты хорошо проявил себя во время футбольного матча. Ты должен продолжать, дорогой мальчик, делая усилие за усилием. На следующий год, я надеюсь, ты будешь одним из лучших игроков в первой сборной школы.

Не могу согласиться с тобой в том, что Доде — это, по твоему выражению, бред. Подозреваю, что его скучность происходит из-за сложности, которую он представляет для начинающих. Когда ты блестяще овладеешь языком, ты оценишь тонкость его стиля и остроту его ума.

Надеюсь также, что ты упорно занимаешься и математикой. Должен сознаться, что сам я никогда не блистал математическими способностями и потому могу посочувствовать твоим неудачам. Но упорный труд способен творить чудеса, и я уверен, что если ты и в самом деле зароешься в алгебру и геометрию, то легко сможешь за год стать ученым математиком.

С добрыми пожеланиями твой отец  
*Джон Бивис*».

— Какая пакость! — сказал Энтони, закончив чтение письма. На глаза навернулись слезы — он был полон чувства нестерпимого горя.

— Ч-что он пишет? — спросил Фокс.

— Все устроено. Он написал письмо твоей матери, что мы поедем в какой-то медвежий угол в Швейцарии вместо Тенби. Нет, меня действительно сейчас вывернет. — Он скомкал письмо и со злостью бросил его на пол, затем отвернулся и попытался сорвать злость, пнув ящик с игрушками. — Меня тошнит от этого письма, тошнит, — не уставал повторять он.

Брайану тоже было не по себе. Они собирались так чудесно провести время в Тенби, все это ослепительно рисовалось в воображении, роскошно планировалось до мельчайших деталей, а теперь — хрясть! — и счастливое будущее разлетелось на куски.

— И в-все же, — наконец вымолвил он после долгой паузы, — н-надеюсь, т-тебе понравится в Ш-швейцарии. — Охваченный внезапным порывом, которому трудно было найти объяснение, он подхватил письмо мистера Бивиса, разгладил смятые страницы и протянул его Энтони. — В-вот т-твое письмо, — запинаясь, проговорил он.

Энтони целую минуту разглядывал письмо, потом открыл рот, словно собираясь что-то сказать, затем закрыл рот, взял письмо и убрал его в карман.

Когда они приехали в Розенлои, выяснилось, что близкая по духу компания, в которой они собрались бродить по Альпам, состоит из мисс Гэннет и ее школьной подруги мисс Луи Пайпер. Мистер Бивис постоянно называл их «девочками» или, применяя свою излюбленную издевательски филологическую манеру шутить, называл их «дамзелями» — *dominicellae*<sup>155</sup>, что было двойным уменьшительно-ласкательным от слова *domina*<sup>156</sup>. Крошечные леди!

Он улыбался сам себе всякий раз, когда произносил это слово. Энтони «девочки» казались парой скучных особ женского пола, к тому же не первой молодости. Пайпер, более худощавая из них, была похожа на гувернантку. Ему больше нравилась перезревшая

---

<sup>154</sup> *Интерлакен* — горно-климатический курорт в Швейцарии, к юго-востоку от Берна.

<sup>155</sup> Девушки, девчухи (*итал.*).

<sup>156</sup> Женщина (*итал.*).

толстушка Гэннет, несмотря на ту ужасную не то коровью, не то мышиную манеру смеяться и на то, как она пыхла, взбираясь в гору. Гэннет по крайней мере говорила то, что думала, и была весьма благодушна. К счастью, в отеле оказались еще двое английских мальчишек. Они приехали из Манчестера и говорили довольно смешно, но ребята они были что надо и знали немереное количество сальных анекдотов. Кроме того, ими была обнаружена пещера в лесу позади отеля, в которой они прятали сигареты. Когда Энтони, гордясь тем, что видел, вернулся обратно в Балстроуд, он хвастался, что курил почти каждый день во время каникул.

Во второй половине дня в одну из суббот ноября в Балстроуд приехал мистер Бивис. Они с Энтони немного посмотрели, как играют в футбол, затем совершили унылую прогулку, закончившуюся у Королевских ворот. Джон заказал сдобные лепешки и «яичницу на сливочном масле для юного крепыша», заговорщицки подмигнув официантке, как будто она, так же, как и он, знала, что это означает «подающего большие надежды» — и вишневый джем на второе! («Ведь вишневый твой любимый?»)

Энтони кивнул в знак согласия. Вишню он действительно любил больше всего, но такие церемонии вокруг еды насторожили его. Для чего все это делается? Собирается ли он что-нибудь рассказывать о своей работе? Будет ли у него, у Энтони, стипендия со следующей осени? А как насчет?.. Он покраснел. В конце концов, отец мог просто ничего не знать об этом. Нет, это совершенно невозможно. В конце концов Энтони сдался, не в силах представить себе, что собирается сообщить ему отец.

Но когда после необычно длинной паузы отец нагнулся вперед и сказал: «У меня для тебя интересная новость», — Энтони озарил — он понял, какая новость его ожидает.

«Он собирается жениться на этой тетке Гэннет», — подумал он.

Так оно и оказалось. Свадьба намечалась на середину декабря.

— Она будет тебе славным товарищем, — сказал мистер Бивис. — Так молода, полна такой свежей и неутолимой энергии! Товарищем и второй матерью.

Энтони опять кивнул. Но что он имел в виду, говоря о товарище? Он вспомнил эту старую толстуху Гэннет, вспомнил, как она, источая запах пота, карабкалась по склонам в Розенлои, вспомнил ее покрасневшее от напряжения лицо... Внезапно в его ушах зазвучал голос матери.

— Полин хочет, чтобы ты называл ее по имени, — продолжал мистер Бивис. — Это будет... ну, проще, я полагаю?

Энтони сказал «да», потому что ему, очевидно, было нечего больше сказать, и положил себе еще порцию вишневого джема.

— Третье лицо единственное число аориста<sup>157</sup> от Πιστεύω<sup>158</sup>? — спросил Энтони. Лошадиная Морда дал неверный ответ. Стейтс ответил правильно. — Второе лицо множественное число плюсквамперфект от Καταστροφή<sup>159</sup>

Замешательство Брайана было вызвано более серьезной причиной, чем заикание.

— Тебе сегодня кол, Лошадиная Морда, — сказал Энтони и, указав пальцем на Стейтса, давшего верный ответ, выдал: — Молодец! — И он повторил с характерной грохочущей манерой остроту Джим-бага: — Место осадка — на дне, Лошадиная Морда.

— Бедный Лошадиная Морда, — произнес Стейтс, хлопнув его по спине. Теперь, доказав Брайану свое превосходство в знании греческой грамматики, он почти любил его.

Было около одиннадцати — уже давно потушили свет, и троица собралась в туалете. Энтони, исполняющий роль экзаменатора, величественно восседал на унитазе, а двое других примостились на корточках у его ног. Майская ночь была теплой и тихой. Меньше чем через

---

<sup>157</sup> *Аорист* — форма глагола в некоторых языках, обозначающая мгновенное или предельное действие.

<sup>158</sup> Кладу, полагаю (*др. — греч.*).

<sup>159</sup> Опустошаю (*др. — греч.*).

полтора месяца они будут сдавать летние стипендиальные экзамены — Брайан и Энтони в Итоне, Марк Стейтс в Регби<sup>160</sup>. Прошел год со времени предыдущих рождественских каникул, когда Стейтс вернулся в Балстроуд с заявлением о том, что он идет на стипендию. Новость была ошеломляющей, повергшей в трепет его льстецов и подпевал. Тяжкий труд считался идиотским занятием, и те, кто учился изо всех сил, были презираемы всеми, поэтому получение стипендии считалось событием из ряда вон выходящим. Вот появились еще два зубрилы — Вениамин Бивис и Лошадиная Морда, да вдобавок этот нервный Гогглер Ледвидж. Все это показалось однокашникам предательством самых святых идеалов.

Уверенность в зубрил вселил сам Стейтс — сначала своими словами, а потом и поступками. Мысль о стипендии принадлежала его отцу. Заманчивость ее заключалась не в сумме — для отца Стейтса она мало что значила. Стейтс говорил всем, что все делалось ради чести и славы, потому что это стало доброй традицией его семьи. Его отец, его дяди, его братья, все они получали стипендии. Не к лицу было бы подводить Достославное Семейство. Это не меняло, однако, того, что сама зубрежка считалась отвратительным занудством и что все зубрилы, которые зубрили потому, что им это нравилось, как, например, Лошадиная Морда и Бивис, или ради денег, как несчастный Гогглер, были жалкими червями. И в доказательство тому он поддразнивал Лошадиную Морду за заикание и своеобразную манеру говорить, травил Гогглера за то, что тот не играет в фугбол и колол Бивиса в зад перьями, когда тот готовился к урокам; Стейтс сам занимался очень усердно, но именно по этой причине был вынужден еще более достоверно играть свою роль лентяя, уверяя всех и каждого, что зубрежка — самое последнее дело и что лично у него нет никаких шансов получить стипендию.

Когда лицо было в какой-то степени сохранено, он изменил тактику по отношению к Бивису и Лошадиной Морде и, выражая им некоторое время свои дружеские намерения, закончил тем, что предложил создать общество взаимопомощи по подготовке к стипендиальным экзаменам. В самом начале осеннего семестра именно он выступил с идеей устраивать ночные сборища в уборной. Брайан хотел включить Гогглера в полуночную команду, но двое других были против, к тому же туалет был слишком мал, чтобы вместить четвертого. Ему пришлось довольствоваться случайной помощью Гогглеру, которому он иногда выделял по полчаса в дневное время. Ночь и уборная оставались для триумvirата.

Для оправдания своего незнания греческих глаголов сегодня вечером Брайан робко произнес:

— Я оч-чень ус-с-с... — но фраза оказалась слишком трудной и ему пришлось прибегнуть к высокопарной метафоре, — очень утомлен сегодня, — закончил он.

Он говорил истинную правду, о чем свидетельствовали синяки под глазами и бледность; но для Стейтса это была всего лишь отговорка, с помощью которой Лошадиная Морда пытался приуменьшить горечь своего поражения в присутствии того, кто зубрил, в отличие от него самого, не в течение многих лет, а всего нескольких месяцев. Таким образом Брайан признал его, Марка, преимущество. Теперь можно было позволить себе быть великодушным.

— Эта удача дорого мне достанется! — произнес Марк с оттенком мольбы в голосе. — Давайте немного отдохнем.

Из кармана пижамы Энтони вытащил три имбирных пряника, размякших от долгого хранения, но тем не менее желанных.

В тысячный раз с тех пор, как было решено, что он пойдет на стипендию, Стейтс заявил:

— Как мне жаль, что у меня нет ни малейшего шанса!

— У т-тебя ог-громный шанс!

— Нет у меня никакого шанса. Это просто сумасшедшая идея моего Pater'a.

---

<sup>160</sup> *Регби* — город в Центральной Англии, где располагается крупная частная школа.

Сумасшедшая! — повторил он, тряхнув головой. Но на самом деле он испытал острое, греющее душу чувство гордости, восхищения и вспомнил, как говорил отец: «Мы, Стейтсы... Когда один из Стейтсов... У тебя такие же способности, как и у всей нашей семьи, и такое же упорство...» Он с усилием выдал из себя вздох и упрямо произнес: — У меня нет даже призрака шанса.

— В с-самом деле, т-ты б-больше способен, ч-чем я.

— Чуть! — Стейтс отказался признать даже возможность успеха. Затем, если бы он провалился, он мог бы сказать: «Ну, я же говорил тебе», — а если бы выдержал экзамен, на что он втайне надеялся, его слава была бы еще больше. Кроме того, чем больше было упорство, с которым он отрицал свою вероятность победить, тем чаще приятели повторяли сладостные заверения в том, что успех его был возможен, ощутим. Успех и, что значило больше, успех по их меркам, несмотря на то что он всегда представлялся яростным противником зубрежки.

Следующее заверение сделал Вениамин.

— Джимбаг считает, что у тебя все шансы. Я слышал, как он вчера разговаривал со старым Джеко.

— Откуда старому крестину Джимбагу знать об этом. — Стейтс презрительно скривился, но сквозь маску презрения его глаза светились от удовольствия. — А что касается Джеко...

Внезапный скрежет дверной ручки заставил всех троих насторожиться.

— Эй, ребята, — послышался умоляющий шепот сквозь замочную скважину, — вылезайте. У меня жутко болит живот.

Брайан поспешно поднялся с пола.

— Нужно впустить его, — начал он. Стейтс осадил его.

— Не валяй дурака, — произнес он сценическим шепотом и повернулся к двери. — Иди в малый этажом ниже. Мы заняты.

— Боюсь, что не успею.

— Тогда чем быстрее побежишь, тем лучше.

— Свинья! — послышался шепот. Затем: — О боже! — И они услышали стремительное шлепанье обутой в тапочки ног, удалявшееся к лестнице. Стейтс ухмыльнулся.

— Это будет ему уроком. Как насчет того, чтобы вернуться к греческой грамматике?

Заранее разгневанный, Джеймс Бивис чувствовал, что негодование все растет и растет с каждой минутой, проведенной под крышей брата. Дом буквально дышал готовящейся свадьбой. Запах брачного торжества душил его, как угарный газ. А в центре всего располагался Джон, невинно гревшийся в невидимых лучах таинственного женского тепла, вдыхавший дрожащим носом чад и все же чувствовавший глубочайшее удовлетворение и переворачивающее душу счастье. «Как сурок, — внезапно пришло на ум Джеймсу, — сурок со своей самкой, прижавшейся к нему вплотную в подземной норе». Да, дом походил на нору, где Джон был тощим байбаком во главе стола, с другой стороны которого сидела пышная, раздобревшая байбачка Гэннет. Между ними, занимавший один всю сторону стола, расположился маленький и несчастный Энтони, как птенец, которого поймали в лесу или в поле, затащили в душный дом и посадили в клетку. Негодование породило столь же сильную жалость и сострадание к несчастному ребенку и одновременно пробудило уже давно забытое чувство скорби о бедной Мейзи. Пока она была жива, он считал ее безнадежной идиоткой и ни на что не годной легкомысленной особой. Эта женитьба Джона и то уютное облачко, которое окутывало счастливую парочку, заставили Джеймса изменить свои суждения о покойной (по крайней мере, она не была такой толстой). И надо же, после ее смерти муж принес Мейзи в жертву ради этой разжиревшей сурчихи. Ужасно! Джеймс был не на шутку рассержен.

Тем временем Полин изо всех сил отказывалась от шоколадного суфле.

— Но дорогая, ты должна! — настаивал Джон.

Полин попыталась притвориться, что уже сыта.

— Я не могу.

— И даже любимый шоколатл? — мистер Бивис всегда обозначал шоколад его исконным ацтекским названием.

Полин игриво посмотрела на поднос.

— Я не должна, — произнесла она, подразумевая, что может съесть еще.

— Нет, должна, — уговаривал он.

— Посмотрите, он хочет, чтобы я растолстела! — притворно заголосила она. — Он вводит меня в искушение.

— Вот и не упирайся.

На этот раз Полин вздохнула, как ученица.

— Ну ладно, будь по-твоему, — покорно сказала она. Кухарка, в нетерпении ждавшая разрешения противоречия, поставила перед ней новый поднос. Полин принялась есть.

— Вот умница, — произнес Джон, придав своему голосу интонацию наигранной отеческой заботливости. — Ну, а теперь, Джеймс, я думаю, ты последуешь хорошему примеру. — Отвращение и гнев Джеймса были так сильны, что он не мог заставить себя говорить из-за страха сказать грубость. Он ограничился тем, что отрицательно покачал головой.

— Не хочешь ли шоколатла? — обратился мистер Бивис к Энтони. — Но я уверен, что ты не побрезгуешь и пудингом! — И когда Энтони взял кусок, он умиленно воскликнул: — Вот молодец! Вот как нужно... — Он замялся на долю секунды. — Вот так нужно есть — чтоб за ушами трещало!

## Глава 16

17 июня 1912 г.

Красноречие Энтони, которое он проявил, пока они шли к вокзалу, было признаком охватившего его глубокого чувства вины. Своим многословием, подчеркнуто внимательным отношением Энтони пытался сгладить тягостное впечатление от того, как он поступил с Брайаном предыдущим вечером. И дело было не в том, что Брайан в чем-то его упрекал — нет, напротив, он ни единым словом не намекнул на вчерашнее оскорбление. Его молчание служило Энтони извинением за промедление с разговором о том, что делать с Марком Стейтсом. Когда-нибудь он непременно заведет речь об этом неприятном инциденте (как же они занудны со своей постоянной грызней!). Но пока, уверял он себя, надо переждать, пусть Брайан сам напомнит об этом. Тем временем нечистая совесть заставляла его относиться к Брайану с подчеркнутым дружелюбием, и он приложил особое усилие к тому, чтобы быть интересным и показать свой интерес. Интерес к поэзии Эдварда Томаса<sup>161</sup>, пока они шли вдоль по Бомонт-стрит, к Бергсону<sup>162</sup> по пути мимо Вустера, к национализации угольных шахт при пересечении моста Хаит, к Джоан Терсли, пока они шли под виадуком и поднимались на эстакаду, ведущую к платформе.

— Н-невероятно, — сказал Брайан, нарушив с явно показным усилием неестественно затянувшуюся паузу, — что ты н-никогда н-не встречал ее.

— *Dis aliter visum* <sup>163</sup>, — ответил Энтони излюбленным классическим стилем отца. Хотя, конечно, если бы он принял приглашение миссис Фокс остаться в Туайфорде, боги,

---

<sup>161</sup> Томас Эдвард (1878–1917) — английский поэт.

<sup>162</sup> Бергсон Анри (1859–1941) — французский философ, представитель интуитивизма.

<sup>163</sup> Боги судили иначе (*лат.*). — Цитата из «Энеиды» Вергилия.

думал он, изменили бы свое мнение.

— Х-хочу, чтобы вы п-понравились д-друг другу, — говорил Брайан.

— Конечно понравимся.

— Она н-не б-блистает у-у-у... — он терпеливо начал фразу сначала, — б-блистает у-умом. Так, во всяком случае, кажется на первый взгляд. Можно даже подумать, ч-что ее н-ничего н-не интересует, к-кроме с-с-с... — словосочетание «сельская жизнь» не давалось Брайану, пришлось прибегнуть к другому обороту речи, — деревенских д-дел, — произнес он наконец. — С-собаки, п-птицы и в-все т-такое.

Энтони кивнул и, внезапно вспомнив птичек и зверушек Брайана времен Балстроуда, неприметно улыбнулся.

— К-когда т-ты уз-знаешь ее л-лучше, — старательно выговаривал Брайан, — т-ты обнаружишь в ней г-гораздо б-больше. У нее п-потрясающее ч-чувство к п-п... к стихам. В-вордсворт и М-мередит<sup>164</sup>, например. Я всегда уд-дивляюсь, как т-точные ее с-суждения.

Энтони саркастически усмехнулся про себя. Да, уж тут-то будет Мередит.

Его маленький спутник молчал, думая, как ему объясниться и стоит ли объясняться вообще. Все было против него — его физические недостатки, сложность самовыражения, усугублявшаяся еще и тем, что Энтони даже не хотел понимать того, что он говорит, мог надеть маску циника и не принимать участия в разговоре.

Брайан вспомнил их первую встречу. Его невероятно смутило появление в гостиной двух незнакомых женщин, когда он вошел туда к чаю. Волосы его были мокры от дождя, лицо вспыхнуло. Мать произнесла имя: «Миссис Терсли». Жена нового vicar, догадался он, пожимая руку высокой сухопарой модно одетой женщине. Она вела себя настолько заискивающе, что шепелявила при разговоре; улыбка была неестественно приветливой.

— А это Джоан.

Девушка протянула руку, и, когда он пожимал ее, Джоан отшатнулась от него стыдливым и одновременно грациозным движением, похожим на движение молодого деревца, склонившегося под порывом ветра. Этот жест был красив и необычайно трогателен.

— Мы слышали, вы любите птиц, — нарушила молчание миссис Терсли с нарочитой вежливостью, которая ко всему прочему сопровождалась дружелюбной и проникновенной, типично христианской улыбкой. — Джоан тоже. Настоящий орнитолог.

Покраснев, девушка пробормотала что-то в знак протеста.

— Она будет рада, если кто-нибудь поговорит с ней о ее драгоценных птичках. Правда, Джоан?

Смушение Джоан было настолько велико, что она потеряла дар речи.

Девушка вспыхнула до корней волос и отвернулась. От этого Брайан ощутил нежность и сострадание. Сердце его учащенно забилося. Со смешанным чувством страха и блаженства он осознал, что случилось что-то чрезвычайно важное и необратимое.

А затем, продолжал вспоминать он, каких-нибудь четыре или пять месяцев спустя, они вместе гостили в доме ее дяди в Восточном Суссексе<sup>165</sup>. В отсутствие родителей она преобразилась — нет, она не стала другим человеком, она стала самой собой — раскованной экспансивной девушкой, какой она не могла быть дома. Дома она жила как в клетке. Постоянное ворчание и спорадические всплески желчи ее отца повергали ее в ужас. И, даже любя свою мать, она чувствовала себя пленницей ее заботы, смутно ощущая, что привязанность сковывает ее свободу. В конце концов, ей была тягостна холодная, немая атмосфера их жизни, та смиренная нищета, та неослабевающая борьба за то, чтобы

---

<sup>164</sup> *Меридит Джордж* (1828–1909) — английский прозаик и поэт, автор реалистических психологических романов. Погиб в Первую мировую войну.

<sup>165</sup> *Восточный Суссекс* — графство на юге Англии, тогда входившее в состав единого Суссекса, разделенного на западную и восточную части в 1974 г.

выглядеть «не хуже других», чтобы сохранить положение в обществе. Дома Джоан не могла распоряжаться собой, а здесь, в просторном доме в Айдене<sup>166</sup> среди спокойных, непринужденных обитателей она получила свободу счастливого преображения. Ошеломленный Брайан влюбился в нее без памяти.

Вспомнил он и тот день, когда они бродили по болотам в Уинчелси. Боярышник был в цвету; на просторном ровном лугу паслись овцы, а ягнята были похожи на белые созвездия; над головой по небу неспешно плыли облака. Несказанно прекрасно! Ему вдруг показалось, что они идут сквозь образ своей любви. Мир был их любовью, а любовь — миром; мир велик, он несет в себе непостижимую таинственную, мистическую глубину. Доказательство благодати Божией витало в этих облаках, сквозило в пасущемся стаде, светилось из каждого куста, горящего белоснежно-белым цветом, и жило в них самих — в нем и в Джоан, идущих, взявшись за руки, по лугу, оно проступало в их ненарушимом блаженстве. Его любовь, как казалось ему в тот апокалиптический момент, была больше, чем только его, по какой-то таинственной причине она была равноценна ветру и солнечному свету, млечным струям света, орошающим зелень и синеву весны. Его чувство к Джоан было разлито по всей Вселенной и приобрело божественно-космическое значение. Он любил ее безмерно и по этой причине был способен любить все в мире так же, как и ее.

Память об этом была дорога ему, тем более сейчас, когда в самих чувствах произошло изменение. Прозрачная и, казалось бы, чистая, как весенняя вода, его бесконечная любовь выкристаллизовалась в отчетливое желание.

*Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins,  
Polis centime de Vhuile, oiiduleux comme un cygne,  
Passaient devant mes yntx clairvoyants et sereins,  
Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma uigne*<sup>167</sup>.

Когда Энтони впервые заставил себя прочитать стихотворение, эти строки захватили его воображение, сперва не вызвав никаких ассоциаций, но позже прочно связались в его сознании с образом Джоан. Гладки, как масло, волнисты, как оперенье лебедя. Он запомнил четверостишие почти сразу и навсегда — оно сохранилось у него в мозгу, как угрызения совести, как воспоминание о преступлении.

Они вошли в здание вокзала и обнаружили, что ждать осталось почти пять минут. Молодые люди принялись неспешно расхаживать по платформе.

С усилием избавившись от видения женской груди, маслянисто гладкого живота, Брайан наконец вымолвил:

— М-моя м-мама очень любит ее.

— Это очень хорошо, — произнес Энтони, чувствуя, что хватил через край в своей неискренности. Если он влюбится, то определенно не станет показывать свою девушку отцу и Полин. Для их одобрения! Если уж на то пошло, то это не их ума дело — одобрять или не одобрять. Подумав, Энтони решил, что в такое дело не стоит впутывать даже миссис Фокс, и даже больше, нежели кого бы то ни было другого, — ее вмешательство принесло бы еще больший вред из-за ее морального превосходства. Ее мнение нельзя будет так легко игнорировать, как мнение Полин, например. Он очень любил миссис Фокс, уважал ее и восхищался ею, но именно поэтому чувствовал, что она станет потенциальной угрозой его свободе. Потому что она могла (если бы она знала об этом, то непременно бы

---

<sup>166</sup> Айден — город в Суссексе.

<sup>167</sup> Ее руки, и ноги, и бедра, и чресла  
Гладки, как масло, волнисты, как оперение лебедя.  
Идет перед моими очами, ясновидящими, но спокойными;  
И живот и грудь ее суть гроздь моей лозы (фр.).



воспользовалась своей возможностью) оспаривать его взгляды на положение вещей. И хотя ее критика опиралась бы на принципы свободного христианства, которые она исповедовала, и хотя, конечно, такой модернизм крайне нелеп, так же, как и ее претензии на научность, которая не выдерживала никакой критики со стороны здравого смысла, являясь самым экстравагантным фетишизмом, — несмотря на это, ее слова имели бы вес только потому, что она сама произнесла бы их. Вот почему он делал все возможное, чтобы не ставить себя в отношениях с миссис Фокс в положение слушателя. Прошло уже более года с того дня, когда он принял ее приглашение погостить в ее загородном доме. *Dis aliter visum*. Вот и сейчас он с беспокойством ожидал неминуемой встречи.

Поезд с грохотом остановился, и через минуту все они появились на перроне — мистер Бивис в сером костюме, Полин рядом с ним, кажущаяся огромной в розовато-лиловом платье; лицо ее выглядело апоплексически красным под зонтиком такого же цвета. За ними стояла миссис Фокс с прямой королевской осанкой и высокая девушка в широкополой шляпе с обвисшими полями и пестром платье.

Мистер Бивис поздоровался в своей насмешливой псевдогероической манере, которая больше всего на свете раздражала Энтони.

— Шесть драгоценных душ, — процитировал Джон, похлопав сына по плечу, — или, скорее, четыре драгоценные души, но все готовы прорваться через огонь и воду. И какой пламенный прорыв! Какой пламенно-огненный прорыв! — исправил он себя с горящими глазами.

— Милый Энтони! — Голос миссис Фокс был особенно мелодичен от охвативших ее чувств. — Я не видела тебя целую вечность!

— Да, целую вечность. — Он смущенно засмеялся, пытаясь при этом вспомнить все шикарные отговорки, данные им в отказ от ее приглашений. Во что бы то ни стало он не должен противоречить сам себе. Когда это было — на Пасху или на Рождество, когда он не смог принять ее приглашение, потому что должен был якобы работать в Британском музее? Он почувствовал, как кто-то коснулся его плеча и, благодаря судьбу за повод прервать неприятный разговор, быстро отвернулся.

— Джоан, — сказал Брайан девушке в пестром, — это Энтони.

— Ужасно рад, — пробормотал он. — Много слышан о вас от... — «Прекрасные волосы, — пронеслось в его голове, — и светло-карие глаза излучают яркий, желанный блеск. Но профиль слишком резок, и, хотя губы очерчены тонко, рот слишком велик. Чуть похожа на молочницу, заключил он. Да и одежда домашнего покроя. Сам он предпочитал что-либо более городское».

— Веди меня, Макдуф<sup>168</sup>, — произнес мистер Бивис.

Они сошли с перрона и медленно двинулись к центру города по тенистой стороне улицы. Мистер Бивис разглагольствовал, словно (и это особенно раздражало Энтони) их сегодняшняя встреча была первой за последние двадцать лет, и при этом, то ли в шутку; то ли всерьез, постоянно вставлял в свою речь жаргонные словечки времен его оксфордского студенчества. Миссис Фокс улыбалась там, где это было нужно, и задавала уместные вопросы. Полин время от времени жаловалась на жару. Ее лицо лоснилось от пота, и, идя рядом с ней в унылом молчании, Энтони брезгливо ощущал смрадный запах ее тела. Сзади доносились обрывки разговора между Брайаном и Джоан.

— ...Огромный ястреб, — говорила она. Речь ее была быстрой и взволнованной. — Наверное, это был самец.

— А б-были у него п-полосы на х-хвосте?

— Ну да. Темные полосы на светло-сером фоне.

— Т-тогда это б-была с-самка. У с-самок на х-хвосте п-полосы. Энтони саркастически усмехнулся про себя.

---

<sup>168</sup> «Веди меня, Макдуф» — видоизмененная цитата из трагедии Шекспира «Макбет».

Они проходили мимо Ашмолейского музея<sup>169</sup>, когда какая-то женщина, медленно и скорбно спускавшаяся по ступеням, вдруг энергично замахала рукой, выкрикнула сначала имя мистера Бивиса, потом имя миссис Фокс и бегом бросилась вниз по лестнице.

— Это же Мери Чамперпоун, — сказала миссис Фокс. — То есть, должна сказать, Мери Эмберли. — «А может, и не должна, — подумала миссис Фокс, — ведь Эмберли разведен».

Имя и знакомое лицо вызвали в памяти мистера Бивиса всего лишь приятное ощущение радости узнавания. Приподняв шляпу, словно сознательно пародируя старосветского щеголя, он объявил вновь прибывшей:

— Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая леди.

Мери Эмберли взяла миссис Фокс за руку.

— Какая приятная неожиданность! — воскликнула она, едва переводя дыхание. Миссис Фокс была немало удивлена такой сердечностью. Мать Мери была ее подругой, но сама Мери всегда держалась отчужденно. Когда же она вышла замуж, то попала в крут людей, незнакомых миссис Фокс и, кроме того, вызывавших у нее неприязнь. — Какая счастливая неожиданность! — повторила миссис Эмберли, повернувшись к мистеру Бивису.

— Да, такое везение случается не часто, — учтиво сказал он. — Вы знаете мою жену, не так ли? А юного крепыша? — Его глаза блеснули, а уголки губ, скрываемые усами, иронически дернулись. Он положил руку на плечо Энтони. — Молодой и подающий надежды.

Она улыбнулась Энтони. «Странная улыбка», — подумал он. Змеиная кривизна закрытого рта, который, казалось, скрывает в себе какую-то тайну.

— Сколько лет я тебя не видела! — произнесла она наконец. — Со времени... — со времени похорон первой миссис Бивис, если уж на то пошло. Но так вряд ли можно было говорить. — За это время ты изрядно вырос! — И она подняла руку в перчатке до уровня его глаз, отмерив большим и указательным пальцами расстояние приблизительно в дюйм.

Энтони от неожиданности нервно усмехнулся, испугавшись, несмотря на восхищение, ее красоты, свободы и раскованности.

Миссис Эмберли пожала руки Джоан и Брайану, затем, вновь повернувшись к миссис Фокс, произнесла, словно оправдываясь за чрезмерную любезность:

— Я чувствовала себя, как Робинзон Крузо, — выброшенной на необитаемый остров. — Она с особым усилием налегла на последнее слово, будто выточив его, что прозвучало смешно. — В совершенном одиночестве и полная владычица того, что у меня есть. — И пока они медленно переходили через улицу Святого Ги-леуса, она принялась рассказывать длинную историю о пребывании на Котсволдских холмах<sup>170</sup>, о договоренности встретиться с друзьями восемнадцатого в Оксфорде по дороге домой, о ее путешествии из Чиппинг-Кемпдена, о ее пунктуальном прибытии к месту встречи, об ожидании, растущем нетерпении, гневе и наконец о том, как она обнаружила, что приехала на день раньше.

— На календаре было семнадцатое, но с меня станется и не такое.

Все расхохотались оттого, что рассказ был полон неожиданных версий случившегося и необычайных происшествий, реально имевших место. События излагались с интонацией, варьировавшейся с невероятной гибкостью, она знала, где тараторить не переводя дыхание, а где растягивать гласные, где притихнуть до пределов слышимости, а где наполнить повествование полунамекками.

Даже миссис Фокс, которая не испытывала особенного удовольствия оттого, кто ее

---

<sup>169</sup> *Ашмолейский музей* — музей археологии, живописи и серебра, располагающийся на территории Оксфордского университета.

<sup>170</sup> *Котсволд* — холмистая местность на юго-западе Англии.

развлекал (причиной тому был развод Мери), оказалась неспособной сопротивляться обаянию миссис Эмберли.

Их смех пьянил Мери Эмберли, как молодое бургундское. Он ударил ей в голову и разлил чувство тонкого блаженства по всему телу. Конечно же они были зануды, они были филистеры. Но успех у зануд и филистеров все равно оставался успехом, который наполнял ее восторгом. Глаза ее горели, щеки пылали.

— С меня станется и не такое, — завывала она, лишь только смех утихал, но напускное отчаяние и самобичевание выглядели карикатурно. Она и в самом деле гордилась своей рассеянностью, считая ее частью своего женского очарования. — Ну все равно я... — закончила она, — я потерпела кораблекрушение. Одна-одинешенька на необитаемом острове.

Несколько секунд они шли молча. Мысль о том, что ее придется пригласить к обеду, занимала всех — мысль, которую миссис Фокс восприняла с раздражением, а Энтони со смущенной заинтересованностью. Обед будет проходить в его комнате, и, как хозяин, именно он обязан ее пригласить. И он хотел пригласить ее — очень хотел. Но что скажут остальные? Не нужно ли сперва как-нибудь обговорить это с ними? Мистер Бивне разрешил проблему, выдвинув предложение по своему усмотрению.

— Я думаю, — замялся он, но затем, ухватившись за нужную мысль, продолжил: — думаю, что наше праздничное пиршество будет еще заманчивей благодаря присутствию новой гостьи, не так ли, Энтони?

— Но не могу же я навязываться, — запротестовала Мери, переведя взгляд с отца на сына. Он выглядит славным парнем, подумала она, чуткий и неплохо воспитанный. На вид очень даже...

— Я уверяю вас... — Энтони искренне, но сбивчиво повторил: — От всей души уверяю вас...

— Ну, если это не повлечет за собой... — Она вознаградила его тайной, откровенной улыбкой, свидетельствующей чуть ли не об умысле, словно между ними были какие-либо узы, словно из всех присутствующих только они понимали смысл происходящего.

После обеда Джоан с Брайаном ушли осматривать Оксфорд, у мистера Бивиса была встреча с коллегой-филологом на Вудсток-роуд, а Полин надеялась тихо скоротать время до пятичасового чая. Энтони остался развлекать Мери Эмберли, выполняя приятную, но опасную задачу.

В двухколесном экипаже, везущем их к мосту Марии Магдалины, Мери Эмберли внимательно посмотрела на Энтони, и на лице ее появилось озорное выражение.

— Наконец-то свободны, — сказала она.

Энтони кивнул в знак согласия и понимающе улыбнулся в ответ.

— Они были довольно утомительны. Я должен извиниться.

— Я часто думала о том, чтобы основать союз борьбы за отмену семей, — продолжила она. — Родителей нельзя подпускать к детям на расстояние пушечного выстрела.

— Платон<sup>171</sup> тоже думал так, — несколько педантично заметил Энтони.

— Да, но он хотел, чтобы детей вместо отцов и матерей тиранило государство. А я хочу, чтоб их не тиранил никто.

Он отважился задать личный вопрос.

— Вас кто-нибудь тиранил?

Мери Эмберли кивнула.

— Ужасно. Немногих детей любили так, как меня. Меня просто изуродовали опекой и привязанностью. Сделали меня психически неполноценной. Мне потребовались годы, чтобы избавиться от уродства. — Наступило молчание. Затем, смерив его смущенно-оценивающим

---

<sup>171</sup> Платон (427–347 гг. до н. э.) — древнегреческий мыслитель, один из основоположников мировой философии.

взглядом, как будто он был товаром, выставленным на продажу, она заявила: — Ты знаешь, в последний раз я видела тебя на похоронах твоей матери.

Неявная связь между этими двумя замечаниями и тем, что произошло раньше, заставила Энтони виновато покраснеть, словно от неуместной шутки в пестром обществе.

— Да, я помню, — пробормотал он, будучи рассерженным на себя за чувство неудобного смущения и одновременно за то, что оставил этот столь тонкий намек насчет матери без всякого ответа; впрочем, он не очень-то и хотел протестовать.

— Тогда у тебя был жуткий и совершенно несчастный вид, — продолжала она, по-прежнему окидывая его оценивающим взглядом. — Как невыносимы маленькие мальчишки! Невероятно, но со временем они превращаются в интересных мужчин. Конечно же многие из них не превращаются ни в кого, — добавила она. — Печально, ты не находишь? Как грустно то, что большинство людей мерзки, занудны и полностью, безнадежно глупы!

Сделав нечеловеческое усилие воли, Энтони наконец вырвался из окутавшей его пелены дурмана.

— Надеюсь, я не принадлежу к большинству? — сказал он, все так же напряженно глядя в ее глаза.

Миссис Эмберли покачала головой и серьезным будничным тоном отрезала:

— Нет. Я думаю, — гулко произнесла она, — что тебе сильно повезло: ты справился с детской уродливостью.

Он снова покраснел, на этот раз от удовольствия.

— Сколько тебе лет сейчас? — спросила она.

— Двадцать. Почти двадцать один.

— А мне этой зимой исполнится тридцать. Странно, — добавила она, — как все изменилось. Когда я видела тебя в прошлый раз, эти девять лет казались огромным разрывом между нами, практически непреодолимым. Мы принадлежали к разным биологическим видам. А теперь сидим вот так и разговариваем, словно это совершенно естественно. Но ведь это и правда естественно. — Она повернула голову и, не разжимая губ, улыбнулась ему таинственной и многозначительной улыбкой. Ее темные глаза заблестели. — А вот Магдалина, — внезапно сказала она, не оставив ему, не знавшему, как реагировать из-за смущенного волнения, паузы для замечания к ее словам, что принесло ему облегчение. — Какой унылой может быть эта поздняя готика! Какая пошлость! Неудивительно, что Гиббон<sup>172</sup> особенно не задумывался о Средневековье! — Она ни с того ни с сего замолчала, вспомнив тот случай, когда ее муж отпустил неудачную ремарку в адрес Гиббона. Всего лишь через месяц или два после их свадьбы. Она была удивлена, даже шокирована его разгромными суждениями о том, что она с детства привыкла боготворить без обсуждения любое чужое мнение, — шокирована, но все же это волновало ее кровь и даже доставляло некоторое удовольствие. Забавно видеть, как обливают грязью бывшие святыни! А в те дни она все еще преклонялась перед Роджером. Она испустила вздох и затем с едва заметным раздражением сбросила с себя сентиментальную манеру и вновь принялась рассуждать об ужасных зданиях, мимо которых они проезжали.

Экипаж подъехал к мосту; они вышли и пешком спустились к лодочной станции. Лежа на подушках на дне лодки, Мери Эмберли не произносила ни слова. Энтони неторопливо правил шестом против течения. Перед полузакрытыми глазами Мери проплывали деревья, росшие на берегу. Зеленая сень деревьев, нависших над водой, оливковые тени и оранжевые блики водной поверхности; сквозь длинные сумрачные щели в зеленом своде проглядывали золотисто-зеленые луга, на которых то там, то сям виднелись одинокие вязы. В воздухе стоял слабый запах речной чины. Ласковый теплый ветерок ласкал щеки, и терялась грань между собой и окружающим миром. Граница стала зыбкой и едва ощутимой, словно

---

<sup>172</sup> Гиббон Эдуард (1737–1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788).

расплавленной жаркими лучами солнца.

Стоя на корме, Энтони наблюдал за ней сверху вниз, словно с командной точки. Вот она лежит у его ног, расслабленная и покинутая. Держа в руке длинный шест и управляя им с легкостью, которой гордился, Энтони смотрел на женщину с ощущением непомерной силы и превосходства. Теперь между ними больше не было пропасти — она была женщиной, он — мужчиной. Он поднял шест и грациозно послал сто вперед, опустил в воду, уперся концом в илистое дно, напрягая мышцы, оттолкнулся, оторвал шест от речного дна, протащил его некоторое время по воде и снова выбросил вперед его конец. Внезапно Мери разомкнула веки и взглянула на него беспристрастным оценивающим взглядом, который так сильно смутил его в экипаже. Мужественная уверенность в себе моментально испарилась.

— Мой бедный Энтони, — наконец произнесла она, ее лицо осветилось теплой интимной улыбкой. — Меня бросает в жар от одного взгляда на тебя.

Лодка ткнулась носом в берег, и Энтони, шагнув вперед, сел рядом с Мери на подушку, на то место, с которого она убрала подол своей юбки.

— Мне кажется, что отец не слишком сильно тебя тиранит, — сказала она, возвращаясь к теме разговора, начатого в экипаже.

Он утвердительно кивнул.

— И полагаю, он не шантажирует тебя своей привязанностью.

Энтони вдруг почувствовал, что должен защитить отца.

— Он всегда относился ко мне с искренней и ненавязчивой любовью.

— О, да, несомненно! — нетерпеливо воскликнула миссис Эмберли. — Я же не говорю, что он тебя бьет.

Энтони не смог удержаться от смеха, представив себе, как отец гоняется за ним с дубиной. Затем более серьезно он добавил:

— Он никогда не приближался ко мне настолько, чтобы можно было ударить, — между нами всегда была дистанция.

— Да, чувствуется, что у него есть талант держать людей на дистанции. И все-таки твоя мачеха, кажется, очень ладит с ним. Как и раньше твоя мать, я думаю. — Она тряхнула головой. — Но вообще брак — вещь чрезвычайно странная и непредсказуемая. Самые, казалось бы, несовместимые пары прекрасно уживаются, а самые подходящие на вид друг другу люди не могут этого сделать. Занудных, невыносимых людей обожают, а остроумных и привлекательных терпеть не могут. Почему? Бог знает. Полагаю, это как раз то, что Мильтон назвал «сладостным брачным ложем»<sup>173</sup>. Она замялась на первом слоге слова «брачный», сопроводив его сдавленным смешком, но Энтони внимательно следил за тем, чтобы не показаться испуганным случайным употреблением того, что всегда считалось неприемлемым в обществе леди. Он не засмеялся, поскольку смех можно было истолковать как произвольную реакцию школьника на непристойность — даже не улыбнулся, серьезно кивнув, словно услышал не пошлость, а формулировку геометрической теоремы, и изрек спокойным, рассудительным тоном:

— Да, так обычно и бывает.

— Бедная миссис Фокс, — продолжала Мери Эмберли. — В ее случае, я могу представить, брачные узы были не слишком сладостны.

— Вы знали ее мужа? — спросил он.

— Только когда я была еще ребенком. Тогда все взрослые кажутся одинаково скучными. Но моя мать часто беседовала со мной о нем. Перемывала его тощие кости. Он был закоренелым мерзавцем. И законченным праведником. Упаси меня господь от праведного мерзавца! Люди, погрязшие в пороках, достаточно неприятны, но, по крайней мере, они никогда не возводят свою порочность в принцип. Они противоречат сами себе: иногда они по ошибке бывают милы. В то время как праведники никогда ничего не

---

<sup>173</sup> Цитата из эпической поэмы «Потерянный рай» английского поэта Джона Мильтона (1608–1674).

забывают, они мерзки по своей природе. Бедная женщина! Боюсь, что у нее была собачья жизнь. Но она, кажется, все выместила на своем сыне.

— Нет, она обожает Брайана, — воспротивился Энтони. — И Брайан привязан к ней.

— Именно об этом я и говорю. Ту любовь, которую она никогда не получала от мужа, ту любовь, которую она не дарила ему, — вся эта любовь вылилась на голову ее несчастного сына.

— Он не несчастный.

— Может быть, он и сам об этом не знает. Пока, но дай срок! — Помолчав, она снова заговорила. — Тебе повезло, Энтони, повезло гораздо больше, чем ты сейчас способен понять.

## Глава 17

*26 мая 1934 г.*

Литература для мира — но какого рода литература? Можно сосредоточиться на экономике, торговых барьерах, валютном хаосе, препонах на пути к миграции, личных интересах с уклоном в извлечение прибыли во что бы то ни стало и так далее. Можно сосредоточиться на политике, на опасности существования суверенного государства или на том, что интересы совершенно бесчестного правителя не соответствуют нуждам других независимых государств. Можно предложить исцеление посредством политики и экономики — торговых соглашений, международного суда, всеобщей безопасности. Разумные предписания, следующие за нормальным диагнозом. Но не слишком ли далеко зашла болезнь, и станет ли пациент следовать врачебным рекомендациям?

Этот вопрос возник в ходе сегодняшней дискуссии с Миллером. Его ответ был отрицательным. Пациент не может следовать назначенному лечению по элементарной причине: отсутствие пациента. Нации и государства не существуют как таковые. Есть только люди. Группы людей, живущих в определенных местах и имеющих определенное гражданство. Национальная политика не станет меняться до тех пор, пока люди не перестроят систему межличностных отношений. Все режимы, будь то Гитлера, Сталина или Муссолини, — являются по своей природе представительными. В современных условиях поведение страны есть увеличенная во много раз проекция индивидуального поведения. Или, если выразаться более точно и более тонко, проекция их тайных желаний и намерений граждан. Все мы хотим совершать поступки гораздо более худшие, чем позволяет нам наша совесть и уважение к общественному мнению. Одна из самых главных притягательных черт патриотизма состоит в том, что он потворствует самым темным нашим желаниям. Формируя все вместе наше государство, мы косвенно вынуждены прибегать к мошенничеству и угрозам. Обманывать и запугивать с глубокой уверенностью в том, что мы крайне благочестивы. Считается прекрасным и приличным убивать, лгать, прибегать к пыткам на благо отечества. Хорошая внешняя политика суть отражение благих намерений и добрых пожеланий отдельных личностей, и она должна строиться на той же основе, что и взаимоотношения между людьми. Антивоенную пропаганду нужно осуществлять в отношении народа так же, как и в отношении правительства, она должна начаться одновременно на периферии и в центре.

Эмпирические факты:

Первое. Все мы способны любить людей.

Второе. Мы налагаем ограничения на эту любовь.

Третье. Мы можем переступать через эти ограничения — если захотим.

(Интересно отметить, что любой, кто станет соблюдать эти правила, с легкостью будет справляться со своей личной неприязнью, классовыми различиями, национальной враждой, предрассудками, касающимися цвета кожи. Это непросто, но осуществимо, если мы обладаем волей и знаем, как воплотить наши добрые намерения.)

Четвертое. Любовь, выражающаяся в хорошем обращении, порождает любовь. Ненависть, выражающаяся в плохом обращении, порождает ненависть.

В свете всего сказанного становится ясно, что межличностная, межклассовая и межнациональная политика должна быть перестроена. Но опять же резец стачивает тонкую кромку льда. Мы все знаем, но не умеем действовать. Почти все не умеем действовать. Как всегда, главная проблема заключается в умении воплотить идею в жизнь. Наряду со всем прочим пропаганда мира должна стать сводом преобразующих правил.

...Се я постиг  
Умерших и забытых; муки их  
Теперь мои. Я крест еще тяжеле взял себе.

Ад есть неспособность отделить себя от того существа, которое по воле рока поступает так же, как и ты.

Возвращаясь домой от Миллера, я зашел в общественный туалет возле Марбл-Арч<sup>174</sup> и там наткнулся на Беппо Боулза, увлеченного разговором с одним из тех, кто носит хлопчатобумажные брюки и постоянно ходит без шляпы. Собеседник имел вид недоучившегося студента и был, как я предположил, младшим клерком или продавцом. Лицо Беппо выражало что-то среднее между восхищением и беспокойством. Счастливый, опьяненный грядущим восторгом и вместе с тем жутко подавленный и загнанный. Ему могли не отказать — это таило в себе страшный риск! Сдавленное желание в случае неуспеха нанесло бы жестокий удар его самолюбию и ранило бы его до глубины души. А в случае успеха ему грозила бы, несмотря на торжество победы, опасность шантажа и судебного разбирательства. Бедняге бы не поздоровилось. Он выглядел ужасно смущенным, когда увидел меня. Я всего-навсего кивнул и поспешил прочь. Ад Боулза — подземный туалет с галереей писсуаров, уходящей в бесконечность, и у каждого стоит мальчик. Тяжел крест Боулза.

## Глава 18

8 декабря 1926 г.

Гости все прибывали и прибывали, большей частью молодежь, друзья Джойс и Элен. Выполняя тягостную формальность, они пересекали гостиную, проходили в дальний угол, где между Энтони и Беппо Боулзом сидела миссис Эмберли, говорили «добрый вечер» и затем спешили танцевать.

— Они прекрасно понимают, что это место для пожилых, — сказал Энтони, но миссис Эмберли либо проигнорировала его замечание, либо была неподдельно увлечена разговором с Беппо, который, громко пришептывая от восторга, распространялся о своем путешествии в Берлин.

— Самое забавное место теперешней Европы! Где еще вы найдете специальных женщин для мазохистов? Эти женщины носят сапоги, да-да, самые настоящие сапоги! А музей сексологии с фотографиями и восковыми моделями — почти слишком *trompe-l'oeil*<sup>175</sup>, поразительными предметами из Японии, необычные, затейливые одежды для эксгибиционистов. И эти очаровательные бары для лесбиянок, кабаре, где мальчики носят женскую одежду.

---

<sup>174</sup> *Марбл-Арч* (досл.: «мраморная арка») — большая белокаменная арка в центре Лондона, воздвигнутая на пересечении нескольких магистральных артерий города.

<sup>175</sup> Неправдоподобно (*фр.*).

— Вот и Марк Стейтс, — перебила его миссис Эмберли, указав на приземистого широкоплечего мужчину, только что вошедшего в гостиную.

— Не помню, — произнесла она, обернувшись к Энтони, — знаешь ты его или нет?

— Последние тридцать лет да, — ответил он, вновь отыскав какое-то злобное наслаждение в том, чтобы защитить, даже путем преувеличений, свою ушедшую молодость. Если он перестал быть молодым, то Мери распрощалась с молодостью целых десять лет назад.

— Правда, с большими промежутками, — уточнил он. — Во время войны и после нее он некоторое время был в Мексике, да и с тех пор, как он оттуда приехал, я видел его всего пару или тройку раз. Очень рад, что представилась такая возможность.

— Скользкий он тип, — сказала Мери Эмберли, вспоминая то время, когда он полтора года назад, сразу же по возвращении из Мехико, пришел к ней в дом. Его внешность, манеры, как у полудикого отшельника, сошедшего с ума от одиночества, безумно ей понравились. Она испытала на нем все свое искусство обольщения, но тщетно. Он настолько не обращал на них внимания, что она даже не разозлилась, решив, что скорее всего это было внешним проявлением либо импотенции, либо (кто может знать такие вещи?) гомосексуализма. — Скользкий тип, — повторила она и решила, что в следующий раз не преминет спросить Беппо о гомосексуальности. Он определенно что-нибудь ответит. Все они чего-нибудь да знают друг о друге. Затем, снова махнув рукой, она крикнула, заглушая гнусавое пение граммофона: — Марк, иди посиди с нами!

Стейтс прошел через всю комнату, подвинул для себя стул и сел. Волосы, прежде ниспадавшие на лоб, теперь были зачесаны назад, а виски уже начала красить седина. Смуглое, как у настоящего отшельника, лицо, которое Мери Эмберли находила неизъяснимо привлекательным, прорезали глубокие морщины, а ровный слой жира, прежде покрывавший его кости, исчез. Каждый мускул его лица, каждое движение скулы, казалось, выделялись остро и точно, как на меловых статуях, которыми пользовались в анатомических театрах во времена Возрождения. Когда он улыбался, — а всякий раз, когда это случалось, возникало невольное впечатление, что он оживает, выражая при этом непомерное страдание, — можно было проследить весь механизм вымученной гримасы: движение вверх и вбок большой верхнечелюстной мышцы, боковая тяга мышцы смеха и сокращение круговой мышцы глазницы.

— Я вам не помешал? — спросил он, перевода острый пронзительный взгляд с одного собеседника на другого.

— Беппо рассказывал нам о Берлине, — ответила миссис Эмберли.

— Мне пришлось уехать оттуда, пока не началась всеобщая забастовка, — объяснил Беппо.

— Ну конечно, — сказал Стейтс, мучительно изобразив на лице вопросительное и презрительное выражение.

— Восхитительное место! — Беппо был неуязвим.

— Должно быть, вы чувствуете себя там как дома, словно лорд Холдейн? Берлин — ваша духовная родина?

— Плотская, — внес поправку Энтони.

Будучи в слишком сильном восторге, чтобы признать себя виновным, Беппо захихикал.

— Ох уж эти мальчики-девочки! — затараторил он с еще большим восторгом, брызгая слюной.

— Я был недалеко оттуда этой зимой, — сказал Стейтс. — По работе. Конечно, надо отдать должное и удовольствиям... Эта ночная жизнь.

— Вам она не показалась забавной?

— Да еще какой!

— Вот видите. — Беппо торжествовал.

— Одно из созданий село за мой столик, — продолжал Стейтс. — Я танцевал с ним. Выглядел он совсем как женщина.



— Просто невозможно отличить их от женщин, — восторженно закричал Беппо, словно это касалось его личного опыта.

— Когда мы закончили танец, создание чуть-чуть подкрасило лицо, и мы взяли по маленькому пиву. Затем оно показало мне несколько неприличных фотографий — физиологически отталкивающего типа. Наклюкались. Может быть, поэтому наш разговор так быстро выдохся. Были и до этого неудобные паузы. Ни я, ни это создание не знали, что сказать дальше. У нас все было тихо. — Он выбросил вперед худые узловатые кулаки, словно расчищая перед собой идеально гладкую поверхность. — Совершенно тихо. Пока существо наконец не выкинуло одну замечательную вещь. Без сомнения, это один из их излюбленных ходов, но я никогда не испытывал подобного на себе. Я был поражен.

«Хочешь кое-что увидеть?» — спросило оно. Я ответил «да», и тотчас же оно начало дергать и тянуть что-то, что было у него под блузкой. «Ну смотри же», — наконец произнесло существо. Я взглянул. Оно триумфально улыбалось, как игрок, пошедший с козырного туза или даже с двух тузов под конец партии. На стол упала, громко стукнув, пара роскошных искусственных грудей, сделанных из розовой резиновой губки...

— Но как это революционно! — кричала миссис Эмберли, пока Энтони покатывался со смеху, а круглое лицо Беппо приобрело болезненно-кислое выражение. — Как дерзко! — повторила она.

— Да, но как восхитительно! — не унимался Стейтс, и уродливое, словно предсмертное искажение его лица плавно перешло в улыбку. — Хорошо, если все происходит так, как должно происходить — символично и артистично. Две резиновых груди меж пивных кружек — вот чем должен быть порок. И когда он превратился в то, кем с самого начала был, возникло какое-то ощущение, что все встало на свое место, и это прекрасно. Да, прекрасно! — повторил он. — Дерзновенно и прекрасно.

— Все равно, — настаивал Беппо, — вы должны признать, что такое могло случиться только в этом прекрасном городе. При людях, — веско добавил он. — Обращаю на это внимание. Немецкое правительство — самое терпимое в мире. С этим нельзя не согласиться.

— Да, это верно, — произнес Стейтс. — Потворствует оно всем. Не только девочкам в крахмальных рубашечках и мальчикам с резиновой грудью, но также монархистам, фашистам, юнкерам, крупам и коммунистам, за что я ему премного благодарен. Оно терпит всех своих врагов любой масти.

— Думаю, это неплохо, — сказала миссис Эмберли.

— Восхитительно, пока эта шваль не поднялась и не разнесла само правительство в клочья. Единственная надежда на то, что коммунисты будут первыми.

— Но видя, что их терпят, зачем враги правительства будут пытаться уничтожить его?

— А почему нет? Они не верят в терпимость. И это вполне оправданно, — добавил он.

— Вы варвар, — запротестовал Беппо.

— Им придется быть, если живешь в век дикарей. Вы — последние могикине старого века. — Он вновь оглядел всех по очереди, улыбаясь улыбкой истлевшего трупа, и покачал головой. — Вы все еще мусолите первый том Гиббона, а мы уже давно перешли к третьему.

— Ты хочешь сказать?.. Боже мой! — не докончила фразы миссис Эмберли. — Вот и Джерри.

При этих ее словах, сопроводивших появление Джеральда Уот-чета, вошедшего в гостиную лисьей походкой вместе с Элен, Энтони вынул свою чековую книжку и быстро изучил ее содержимое.

— Слава богу! — вымолвил он. — Всего два фунта. — Месяц назад при Джерри у него было десять, и с помощью фантастически умопомрачительной истории этому типу удалось взять займы все. Следовало бы усомниться в истинности рассказа и отказать. Десять фунтов превышали сумму, которую он мог позволить дать в долг. Он говорил так, но у него не хватало смелости упорствовать в своем отказе. Тогда ему потребовались две недели строжайшей экономии, чтобы вернуть утраченные деньги. Экономить на всем было неприятно, но сказать «нет» и продолжать упрекать Джерри в назойливости было еще менее

приятно. Он всегда был готов пожертвовать своими правами, чтобы не создавать лишних сложностей. Его считали равнодушным, и ему безумно нравилось, когда так оценивали его характер. Но его понимание настоящего положения дел и чувств не могло не выходить наружу. Когда это случалось, его самопознание воспринималось со смехом. Вот и теперь он смеялся. — Всего два, — повторил он. — К счастью, это я могу себе позволить...

Он запнулся. За спиной Мери Эмберли Беппо похлопывал его по плечу, делая выразительные знаки лицом. Энтони повернулся и увидел, что она все так же хмуро и неотрывно смотрит на вновь прибывшего.

— Он сказал мне, что сегодня вечером он не придет, — произнесла она почти про себя. Затем сквозь музыку крикнула: — Джерри! — и голос ее прозвучал резко и совсем не обворожительно, вызвав в памяти Энтони те сцены, которые она имела обыкновение устраивать. «Так вот оно что», — подумал он, от души пожалев бедняжку Мери.

Джерри Уотчет обернулся, и, словно вспомнив блестящую шутку, сам едва заметно улыбнулся, слегка подмигнул и снова опустил глаза, чтобы вернуться к разговору со своей собеседницей.

Миссис Эмберли зарделась от внезапного гнева. Он ухмыльнулся ей в лицо. Это было невыносимо. Невыносимо и крайне неоригинально было появляться вот так, из небесной лазури, без предупреждения, танцевать случайный танец с другой женщиной, как будто это абсолютно в порядке вещей. На этот раз, правда, другой женщиной была Элен, но только потому, что ему не попала больше никакая субретка, виртуоз канкана. «Скотина», — думала она, провожая его взглядом в комнату. Затем, сделав над собой усилие, она отвела глаза и заставила себя сосредоточиться на том, что происходило вокруг нее.

— ...В такой стране, как эта, — слышался голос Марка Стейтса, — и стране, как эта, где четверть населения буржуа и еще одна четверть тех, кто страстно желает ими быть.

— Ты преувеличиваешь, — спорил Энтони.

— Нисколько. Сколько набрала лейбористская партия на минувших выборах? Треть голосов. Я готов великодушно допустить, что на следующих она соберет половину, но... Все остальные — собственники разного пошиба. Некоторые по природе, благодаря желанию обогатиться и страху потерять приобретенное, а другие притворно, путем лицемерия и лжи. Наивно думать, что можно что-нибудь получить конституционными методами.

— А неконституционными?

— Есть хотя бы шанс.

— Он не слишком велик, — заметил Энтони. — Во всяком случае, при современном оружии.

— Да, это я знаю, — согласился Марк Стейтс. — Если власть воспользуется своей силой, средний класс абсолютно точно победит. Он мог бы победить и без танков и самолетов, просто потому, что из него выйдут лучшие солдаты, чем из пролетариата.

— Лучшие солдаты? — вмешался Беппо, подумав о своих друзьях-охранниках.

— В силу своей образованности. Буржуа кое-что извлечет из десяти или шестнадцати лет обучения, да вдобавок в школе-пансионе или, точнее выражаясь, в казарме. В то время как сын рабочего живет дома и редко оканчивает больше чем шесть-семь классов дневной школы. Шестнадцать лет повиновения и заботы об *esprit de corps* <sup>176</sup>. Неудивительно, что на учебном фронте в Итоне была выиграна битва при Ватерлоо. Если они пустят в ход всего лишь половину своих сил и используют их безжалостно, игра будет сделана.

— Ты допускаешь, что они могут не воспользоваться своим резервом?

Марк пожал плечами.

— Конечно, немецкие республиканцы не проявляют готовности пускать в ход свой арсенал. И подумай о том, что случилось здесь во время забастовки. Большинство промышленников были готовы пойти на компромисс.

---

<sup>176</sup> Честь мундира (*фр.*).

— Существует простая причина, — вставил Энтони, — из-за которой из тебя не получится промышленник Ты никогда не шел на компромисс. Дело не движется одной верой, дело движется торговлей.

— Тем не менее, — продолжал Марк, — факт остается фактом, что не были применены имевшиеся в наличии ресурсы. Вот что оставляет надеяться на то, что революция может победить. При условии, что все будет проведено очень быстро. Поскольку, конечно, в один прекрасный день они поймут, что им угрожает серьезная опасность, и забудут свою порядочность. Но они могут колебаться достаточно долго и, я думаю, сделают революцию возможной. Даже нескольких часов угрызений совести было бы достаточно. Да, несмотря на танки, есть шанс на успех. Но ты должен быть готов не упустить этот шанс, не так, как полудурки из конгресса профсоюзов. Или всей их тред-юнионистской лестницы, если на то пошло. Там все пухнут от избытка порядочности, как и капиталисты. Это английское похмелье после евангельского пира на весь мир. Ты даже не представляешь себе, сколько проповедей и песнопений раздалось во время всеобщей забастовки. Я был ошеломлен. Но нужно сказать о самом худшем. Может быть, молодое поколение... — Он покачал головой. — Не уверен, однако, что даже на них можно положиться. Может быть, методизм и загнивает, но взгляни на молитвенные дома спиритуалистов, которые теперь растут в промышленных районах, как поганки.

Когда в следующий раз Джерри проходил мимо, он окликнул Мери Эмберли, но она и не подумала ответить на приветствие. Хладнокровно отвернувшись, она притворилась, что ее интересует только то, что говорил Энтони. «Ослица, а не женщина!» — подумал Джерри, но вслух сказал другое:

— Вы не возражаете, если мы снова поставим эту пластинку? Элен с восторгом закивала головой.

Музыка сфер<sup>177</sup>, блаженные видения... Но почему надо считать небо исключительной монополией зрения и слуха? Мышцы в своем движении тоже вправе рассчитывать на свою долю рая. Небо — это не только свет и гармония, это танец.

— Секундочку! — сказал Джерри, когда они оказались рядом с граммофоном.

Пока он крутил ручку граммофона, Элен стояла, безвольно опустив руки вдоль тела. Глаза ее были закрыты — она отгородилась от мира, сделав призрачным само свое существование. В этом пустынном промежутке между двумя мирами движения само существование теряло смысл.

Музыка на секунду прекратилась, затем снова началась, хлынув из середины бара. За завесой сомкнутых век всем своим женским существом она чувствовала, что Джерри приблизился к ней и теперь стоял очень близко. И вот наконец его рука взяла ее за талию.

— Вперед, солдаты Христа! — провозгласил он, и они вновь закружились в пучине могучего океана, в небесной гармонии движущихся мышц.

Наступило молчание. Решив не обращать внимания на этого мерзавца, миссис Эмберли повернулась к Стейтсу.

— Как поживают ваши духи? — спросила она с неподдельным интересом.

— Процветают, — ответил он. — Мне пришлось заказать три новых дистиллятора, с которыми пришлось изрядно повозиться.

Миссис Эмберли улыбнулась ему и в недоумении покачала головой.

— Именно вы из всех! — сказала она. — Это кажется особенно смешным, что именно вам было суждено стать производителем духов..

— Но что здесь особенного?

— Самый серьезный из всех мужчин, — продолжала она. — начисто лишенный какой бы то ни было галантности, закоренелый женоненавистник! — «Импотент или

---

<sup>177</sup> *Музыка сфер* (гармония сфер) — античное эстетико-космологическое учение. Космос — ряд небесных сфер, каждая из которых при вращении издает свой музыкальный звук.

гомосексуалист — в этом нет никакого сомнения; а уж если принять во внимание ту историю в Берлине, о которой он рассказал, он почти наверняка импотент», — подумала она.

Вымучив из себя ироническую усмешку, Стейтс заговорил:

— Вам не приходила в голову мысль, что у меня могли найтись основательные причины стать производителем духов?

— Причины?

— Для меня это способ компенсировать недостаток галантности. — Правда, надо признать, что в это дело он попал по чистой случайности. Листая «Таймс» он наткнулся на объявление, извещавшее, что по дешевке продается маленькая парфюмерная фабрика... Так что это было делом случая. Однако сейчас, чтобы выглядеть значительно, он придумал историю о том, что обдуманно выбрал свое дело — выбрал его для того, чтобы выразить свое презрение к женщинам, для которых изготавливаются духи. Ложь, которую он теперь и сам воспринимал как правду, ставила его выше всех женщин вообще и миссис Эмберли в частности. Подавшись вперед, он взял Мери за руку и поднес ее к лицу. Словно собираясь поцеловать, но вместо этого обнюхал ее кисть, после чего отпустил руку. — К примеру, — сказал он, — в том, чем вы надушились, содержится цибет<sup>178</sup>.

— Ну и что из этого следует?

— О, из этого ничего не следует, — сказал Стейтс, — абсолютно ничего, если вам нравится запах испражнений хорька.

Миссис Эмберли с отвращением содрогнулась.

— В Абиссинии, — продолжал он, — виверру<sup>179</sup> выращивают на фермах. Дважды в неделю вы берете палку и идете бить по зверькам, пока они не доходят до сильного испуга или злобы. В таком состоянии они выделяют особое вещество. Как дети, которые от страха пачкают пеленки. Затем вы ловите их специальным зажимом, чтобы они не могли вас укусить, и забираете содержимое маленького мешочка, располагающегося у половых органов. Вы делаете это чайной ложкой — масса имеет вид желтого жира. В неразбавленном виде эта дрянь жутко воняет. В Лондоне мы пакуем это в бычьи рога. Огромные рога, полные вонючей массы.

Цена — сто семнадцать шиллингов за унцию, а может быть, и дороже. Вот одна из причин, по которой ваши духи так дорого вам обходятся. Те, кто бедны, не могут позволить себе мазать тело кошачьим дерьмом. Им приходится довольствоваться обыкновенными и химическими заменителями.

Колин и Джойс закончили танцевать и теперь сидели совершенно одни у двери, ведущей в гостиную. Колину наконец представилась возможность дать выход праведному гневу, копившемуся в его душе с самого обеда.

— Я должен сказать, Джойс, — начал он, — что некоторые из гостей твоей матери...

Джойс взглянула на него, в ее глазах выразилось беспокойство, смешанное с восхищением.

— Да, я знаю, — словно извиняясь, произнесла она. — Знаю. — Она униженно поспешила согласиться с ним, что Беппо — дегенерат, а Энтони Бивис — циник. Затем, увидев, что его негодование доставляет ему удовольствие и что она сама испытывала скорее удовлетворение, чем неудобство, Джойс открыта для себя, что человек, приехавший последним и теперь беседующий с ее матерью, был большевиком. Да, Марк Стейтс — большевик.

Мысль, преследовавшая Колина весь вечер, наконец облеклась в слова.

---

<sup>178</sup> *Цибет* (также цивет) — сильно пахнущее мускусом вещество, похожее на желтую или светло-коричневую мазь.

<sup>179</sup> *Виверра* (от лат. слова, означающего «африканский хорек») — хищное млекопитающее, имеющее особые железы, вырабатывающие секрет с мускусным запахом.

— Может быть, я глуп и так далее, — произнес он с добровольным самоуничижением, скрывавшим безмерную гордыню — единственное незаурядное качество его заурядной натуры, — может быть, я невежествен и плохо воспитан, но по крайней мере... — Здесь его тон переменялся, он самодовольно подчеркнул свое сознание того, что был уникальной посредственностью. — По крайней мере, я знаю, что я делаю. Если я вправе считать себя джентльменом. — Он выделил эти слова, и они прозвучали слегка комично, что доказало наличие у него чувства юмора. Говорить серьезно о том, что серьезно воспринималось, а об этом особенно — до такого он никогда не поднимался. Шутливый тон был более уместен, чем повышение голоса; в любой его вибрации сквозило чувство, и он в самом деле воспринимал все это серьезно, как и подобает воспринимать уникально среднему джентльмену. И конечно же Джойс поняла, что он делал. Она посмотрела на него, словно он был божеством, и, как Офелия, ждала его руку.

Танцы, танцы... «Если бы только, — думала Элен, — можно было танцевать вечно. Если бы не надо было тратить время ни на что другое! На глупые, пустые, постыдные поступки, о которых жалеешь после того, как они сделаны». Танцуя, она жертвовала своей жизнью, чтобы обрести ее, теряла свое лицо и становилась чем-то большим, чем она была до этого, освобождалась от запутанности и ненависти к себе в минуты яркой и кажущейся незыблемой гармонии, преодолевала свой дурной характер и творила себя заново — совершенной, освобожденной от своего постыдного прошлого и неизбежного будущего, обретала бесконечное настоящее, в котором было разлито законченное блаженство. Не умея ни рисовать, ни писать, ни даже правильно подпевать, она становилась художником танца или, скорее, превращалась в божество, способное сотворить новое небо и новую землю, в создателя, радующегося своему творению и находящего, что оно весьма неплохо.

— «Да, сэр, это моя девчонка. Нет, сэр...» — Джерри перестал мурлыкать мелодию. — Вчера вечером я выиграл шестьдесят фунтов в покер, — сказал он. — Неплохо, правда?

Она подняла подбородок и улыбнулась ему, кивнув с молчаливым восторгом. Хорошо, хорошо, все было на удивление хорошо.

— Могу вам признаться, — говорил Стейтс, — что я с превеликим удовольствием сочиняю рекламные объявления. — Его мимические мышцы работали так, что у собеседников возникла иллюзия присутствия в анатомическом театре. — Особенно те, что касаются нечистого дыхания или запаха пота.

— Отвратительно! — содрогнулась миссис Эмберли. — Мерзко. Существует лишь один викторианский запрет, который я соблюдаю, — это запрет упоминать все эти вещи.

— Именно поэтому так занятно говорить о них, — заявил Стейтс, направив на Мери пронзительный взор прищуренных глаз. — Заставлять людей осознать их физическую мерзость. В этом вся прелесть подобных объявлений. Вместе с осознанием приходит потрясение.

— И приносит неплохой доход, — вмешался Энтони. — Ты забыл упомянуть о прибылях.

Стейтс пожал плечами.

— Они случаются нерегулярно, — отреагировал он, и Энтони стало ясно, что он говорил правду. Для Стейтса прибыли не имели никакого значения, он считал их случайными и преходящими. — Разрушать защищающую вас условность, — продолжал он дальше, снова обращаясь к Мери, — весьма и весьма занятно.

Оставить вас беззащитными перед осознанием того факта, что вы не можете обойтись без себе подобных, но стоит вам попасть в их общество, как вас начинает тошнить.

## Глава 19

*7 июля 1912 г.*

Миссис Фокс просматривала книжку, куда заносила намеченные дела. Серия заседаний

комитета, визитов по району, дней, которые надо будет провести в игровой комнате калек, заполняли страницы. В промежутках между этим предстояли телефонные звонки, ужины у викария, обеды в Лондоне. И все же (она знала это заранее) наступившее лето не принесет ничего, кроме душевной пустоты. Какой бы насыщенной ни была ее деятельность, время в отсутствие Брайана казалось таким, словно из него выкачали воздух. В былые времена каждое лето было наполненным. Но в этот июль, пробыв неделю или две дома, Брайан собирался поехать в Германию, чтобы изучать там язык. Без этого ему было не обойтись. Она знала, что его отъезд необходим, и непритворно радовалась за него, но боль, зародившаяся в ее душе, выплеснулась наружу в момент расставания. Она даже пожалела о том, что не эгоистка и не может насильно удержать его дома.

— Завтра в это время, — произнесла она, когда Брайан зашел в комнату, — ты будешь проезжать по Лондону в направлении Ливерпуль-стрит<sup>180</sup>.

Он кивнул и, не говоря ни слова, положил руку на плечо матери, нагнулся и поцеловал ее.

Миссис Фокс подняла глаза и улыбнулась. Затем, забыв на секунду о том, что дала себе слово ничего не говорить ему о своих чувствах, произнесла:

— Боюсь, что остаток лета будет пустым и печальным. — Сказала и тотчас принялась мысленно ругать себя за то, что ее подавленное настроение столь явно отразилось на ее лице; но даже укоряя себя, она частью своего существа радовалась его сыновней любви и бережному отношению Брайана к ее чувствам. — Если, конечно, ты не скрасишь его своими письмами, — добавила она, стараясь этим уточнением сгладить свою оплошность. — Ты ведь будешь писать, правда?

— К-к-к... Естественно. Я н-напишу.

Миссис Фокс предложила прогуляться; или, может быть, лучше покататься в двухколесном экипаже? Брайан в смущении посмотрел на часы.

— Н-но у м-меня обед с Терсли, — в некоторой растерянности ответил он. — Н-на поездку н-не хв-в-в-в м-мало в-в-време-ни. — Как он ненавидел эти вынужденные иносказания.

— Как же глупо с моей стороны! — воскликнула миссис Фокс. — Я совсем забыла про твой обед. — Она действительно забыла, и эта внезапная, только что возникшая мысль о том, что эти долгие часы последнего дня, когда они еще будут вместе, ей придется провести без него, очень больно ранила миссис Фокс. Ей стоило немалых усилий не показать сыну свою нестерпимую боль ни мимикой, ни голосом. — Но мы успеем хотя бы прогуляться в саду, да, Брайан?

Они спустились в зеленую аллею, обсаженную травой. День был пасмурный, но теплый, почти знойный. Под серым небом цветы выглядели неестественно ярко. В молчании мать и сын дошли до конца аллеи и повернули обратно к дому.

— Я рада, что это Джоан, — сказала миссис Фокс, — и я рада, что ты внимателен к ней. Хотя, конечно, жаль, что ты повстречал ее именно в тот момент. Меня волнует то, что пройдет еще немало времени, пока ты сможешь жениться.

Брайан подтвердил сказанное ею кивком головы.

— Любовь должна быть испытана временем, — продолжала она. — Тяжело, но, как правило, это приносит счастье. И тем не менее, — здесь ее голос взволнованно задрожал, — я рада, что так случилось... Рада, — повторила она. — Потому что я верю в любовь. — Она верила в нее, как бедняки верят в вечную жизнь после смерти, в вечную славу и покой, потому что никогда не знала, что это такое. Она уважала своего мужа, восхищалась им за все им достигнутое, любила его за то, что она могла любить в нем, и по-матерински жалела его за некоторые слабости. Но между ними не было преображающей страсти, и его чисто

---

<sup>180</sup> *Ливерпуль-стрит* — одна из главных железнодорожных магистралей Лондона, располагающаяся рядом с Сити.

плотское понимание любви всегда было для нее не более чем гневом злого человека, который едва ли можно было вынести. Она никогда не испытывала к нему того, что называют Любовью. Именно поэтому вера в ее существование была настолько сильна. Любовь должна была существовать для того, чтобы болезненное равновесие ее личного опыта не могло быть нечаянно нарушено. Кроме того, любовь прославляли поэты, она существовала и была восхитительной, святой, она была откровением. — Это какая-то особая благодать, — продолжала она, — которую ниспосылает Господь в помощь нам, чтобы сделать нас лучше и сильнее, чтобы избавить нас от лукавого. Говорить «нет» худшему легко, когда уже сказано «да» лучшему.

Легко, думал Брайан во время наступившей паузы, даже когда не сказал «да» лучшему. Женщине, которая подседа к их столику в «Кафе-консер», когда они с Энтони изучали французский в Гренобле<sup>181</sup> два года назад — такому искушению было нетрудно сопротивляться.

— *Tu as l'air bien vicieux* <sup>182</sup>, — говорила она ему во время первой паузы. И затем Энтони: *Il doit etre terrible avec les femmes, hein?* <sup>183</sup> Вскоре после этого она предложила им проводить ее до дому. — *Tons les deux, feu une petite cimie. Nous nous amuserons bien gentiment. On vous fera voir des chases droles. Toi qui es si vicieux — ca famusera* <sup>184</sup>.

Да нет, этому, конечно, не было трудно противиться, хотя тогда он еще и в глаза не видел Джоан и не знал о ее существовании. Настоящим искушением стало как раз не худшее, а лучшее. В Гренобле таким искушением стала литература. *Et son vent re, et ses seins, cesgrrippes de met vigne... Elle se coula a mon cote, m'appela des norns les plus tend res et des noms les plus effroyablement grossiers, qui glissaient sur ses levres en suaves murmures. Puis elle se tut et commenca a me donner ces baisers qu'elle sewed...* <sup>185</sup>

Творения лучших стилистов оказались намного привлекательнее и, следовательно, опаснее, и им было гораздо труднее противиться, чем убогой реальности «Кафе-консер». А теперь, когда он сказал «да» самой лучшей из реальностей, тяга к худшему стала еще меньше, чем была, низкие искушения перестали даже отдаленно напоминать искушение. Искушение, подобное тому, которое явилось следствием самого лучшего. Для него было невозможно желать низкое, вульгарное, скотское создание «Кафе-консер». Но Джоан была прекрасной, Джоан была утонченной, Джоан разделяла его увлечения и именно поэтому была для него желанной. Просто потому, что она была лучшей из всех (и это было для него парадоксом, причем болезненным и неразрешимым), он желал ее несправедно, чувствуя плотскую страсть.

— Ты помнишь те строчки Мередита? — спросила миссис Фокс, нарушив молчание. Мередит был одним из ее любимых авторов. — Из «Леса», уточнила она, любовно сократив название стихотворения почти до условного обозначения. Она начала читать на память:

Любовь, вулкан огромный, изрыгает

---

<sup>181</sup> Гренобль — французский город в Альпах, на берегу реки Изер.

<sup>182</sup> Ты весьма порочного нрава (фр.).

<sup>183</sup> Должно быть, ужасно с женщинами? (фр.)

<sup>184</sup> Вы вдвоем. У меня есть маленькая подружка. Мы славно позабавимся. Вы увидите много занятных вещей. Ты, который порочного нрава, повеселишься (фр.).

<sup>185</sup> Она ложится рядом со мной и называет меня именами нежными и именами ужасно грубыми, которые сладостно скользят по ее губам. Затем она целует меня самыми жаркими поцелуями, на которые только способна... (фр.)

— Любовь подобна философскому камню, — продолжала она. — Она не только овладевает нами, но и преображает нас. Переплавляет шлак в золото. Прах в эфир.

Брайан кивнул в знак согласия. «И все же, — думал он, — эти соблазнительные и безликие тела, созданные стилистами, приобрели черты Джоан. Вопреки любви, а может быть, как раз благодаря ей, суккубы теперь обросли плотью и стали называться реальными именами».

Часы на конюшне пробили двенадцать, и при первом же ударе из голубятни на фоне темной купы вязов бесшумно, словно снежные хлопья, выпорхнула стая голубей.

— Как красиво! — произнесла миссис Фокс негромко, но с громадным внутренним напряжением.

Но что, если, вдруг пришло на ум Брайану, у той женщины закончились деньги и она осталась без средств к существованию? Что было бы с Джоан, если бы она была так же безнадежно бедна, как та несчастная француженка?

Последний удар часов стих, и голуби один за другим вернулись в башенку голубятни, поставленную прямо над часами.

— Пожалуй, — сказала миссис Фокс, — тебе уже пора собираться, если хочешь попасть к обеду вовремя.

Брайан понимал, как не хотелось матери отпускать его, и это нарочитое самоотречение вызвало в нем чувство вины, и вместе с тем (поскольку он не хотел быть виноватым) некоторое негодование.

— Н-но мне н-не потребуется ч-час, ч-чтобы проехать на в-велосипеде три мили.

Секунду спустя он уже чувствовал стыд за ноту раздражения в голосе, и остаток времени, проведенного с ней, он держал себя как нельзя любезнее.

В половине первого он сел на велосипед и поехал к Терсли. Горничная открыла парадную готическую дверь девятнадцатого века. Войдя в дом, Брайан ощутил слабый запах парового пудинга с капустой. Как обычно. В домах священников всегда пахнет пудингом и капустой. Он давно открыл для себя, что это запах бедности и ощутил угрызения совести, словно совершил дурной поступок.

Горничная провела его в гостиную. Миссис Терсли встала из-за письменного стола и, словно Брайан был пожилой титулованной дамой, направилась к нему с протянутой для пожатия рукой.

— Ах, дорогой Брайан! — воскликнула она. Ее заученная христианская улыбка искрилась жемчугом вставных зубов. — Как это мило, что ты пришел! — Наконец она протянула ему руку. — А твоя дорогая мама — как она поживает? Грустит, потому что ты уезжаешь в Германию, так ведь, конечно? Все мы грустим, уж если начистоту. У тебя прирожденный дар заставлять людей скучать по тебе, — продолжала она с таким же полным восхищения надрывом, пока Брайан краснел и вертелся от жгучего стыда. Говорить ейности человеку в лицо, особенно если перед тобой тот, кто богат, влиятелен и несомненно полезен, — такова была черта характера миссис Терсли. Христианское человеколюбие — так бы она окрестила это, если бы у нее потребовали объяснений. Любовь к ближнему, поиск в каждом из людей добра, создание атмосферы доверия и сочувствия. Но почти безотчетно и бессознательно она чувствовала, что большинство людей были настолько падки на самую грубую лесть, что готовы так или иначе платить за нее.

— А вот и Джоан, — воскликнула она и прибавила с плохо скрываемым восторгом: — Он ведь не станет больше разговаривать с ее докучливой старой матерью, правда, Джоан?

Молодые люди, смутившись, молча взглянули друг на друга. Дверь внезапно распахнулась, и в гостиную буквально ворвался мистер Терсли.

---

<sup>186</sup> Миссис Фокс приводит строки из стихотворения Мередита «Вестермейнские леса».



— Нет, вы только посмотрите! — закричал он голосом, дрожащим от ярости, и, подняв руку, показал всем стеклянную чернильницу. — Как вы думаете, могу ли я нормально заниматься своей работой, когда на дне осадок чуть ли не в дюйм? Капает, капает, капает — целое утро. Не могу написать больше двух слов подряд...

— Папа, приехал Брайан, — сказала Джоан, надеясь, хотя, как она сама понимала, совершенно напрасно, что присутствие чужого человека может заставить его замолчать.

Уставив свой все еще бледный от ярости нос и горящий взор в Брайана, мистер Терсли пожал молодому человеку руку и, отвернувшись, тотчас же продолжил свои гневные жалобы:

— В этом доме всегда все так. Как можно вообще делать здесь какую-то серьезную работу?

«О Боже, — мысленно взмолилась Джоан, — сделай так, чтобы он перестал, пусть он замолчит».

«Он что, сам не может налить себе чернил?» — подумал Брайан. — Почему она прямо ему об этом не скажет?

Но для миссис Терсли было невозможно сказать или даже подумать что-либо в этом роде. Он читал проповеди, писал статьи для «Гардиан»<sup>187</sup>, изучал неоплатонизм<sup>188</sup>. И как можно было при всем этом ожидать от него, что он сам будет наливать себе чернила? Для нее, так же как и для него, было очевидно, что после двадцати пяти лет добровольного, низкого и неосознанно воспринимаемого рабства он не может делать никаких мелочей. Кроме того, если бы ей каким угодно способом случилось намекнуть на то, что он не во всем прав, его гнев был бы гораздо более сильным. Только небу известно, что он мог сделать или сказать в присутствии Брайана. Это было ужасно. И она принялась извиняться за пустую чернильницу. Нужно извиняться за себя, за Джоан, за слуг. Ее голос был одновременно уничижительным и утешающим; она говорила, словно обращаясь к некоему существу, похожему то на Иегову, то на свирепую собаку, могущую укусить в любой момент.

Гонг (а у Терсли имелся гонг, звон которого был слышен во всех уголках герцогского особняка) загремел с такой силой, что замолчал даже разгневанный викарий. Но лишь только гонг стих, как все началось сначала.

— Я и так прошу не слишком многого, — продолжил он.

Он успокоится, когда поест, подумала миссис Терсли и повела мужа в столовую. Следом за ней шла Джоан. Брайану очень хотелось, чтобы викарий шел впереди него, но святой отец даже в праведном гневе не забыл о хороших манерах. Положив руку на плечо Брайану, он подтолкнул его к двери, продолжая бомбардировать жену упреками.

— Хотя бы немного тишины, хотя бы простейшие материальные условия для работы. Самый жалкий минимум. Но у меня нет даже этого. В доме шум, как на железнодорожном вокзале, а моя чернильница в таком состоянии, что мне приходится писать какой-то черной грязью.

Осыпаемая градом упреков, миссис Терсли шла сжавшись и склонив голову, а Джоан, как заметил Брайан, напряглась и передвигалась, как манекен.

Два мальчика, младшие братья Джоан, уже стояли в столовой за спинками своих стульев в ожидании обеда. При виде их мистер Терсли перешел от чернильницы к шуму в доме.

— Как на вокзале, — повторил он, и праведный гнев вспыхнул в нем с новой силой. — Джордж и Артур все утро возятся на лестнице и истоптали все уголки сада. Почему ты не можешь призвать их к порядку?

Теперь они были на своих местах — миссис Терсли у одного конца стола, ее муж у

---

<sup>187</sup> «Гардиан» — ежедневная английская газета, выходящая с 1821 года.

<sup>188</sup> *Неоплатонизм* — идеалистическое направление античной философии III–VI вв.

другого, два мальчика слева, Джоан и Брайан справа. Они стояли так, ожидая, когда викарий произнесет благословение.

— Как хулиганы, — сказал мистер Терсли, и пламя ярости прожгло его насквозь. Затем его охватила колкая теплота, до отвращения приятная. — Дикари.

Сделав усилие, он склонил свой вытянутый, с ямочкой, подбородок к груди и умолк. Его нос был все еще бледным от гнева, как морское животное в аквариуме, ноздри его периодически раздувались, в правой руке он все еще судорожно сжимал чернильницу.

— *Benedictus benedicatperjesum Christum Dominum nostrum* <sup>189</sup>, — нараспев произнес он глубоким, берущим за душу голосом, полным трансцендентного значения.

Викарий сделал едва заметное сдержанное движение, и все расселись по своим местам.

— Воют и верещат, — сказал мистер Терсли, сменив благочестивый тон на природную хриплую грубость. — Как вы прикажете мне работать? — Охваченный негодованием, мистер Терсли изо всей силы стукнул чернильницей по столу и развернул салфетку.

На другом конце стола миссис Терсли с поразительной быстротой резала зажаренную целиком утку.

— Передай отцу, — сказала она мальчику, сидящему рядом с ней. Нужно было как можно скорее накормить его.

Секунду или две спустя горничная принесла мистеру Терсли овощи. Ее передник и чепец были жестко накрахмалены, а сама она была вымуштрована, как гвардеец. Блюда, на которых подавали овощи, были безвкусны, но дороги; ложки из полновесного викторианского серебра. С их помощью викарий отправил себе в рот сначала вареный картофель, потом рубленную в форме зеленых кирпичиков капусту.

Все еще наслаждаясь роскошью гнева, мистер Терсли продолжал:

— Женщины просто не понимают, что значит серьезная работа. — И снова принялся за еду.

Разделив утку, миссис Терсли отважилась вставить слово:

— Брайан завтра уезжает в Германию, — произнесла она. Мистер Терсли поднял изумленные глаза, быстро дожевывая свою порцию резцами, как кролик.

— Куда в Германию? — спросил он, бросая резкий инквизиторский взгляд на Брайана. Его нос снова приобрел нормальный цвет.

— В М-марбург.

— В тамошний университет?

Брайан кивнул.

Мистер Терсли расхохотался грохочущим смехом — было такое впечатление, что в воронку насыпают кокс.

— Не вздумай пить пиво наперегонки с тамошними студентами, — сказал он.

Буря миновала, и отчасти из благодарности, отчасти от желания дать мужу почувствовать, что считает его шутку неотразимой, миссис Терсли засмеялась в унисон.

— О да, — воскликнула она, — что угодно, но только не это! Брайан улыбнулся и покачал головой.

— Воду или содовую? — Горничная предупредительно склонилась над Брайаном, шурша накрахмаленными юбками.

— В-воды, п-пожалуйста.

После обеда, когда викарий вернулся в свой кабинет, миссис Терсли приветливо и удручающе многозначительно предложила молодым людям прогуляться. Когда за ними захлопнулась стрельчатая дверь, Джоан перевела дух, как узник, выпущенный на свободу.

Небо было все еще затянуто тучами, и под его низким серым сводом воздух был мягок, насыщен влагой и как-то утомленно перемещался, словно задыхаясь под тяжелым грузом лета. В лесу, куда они свернули с шоссе, стояла давящая тишина, похожая на намеренное

---

<sup>189</sup> Благословенный, благослови во имя Господа нашего Иисуса Христа (*лат.*).

молчание существ, способных чувствовать и таящих в себе неизреченные мысли и сокровенные пласты души. Послышалось пение невидимого обитателя деревьев, но оно было похоже на звук, раздающийся из иного мира и другого времени. Они шли рядом, взявшись за руки, и между ними царил тишина леса и в то же время более глубокая, более опасная неизреченность их собственных чувств. В молчании слышалась мольба, которую она была не в силах открыть, и жалость, которая, как он интуитивно догадывался, оскорбила бы его, будь она облечена в слова; ее поиск покоя в его объятиях вызывал у него желания, которые он стремился в себе подавить.

Тропинка привела их к двум обширным зарослям рододендронов, и внезапно они оказались в узкой расщелине, сжатые двумя высокими, почти глухими стенами темно-зеленой листвы. Это было безлюдье в безлюдье, квинтэссенция пустыни; призрак их собственного молчания был поглощен великим молчанием леса.

— П-почти с-страшно, — прошептал он, когда они стояли, вслушиваясь (поскольку более ничего нельзя было услышать) в дыхание друг друга, биение сердец и все произнесенные ими слова, ждавшие своего часа в глубине их душ.

Джоан не выдержала первая.

— Когда я думаю о том, что будет так же, как дома... — Жалоба вырвалось против ее воли. — Брайан, я не хочу, чтобы ты уезжал!..

Брайан посмотрел ей в глаза и, увидев, как у нее дрожат губы и блестят глаза от слез, почувствовал, что разрывается между нежностью и жалостью. Заикаясь, он произнес ее имя и обнял за талию. Несколько секунд Джоан стояла неподвижно, склонив голову и положив подбородок ему на плечо.

Прикосновение ее волос к его губам было подобно электричеству, и он с упоением вдыхал аромат ее духов. Внезапно, словно очнувшись от дремы, она пришла в движение и, слегка отшатнувшись от него, взглянула в его блестящие глаза. Это был отчаянный, почти нечеловечески пристальный взгляд.

— Любимая, — прошептал он.

В ответ Джоан лишь покачала головой.

Но почему? Какому порыву его души говорила она свое «нет»?

— Поч-чему, Джоан?.. — В его голосе послышалось беспокойство. Она не ответила, всего лишь взглянула на него и еще раз медленно покачала головой. Много отказов выразилось в одном этом движении. Отказ жаловаться на судьбу, добровольный отказ от счастья, печальное признание того, что вся ее любовь и все его чувства не могли противопоставить ничего против боли разлуки, твердое решение не злоупотреблять его жалостью, не посягать, как бы сильно она ни желала, на другое, еще более страстное признание... Внезапно он сжал ее виски ладонями и, секунду помедлив, поцеловал ее в губы.

Но именно она противилась именно этому проявлению его чувства, потому что этот поцелуй мог принести ей одно лишь неотвратимое несчастье. Секунду или две ее тело было сжато от сопротивления, она пыталась освободить голову от его рук и вообще осадить его. Затем, покоренная желанием более сильным, чем могла допустить ее воля, она растворилась в его объятиях, сомкнутые, стыдящиеся губы открылись и мягко отвечали на его поцелуи, страстные глаза ее закрылись и в мире не оставалось ничего, кроме его губ и сильного худого тела, прижавшегося к ней.

Его руки ласкали ей волосы чуть выше затылка, мягко скользили к горлу и обратно, затем опустились и легли ей на грудь. Джоан потеряла всю силу и волю к сопротивлению, она чувствовала, что все глубже и глубже погружается в тот таинственный потусторонний мир, открывающийся за ее затуманенным взором.

Затем, без предупреждения, словно покорно повинаясь неслышному приказу, он отпустил ее. Буквально секунду она думала, что упадет, но сила вновь, как раз вовремя, вернулась в ее колени. Она шатко зашагала, затем обрела равновесие, и внезапно родившийся гнев охватил ее. Она целиком положила на него душой и телом, а он, внезапно отстранившись, покинул ее на произвол судьбы, оставил ее голой и беззащитной. Она

открыла глаза и укоризненно, с обидой посмотрела на Брайана и вдруг увидела, что он стоит с каким-то странным, отчужденным и немного напуганным видом, с побледневшим лицом и отворачивается, стараясь не смотреть на нее. Злость уступила место беспокойству.

— Что с тобой, Брайан?

Он взглянул на нее и снова отвернулся.

— Нам лучше в-вернуться в дом, — произнес он тихим глухим голосом.

Был конец сентября. Под бледно-голубым небом просторы были траурно широки, и в воздухе висела изысканно-нежная, но блеклая дымка. Весь мир казался отчужденным и нереальным, как воспоминание или идеал.

Поезд замедлил ход и остановился. Вылезая из вагона с самым тяжелым из своих чемоданов, Брайан помахал рукой одиноко стоявшему на перроне носильщику. Напрягая мышцы, Брайан облегчал муки совести, которые становились тем тяжелее, чем старше он становился — муки богача, который за деньги может купить услугу бедняка.

Носильщик, подбежав к нему, почти вырвал чемодан из рук Брайана. У этого человека были свои понятия о совести.

— Оставьте это мне, сэр. — В голосе носильщика прозвучало плохо скрытое возмущение.

— Еще д-два в к-к-к... в-внутри. — Брайан не успел закончить фразу, а носильщик был уже в непроходимом купе и выносил оттуда два оставшихся чемодана. — В-вам помочь? — спросил он. Человек был стар, седовлас, лицо его было покрыто морщинами. Ему лет на сорок больше, чем мне, — прикинул Брайан, — но он называет меня сэр, носит мои вещи и будет благодарен за лишний шиллинг». — Д-давайте.

Старый носильщик, не удостоив Брайана ответом, несуетливым грациозным движением вынес на перрон два оставшихся чемодана, не без гордости демонстрируя свое умение и сноровку.

Брайан почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Он обернулся — перед ним стояла Джоан.

— Именем короля! — воскликнула она, но ее смех звучал вымученно, в глазах отражались лишь беспокойство и тревога, накопившиеся за недели напряженных раздумий. Все эти странные, неудачные письма, которые он писал из Германии, оставляли в ней болезненную неуверенность, что думать и как чувствовать, что ожидать от него по возвращении. В его письмах он и в самом деле укорял только себя — с силой, которую был неспособен оправдать. Но когда речь зашла о случившемся в лесу, в чем она была отчасти сама виновата (а что, собственно, такое представлял из себя тот поцелуй?), она почувствовала, что эти упреки она с тем же успехом могла бы отнести к себе. А если он начал относиться к ней с укором, мог ли он по-прежнему любить ее? Каковы были его истинные чувства по отношению к ней, к себе, что он думал об их отношениях? Она не могла ждать ответа ни одной лишней минуты и поэтому тайком пришла встретить его на вокзале.

Брайан стоял, не говоря ни слова; он не ожидал увидеть ее так скоро и был почти в унынии, когда она появилась, застав его врасплох. Он машинально протянул руку. Джоан взяла ее и сжимала в своей, все сильнее и сильнее, как будто желая увеличить реальность его любви к ней, но, даже делая так, она колебалась в своем восприятии человека, внезапно ставшего для нее незнакомцем, между боязливым смущением и нежеланием расставаться с ним.

Грациозность этого стыдливого, мучительного движения задела его так же болезненно, как и при первой встрече. И все же это была грациозность, несмотря на общую скованность, выражавшуюся в ее движениях. Она была похожа на молодую ольху, колеблемую ветром. Именно этот странный образ пришел ему в голову тогда. Теперь же все повторяется сначала; и прелесть жеста опять была откровением, но более жгучим, чем в первый раз, в нем был намек на его отчужденность, он стал чужим и само пожатие руки изо всех сил протестовало против этой отчужденности.

Ее лицо, когда она пристально взглянула ему в глаза, казалось, было охвачено трепетом, но внезапно наигранное дружелюбие растворилось в глубоком понимании.

— Ты не рад видеть меня, Брайан?

Ее слова развеяли чары, и он уже снова мог улыбаться и разговаривать.

— Не р-рад? — повторил он и вместо ответа целовал ей руку. — Я н-не д-думал, что ты окажешься з-здесь. Ты уж-жасно исп-пуга-ла меня.

Выражение его лица вселило в нее уверенность. В первые секунды тишины его тихое, словно каменное, лицо казалось лицом врага. Теперь, после этой улыбки, оно преобразилось, и он вновь стал тем прежним Брайаном, которого она любила, — таким мягким, понимающим и добрым и таким прекрасным в своей доброте, несмотря на продолговатое, дикое лицо, долговязую фигуру и длинные, нескладно двигающиеся руки и ноги.

Состав с грохотом тронулся, набрал скорость и исчез. Старый носильщик отошел к пакгаузу, чтобы приволочь тележку. Они стояли одни на краю длинной платформы.

— Я думала, ты меня не любишь, — произнесла она после долгой паузы.

— Н-нет, Джоан! — взмолился он, и они улыбнулись друг другу. Затем, мгновение спустя он отвел взгляд. «Не любить ее?» — думал он. Но беда была в том, что он слишком сильно ее любил, любил не так, как нужно, даже несмотря на то, что считал ее лучшей из женщин.

— Я думала, ты сердишься на меня.

— Н-но за что? — Он все еще боялся смотреть ей в глаза.

— Ты знаешь, за что.

— Я н-не был с-сердит на тебя.

— В этом была моя вина.

Брайан покачал головой.

— Т-ты не виновата.

— Я знаю, что это так, — мучительно настаивала она.

Вспомнив свои ощущения тогда, когда он привел ее туда, в темную впадину между двумя смыкающимися с двух сторон зарослями рододендронов, Брайан покачал головой во второй раз, с большей силой.

Старик вернулся с тележкой и разговорами о погоде, обрывками новостей и сплетнями. Они последовали за ним, играя свои роли специально для него, словно были артистами местной драмы.

Когда они почти вплотную подошли к воротам вокзала, Джоан взяла его за плечи.

— С тобой все хорошо, да? — Их глаза встретились. — Я могу быть счастливой?

Он улыбнулся, не говоря ни слова, и кивнул.

В экипаже, по дороге домой, он неотвязно вспоминал о том, как просветлело ее лицо после этого безмолвного жеста. И все, что он мог предложить взамен за такую пылкую любовь, было... Он опять подумал о рододендроновой чаще, и стыд внезапно охватил его.

Узнав от Брайана о том, что Джоан была на станции, миссис Фокс испытала внезапный приступ негодования. По какому праву? До его матери?.. И вдобавок это вероломство!.. Ведь Джоан была приглашена к обеду на следующий день после приезда Брайана. Это означало, что она молчаливо смирилась с исключительным правом на него миссис Фокс в день приезда. Но теперь, когда она незаконно пробралась на станцию, чтобы перехватить его прямо у поезда... Это было почти бесчестно.

Припадок неистовой ревности миссис Фокс продолжался всего несколько секунд — сама его интенсивность помогла ей осознать его низость и бессмысленность. Ни единое движение лица не выдало ее чувств: она слушала бессвязно-сбивчивый рассказ Брайана об их встрече со снисходительно-ироничной улыбкой. Затем, собрав всю свою волю, она не только не выдала своих чувств, но и изгнала их из своего сознания. Все это казалось соблюдением норм приличия и оправдывало ее спокойную совесть, оставив лишь неодобрительное сожаление для Джоан, — но как ей было назвать это? И все-таки, девушка, укравшая ее первенство встречи с сыном, была не совсем права.

Нет, все не так, хотя и достаточно объяснимо, продолжала размышлять она. Ее поступок вполне простителен. Она влюблена... К тому же у Джоан импульсивный, эмоциональный характер, и в этом есть положительные стороны, думала миссис Фокс. Ее порывы, как в сторону правого, так и неправого дела, были слишком сильны. Если бы можно было направить в нужное русло глубокий и мощный поток внутренней жизни Джоан, если бы можно было осторожно подойти и выявить самое лучшее, что было в ней, если бы можно было поддержать ее в прекрасных и щедрых начинаниях, она была бы удивительным человеком. Удивительным, убеждала себя миссис Фокс.

— Ну, — сказала она на следующий день, когда Джоан пришла к Фоксам на обед, — я слышала, ты ухватила нашего скитальца за крыло еще до того, как он успел долететь до гнезда. — Тон был игривый, и на лице миссис Фокс сияла чарующая улыбка. Джоан виновато покраснела.

— Вы ведь не против? — спросила она.

— Против? — повторила миссис Фокс. — Ну, моя дорогуша, с какой это стати? Мне, правда, казалось, что мы договорились о встрече на сегодня. Но уж коль ты не могла ждать ни минуты...

— Извините, — сказала Джоан, но в душе ее шевельнулось что-то очень похожее на ненависть.

Миссис Фокс сочувственно положила руку на плечо девушке.

— Пойдем в сад, — предложила она, — и посмотрим, нет ли там Брайана.

## Глава 20

*8 декабря 1926 г.*

Выйдя на цыпочках из задней гостиной, Хью Ледвидж надеялся немного насладиться одиночеством, но на лестничной площадке его заметили Колин и Джойс. Колин, как выяснилось, был без ума от туземцев и всегда был готов побеседовать с профессиональным этнологом о своей жизни с дикарками. Он бессвязно болтал об Индии и Уганде, а Хью мучила невыносимая усталость. Единственным его желанием было сбежать поскорее из этого дома, этого попугайника, к сладостной тишине и чтению.

Слава богу, они наконец оставили его в покое, и, глубоко вздохнув, он приготовился к церемонии прощания. Слово «прощай», произносимое в конце каждого вечера, было тем, что Хью просто не выносил. Выворачивать душу наизнанку и постоянно откровенничать с людьми, быть вынуждаемым к этому, когда ты устал и жаждешь одиночества, вновь ухмыляться, трещать без умолку и лицемерить изо всех сил — что может быть отвратительнее? Особенно с Мери Эмберли. Были вечера, когда женщина просто не позволила бы сказать «до свидания», но вместо этого отчаянно повисла бы у тебя на шее, как утопающая. Допросы, признания, скабрезные обсуждения чужих любовных дел — все что угодно, лишь бы задержать тебя на минуту дольше. Казалось, она воспринимала отъезд каждого последующего гостя как смерть частицы собственной души. У него екало сердце, когда он шел из противоположной части комнаты навстречу ей. «Проклятая женщина!» — думал он, искренне ненавидя ее. Для ненависти были все причины, поскольку Элен все еще танцевала с этим конюхом, а теперь еще добавилась новая порция злости, потому что, как он внезапно разглядел сквозь дымку тусклого воздуха, рядом с ней сидели Стейтс и этот Бивис. Все бредовые мысли насчет заговора внезапно хлынули ему в голову. Они разговаривали о нем, о его бегстве от пожара, о его страхе перед футболом, о том, как они швырнули в него туфлю через перегородку дортуара. В этот момент у него было единственное желание: поскорее выскользнуть из дома, не говоря ни слова. Но они увидели, что он приближается, и, догадываясь об истинной причине его бегства, начали смеяться еще громче. Здравый смысл вернулся к нему, и он понял, что все это чушь, что никакого заговора не было. Какой, простите, заговор? Да и если бы Бивис помнил, с какой стати он стал бы говорить? Но это

все равно, все равно... Расправив узкие плечи, Хью Ледвидж уверенно двинулся к месту предполагаемой засады.

К его крайнему облегчению, Мери Эмберли отпустила его почти без возражений. «Тебе уже нужно уходить, Хью? Так скоро?» Этим все и закончилось. Казалось, что ее мысли витали где-то далеко.

Беппо дружелюбно присвистнул, Стейтс просто кивнул и теперь наступила очередь Бивиса. Являлась ли его улыбка на самом деле тем, чем казалась, — туманной и искусственно дружеской? Или же в ней таилось нечто более значительное — насмешливое напоминание о его постоянном позоре? Хью повернулся и заспешил прочь. С какой стати, внутренне не унимался он, нужно приходить на эти идиотские вечеринки? Ходить снова и снова до тех пор, пока не убедишься, что это совершенно бессмысленно и утомительно...

Марк Стейтс повернулся к Энтони.

— Ты понял, кто это был? — спросил он.

— Кто? Ледвидж? Он что-то из себя представляет?

Стейтс объяснил.

— Гогглер! — расхохотался Энтони. — Ну конечно же! Бедняга Гогглер! Как же грубо мы с ним обходились!

— Вот поэтому я все время притворялся, что не знаю его, — сказал Стейтс, улыбнувшись своей анатомической улыбкой с жалостью и презрением. — Думаю, было бы милосердно, если бы ты сделал то же самое. — Защита Хью Ледвиджа доставляла ему истинное удовольствие.

«Совершенно бессмысленно и утомительно, да и унизительно, — думал Хью, — и унизительно тоже. В этом всегда присутствует толика унижения. Какой-то Бивис издевательски улыбается, а этот Джерри Уотчет ведет себя, как грубый извозчик...»

За его спиной на лестнице послышались шаги.

— Хью! Хью!

Он виновато вздрогнул и обернулся.

— Почему вы вдруг решили улигнуть, не попрощавшись со мной?

— Мне показалось, что вы очень заняты, — начал он, пробуя шутливый тон, когда, сощурившись, разглядел Элен сквозь очки. Затем он умолк, внезапно изумившись, с почти благоговейным страхом.

Она стояла на три ступеньки выше, чем он, одной рукой держась за перила, а распластанные пальцы другой касались стены напротив. Ее поза была такой, что она вот-вот готова была полететь вниз. Что же, какое чудо вдруг произошло с ней? Вспыхнувшее лицо, представшее перед ним, казалось, сияло внутренним светом. Это была не Элен, а какое-то сверхъестественное существо. В присутствии такой неземной красавицы он и сам запылал, вместо того, чтобы пошутить и напустить на себя всезнающую мину.

— Занята? — откликнулась она. — Да я всего лишь танцевала. — И это прозвучало так, как если бы пророк Моисей сказал изумленным израильтянам: «Я всего-навсего беседовал с Иеговой». — Это неуважительный ответ, — продолжила она: Затем быстро, как будто новая и любопытная мысль внезапно пришла ей в голову, проговорила: — Или ты рассердился на меня за что-то? — добавила она с другой интонацией.

Он начал с того, что покачал головой, но, слегка поразмыслив, почувствовал за собой необходимость легко улыбнуться.

— Нет, я не рассержен, — пытался объяснить он, — просто я не очень общителен.

Сияние, исходящее от ее лица, казалось, превратилось в дрожание ослепительного пламени. Необщителен! Это и в самом деле было на удивление забавно! Танец сделал ее тело гибким, преобразив плоть в дух. При мысли о том, что кто-либо мог быть (нелепое слово!) необщительным, что можно было испытывать иное чувство, кроме всепоглощающей любви, она от души засмеялась.

— Какой ты смешной, Хью!

— Я рад, если ты действительно так думаешь. — В голосе его слышались

оскорбленные нотки.

Шелк ее платья резко зашуршал; от ее щек повеяло прохладным ароматом духов — и вот она стоит всего на одну ступеньку выше, чем он, в опасной близости.

— Ты не обиделся на то, что я сказала, будто ты смешной? — спросила она.

Он снова поднял глаза так, что ее лицо оказалось на одном уровне с ним. Успокоенный тем, что оно выражало искреннее участие, он покачал головой.

— Я не имела в виду, что ты глуп, — пояснила она. — Я хотела сказать... в общем, ты понимаешь... мил и забавен. Забавен, и я тебя очень люблю.

При обстоятельствах лично прискорбных хорошо организованное дурачество всегда действует как надежная защита. Улыбаясь, Хью приложил правую руку к сердцу. Он хотел сказать ей: «*Je suis penetre de reconnaissance*»<sup>190</sup> — в ответ на объяснение в любви. Элегантная, но злая шутка, псевдогероический жест были бы немедленной и автоматической реакцией на ее слова. «*Je suis penetre...*»

Элен не дала ему времени закончить очередной розыгрыш. В ответ на его слова она положила обе руки ему на плечи и поцеловала его в губы.

В течение секунды он был полон непомерного удивления, смятения и какого-то удушающего, бессвязного восторга.

Элен слегка подалась назад и взглянула на него. Он сильно побледнел и выглядел, словно увидел привидение. Она улыбалась, потому что он был в этот момент чрезвычайно смешным, потом нагнулась и снова чмокнула его.

Первый ее поцелуй явился следствием ощущения полноты жизни, кипевшего в ней, потому что она была сотворена совершенной в совершенном мире. Но его испуганное лицо имело такой нелепый и смешной вид, что он превращал полноту жизни в какую-то обреченную шаловливость. Второй поцелуй, ради смеха и в то же время ради любопытства, стал экспериментом, сделанным в духе восторженного научного исследования. Она была вивисектором, вооруженным харизмой. Кроме того, у Хью оказались удивительно приятные губы. Ей никогда раньше не приходилось целовать такие полные, мягкие губы. И вряд ли она хотела научно пронаблюдать, что это нелепое создание сделает в ответ, — она хотела еще раз ощутить упругость его рта, почувствовать неизведанное, щекочущее блаженство, что колело губы и растекалось, быстрое и почти невыносимое, будто крылышки мотыльков по всему ее телу.

— У тебя было со мной столько хлопот, — сказала она для того, чтобы оправдать второй поцелуй. Мотылек снова покрыл ее приятной щекоткой и остановился, колебля ее груди своими крылышками. — Хлопот о моем образовании.

— Элен! — только и мог прошептать он и, не успев подумать, обьял ее шею руками и поцеловал.

Его рот в третий раз; снова быстрый мотылек щекотал кожу... О, как быстро он двигался! Хью повторил еще раз.

— Элен!

Они посмотрели друг на друга, и теперь, когда у него было время на размышления, Хью ни с того ни с сего вдруг почувствовал себя крайне смущенным и отдернул руки. Он не знал, что сказать ей или, скорее, знал, но не мог решиться на то, чтобы произнести это вслух. Его сердце билось с болезненной силой.

«Я люблю тебя! Я хочу тебя!» — почти навзрыд кричало его сознание, не в силах прорваться наружу с этим неистовым криком. Он довольно глупо улыбался ей и опускал глаза — глаза, как он предполагал, выглядевшие сквозь толстые стекла очков противными, словно у рыбы.

«Как он смешон!» — думала Элен. Но ее смех скоро утих. Его застенчивость была заразительна. Чтобы сгладить неудобную ситуацию, она сказала:

---

<sup>190</sup> «Тронут был нашей встречей» (фр).



— Я прочту все эти книги. И еще — мне помнится, ты обещал дать мне список.

Благодарный ей за то, что она подсказала ему тему для разговора, Хью снова взглянул на нее — всего лишь на секунду из-за его выпученных рыбьих глаз.

— Я заполню пробелы и вышлю тебе, — ответил он. Затем, спустя секунду или две, он вдруг понял, что из-за своей непредусмотрительности он исчерпал такую благодатную тему, как книги, в одном предложении. Тишина убийственно резала уши, и, наконец, в отчаянии, потому что уже нечего было сказать, он решил попроситься. Пытаясь придать своему голосу интонацию нежной любви, он произнес: — До свиданья, Элен. — Но поймет ли она всю глубину смысла, заложенного в этих словах? Он нагнулся вперед и снова поцеловал ее, быстро и очень легко, поцелуем, выражающим нежную и уважительную преданность.

Но он недооценивал Элен. Смущение, окутывавшее ее игривые, привлекательные черты, исчезло при прикосновении его губ, и она снова стала смеющимся вивисектором.

— Поцелуй меня еще раз, Хью, — сказала она. И когда он подчинился, она не хотела отпускать его; не отрывая его губ от своих, секунду за секундой...

Шум голосов и музыка внезапно стали громче; кто-то открыл дверь гостиной.

— Спокойной ночи, Хью, — прошептала она ему прямо в губы, затем выпустила его из объятий и побежала вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки.

Глядя ей вслед, когда она выбежала из комнаты, чтобы попрощаться со стариной Ледвиджем, Джерри самодовольно улыбался про себя. Розовое личико, блестящие глаза. Как будто она выпила бутылку шампанского. Совершенно спятила от танцулек. Смешно, когда они так теряют головы — теряют их так оптимистически, так залихватски, так окончательно, не оставляя никаких резервов, вышвыривая их в окно без сожалений, если можно так выразиться. Почти все девочки дьявольски плотоядны и расчетливы. Они теряют голову только наполовину — вторая остается холодной и готовит игру в девственность, которой они размахивают, как страшным оружием. Мелкие сучки! Но у Элен машина пошла в разнос. Она нажала на газ и не собирается убирать ногу с педали. Она любила такие вещи, и не только потому, что надеялась извлечь выгоду из потерянной головы, но также и бескорыстно, потому что не могла не восхищаться теми, кто позволял себе уходить и не думал ни одной извилиной о последствиях. В таких людях было что-то прекрасное и великодушно-вдохновенное. Сейчас он был похож на того себя, на того человека, каким он когда-то был, и мог себе это позволить. «Смелость — вот что у нее было. И сила темперамента», — удовлетворенно думал он про себя, когда прикосновение ее руки внезапно заставило его вздрогнуть. Его удивление почти моментально перешло в гнев. Ничто не выводило его из себя так, как попадание впросак, когда он не был настороже. Он резко повернулся и, видя, что прикоснулась к нему Мери Эмберли, попытался изменить выражение лица. Но тщетно — в глазах остались злость и обида.

Но Мери и сама была слишком рассержена, чтобы уловить знаки недовольства у него на лице.

— Я хочу поговорить с тобой, Джерри, — сказала она низким голосом, стараясь держаться с ним на равных, избегая эмоций, но тем не менее содрогаясь, несмотря на все усилия.

«Господи! — подумал он. — Что за сцена!» — И почувствовал себя еще более сердитым на докучливую женщину.

— Ну говори, — произнес он громко и с видом некоторого отчуждения вытащил из кармана портсигар.

— Не здесь, — возразила она.

Джерри сделал вид, что не понял ее слов.

— Прости, я не думал, что ты против того, чтобы здесь курили.

— Дурак! — Ее гнев выплеснулся наружу с внезапной силой. Затем, схватив его за рукав, она скомандовала: — Пошли! — И почти потащила его к двери.

Пробегая наверх, Элен успела увидеть, как ее мать и Джерри поднимаются с площадки возле гостиной на верхние этажи высокого здания. «Мне придется найти кого-нибудь, с кем

бы потанцевать», — только и подумала она и секунду спустя ухватила маленького Питера Куинна и снова окунулась в рай.

— Разговор о ценных бумагах! — воскликнул Энтони, когда хозяйка покинула комнату вместе с Джерри Уотчетом. — Я и подумать не мог, что Джерри в фаворитах...

Беппо кивнул.

— Бедная Мери, — заметил он.

— Наоборот, — возразил Стейтс, — Мери богатая! Бедной она станет потом.

— И ничего нельзя с этим поделать? — спросил Энтони.

— Она бы возненавидела тебя, если б ты попытался.

Энтони покачал головой.

— Эти мрачные принуждения! Как кукушки в августе. Как олени в октябре.

— Сначала она хотела принудить меня, — сообщил Стейтс. — Сразу же после того, как мы впервые повстречались. Но я ее быстро вылечил. А затем подвернулся этот негодяй Уотчет...

— Удивительно, как ведут себя эти аристократы! — Тон Энтони был полон спортивного интереса.

Мускулистое, словно лишенное кожи, лицо Стейтса исказилось и изобразило презрительную гримасу.

— Грубый, вульгарный бандит, — сказал он. — Как ты только мог ладить с ним в Оксфорде, я просто не могу вообразить. — На самом деле, конечно, он прекрасно представлял себе, что Энтони ладил с этим животным из обычного раболепия.

— Простое чванство, — сказал Энтони, отобрав тем самым у Стейтса половину удовольствия от признания. — Но тем не менее я настаиваю, что такие люди, как Джерри, всегда присутствуют в любой либеральной системе образования. Когда он был богат, в нем действительно было что-то восхитительное. Некая отстраненная, незаинтересованная безалаберность. Теперь... — Он поднял руку вверх и затем дал ей снова упасть. — Обыкновенный бандит — ты прав. Но удивительно, с какой легкостью аристократы превращаются в бандитов. Очень закономерно, если задуматься. Вот человек, которого довели до того, что он возомнил, будто обладает божественным правом на все самое лучшее. И пока он владеет своими правами, у него *noblesse oblige*<sup>191</sup>, честь, достоинство и все с этим связанное. И это конечно же намертво сковано наглостью, причем крайне искренней. Теперь, когда у него нет постоянного дохода, могут произойти самые странные вещи. Провидение позаботилось о том, чтобы вы имели все самое лучшее, следовательно, позаботилось о том, чтобы у вас были средства, и, следовательно, когда эти средства не попадают к вам законным путем, вы с совершенно спокойной совестью добываете их незаконно. В прошлом наш дорогой Джерри мог оказаться за решеткой за махинации или симонию<sup>192</sup>. Он стал бы потрясающим кондотьером или почти великолепным кардиналом. Но сейчас Церковь и армия слишком уважаемы, слишком профессиональны. В них нет места дилетантам. Разорившемуся аристократу только и остается, что заняться предпринимательством. Продавать автомобили. Перепродавать акции и ценные бумаги. Делать реноме сомнительным компаниям. В дополнение, конечно, разумно торговать своим телом. Если ему посчастливилось родиться с хорошо подвешенным языком, он может жить с помощью мягких форм шантажа и низкопоклонства — как газетный борзописец. *Noblesse oblige*, а бедность тем более. И когда они вдвоем обязывают одновременно, нам — читай: среднему классу — лучше всего начать считать серебро. Вместо которого... — Он пожал плечами. — Бедная Мери!..

Наверху, в спальней, град упреков и обвинений Мери Эмберли падал не переставая.

---

<sup>191</sup> Положение обязывает (*фр*).

<sup>192</sup> *Симония* — продажа и покупка церковных должностей или духовного сана.

Джерри, однако, даже не смотрел на нее. С отвращенным взглядом, он казался поглощенным разглядыванием полотна Пуссена, висящего над камином. На картине были изображены две обнаженные женщины, лежащие на постели, параллельной линии перспективы.

— Мне нравится эта картина, — сказал он с намеренной отвлеченностью, когда Мери Эмберли остановилась, чтобы перевести дух. — Так и воображаешь, как автор ее занимается любовью с этими девочками. С обеими. Одновременно, — добавил он. Мери Эмберли сильно побледнела; ее губы дрожали, а ноздри трепетали, словно жили самостоятельной жизнью, неподконтрольной телу.

— Ты даже не слушал меня, — закричала она. — Ты невыносим, ты чудовищен! — Поток снова загремел, с еще большей силой, чем раньше.

Все еще стоя спиной к ней, Джерри продолжал смотреть на обнаженные натуры Пуссена; затем, наконец, выдув последнее облако табачного дыма, швырнул сигаретный окурок в камин и обернулся.

— Если ты вполне созрела, — произнес он усталым голосом, — мы можем с тем же успехом лечь в постель. — И после небольшой паузы, пока она, лишившаяся дара речи, разгневанно глядела ему в лицо, с ироничной улыбкой добавил: — Я вижу, что ты именно этого и хочешь. — И стал наступать через всю комнату прямо на нее. Оказавшись в непосредственной близости, он остановился и маняще протянул руки. Его руки были гигантскими, безукоризненно ухоженными, но грубыми, бесчувственными, животными. Отвратительные руки, думала она, глядя на них. Омерзительные руки! Тем более омерзительны они сейчас, потому что при всем их уродстве и грубости она сперва, к стыду своему, была увлечена им, несмотря на все имевшиеся причины ненавидеть его. — Ну, так ты идешь? — спросил он таким же утомленно-насмешливым тоном.

Вместо ответа она попыталась дать ему пощечину. Но он находился слишком близко от нее и перехватил ее руку на весу, а когда она попыталась прибегнуть ко второй, ухватил и ее. Она была беззащитна перед его хваткой.

Все еще высокомерно улыбаясь ей и не говоря ни слова, он отпихивал ее шаг за шагом назад, прямо к постели.

— Скотина! — не уставала повторять она. — Скотина! — И она боролась, но напрасно, пока наконец ей удалось найти смутное удовольствие в своей беспомощности. Он неумолимо теснил ее к дивану у стены, пока она, наконец, не потеряла равновесие и не упала на спину на пододеяльник, а он, опершись о диван коленом, наклонился над ней, по-прежнему улыбаясь издевательской улыбкой. — Сволочь, паскуда! — Но на самом деле, как она втайне отметила про себя, причем осознание этого отравляло ее своей постыдностью, она хотела, чтобы он обращался с ней именно так — как со шлюхой, как с животным, в ее собственном доме и вдобавок когда ее ждали гости, дверь была открыта и ее собственные дочери недоумевали, где она, и, может быть, прямо в эту минуту поднимались по лестнице в поисках ее. Да, она действительно хотела этого. Все еще борясь, она предоставила себя во власть знания, элементарного подкожного предчувствия того, что это невыносимое растление было утолением ее старого желания, откровением столь же восхитительным, как и чудовищным, апокалипсисом со всей его грандиозностью, ангелами и зверьми, чумой, агнцем и блудницей в едином, божественном, обворожительном, захватывающем испытании.

— Цивилизация и сексуальность, — говорил Энтони. — Есть между ними определенная связь. Чем выше первое, тем интенсивнее второе.

— Вот и я говорю, — воскликнул Беппо, шипя от восторга, — что мы должны быть цивилизованными!

— Цивилизация означает отсутствие голода и расцвет культуры повсеместно. Бифштексы и художественные журналы для всех. Первосортные белки для тела, третьесортные любовные романы для души. И все это в безопасном урбанистическом мире, где нет никакого риска и физической утомленности. В городке наподобие этого, например, можно прожить годы, не подозревая о том, что есть такая среда, как природная. Все вокруг

сделано человеком, пунктуально и удобно. Но люди могут ощутить переизбыток удобств: им нужны острые ощущения, опасности и приключения. К чему они прибегают, чтобы их найти при таком положении вещей? К деланию денег, к политике, случайным войнам, спорту и, наконец, к половой любви. Большинство людей не могут стать финансистами или активными политиками, а война, когда она длится долго, — это уже чересчур. Самые изысканные и опасные виды спорта существуют только для богатых. Следовательно, секс — это единственное, что остается. При повышении уровня выработки материальных благ многообразие и значимость сексуальности повышается. Должна неизменно повышаться. И поскольку пища и литература удовлетворили имевшийся спрос... — Он пожал плечами. — Ну, вы видите.

Беппо был зачарован.

— Ты пролил свет на все! — воскликнул он. — *Tout comprendre c'est tout pardonner.*  
193 — Он с восторгом почувствовал, что аргументы Энтони давали не только прощение, но полное отпущение грехов каждому, поскольку Беппо не был эгоистом и хотел счастья для всех, начиная от бармена в тулонской гостинице и кончая продажными девками в высоких сапогах на Курфюрстендамм<sup>194</sup>.

Стейтс ничего не ответил. «Если общественный прогресс, — думал он, — всего лишь означал еще большее свинство для большего числа людей, зачем он тогда, зачем?»

— Ты помнишь то замечание доктора Джонсона?<sup>195</sup> — начал Энтони с возвышенной нотой в голосе. Он внезапно вспомнил об этом, как будто его память принесла неожиданный дар логическому рассказу. В голосе выразилось победоносное настроение, которое было у него в этот момент. — Как оно там звучит? «У человека не может быть более невинного занятия, чем зарабатывание на жизнь». Что-то вроде этого. Восхитительно! — Он от души расхохотался. — Невинность тех, которые сидят на горбу у бедняков, но воздерживаются от того, чтобы приударять за их женами! Невинность Форда и невинность Рокфеллера. Девятнадцатый век был Веком Невинности — невинности подобного сорта. С таким результатом мы теперь вполне можем сказать, что у человека не может быть более невинного занятия, чем занятие любовью. Наступило молчание. Стейтс посмотрел на часы.

— Пора убраться отсюда, — сказал он. — Единственная проблема, — добавил он, поворачиваясь в кресле и оглядывая комнату, — в хозяйке.

Они встали, и пока Беппо спешил поприветствовать двух молодых знакомых в другой части комнаты, Стейтс и Энтони прошли к двери.

— Проблема, — твердил Стейтс. — Проблема...

На лестничной площадке, однако, им повстречались Мери Эмберли и Джерри, идущие вниз по лестнице.

— Мы вас искали, — сказал Энтони. — Чтобы пожелать спокойной ночи.

— Так быстро? — воскликнула Мери с внезапно подступившим беспокойством.

Но те были непреклонны, и через пару минут все трое, Стейтс, Уотчет и Энтони шли вместе по улице.

Джерри был первым, кто нарушил молчание.

— Эти старые ведьмы, — задумчиво произнес он и покачал головой. Затем более оживленно: — Как насчет партии в покер?

Но Энтони не умел, а Стейтс не испытывал ни малейшего желания играть в покер, и Уотчету пришлось направиться на поиски более подходящей компании.

---

<sup>193</sup> Понять, значит, простить (фр).

<sup>194</sup> Курфюрстендамм — улица в Берлине.

<sup>195</sup> Джонсон Сэмюэл (1709–1784) — английский писатель и лексикограф, весьма известная фигура в лондонском обществе XVIII в.

— Скатертью дорога, — сказал Марк. — А теперь как насчет того, чтобы пойти ко мне и поговорить часок-другой?

Это было самое важное, думал Хью Ледвидж, самое важное, самое необычное и самое невероятное из того, что случилось с ним. Так привлекательна, так молода. «Такой нежной формы». (Если бы только она бросилась в Темзу, он бы спас ее! Элен! Мое бедное дитя! И она бы с благодарностью бормотала: «Хью... Хью...») Но даже без самоубийства это было достаточно удивительно. Ее рот, прижавшийся к его. Боже, почему он не проявил большей смелости, большего присутствия духа? Все, что он мог бы сказать ей, жесты, которыми мог наградить ее. И все-таки в определенном смысле было лучше, если он вел себя так, как он вел — глупо, застенчиво, неуместно. Лучше, потому что на поверку оказалось, что она хорошо к нему относится, он ей не безразличен, потому что это придало большую ценность ее действиям, ей самой: такая юная, такая чистая — и все же немедленно, без всякого давления с его стороны, почти без сопротивления она шагнула на ступеньку вниз, положила руки ему на плечи и поцеловала его. «Поцеловала несмотря ни на что, — повторял он про себя с каким-то нежданно-изумленным триумфом, к которому примешивалось странное чувство стыда, несмотря на его собственное признание слабости и ненужности. — *Non piu andrai*<sup>196</sup>, — напевал он, прогуливаясь, и затем, как будто пронизывающе сырая лондонская ночь была весенним утром на холмах, зарядил полногласную арию:

*Delle belle turbandoie riposo,  
Narcissetto, Adoncino d'amor...*<sup>197</sup>

Придя домой, он тотчас сел за письменный стол начал писать ей.

«Элен, Элен... Если я повторяю эти слоги слишком часто, они теряют свой смысл, становятся обыкновенным буквосочетанием и превращаются в шум в моем безмолвном жилище — ужасающими в своей бессмысленности. Но если я произношу имя два или три раза, очень нежно, оно становится невыразимо прекрасным и полным таинственного значения! Оно вызывает столько отголосков и ассоциации. Может быть, не так много, как древнему греку говорило имя Елены Троянской<sup>198</sup>. Я не могу поверить в то, что она была всего-навсего зрелой женщиной и не была знаменита ничем, кроме того, что вышла замуж за Менелая<sup>199</sup> и сбежала с Парисом<sup>200</sup>. Не была так молода, как ты, — точь-в-точь как экзотический цветок. Нет, героиня Эдгара По<sup>201</sup> предстает перед моим взором чаще, когда я произношу твое имя. Красавица, которая заставляет путника вернуться к своему родному берегу, призывает его назад. Не в то обычное, мирское пристанище страстей, нет — в далекое, редкое, прекрасное жилище, которое за ним и выше, чем оно. Выше и за ним и все же подразумевающее, включающее в себя и даже превосходящее все страсти...»

---

<sup>196</sup> Больше не приходи (*итал.*).

<sup>197</sup> Не пора ли оставить свой отдых./ Вместо фата мужчиною быть (*итал.*). — Цитата из либретто Лоренцо да Понте оперы Моцарта «Свадьба Фигаро».

<sup>198</sup> Елена Троянская — в греческой мифологии: прекрасная женщина, дочь Зевса и Леды, героиня «Илиады» Гомера.

<sup>199</sup> Менелай — царь Спарты, муж Елены.

<sup>200</sup> Парис — сын царя Трои Приама. Похищение Парисом Елены послужило поводом к Троянской войне.

<sup>201</sup> По Эдгар Аллан (1809–1849) — американский поэт, писатель-романтик.

Письмо было длинным, но он успел отправить его с полуночной почтой. Чувство победы, с которым он возвратился во второй раз, было почти полным. Он моментально забыл свой испуг, унижительную трусость, он помнил только сознание парящей силы, наполнявшей его, когда он писал это письмо.

Вознесшийся превыше себя самого, он забыл, раздеваясь, убрать в шкаф бандаж, чтобы миссис Бринтон не увидела его утром, когда пришла с ранним чаем. Он долго лежал в постели, полный нежных, отеческих, лиричных размышлений и вместе с тем преисполненный желанием, но желанием томительно-кроткого, когда сладострастие приобрело некую форму молитвы; он думал об изысканной молодости Элен, об изяществе ее форм и ее невинности, нежной грациозности и тех неожиданных, необычайных поцелуях.

## Глава 21

*31 августа 1933 г.*

Элен нажала кнопку звонка и прислушалась. За закрытой дверью не было слышно ни шороха. Она прибыла прямо с вокзала после ночи, проведенной в поезде, — еще не было десяти часов, и ее мать, видимо, спала. Она позвонила снова и после паузы еще раз. Крепко спит — если, конечно, она не бодрствовала всю ночь. Где она? И с кем? Вспомнив о том ужасном русском, которого она застала в квартире матери во время последнего пребывания в Париже, Элен нахмурилась. Она позвонила в четвертый раз, потом в пятый. Внезапно из глубины квартиры послышался звук шагов. Элен вздохнула, отчасти потому, что понимала, чем чреваты последующие минуты и часы. Дверь наконец распахнулась и из полутьмы на Элен пахнуло кошками, эфиром и несвежей едой. В дверном проеме в грязной розовой пижаме, с растрепанными, лоснящимися, крашенными в рыжий цвет волосами появилась мать Элен, жмурясь и потирая заспанные глаза. В течение секунды лицо ее походило на маску, мешки под глазами старили ее и придавали ей глупое выражение; затем, словно освещенное вспышкой, лицо вернулось к жизни, почти помолодело, озарившись радостной улыбкой.

— Какая радость! — закричала миссис Эмберли. — Дорогая, я так рада.

Если бы Элен на своем горьком опыте не знала, что этот радостный порыв неизменно уступит место злобному унынию или, еще хуже, припадку безумного и слепого гнева, она была бы тронута теплотой, с которой мать приветствовала ее. Как всегда, она покорно дала себя поцеловать и с неподвижно-каменным лицом шагнула через порог в жутко знакомый кошмар жизни миссис Эмберли. На этот раз в кошмаре оказалось и нечто комичное.

— Все из-за этой проклятой экономки, — оправдывалась мать, когда они вместе с дочерью стояли в маленькой затхлой прихожей. — Она воровала мои чулки. Тогда мне пришлось запирать дверь спальни всякий раз, когда я выходила. И однажды я потеряла ключ. Ты знаешь мою рассеянность, — добавила она, вспомнив, что всю жизнь гордилась этим сомнительным достоинством. — Боюсь, это безнадежно. — Она покачала головой и улыбнулась характерной кривой улыбкой, словно чего-то не договаривая. — Когда я вернулась домой, мне пришлось выломать половину филенки. — Она указала на продолговатое отверстие в нижней части двери. — Видела бы ты меня, когда я долбила эту дверь. — Ее голос красиво вибрировал и переходил в смех. — К счастью, дверь была словно картонная. Сварганена тяп-ляп. Как и все в этом гиблом месте.

— И ты проползла вовнутрь? — спросила Элен.

— Да, вот так. — И, встав на четвереньки, миссис Эмберли просунула голову через дыру, повернулась боком, чтобы могли пролезть руки и плечо, затем с удивительной ловкостью протиснулась сквозь отверстие, помогая себе свободной рукой и ногами, пока в прихожей не остались только ноги. Миссис Эмберли подтянула колени одно за другим и мгновение спустя из дыры, словно из собачьей будки, появилось ее слегка раскрасневшееся

лицо.

— Вот видишь, — сказала она. — Раз плюнуть. Вся прелесть в том, что старая мадам Роже страшная толстуха. Никаких шансов, что она пролезет. Больше я могу не беспокоиться за свои чулки.

— Она что, никогда не бывает у тебя в спальне? Миссис Эмберли покачала головой.

— Нет, с тех пор, как я потеряла ключ. А это случилось по крайней мере три недели назад. — Ее тон был победоносным.

— А кто же заправляет постель и делает уборку?

— Ну... — Мать на секунду замялась. — Я конечно же, — ответила она с едва заметным раздражением.

— Ты?

— А почему бы и нет? — Миссис Эмберли почти с вызовом посмотрела снизу вверх в лицо своей дочери, стоявшей с другой стороны двери. Наступила длинная пауза, затем, одновременно, обе расхохотались. Все еще улыбаясь, Элен сказала:

— Ну-ка, посмотрим.

Она тоже опустила на четвереньки, каменное выражение ее лица смягчилось, на душе потеплело. Ее мать казалась настолько нелепой, когда высовывала голову, словно из конуры, такой по-детски смешной, что Элен внезапно почувствовала в себе способность снова любить ее. Любить просто потому, что могла теперь открыто смеяться над ней.

Миссис Эмберли убрала голову.

— Конечно, здесь не очень чисто, — призналась она озабоченно, когда Элен с трудом протискивалась сквозь дыру. Не подымаясь с колен, мать затолкала грязное белье и остатки вчерашнего обеда под кровать.

Снова встав на ноги, будучи уже в спальне, Элен огляделась. Все было отвратительнее, чем она ожидала — гораздо отвратительнее. Она сделала над собой усилие и попыталась сохранить улыбку, но мышцы лица отказались повиноваться ей.

Тремя днями позже Элен была уже на пути в Лондон. Открыв английскую газету, она с равным отсутствием интереса прочла о депрессии, отборочном матче, нацистах, новом курсе. Вздохнув, перевернула страницу. Заголовок крупными буквами гласил: «Лучший роман года». Внизу шло объяснение более мелким шрифтом: «Невидимый любовник». Автор — Хью Ледвидж. Предисловие — Кэтсби Раджа». Элен сложила газету поудобнее и с интересом углубилась в чтение.

«Просто книга, подумал я, как и все другие. И уже захотелось было отложить ее в сторону, но, к счастью, что-то, какое-то таинственное чутье заставило меня изменить намерение. Я открыл книгу, проглядел страницы выхватывая по предложению с каждой. То, что я увидел, было блестящим — ювелирно отточенные бриллианты. Я решил прочесть роман. Было девять часов вечера. В полночь я все еще читал, будучи не в состоянии оторваться. Незадолго до двух я лег в постель, и мое воображение было все еще под воздействием шедевра, с которым я соприкоснулся.

Как можно охарактеризовать это произведение? На первый взгляд это фантастическая история. Если читать дальше, это определение подтверждается. «Невидимый любовник» — это фантастический роман. Но фантастика эта острая и в то же время завораживающая, глубокая и одновременно интригующая и легкая, полная слез и улыбок, с тонким юмором и возвышенным благородством, достойным Галахада<sup>202</sup>. Юмор в книге словно исходит от разбитого сердца, а смех пронизан горечью. Сквозь весь роман проходит струя наивной и детской чистоты, бесконечно свежей на фоне прочего чтива фрейдистского толка. История о невидимом, но всегда присутствующем, бдительном, вечно обворожительном любовнике и девочке, в которую он влюблен, обладает поистине ангельской невинностью. Если бы было

---

<sup>202</sup> *Галахад* — персонаж книги «Смерть Артура» Томаса Мэлори (ок.1417–1471), рыцарь, добывающий чашу Святого Грааля.

нужно охарактеризовать книгу одной фразой, я бы сказал, что это история о Данте и Беатриче, рассказанная Хансом Кристианом Андерсеном...»<sup>203</sup>

Предаваясь воспоминаниям о том, как Хью несколько раз безуспешно пытался заняться с ней любовью, Элем почувствовала, что газетная статья произвела в ее мозгу какой-то химический взрыв. Она в голос расхохоталась; а поскольку смешная фраза продолжала звучать в ее сознании и воспоминания о гротескных, отвратительных ночах пополнялись все более неприятными деталями, она продолжала безостановочно смеяться. История Данте и Беатриче, рассказанная Андерсеном! Слезы истерического веселья катились по ее щекам: она едва не задохнулась от смеха, горло сжал спазм; она действительно не могла остановиться. К счастью, Элен была в купе одна, иначе ее непременно сочли бы сумасшедшей.

В кебе, везшем ее на квартиру Хью (это была и ее квартира, увы, невзирая на Данте, Беатриче и великого сказочника), она думала о том, лег ли он уже спать и будет ли расстроен ее приездом. Она не предупредила его об этом, и он мог быть не готов принять ее, мог быть сражен ударом ее до грубости реального появления. «Бедняга Хью! — думала она с уничижительной жалостью. — Наслаждаться тайным и невидимым смехом, как Данте со своим призраком Вергилием, а затем пережить сокрушительное вторжение синьоры Алигьери!» Но сегодня, вдруг пришло ей в голову, когда она уже стояла перед дверью, шаря в сумочке в поисках ключа, его незримое одиночество, было уже, видимо, нарушено. Кто-то играл на фортепиано, слышался смех и голоса. У Хью, должно быть, вечеринка. Тотчас же Элен вообразила, что ее появление может походить на явление призрака Банко<sup>204</sup>, и предвкушение этого доставило ей удовольствие. Чтение статьи, моментально повергшее все ее существо в веселое настроение, стало огромной, не вмещающейся ни в какие рамки дикой шуткой — или если еще не стало, то в скором времени приобрело бы такой оттенок.

Когда она открыла дверь и безмолвно прокралась в прихожую, ее охватило озорное и азартное чувство неизведанной опасности. На крючках висели причудливые шляпы, еще более странные лежали на стульях — две или три были очень дорогими и, как она заметила, нового фасона и моды; все остальные были мятые и старые, очевидно, принадлежали небогатым интеллектуалам. На мраморном столике были сложены письма; она в силу привычки нагнулась, чтобы взглянуть на них и обнаружила, что одно из них предназначалось ей. Отправителем был Энтони, и, видимо, это тоже была шутка. Неужели он всерьез думает, что она будет читать его послания? Необыкновенный осел! Она сунула нераспечатанное письмо в сумочку, затем на цыпочках прошла в свою комнату. Как там было чисто! Как в мертвецкой! Это напоминало фамильный склеп. Она сняла шляпу и плащ, умылась, причесала волосы, наложила косметику, затем, все так же тихо, прокралась в прихожую и остановилась перед дверью в гостиную, пытаясь по голосам определить гостей. Беппо Боулз точно, потому что его взвизгивание и хихиканье невозможно спутать ни с чем. Марк Стейтс. И вдобавок голос, в принадлежности которого она не была уверена, да еще один, очень мягкий и искренний, какой мог быть только у старины Кройланда. А кто был тот нелепый иностранец, что говорил медленно и тяжело, все на одной ноте? Она простояла несколько минут перед дверью, затем очень мягко нажала на ручку, неторопливо приоткрыла дверь и без единого звука вступила в комнату. Никто не заметил ее. Марк Стейтс восседал за фортепиано вместе с Беппо, который еще больше раздобрел, облысел и стал более нервным, и — наконец — старина Кройланд стоял вполоборота к ним, облокотившись об инструмент и глядя на него сверху вниз во время разговора. Хью располагался на диване у камина рядом с тем, чьего голоса она не распознала, впоследствии оказавшимся Колдуэллом, издателем «Невидимого любовника», как подсказала ей память, и

---

<sup>203</sup> Андерсен Ханс Кристиан (1805–1875) — датский писатель-сказочник.

<sup>204</sup> Призрак Банко, убитого по приказу Макбета, является своему убийце в трагедии Шекспира «Макбет».



она с трудом сдержала приступ веселья. С ними был молодой человек с очень светлыми льняными волосами и румяным открытым лицом, на котором в тот момент запечатлелось выражение почти детской серьезности. Он говорил с ярко выраженным акцентом, похожим на немецкий.

Вот теперь момент наступил.

— Добрый вечер! — объявила она, шагнув вперед.

Произошел небольшой переполох, а бедный Хью даже вскочил, будто кто-то выстрелил из пушки у него над ухом. И после первого припадка ужаса какая-то невыразимая жалобность застыла у него на лице! Как у циркового клоуна!

— Не бойся, Хью, — произнесла она.

Он смотрел в ее смеющиеся глаза, словно проглотив язык. Со времени первых похвальных отзывов о его книге он чувствовал себя непоколебимо сильным и пребывал в блаженной уверенности. А теперь появилась Элен — пришла, чтобы уничтожить его с помощью позорных свидетельств.

— Я не ожидал, — наконец удалось пробормотать ему. — То есть почему ты...

Но Колдуэлл, считавшийся мастером послебанкетных (читай, неофициальных) речей, в продолжение разговора перебил его. Подняв бокал, который был у него в руке, он провозгласил:

— За Музу!

Пауза.

— За Музу и за... Я не считаю преувеличением сказать — за героиню нашего шедевра. — Очарованный собственной формулировкой, он просиял, глядя на Элен, затем, обернувшись к Хью с жестом отеческого покровительства, похлопал его по плечу. — Выпей с нами, старик. На этот раз это комплимент не в твой адрес. — И он заржал, словно конь. Хью исполнил повеление и, скрыв глаза, сделал большой глоток виски с содовой.

— Благодарю, благодарю! — кричала Элен. Смех бурлил у нее в груди, как кипяток в чайнике. Она протянула одну руку Колдуэллу, а другую Хью.

— Не могу выразить, как я была очарована и восхищена, и, — продолжала она, — Данте и Беатриче в изложении Андерсена — это звучит слишком сладостно.

Покраснев, Хью пытался возразить.

— Та ужасная статья...

Элен перебила его.

— Почему ты все время молчал?

Действительно, почему? Хью задумался. В самом деле, казалось безумием опубликовать книгу без предварительного показа ее Элен. Он все время хотел сделать это, но каждый раз в последний момент обнаруживал, что задача слишком непосильная, слишком отталкивающая. Желание печататься между тем жило в нем, становясь все сильнее, пока наконец, не отдавая себе отчета в происходящем, он не передал рукопись Колдуэллу и, после того как тот принял ее, условился о том, что она должна выйти, пока Элен за границей. Как будто она впоследствии не узнала бы обо всем! Безумие, безумие! И доказательством его безумия было ее присутствие здесь сейчас с этой жуткой и странной улыбкой на лице и блестящими глазами. Постоянная взбалмошность была одной из очаровательных детских черт ее характера, которая подкупала всех; она была божественным *enfant terrible*<sup>205</sup>. Но в обычной, земной Элен взбалмошность казалась почти дьявольской. От нее можно было ожидать буквально всего.

— Почему ты это сделал? — стояла на своем Элен. Он издал невнятный извиняющийся лепет.

— Ты не имел нрава не сказать мне, что был этим Данте-Андерсеном. Я постаралась бы ужиться с тобой, сотворила бы из тебя жизненный идеал. Беатриче и Дюймовочка,

---

<sup>205</sup> Ужасный ребенок (*фр.*).

соединенные вместе. Добрый вечер, Бегаю! Здравствуй, Марк.

Они вышли из-за фортепиано, чтобы поприветствовать ее.

— А как вы поживаете, мистер Кройланд?

Мистер Кройланд представлял собой блестящий образ пожилого джентльмена, приветствующего прелестную юную леди — доброжелательно, но слегка игриво, с едва заметной долей рыцарства.

— Какой прекрасный сюрприз, — продышал он мягким, намеренно страстным голосом, который обычно служил для описания полотен раннего Ренессанса или для обращения к знаменитостям и крупным богачам. Затем, с жестом, который прекрасно выражал резкий приступ любви, мистер Кройланд трепетно погладил ее руку с обеих сторон. Его нежные кисти были очень бледны, почти уродливо маленькие, словно ювелирные. Элен показалось, что по сравнению с его руками ее были похожи на руки крестьянки. Серебристая, похожая на магометанскую борода мистера Кройланда делилась во время улыбки на две части, что должно было быть тонким подтверждением его слов и жестов, которые, однако, будучи несовместимыми с его объемностью и внезапным ужасом, наводимом большими желтеющими зубами, наоборот, казалось, опровергали всю утонченность манер пожилого джентльмена. Эта улыбка принадлежала тому самому мистеру Кройланду, который так успешно торговал полотнами старых мастеров; маленькие белые ручонки и их притягательные движения, тонкий надрывный голос и исходящие от сердца слова были свойственны другому Кройланду, которого интересовало одно лишь искусство.

Элен высвободила руку.

— Вы видели те фарфоровые кружки, мистер Кройланд? — спросила она. — Вы, который так хорошо знаете Италию. Те самые, для минеральной воды, которые продаются в Монтекатини?<sup>206</sup> Белые с золотой надписью: *Io son Beatrice che ti faccio andare*<sup>207</sup>.

— Возмутительно, — воскликнул мистер Кройланд, в ужасе защищаясь руками.

— Такие шутки мне как раз нравятся. Особенно теперь, когда я стала Беатриче. — Заметив, что молодой человек с льняными волосами стоит в ярде от нее и изо всех сил старается привлечь ее внимание, Элен осеклась и повернулась к нему, протягивая руку.

Молодой человек взял ее, поклонился, переломившись в поясе и, представившись Гизебрехтом, крепко пожал.

Со смехом (это была очередная шутка) Элен ответила: «Ледвидж, — затем, в продолжение сказанного: — *geburen*<sup>208</sup> Эмберли».

Пораженный подобным неожиданным гамбитом, молодой человек снова поклонился, на этот раз молча.

Вмешался Слейте, объяснив, что Эки Гизебрехт был его находкой.

— Беженец из Германии. Не из-за своего носа, — добавил он, сжалившись над бедным Хью и выведя его из группы скопившихся вокруг дивана, — не из-за своего носа, а из-за политической ситуации. Ариец, но коммунист. Ортодокс, да вдобавок еще и страстный. Он верит, что, как только будут уравниены доходы, люди перестанут быть жестокими. И также вся власть сосредоточится в руках лучших. Он абсолютно убежден, что никто из власть имущих не станет даже желать злоупотребить полномочиями. — Стейтс покачал головой. — Неясно, нужно ли восхищаться и завидовать или благодарить Бога за то, что он не сотворил тебя подобным ослом. Что касается более подробных деталей, то тут он совершенный осел. Осел с моральным обликом святого. Вот почему он такой восхитительный агитатор. Святость почти так же хороша, как и сексуальная привлекательность. — Он придвинул

---

<sup>206</sup> *Монтекатини-Терме* — бальнеологический курорт в Италии, к юго-западу от Флоренции.

<sup>207</sup> Я, Беатриче, что гонит тебя (*итал.*).

<sup>208</sup> Урожденная (*нем.*).

кресло Элен и сел рядом с ней у фортепиано, наигрывая первые такты «К Элизе» Бетховена, затем, сбившись, он снова повернулся к ней. — Беда в том, — продолжал он, — что ничто не действует. Ни вера, ни образованность, ни святость, ни даже разбой — ничего. Вера устроена всего-навсего как целенаправленная глупость. Она может сдвинуть гору или две с помощью воли или обыкновенного упрямства, но на нее надеты шоры, и она не видит, как вы переставляете горы, потому что вы не уничтожаете их, а просто меняете местами. Необходим ум, чтобы видеть это, но ум частенько служит плохую службу, поскольку люди не слишком им восторгаются, и все остается на милость первого попавшегося Гитлера или Муссолини — любого, кому удастся вызвать энтузиазм по любому поводу каким бы идиотским или уголовным он ни был. Элен бросила взгляд в другую часть комнаты.

— Наверное, это естественный цвет его волос, — сказала она более себе, чем своему собеседнику. Затем, вновь обращаясь к Стейтсу, спросила: — А как насчет святости?

— Давай обратимся к истории, — ответил он.

— Не знаю никаких примеров.

— Естественно. Но, наверное, ты слышала о человеке по имени Иисус. И скорее всего, ты читаешь газеты. Сравни страницу святого Евангелия с газетной страницей и сделай собственные выводы.

Элен кивнула.

— Я уже сделала их.

— Если бы святости было достаточно для того, чтобы спасти мир, — продолжал он, — то мир бы несомненно уже давно был спасен. Десятки раз. Но святость может существовать без образованности. И, несмотря на все это, святость не более привлекательна, чем все остальное — нормальное питание, удобства, интим, угрозы, чувство превосходства.

Смеясь, поскольку это было смешно, Элен произнесла:

— Как будто нечего больше делать, кроме как бросить к чертям все и превратиться в невидимого любовника. — Она угостилась бутербродом и бокалом белого вина, стоявшего на подносе.

Люди, находившиеся в другой части комнаты, разошлись, и Беппо с мистером Кройландом вновь «оседлали» фортепиано. Стейтс улыбался, глядя на них, и, вновь ухватив нить разговора, прерванного появлением Элен, произнес:

— Иначе можно превратиться в закоренелого эстета.

— Ты употребляешь это слово как ругательное, — воспротивился Беппо с чванливым пафосом, который усилился в нем с годами. Жизнь сурово обошлась с ним — лысина на голове, как и живот, увеличилась в размере, и молодые люди были все менее и менее расположены считать его своим современником, что делало успех почти недостижимым. Молодой немец, друг Стейтса, тот вообще грубил Беппо на каждом шагу. — Почему нужно стыдиться того, что живешь ради красоты?

От мысли о том, что такой, как Беппо, — с оттопыренным жилетом и клетчатыми брюками, на которых чуть не расходятся швы, да с лысиной, обрамленной, как венком, локонами флорентийского пажа, — жил для красоты, Элен едва не поперхнулась вином.

Мистер Кройланд промурлыкал из своего кресла:

— Да славен Бог, создавший пестроту! Я недавно перечитал его преподобие отца Хопкинса<sup>209</sup>. Как остро! Острее кинжала. «И облака атласные плывут». — Он вздохнул и покачал головой. — Его слова ранят своей красотой — ранят, и все же заставляют жить, делают жизнь прекрасной.

Наступила благоговейная, как в храме, тишина.

Затем, сделав усилие, чтобы изгнать из голоса смех, Элен сказала:

— Будь ангелом, Беппо. И дай мне еще немного рейнвейна.

---

<sup>209</sup> Хопкинс Джерард Мэнли (1844–1889) — английский поэт, священник-иезуит. Хопкинс является создателем «скачущего ритма», нового для английской поэзии. «Да славен Бог, создавший пестроту!» — первая строчка стихотворения Хопкинса «Пестрая красота» (1877).

Мистер Кройланд, полуприкрыв глаза, витал в эмпиреях.

Когда звяканье стаканов прекратилось, он процитировал:

— «Зрелость есть все. Надежность трезвая всходящего блаженства». Всходящего! — повторил он. — Пронзает до глубины души. И конечно, картины — Ватто<sup>210</sup> в Дрездене, «Преображение» Беллини<sup>211</sup> и портреты Рафаэля<sup>212</sup>. Заграждения для защиты души. И некоторые философы тоже. Зороастр<sup>213</sup> и Платон. — Он помахал своей маленькой ручкой. — Без них пропадешь — просто пропадешь.

— А с ними, если я правильно понимаю, вы спасены? — спросил Марк Стейтс, не отрываясь от фортепиано, и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Если б было так. Но от этого, видимо, мало пользы. Даже от того малого, что по сути своей важно. Обильное размышление всегда принималось за скудоумие. А что касается искусства, литературы, — возьмите, к примеру, музеи или библиотеки. Взгляните, что в них! Девяносто девять процентов хлама и бессмыслицы.

— А греки? — не сдавался мистер Кройланд. — А флорентийская школа? А китайская скульптура? — Он сделал рукой очаровательный жест в воздухе, как будто ласкал суньскую амфору или чашеобразный пуп водяной нимфы эпохи высокого Ренессанса. Он мягко улыбнулся, и его большие желтые зубы, проглядывающие сквозь усы, ощерились злобой и ненасытностью. Даже когда он говорил о фресках Скифанойи<sup>214</sup> или шептал, словно разглашая пророческую тайну, имя Вермера Делфтского<sup>215</sup>.

— Ерунда, — уверял Стейтс, — почти определенно ерунда и мусор. И большинство из того, что не является ерундой и мусором, всего-навсего хорошо, но не представляет собой ничего сверхъестественного. — Как то, что мы могли бы назвать небольшой практикой, — объяснил он. — А если ты познал себя, свое несчастье, беспомощное Я, которое еще может усовершенствовать эти творения — то нельзя же, в самом деле, принимать свои деяния настолько серьезно.

Мистер Кройланд, как явствовало из его нахмуренного вида, не думал о себе в подобном духе.

— Конечно, можно получать удовольствие и от таких, совершенно ничего не значащих вещей, — признал Слейтс. — Есть чистое мастерство, например мастерство техники или интерпретации... Например, жесткая последовательность нот в басовом ключе, исполняемая правой рукой, в то время, как левая свободно импровизирует. Это вызывает несравненный восторг! Но то же самое можно сказать и о плотницком деле. Все это кустарщина, которая перестает в конце концов быть интересной независимо от уровня совершенства и таланта. В конечном итоге во всем этом не обнаруживается никакой ценности — гений отличается от посредственности лишь количественно. Например, Брамс<sup>216</sup> — его сочинения отличаются

---

<sup>210</sup> *Ватто Антуан* (1684–1723) — французский живописец.

<sup>211</sup> *Беллини* — семья итальянских живописцев венецианской школы; здесь имеется в виду картина Якопо Беллини-отца (ок. 1400–1470).

<sup>212</sup> *Рафаэль Санти* (1483–1520) — итальянский живописец и архитектор, крупнейший представитель Высокого Возрождения.

<sup>213</sup> *Зороастр* (также Заратуштра) (между X и 1-й пол. VI в. до н. э.) — древнеиранский пророк, основоположник зороастризма.

<sup>214</sup> *Скифанойя* — скифское государство в Северном Причерноморье, уничтоженное готами в III в. н. э.

<sup>215</sup> *Вермер Делфтский Ян* (1632–1675) — голландский живописец, мастер жанровой и пейзажной живописи.

<sup>216</sup> *Брамс Иоганнес* (1833–1897) — немецкий композитор, пианист и дирижер, представитель венского

от сочинений Мейербера<sup>217</sup> лишь степенью вложенного в композицию интеллекта и труда. Но лучшие вещи Бетховена так же нельзя сравнивать с лучшими вещами Брамса, как сочинения последнего с худшими сочинениями Мейербера. Принципиальная разница. Совершенно иной мир.

— Иной мир, — эхом повторил мистер Кройланд, шепча, будто речь шла о загробном царстве. — Именно в этом я пытаюсь вас убедить. С самым высоким искусством человек вступает в высший мир.

Беппо зашипел, целиком и полностью поддерживая это высказывание.

— Мир, — настаивал мистер Кройланд, — богов и ангелов.

— Не забудьте о невидимых любовниках, — вставила Элен, потягивая из стакана белое вино и чувствуя, что разговор становится все более и более забавным.

Мистер Кройланд не придал ее высказыванию никакого значения.

— Следующий за этим мир, — продолжал он. — Великие художники проводят вас прямо на небеса.

— Но никогда не позволят вам оставаться там, — возразил Марк Стейтс. — Они дадут вам почувствовать вкус того мира, а затем вы снова свалитесь обратно в грязь. Божественно, но всего лишь на мгновение. Время быстротечно. И даже когда меня уже заманили на небо, я ловлю себя на том, что спрашиваю: и это все? Будет ли еще что-нибудь, какое-то продолжение? Иной мир недостаточно иной? Даже «Макбет», даже «Месса ре-мажор»<sup>218</sup>, даже «Успение» Эль Греко<sup>219</sup>. — Он качнул головой. — Когда-то это доставляло мне удовольствие. Было успокоением и поддержкой. Но теперь... теперь я чувствую, что хочу чего-то большего, чего-то более небесного, менее человеческого. Да, менее человеческого, — повторил он. Его лицо искривила жутковатая улыбка. — Живопись, музыка, литература, философия — всего этого недостаточно.

— Чего же тогда достаточно? — спросил Беппо. — Политики? Науки? Делания денег?

Стейтс качал головой, отрицая каждое из предложенного.

— Что еще остается?

— Ничего. Совершенно ничего.

— Вы говорите за себя, — сказал Кройланд. — Мне этого достаточно. — Он снова смежил очи и предался духовному попу.

Глядя на него. Стейтс почувствовал гневное желание проткнуть тщеславие старого черта, как воздушный шарик, — проделать дыру в этом огромном вместилище культурного газа, с помощью которого мистер Кройланд умудряется подниматься в поднебесье, в разреженный воздух чистого эстетизма.

— А как же смерть? Вы думаете, что это панацея и от нее? — настаивал он на своем тоне, который внезапно сделался грубым, как у палача. Стейтс помедлил, и течение секунды старик пребывал в ужасном, многозначительном молчании — молчании тех, кто в присутствии жертвы или неизлечимого больного нарочно оттягивает надвигающуюся неизбежность. — Панацеей от самой жизни, если на то пошло, — продолжал Марк, смягчаясь. — От жизни в любом из ее неприятных или опасных проявлений.

— Например, от собак, которых выбрасывают из самолета. — Элен истерически

---

симфонизма.

<sup>217</sup> Мейербер Джакомо (1791–1864) — французский композитор, автор героико-романтических опер «Роберт-Дьявол» (1830), «Гугеноты» (1835) и др.

<sup>218</sup> «Месса ре-мажор» — произведение Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750) — немецкого композитора. Его творчество — одна из вершин искусства полифонии.

<sup>219</sup> Эль Греко (собств. Теотокопули Доменико, 1541–1614) — испанский художник греческого происхождения, известный своими полотнами на библейские сюжеты.

рассмеялась.

— О чем ты говоришь? — вскричал Беппо на одном дыхании.

— Отец Хопкинс не стал бы убивать собак, — закончила она. — С тобой я согласна, Марк. Хороший зонтик на всякий случай...

Мистер Кройланд поднялся на ноги.

— Я пошел спать, — сказал он. — И вам тоже пора, дорогуша. — Маленькая белая рука, лежавшая у нее на плече, была доброжелательной, почти как у апостола. — Вы утомились с дороги.

— Хотите сказать, что я пьяна, — отозвалась Элен, вытирая глаза. — Да, может быть, вы и правы. Боже! — добавила она. — Как хорошо посмеяться для разнообразия!

Когда мистер Кройланд ушел и когда Беппо отправился вслед за ним, Стейтс повернулся к ней.

— Ты странно выглядишь, Элен.

— Мне забавно, — объяснила она.

— Отчего?

— От всего. Во-первых, из-за Данте — Данте и Ханса Андерсена. Если бы ты был женой Хью, ты бы знал, почему именно это так смешно. Представь себе Европу, если бы бык внезапно обернулся Нарциссом<sup>220</sup>!

— Я думаю, тебе следовало бы говорить потише, — сказал Стейтс, оглядывая комнату, где с выражением безнадежного отчаяния на лице Хью пытался вслушаться в оживленную дискуссию между Колдуэллом и молодым немцем.

Элен тоже на секунду оглянулась; затем повернулась назад, беззаботно пожав плечами.

— Если он говорит, что он невидим, почему бы мне не быть неслышимой? — Ее глаза снова оживленно засветились. — Я напишу книгу под названием «Неслышимая куртизанка». О женщине, которая прямо говорит своим любовникам все, что о них думает, во время занятий любовью. Но они ее не слышат. Ни единого слова. — Она осушила бокал и снова наполнила его.

— А что она говорит о них?

— Правду конечно. Ничего, кроме правды. Тот романтический Дон Жуан всего-навсего проходимец. Единственное, чего я боюсь, это того, что в реальности она не выяснит всей правды сразу до конца. Хотя можно, например, ввести литературную вольность — сделать так, чтобы *esprit d'escalier*<sup>221</sup> был достигнут одновременно с любовными забавами. Лунный свет, «моя дорогая» и «я тебя обожаю» да невероятные ощущения — и в тот же самый момент «ты всего-навсего квартирный воришка, обыкновенный подлый мошенник». А затем появится одухотворенный любовник — какой-нибудь Ханс Данте. — Она махнула головой. — Или лучше Крафт Эббинг.

— Ну и что она скажет ему?

— А действительно, что? — Элен сделала глоток вина. — К счастью, ее никто не слышит. Лучше пропустить эту главу и перейти сразу к эпикурейскому мудрецу. С этим мудрецом ей не придется быть настолько скрытной. «Ты полагаешь, что являешься мужчиной только потому, что ты не импотент? — вот что она говорит ему. — Но на самом деле ты не мужчина. Ты недочеловек. Несмотря на всю твою мудрость — даже на нее. Хуже, чем проходимец, в некотором роде». А затем — бум! — как небесное знамение, сверху сваливается собака.

— Какая собака?..

— Та самая, от которой не спасет отец Хопкинс. Такая собака, которая взрывается

---

<sup>220</sup> *Европа* — в греческой мифологии дочь финикийского царя, похищенная Зевсом, обратившимся в быка. *Нарцисс* — в греческой мифологии прекрасный юноша, влюбившийся в собственное отражение.

<sup>221</sup> Коллективный дух (*фр.*).

подобно бомбе, когда ее сбрасывают с самолета. Буме! — Восхищение и смех кипели и бурлили внутри нее, искали выражения и выхода, и единственным возможным успокоением был гнев, публичное насилие ее чувств и чувств ее близких. — Она прямо свалилась на Энтони и на меня, — продолжала она, находя странную отдушину в том, чтобы говорить так открыто и восторженно о том, о чем говорить было не принято. — На крышу дома. А мы были совсем нагие. Как в Эдемском саду. А затем из небесной голубизны вылетела эта собака — и взорвалась. Буквально взорвалась. — Элен с силой выбросила вперед руки. — В собачьей крови с головы до ног. Мы промокли — просто промокли! И несмотря на это, наш недоумок идет и пишет мне письмо. — Она открыла сумочку и извлекла письмо. — Воображая, что я его прочту. Как будто ничего не случилось, как будто мы все еще находимся в Эдемском саду. Я всегда говорила ему, что он дурак. Вот! — И она протянула письмо Стейтсу. — Открой его и увидишь, что хочет сказать дурак. Что-то остроумное, без сомнения; что-то изящное и легкое; иронично осведомляясь, почему это я вбила в свою маленькую глупенькую головку, что мне надо уйти. — Затем, видя, что Марк все еще держит письмо нераскрытым, она спросила: — А почему ты его не читаешь?

— Ты действительно хочешь, чтобы я это сделал?

— Конечно. Прочти его вслух. Прочти с выражением. — Она насмешливо и раскатисто подчеркнула «р».

— Ну хорошо. — Он разорвал конверт и развернул гонимые листы. — «Я поехал к тебе в гостиницу, — медленно прочел он, шурясь над мелким, в спешке написанным текстом. — Ты ушла, и это было для меня подобно смерти».

— Осел, — прокомментировала Элен.

— «Может быть, уже слишком поздно, может быть, бесполезно; но я чувствую, что должен попытаться сказать тебе в этом письме кое-что, что хотел сказать вчера вечером, — письменно. С одной стороны, это легче — ведь я не очень хорош, когда дело касается установления чисто личного контакта с другим человеком. Но с другой стороны, это намного сложнее, ведь эти записанные слова всего-навсего остаются словами и больше ничем. Они дойдут до тебя, проплывут сквозь пустоту, ничем не поддерживаемые, без моего физического присутствия».

Элен презрительно рассмеялась.

— Он, как всегда, говорит рекомендациями. — Она выпила вина.

— «Еще я хочу сказать тебе, — продолжал читать Стейтс, — что внезапно (это было как обращение в истинную веру, как вдохновение), пока ты вчера стояла на коленях на крыше после того, как произошло то жуткое падение...»

— Он имеет в виду собаку, — произнесла Элен. — Почему он так прямо не скажет?

— «...Внезапно я понял, что...» — Марк Стейтс прервал чтение. — Смотри, — сказал он. — тут я действительно не могу продолжать.

— Почему? Я настаиваю на том, чтобы ты читал, — возбужденно крикнула она.

Он покачал головой.

— Я не имею права!

— Я предоставила тебе право.

— Это я знаю. Но он — нет.

— Какое он имеет отношение к этому? Теперь, когда я получила письмо...

— Но это любовное письмо.

— Любовное письмо? — эхом откликнулась Элен, словно не веря, затем ее разобрал смех. — Это слишком хорошо сказано! — воскликнула она. — Совершенно восхитительно. Дай-ка его мне. — Она выхватила у него из рук письмо. — Где мы остановились? Ах, вот здесь. «...Стояла на коленях на крыше после того, как произошло то жуткое падение, я внезапно понял, что допустил по отношению к тебе колоссальную ложь. — Она продекламировала эти слова, как ритор, сопроводив их театральными жестами. — Я осознал это, несмотря на весьма изысканное стремление сделать все это неким отстраненным развлечением, не влекущим никакой ответственности. Я действительно люблю тебя». Он

действительно любит меня, — протяжно повторила она, так что сам глагол прозвучал карикатурой на себя. — Ну не удивительно ли? Он действительно любит меня. — Затем, повернувшись в кресле, она через всю комнату позвала Хью.

— Элен, не шуми!

Но желание и потребность выплеснуть гнев была необоримой.

Она стряхнула навязчивую руку, которую Стейтс положил ей на плечо, снова выкликнула имя Хью и, когда все обратили на нее внимание, произнесла, помахивая письмом:

— Я просто хотела сказать, что он и в самом деле любит меня!

— Элен, ради бога, замолчи!

— Естественно, я не замолчу, — отозвалась она, вновь оборачиваясь к Марку. — Почему бы мне не сообщить Хью добрую весть? Он будет рад услышать ее, сознавая, как он сам лю-юбит меня. А, Хью? — Она снова откинулась назад, и ее лицо вспыхнуло и засветилось от волнения. — Не хочешь?

Хью не ответил; бледный, он просто сидел и, не говоря ни слова, глядел в пол.

— Конечно же ты хочешь. — ответила она за него. — Несмотря на то что твой вид говорит об обратном. Или даже... — она исправилась, слегка хохотнув, — несмотря на плохой вид — ведь она всегда невидима, эта твоя любовь. Да, да, мой дражайший Хью, конечно же невидима! И все же, несмотря на весь твой вид, ты в самом деле лю-юбишь меня, не так ли? Не так ли? — Она подчеркнула свой вопрос, вынуждая его к ответу. — Любишь?

Хью поднялся на ноги и, не говоря ни слова, почти выбежал из комнаты.

— Хью! — прокричал ему в спину Колдуэлл. — Хью!

Ответа не последовало. Колдуэлл обернулся и посмотрел на всех.

— Я думаю, нужно пойти посмотреть, все ли с ним в порядке, — сказал он с покровительственным участием издателя, который видит, как первоклассное литературное произведение вот-вот покончит с собой. — Кто знает, что он задумал. — Вскочив с кресла, он поспешил вслед за Хью. Дверь захлопнулась.

Наступило молчание. Затем Элен разразилась истерическим смехом.

— Не волнуйтесь, херр Гизебрехт, — сказала она, поворачиваясь к молодому немцу. — Это всего лишь небольшой фрагмент английской семейной жизни. *Die Familie im Wohnzimmer*<sup>222</sup>, как мы учили в школе. *Was tut die Mutter? Die Mutter spielt Klavier. Und was tut der Vater? Der Vater sitzt in einem Lehnstuhl und raucht seine Pfeife*<sup>223</sup>. Только и всего, херр Гизебрехт, и больше ничего. Типичная буржуазная семья.

— Буржуазная? — повторил молодой человек и согласно закивал головой. — Вы сами не знаете, что вы говорите, но вы говорите правильно.

— Правда?

— Вы шертва, — медленно продолжил он, разделяя слова. — Шертва капиталистического общества. Оно полно пороков...

Элен откинула назад голову и снова расхохоталась, еще громче, чем раньше; затем, сделав усилие, чтобы сдержаться, выдохнула:

— Не думайте, что я издеваюсь над вами. Мне кажется, вы отнеслись ко мне с любовью — чрезвычайно порядочно. И может быть, вы абсолютно правы — насчет капиталистического общества. Только, не знаю, именно в данный момент это прозвучало достаточно...

— Простите, нам пора идти, — сказал Марк и поднялся с кресла. Молодой немец тоже встал и прошел через всю комнату по направлению к ним. — Спокойной ночи, Элен.

— Спокойной ночи, Марк. Спокойной ночи, господин Гизебрехт. Приходите снова,

---

<sup>222</sup> Семья в гостиной (нем.).

<sup>223</sup> Что делает мать? Мать играет на пианино. А что делает отец? Отец сидит в кресле и курит сигару (нем.).



непрерывно приходите. В следующий раз я буду вести себя лучше.

Гизебрехт улыбнулся в ответ и поклонился.

— Я приду, когда вы пожелаете, — сказал он.

## Глава 22

8 декабря 1926 г.

Марк жил в неказистом доме на углу Фалхэм-роуд. Темно-красный кирпич с терракотовой отделкой, а внутри линолеум с орнаментом; лоскутья красного аксминстерского ковра, обои охрового цвета, усеянные связками подсолнуха и багровыми розочками; закопченные дубовые кресла и столы, репсовые занавески и бамбуковые стояки, подпирающие синие глазированные горшки. Убогость, подумал Энтони, была настолько законченной, насколько совершенно неизбывной, что могла быть создана только специально. Видимо, Марк намеренно выбрал самый лачужный район, который только был. Чтобы наказать себя, несомненно — но почему, за какой проступок?

— Хочешь пива?

Энтони кивнул.

Марк откупорил бутылку и наполнил один стакан — сам он пить не стал.

— Ты, я вижу, все еще играешь, — сказал Энтони, указывая на открытое фортепиано.

— Немного, — пришлось сознаться Марку. — Это утешает. Тот факт, что «Страсти по Матфею» или, например, Сонату для фортепиано с ударными написали люди, действительно внушало надежду. Можно было представить, что человечество в какое-то прекрасное время будет больше соответствовать мечтам Иоганна Себастьяна. Если бы не существовало «Хорошо темперированного клавира»<sup>224</sup>, зачем бы вообще понадобилось устраивать революции?

— Превратить один тип обыкновенных людей в обыкновенных людей другого типа — вот и все, что может революция, и игра не стоит свеч.

Энтони воспротивился. Для социолога это была самая любопытная из всех игр.

— Чтобы посмотреть или чтобы поиграть?

— Конечно посмотреть. Зрелище бесконечно смешное и гротескное, никогда не повторяющееся. Но, если взглядеться, можно обнаружить однообразие во всем разнообразии, общие правила при неповторимости индивидуальных черт.

— Революция для того, чтобы превратить одну человеческую общность в человеческую общность другого типа. Ты находишь это ужасным. Но это всего лишь то, ради созерцания чего я бы хотел жить долго. Теория получает проверку на практике. Выявить после катастрофической реорганизации всего те же старые правила, работающие теперь слегка по-другому, — не могу вообразить чего-либо более восхитительного. Так же, как логически вычисляется новая планета, а затем она же обнаруживается с помощью телескопа. А что касается произведения на свет новых Себастьянов... — Он пожал плечами. — Можно с тем же успехом предположить, что революция приведет к увеличению числа сиамских близнецов.

Это было основным различием между литературой и жизнью. В книгах соотношение между исключительными и обычными людьми высоко, в реальности — очень низко.

— Книги это опиум, — сказал Марк.

— Абсолютно точно. Вот почему подвергается сомнению существование пролетарской литературы. Даже пролетарские книги рассказывают о жизни исключительных пролетариев. А исключительные пролетарии — не более пролетарии, чем исключительные буржуа —

---

<sup>224</sup> «Страсти по Матфею» (оратория), «Хорошо темперированный клавир» — наиболее известные произведения И. С. Баха.

буржуа. Жизнь настолько обыденна, что литературе приходится иметь дело с исключениями. Непомерным талантом, силой, необыкновенным общественным положением, состоянием. Поэтому божествами в книгах являются вожаки, графы и миллионеры. Люди, чья жизнь целиком подвластна обстоятельствам, — их можно искренне пожалеть, но нельзя сказать, что их жизнь слишком драматична. Драма начинается тогда, когда есть свобода выбора. А свобода выбора начинается при исключительных общественных и психологических условиях. Вот почему все, кто населяют воображаемый мир литературы, почти всегда приходят со страниц издания «Кто есть кто».

— Не думаешь ли ты в самом деле, что люди, у которых есть деньги или власть, свободны?

— По крайней мере, свободнее, чем бедняки. Меньше зависят от нужды и воли других людей.

Марк покачал головой.

— Ты не знаешь моего отца, — сказал он. — Или моих отвратительных братьев.

В Балстроуде, вспомнил Энтони, от Стейтса постоянно слышалось: «Мой отец говорит...» или «Мой брат в Кембридже...»

— Целый выводок гнусных Стейтсов, — продолжал Марк. Он описал того Стейтса, который теперь был Командующим Рыцарем церковью Святого Михаила и Святого Георга и постоянным заместителем министра. Довольный, как Панч<sup>225</sup> — со всем арсеналом, и кротко сознающий свои сверхзаслуги, тот поражал всех своим величием.

— Как будто существует реальная угроза потерять то, что он имеет — Лицо Марка сделалось болезненным. — Он полагает, что он, вундеркинд.

И действительно, все, даже младшие Стейтсы, мнили себя вундеркиндами. В Дели жил один представитель семейства, показывавший свое геройство на запугивании индийцев, не способных постоять за себя. Был также еще один на фондовой бирже — этот преуспевал. Преуспевал — но как! Как хитрый эксплуататор невежд, игроков и сквалыжников. А на вершине всего стоял человек и гордился своим любвеобилием, тем, что он профессиональный Дон Жуан.

(Но с какой стати он не должен позволять себе немного посмеяться? Энтони даже с помощью пива не мог себе представить такого.)

Один из мальчиков. Одна из собак. Пес среди псин — какое великолепие!

— И ты называешь их свободными? — заключил Марк. — Но как тот, кто всю жизнь карабкался, может иметь свободу? Он привязан к своей лестнице.

— Эти служебные лестницы, — возразил Энтони, — расширяются всякий раз, когда осваивается новая ступень. У подножия можно всего лишь поставить ногу на первую перекладину. На вершине ступеньки в двадцать ярдов шириной.

— Ну, может быть, это более широкая ниша, чем та, которую занимает банковский клерк, — предположил Марк. — Но для меня и этого недостаточно. Кроме того, там слишком грязно.

В каком все были гневе, когда его призвали в армию рядовым! Считали, что он подвел семью. Эти люди были неспособны понять, что если и существовал выбор, то было куда порядочнее стать простым солдатом, чем кадровым лейтенантом.

— Прогнило насквозь, — сказал Марк. — У всех у них одна труха в голове. И вдобавок они не в состоянии думать о каждом индивидуально. Грязь апеллирует к дряни, и когда ответ дает не грязь, то это воспринимается как болезненный удар, как утрата.

Когда война окончилась, его отец с великим трудом выискал ему место в Сити, и не у кого-нибудь, а у Лазаря и Копта — работа ждала его к моменту демобилизации. Работа с почти немереными перспективами для молодого человека с головой на плечах и энергией — словом, это была находка как раз для Стейтса. Состояние в виде пятизначной суммы к

---

<sup>225</sup> *Панч* — персонаж английского народного театра кукол.

полувековому юбилею, не скупился на посулы отец, словно декламируя, и был искренне опечален, разгневан и смертельно оскорблен, когда узнал, что Марк отказывается принять это.

— Бедный старикан возмущался: почему, почему? И он не мог понять того, что место было слишком хорошим для меня. Непорядочно хорошим! Неблагородно хорошим. У него просто не укладывалось это в голове. В соответствии с его идеями я должен был броситься чуда очертя голову, подобно тому, как все гадаренские свиньи дружно бросились в пропасть. Вместо этого я вернул ему его коровью лепешку и отправился в Мексику присматривать за кофейными плантациями фирмы «Финка».

— И что ты знал тогда о кофе?

— Естественно, ничего. У этой работы была одна положительная сторона. — Марк улыбнулся. — Когда я уже что-то понимал в деле, я вернулся, чтобы прозондировать, как все обстоит здесь.

— И как все обстояло?

Стейтс пожал плечами.

— Только Бог знал об этом. Один вступил в партию, другой распространял запретную литературу, третий финансировал пресс-группы от доходов с продажи искусственных гвоздик, четвертый выступал с публичными речами и писал статьи. И видимо, от всех моих друзей не было никакой пользы. А может быть, наоборот, в один прекрасный день пришел бы успех...

— И что потом? — спросил Энтони.

— Вот это уже другой вопрос. Сначала все хорошо. Революция прекрасна на начальных стадиях. Тогда, когда главной задачей является нейтрализация тех, кто наверху. Но впоследствии, когда это увенчалось успехом, что дальше? Больше беспроводной связи, шоколада, роскошных будуаров и девочек с более надежными презервативами. — Он покачал головой. — В тот момент, когда мы даем людям возможность превратиться в свиней, они становятся ими и благодарят нас. Та свобода, о которой ты только что говорил, свобода на самом верху общественной лестницы, есть всего лишь право на свиноподобие или же на снобоподобие, становление самодовольным фарисеем, как мой отец. Или и тем и другим одновременно, как мой дражайший братец. Свинья и сноб одновременно. В России людям не дают шанса превращаться в свиней. Обстоятельства вынудили их быть аскетами. Но представь, что их экономика превзойдет все ожидаемые результаты, представь, что со временем они придут к процветанию — что спасет их от сытости и мещанства? Миллионы, десятки миллионов обыкновенных свинообразных мещан, управляемых привилегированным меньшинством целеустремленных Стейтсов.

Энтони улыбнулся.

— Новая фаза игры, идущей по старым, неизменным правилам.

— Я ужасно боюсь, что ты прав, — сказал Стейтс. — Конечно же это правоверный марксизм. Поведение и стереотип мышления определяются факторами экономики. Усвой образ жизни мещанина Бэббита<sup>226</sup>, и тебе непременно захочется усвоить его манеры и привычки. Господи! — Он поднялся, подошел к фортепиано, придвинул табурет и сел на него. — Давай попытаемся исторгнуть тот вкус изо рта. — Он положил крупные костлявые пальцы на клавиатуру, замер на мгновение и заиграл токкату и фугу ре-мажор Баха. Они оказались в совершенно ином пространстве, в мире, где не было ни Бэббитов, ни Стейтсов.

Марк играл всего лишь минуту или две, когда дверь открылась и в комнату вошла пожилая женщина, худощавая, с лошадиным лицом, в коричневом шелковом платье и таком же коричневом боа вокруг шеи. Она прошла на цыпочках, играя изящную пантомиму, само олицетворение молчания, хотя в это же время слышался невообразимо громкий и

---

<sup>226</sup> *Бэббит* — герой одноименного романа американского писателя Синклера Льюиса (1885–1951), символизирующий мещанина.

разнообразный набор шумов, мешавший отдаться музыке — скрипели боты, шебуршал шелк, звенели стеклянные ожерелья, серебряные украшения, подвешенные на тонких цепочках вокруг талии. Марк продолжал играть, не поворачивая головы. В смущении Энтони встал на ноги и поклонился. Похожая на лошадь женщина сделала ему жест, чтобы он сел, и осторожно, протяжно фыркнув носом, плюхнулась на диван.

— Бесподобно! — воскликнула она, когда был исполнен финальный аккорд. — Сыграй что-нибудь еще, Марк.

Но Марк поднялся, качая головой.

— Я хотел бы представить тебя мисс Пендл, — сказал он, обращаясь к Энтони и в то же время к пожилой даме. — Энтони Бивис учился вместе со мной в Балстроуде, — объяснил он.

Энтони пожал протянутую руку. Она улыбнулась в ответ. Зубы, среди которых были искусственные и плохо сидящие, сияли невероятно ярким и белым блеском.

— Так вы были его соучеником в Балстроуде? — воскликнула она. — Необыкновенно!

— Необыкновенно то, что мы до сих пор еще общаемся? — спросил Марк.

— Нет, нет, — ответила мисс Пендл и с игривостью, которую Энтони считал определенно мерзкой, легко шлепнула его по плечу.

— Ты точно знаешь, что я имею в виду. Он всегда был таким, мистер Бивис, даже будучи ребенком, помнишь?

Энтони всего-навсего кивнул в знак согласия.

— Таким язвительным и саркастичным! Даже до того, как вы познакомились с ним в Балстроуде. Кошмар-рно! — Она сверкнула своими искусственными зубами в сторону Марка с каким-то любовно-издевательским неприятием. — Он был моим первым учеником, знаете ли, — продолжала она, пускаясь на откровенности. — А я была первой его учительницей.

Энтони вежливо поднялся, услышав это.

— Дайте же я поздравлю Марка, — сказал он, — и выражу вам мои соболезнования.

Мисс Пендл взглянула на Марка.

— Вы думаете, я нуждаюсь в ваших соболезнованиях? — спросила она почти лукаво, как молоденькая девушка, кокетливо напрашиваясь на комплимент.

Марк не ответил, только улыбнулся и пожал плечами.

— Я пойду сделаю чай, — сказал он. — Вы ведь будете чай, Пенни? Мисс Пендл кивнула, и он поднялся и вышел из комнаты. Энтони в стесненной задумчивости решал, что ему следует сказать этой чересчур человеческой старой метле, когда мисс Пендл повернулась к нему лицом.

— Он ведь восхитителен, Марк Стейтс, просто восхитителен. — Фальшивые зубы блеснули, слова были произнесены несдержанно, с внезапной неловкой страстностью. Энтони почувствовал, что корчится от отупения и горечи во рту — Никто не знает, насколько он добр, — продолжала она. — Он не любит, когда об этом говорят, но я не возражаю — я хочу, чтобы люди знали. — Она кивнула с такой страстностью, что бусины ее ожерелья затрещали. — Я слегла больной в прошлом году, — продолжала она. Ее сбережения исчерпались, и она не могла найти другую работу. В отчаянии она написала нескольким старым работодателям, в том числе сэру Марку Стейтсу. — Сэр Марк выслал мне пять фунтов, — сказала она. — Это смогло поддержать меня на какое-то время. Затем мне пришлось снова писать. Он сказал, что больше не в силах сделать ничего. Но он упомянул об этом деле при Марке. И что бы вы думали сделал Марк? — Она в молчании посмотрела на Энтони, лошадь преобразилась, лицо мисс Пендл выразило неясность и триумф, а в ее карих глазах с покрасневшими веками стояли слезы.

— Что он сделал?

— Он пришел ко мне туда, где я остановилась, — у меня была комната в Кэмберуэлле — пришел и забрал меня с собой. Я прямо моментально упаковала вещи и приехала сюда. С тех пор и служу у него экономкой. Что вы об этом думаете, мистер Бивис? — спросила она.

Энтони не знал, что он должен об этом думать, но мимоходом не преминул заметить, что это был превосходный поступок.

— Превосходный, — одобрительно повторила лошадь. — Это как раз то, что есть на самом деле. Только вы не говорите ему, что это я вам сказала. Он до смерти рассердится на меня. Он ведет себя в точности так, как в том месте из Евангелия — левая рука не знает, что делает правая. Вот какой он. — Она в последний раз вытерла глаза и высморкалась. — Ну вот, я слышу, как он идет, — проговорила она и, до того как Энтони успел вмешаться, вскочила, ринулась через всю комнату в шелестящей и грохочущей буре, и открыла дверь. Марк вошел с подносом, на котором громоздились чайные принадлежности и тарелка разносортного печенья.

Мисс Пендл — воплощенная скромность — заявила, что не должна ничего есть в это время ночи, но тем не менее взяла круглое печенье с розовой сахарной глазурью.

— Ну теперь расскажите мне, каким учеником был мастер Марк в Балстроуде, — сказала она в своей игривой манере. — Ручаюсь, что изрядным шалопаем! — Она вонзилась зубами в печенье.

— Он сильно меня задирает, — произнес Энтони. Мисс Пендл чуть не подавилась от смеха.

— Ах ты разбойник, — бросила она Марку, и затем ее челюсти заработали с удвоенной силой.

— Будучи прекрасным футболистом, он имел право задираться.

— Так ты был капитаном команды, Марк?

— Я не помню, — ответил Марк.

— Он не помнит! — отозвалась мисс Пендл, победоносно глядя на Энтони. — Весьма характерно для него. Он забыл. — Она угостилась еще одним печеньем, раздвинув обыкновенные и выбрав то, которое с глазурью, и снова начала от него отщипывать с сильной и сосредоточенной страстностью тех, чьим единственным чувственным удовольствием было удовольствием от поглощения пищи.

Когда она отошла ко сну, приятели сели к огню. Наступило долгое молчание.

— Она довольно трогательна, — наконец произнес Энтони. Несколько секунд Марк воздерживался от комментария. Затем проронил сквозь зубы:

— Пожалуй, слишком трогательна.

Энтони взглянул ему в лицо и увидел, что в уголках его рта притаилась сардоническая усмешка. Снова наступила пауза. Часы, поддерживаемые драпированными нимфами из позолоченной бронзы, тикали из своего угла среди фигурок, напоминавших дрезденские, которыми была уставлена полка над камином. Намеренно уродливые, сказал себе Энтони, когда его взгляд рассмотрел в деталях каждый предмет издевательства над хорошим вкусом. И бедная старая лошадь, видимо, была самой большой и самой чудовищной из всех безделушек.

— Я удивлен, — сказал Энтони вслух, — что ты не носишь власяницу — Или, может быть, носишь? — добавил он.

## Глава 23

*1 июня 1934 г.*

Сегодня вечером на ужине у Марка я видел Элен — в первый раз со времени моего возвращения из Америки.

Заметьте, как много может значить лицо. Лицо может быть символом сути человека, на подробное описание которой могут уйти многочисленные тома. Огромная сумма фактов, коей является личность, которую символизирует лицо, — чувства и мысли, хранящиеся в памяти ощущения, впечатления, суждения, опыты — все это отражается на лице вместе и одновременно, становится постижимым с первого взгляда. Войдя в ресторан, она предстала

как видение, представляющееся глазам утопающего, — вся жизнь в один неуловимый миг. Бесплезная, дурная, никуда не годная жизнь. Весь вид Элен выражал одно огромное сожаление — о неверных решениях и безвозвратно упущенных возможностях. Это печальное лицо было не только выражением и символом, косвенно обозначающим мою историю, оно было и ее. Элен, непосредственной эмблемой, обозначением ее истории, истории, за горечь и печаль которой я несу свою частицу ответственности. Если бы я воспринял ту любовь, которую она хотела отдать мне, если бы я согласился любить (ведь я мог полюбить) в ответ... Но я предпочел остаться свободным ради моего труда — другими словами, остаться поработанным в мире, в котором отсутствовала свобода ради развлечения. Я настаивал на чувственности без всякой ответственности, а не на любви. Иначе говоря, настаивал на том, чтобы она была всецело средством моего физического удовлетворения и, в свою очередь, конечно же, чтобы и я стал для нее таким же средством.

Любопытно, каким незначительным кажется то, что в свое время люди физически были когда-то любовниками. Не это определяет ее безразличие и мои чувства. У Ларошфуко<sup>227</sup> есть максима о том, что женщины забывают добро, оказанное им предыдущим любовником. Мне нравилась эта мысль, потому что я сам был циником, но в действительности это лишь голая констатация того факта, что то, что считается неважным, то есть чувственность, и на самом деле не является важным. Физическое желание, как мне кажется, едва ли вписывается в нынешний склад моих мыслей, чувств и воспоминаний. Несмотря на тот факт, что у меня есть воспоминания о сильном и полном удовлетворении. Удивителен размах, который обрела эротика, став сутью, основываясь на которой делают выбор и определяют приоритеты. Теперь я мало думаю об эротике, но очень легко бы смог, если бы захотел. Попробуйте рассмотреть отдельную личность потенциально с точки зрения получения или отдачи ею удовольствия, сфокусируйте внимание на чувственном удовольствии — эротика станет чрезвычайно важной, и по этим каналам будет передаваться колоссальный объем энергии. Изберите другую концепцию личности, иной фокусный план: энергия будет литься отовсюду, и эротика покажется относительно неважной.

Провел добрую часть вечера в споре о мире и социальной справедливости. Марк заявил с саркастическим несогласием Миллера и моего нового воплощения Иисуса: «Если свиньи захотят выпустить друг другу кишки, пускай. Им просто-напросто нельзя будет помешать. Свиньи останутся свиньями». — «Но могут возобладать человеческие качества, — настаивал я. — *Homo non nascitui; fit* <sup>228</sup>. Или, скорее, делай себя из уже готовых элементов и врожденных человеческих резервов».

Элен была воплощенным коммунистическим аргументом — нет мира или социальной справедливости без предварительной «ликвидации» капиталистов, либералов и иже с ними. Как будто можно достичь мира и справедливости путем использования насильственных и нечестных средств. Средства недуг к предполагаемой цели и определяют ее. Средства в корне отличаются от предлагаемых целей и достигают целей, подобных себе. Насилие и война приведут к миру и к социальной организации, способным породить гораздо большее насилие и войну. Война за прекращение войны окончилась, как обычно, взрывоопасным миром; революция привела к победе коммунизма в стране, где есть устоявшаяся иерархия, где управляет меньшинство с помощью полицейских методов *a la* Меттерних<sup>229</sup>, Гитлер и

---

<sup>227</sup> Ларошфуко Франсуа (1613–1080) — французский писатель-моралист, автор «Мемуаров» (1662) и «Максим» (1665).

<sup>228</sup> 3d. Человек нерожденный, родись (лат.).

<sup>229</sup> Меттерних (Меттерних-Виннебург) Клеменс — (1773–1859) — князь, министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809–1821 гг., канцлер в 1821–1848 гг., один из организаторов Священного союза.

Муссолини и где сила, подавляющая во имя права быть богатым, заменяется силой, подавляющей во имя права быть членом олигархии. Мир и социальная справедливость всегда достижимы лишь честными и миролюбивыми средствами. И люди будут вести себя честно и мирно, только если они приучили себя к этому как личности, даже в обстоятельствах, когда легче было бы вести себя агрессивно и бесчестно. А выучка должна быть одновременно физическая и умственная. Знания, как использовать себя и как могут тебя использовать. Идеалами Марка были Лойола<sup>230</sup> и Сэндоу.

Усадив Марка в кеб, мы с Элен прошлись по ночному Лондону от Сохо<sup>231</sup> до Челси<sup>232</sup>. Ночь была прекрасной. Театры закрывались. Настроение Элен внезапно улучшилось от злобного до крайне восторженного. Она делала звенящим голосом замечания о прохожих, словно мы были в зоопарке. В смущении, но забавна и остра, когда она указывала на богатых молодых людей в цилиндрах, пытавшихся подогнать свою внешность к внешности аристократа де Решке или открывавших и закрывавших портсигары в стиле Джеральда дю Морье, на женщин, желавших выглядеть, как Мода, или дорогие рекламы зимних круизов или шуб, с головой по ветру и ресницами, надменно опущенными, или как обольстительницы с экрана с выпяченными животами, словно ожидающими рождения близнецов. Жалкие образцы, которым подражают люди. Раньше в мире существовало подражание Христу — теперь подражание Голливуду.

Толпа постепенно рассеялась, и Элен примолкла. Затем она спросила, счастлив ли я. Я ответил «да», хоть и не знал, является ли счастье правильным словом. Я стал более основательным, более совершенным, обрел интересы и осознание происходящего. Если я и не счастлив непосредственно, то, по крайней мере, имею гораздо более сильные стимулы к счастью. Снова помолчали. Затем она сказала: «Я думала, что никогда снова не увижу тебя из-за той собаки. Потом появился Эки, и собака отошла на второй план. И теперь, когда нет и его, неважным стал он сам. По другой причине. Мне давно ясно, что по сути своей неважно все. За исключением коммунизма». Но это было вторично — некое выражение пиетета, продиктованное силой привычки. Я сказал, что наши цели совпадали, а средства оказывались разными. Для нее цель оправдывает средства, для меня средства — цель. Может быть, сказал я, в один прекрасный день она поймет значимость средств.

*3 июня 1934 г.*

На сегодняшнем уроке у Миллера я внезапно почувствовал продвижение вперед в овладении теорией и практикой его метода. Чтобы освоить правильное самоиспользование, нужно раз и навсегда закрыть все неправильные. Отказаться от поспешного стремления к цели субъектом (в психофизиологических терминах) насильственной революции; пресечь эту тенденцию, сконцентрироваться на средствах, которые ведут к цели, затем действовать. Этот процесс влечет за собой то, что впоследствии можно разбираться в полезном и вредном саморасхождении — познать это все по отдельности. Посредством чутья. Повышенной осведомленности и мощности результата контроля. Компетентность и контроль: то, что прежде считалось тривиальным, ныне приобрело новую значимость. Отныне ничто нельзя будет признать мелким и незначительным. Чистка зубов, процесс надевания ботинок — все это нивелируется из-за отсутствия доброй привычки. Осознайте, остановитесь, прекратите быть ненасытным преследователем цели, сосредоточьтесь на средстве: утомительное несуществование превратится в невыразимо интересную реальность. В последней книге

---

<sup>230</sup> *Лойола Игнатий* (1491? — 1556) — итальянский богослов, основатель ордена иезуитов.

<sup>231</sup> *Сохо* — район в центральном Лондоне, большей частью состоящий из ресторанов, варьете, театров.

<sup>232</sup> *Челси* — район Лондона, известный дорогим жильем и богатой сетью торговли.

Эванса-Венца о Тибете<sup>233</sup> я нашел среди заветов гуру предписание: «Постоянно сохраняйте легкость мыслей, когда гуляете, сидите, едите, спите». Это предписание, как и все прочие предписания, сопровождается указанием правильного его соблюдения. Вот и здесь практическая инструкция сопровождается наказ; людей пытаются научить, как достичь осмысленности жизни. И не только этому. Вдобавок как правильно себя вести, как действовать так, чтобы все понимать. Но и это еще не все. Компетентность и сила контроля допускают замену. Умение достигается познанием главной функции умственной мускулатуры — того, как она помогает при исследовании других ее функций. Существует все увеличивающаяся возможность выявить мотивы человека при определенном поведенческом акте для того, чтобы правильно оценить характер чувства и истинную значимость мысли. Человек также более ясно и точно отдает себе отчет в том, что происходит к окружающем мире, и суждение, связанное с нарастанием сознания, исправляется. Контроль тоже может трансформироваться. Овладейте искусством пресечения неправильного мышечного движения, и вы научитесь пресекать более сложные поведенческие процессы. И вдобавок лучше предотвратить болезнь, чем ее излечивать. При условии надлежащего баланса многие опасности, связанные с нежелательным поведением, просто не возникнут. Наступит, например, конец невротическим расстройствам и депрессиям, независимо от их этиологии. Заметьте — многие детские и подростковые болезни ужасны, но только у некоторых развиваются серьезные неврозы. А именно у тех, чье самоиспользование отличается слабостью. Они поддаются в силу слабой сопротивляемости. На практике невроз всегда связан с одним из видов неправильного самоиспользования. Возьмите, к примеру, шатающуюся походку невротиков и сомнамбул. Они часто прогибаются назад, напрягают мышцы и низко опускают голову. Нужно научить их ходить заново. Привить им нормы правильного самоиспользования. Вы удаляете краеугольный камень, на котором зиждется невроз. Неврозу приходит конец. Вместо него закладываются основы здоровой личности с нормальным самоиспользованием. Но нормальное физическое использование влечет за собой (поскольку разум тела неразделим нигде, кроме как в мыслях) изменения в складе мыслей. Большинство из нас страдают от легких неврозов. Но даже легкий невроз может вызвать нескончаемый поток злобы и нытья. Обучение правильному самоиспользованию освобождает от неврозов и, следовательно, от срывов в поведении. Следовательно, этика предотвращения мыслится как направленная на нужды личности. Социальные и экономические реформы проводятся с целью уничтожить возможность срывов в поведении. Это крайне важно, но не вполне достаточно. Вера в то, что этого достаточно, делает концепцию социальных преобразований бессмысленной. Осознание того, что она бессмысленна, всегда доставляло мне удовольствие. Заколки и до предела надутые шары — наиболее приятные из всех развлечений. Правда, они слегка детские и по прошествии времени надоедают. И все же как отрадно обнаружить, что, кажется, сеть возможность придать смысл бессмыслице. Способ достижения прогресса изнутри — так же, как и извне. Прогресс не только гражданственный, направленный на уничтожение или благоиспользование машин, но и на защиту человека. Предотвращение само по себе хорошо, но оно не может исключить необходимость лечения. Сила исцеления от поведенческих срывов кажется чрезвычайно похожей на силу исцеления плохой координации движений. Этому последнему можно научиться также в ходе обучения правильному самоиспользованию. Имеет место переход. Сила сдерживания и контроля. Становится легче подавлять нежелательные импульсы. Легче следовать или просто видеть и брать на вооружение лучшее. Легче внедрять на практике добрые намерения, быть терпеливыми, уравновешенными, добрыми, нежадными и целомудренными.

---

<sup>233</sup> Эванс Артур Джон (1851–1941) — английский археолог, исследовавший минойскую культуру на острове Крит. Один из авторов книги, которую упоминает Энтони.



## Глава 24

23 июня и 5 июля 1927 г.

Она не могла себе этого позволить; впрочем, дело было даже не в этом. Миссис Эмберли привыкла делать вещи, которые были ей не по карману. В реальности все было очень просто; нужно было всего лишь продать небольшую часть военного займа, и все бы этим кончилось. Тут бы было и турне по Италии на мотоцикле, и обнаженные натуры Пуссена, и счет в банке Фортнама и Мейсона<sup>234</sup>. И в конце концов она бы оказалась в Беркшире<sup>235</sup>, в невыразимо прекрасном маленьком домике, пахнувшем всякой всячиной, где на газоне высятся липовые деревья, а позади дома открываются бескрайние низины и гладь зеленых лугов под синим небом. Она не могла себе этого позволить; но это было так прекрасно, так великолепно. И вдобавок что значили полтораста фунтов военного займа? Сколько они приносили ей процентов? Около пяти фунтов в год после уплаты налогов. А что такое пять фунтов в год? Ничто. Совершенное ничто. И кроме того, Джерри собирался заново вложить деньги для нее. Ее капитал мог уменьшиться, но ее доход через некоторое время все равно начнет расти. В следующем году она уже сможет это себе позволить, и поэтому в предвкушении того счастливого времени она сидела под липовыми деревьями на газоне в окружении гостей.

Опершись на локоть, Элен лежала на коврике за спинкой стула, на котором сидела ее мать. Она не обращала внимания на то, о чем говорили. Природа была так несказанно прекрасна, что было невозможно слушать, что там разглагольствовал старина Энтони о роли машин в истории, — единственное, что можно было делать в таких райских условиях, это играть с котенком. Самым любимым занятием котенка, как она обнаружила, была игра на коврике. Нужно заложить веточку под угол коврика, очень медленно, пока конец не вылезет с другой стороны, словно голова какого-то животного осторожно выглядывает из своей норы. Чуть-чуть, чтобы возбудить подозрение, и затем легким движением убрать. Словно животное испугалось и залезло вновь в укрытие. Затем, набравшись мужества, вылезло снова, обнюхало носом все справа и слева от травяных стеблей и ретировалось, чтобы спокойно закончить трапезу под ковром. Прошли долгие секунды, и внезапно оно выскочило наружу, как чертик из табакерки, как будто пыталось заранее предвосхитить любую опасность и моментально уходило назад. Затем снова, колеблясь и не решаясь, вынуждаемое всего лишь жестокой необходимостью, оно открыто рвалось навстречу смерти, предчувствуя свою печальную участь. Все это время полосатый котенок следил за движением прутика с неослабевающей и слепой свирепостью. Каждый раз, когда прут скрывался под ковриком, он подползал, не зная меры предосторожностям, на несколько дюймов. Ближе, ближе, и наконец наступал момент, когда он подкрадывался, чтобы сделать последний, решающий прыжок. Зеленые глаза смотрели с бессмысленной злобой, маленькое тельце было настолько заряжено тигриной целеустремленностью, что не только хвост, но и задние лапы тряслись от эмоционального напряжения. Тем временем над головой под слабым ветерком шелестели липовые деревья, круглые блики яркого света беспokoйно скользили по траве из стороны в сторону. На другом конце лужайки травяные бордюры сверкали на солнце, словно охваченные огнем, а между ними простирались впадины, как огромные животные, крепко спящие, и темно-синие тени облаков ласкали их бока. Все было настолько прекрасным, настолько божественным, что Элен то и дело не выдерживала, роняла веточку и брала на руки котенка, терлась щекой об его шелковистую шерсть и шептала нечленораздельные слова на птичьем языке, держа его так, что его лапы нелепо болтались у нее перед лицом, а

---

<sup>234</sup> Банк Фортнама и Мейсона — один из самых крупных английских банков двадцатых годов.

<sup>235</sup> Беркшир — графство в Англии.

их носы почти соприкасались, и вглядывалась в его ярко горящие зеленые глаза, пока наконец маленькое беззащитное животное не начинало мяукать так жалобно, что ей приходилось отпускать его.

— Бедный крошка! — замурлыкала она, словно каясь. — Разве я мучила его? — Но мучение послужило цели; болезненный избыток ее счастья переполнился, как всегда, и принес ей спокойствие, так что божественная красота окружающей природы снова была ненарушимой. Она подняла с земли веточку. Все простив, ибо он успел уже все позабыть, котенок начал игру с удвоенной энергией.

Звяканье велосипедного звонка заставило ее поднять глаза. Приближался почтальон, развозивший дневную почту. Элен вскочила на ноги и, взяв в руки котенка, быстро и, как она надеялась, незаметно подошла к дому. У двери ей повстречалась горничная с подносом, на котором лежали письма. Ей предназначались два. Первое, которое она распечатала, было от Джойс, из Олдершота. Она не могла не улыбнуться, когда прочла адрес сверху письма. «Джойс теперь живет в О-Олдершоте» — говаривала ее мать, протягивая первый слог названия с характерным глухим акцентом, слегка шокированным и недоверчивым тоном, как будто было действительно немислимо то, что любая из ее дочерей могла оказаться в подобном месте. «В О-Олдершоте, моя дорогая». И ей удалось придать этому военному пригороду волшебную неизведанность Тибета, ужас и отдаленность либерийского мрака. «Живет в О-Олдершоте — как мемсаиб<sup>236</sup>»

По-прежнему улыбаясь, Элен начала читать:

«Всего пару строчек для того, чтобы поблагодарить тебя за твое восхитительное письмо. Я серьезно обеспокоена тем, что мама, как ты говоришь, принимает слишком большие дозы снотворного. Это не доведет ее до добра. Колин думает, что ей нужно больше заниматься физкультурой. Может быть, было бы лучше, если бы она опробовала верховую езду. Я с недавнего времени беру уроки верховой езды, и это безумно приятно, когда умеешь ездить. Мы сейчас довольно неплохо устроены, ты и представить себе не можешь, как великолепно выглядит наш маленький домик. Колин и я работали как негры, чтобы добиться этого, и я должна сказать, что результаты оправдывают все наши беспокойства. Мне пришлось заплатить за множество визитов, которые нас ужасно нервировали, но все обходились со мной очень хорошо, и теперь я чувствую себя чрезвычайно уютно. Колин шлет тебе свои поцелуи.

*Всегда твоя Джойс».*

Другое письмо — и именно из-за него она бросилась навстречу почтальону — было от Хью Ледвиджа. Если бы письма были принесены миссис Эмберли на лужайку, если бы она рассмотрела их при всех... Элен вспыхнула от воображаемого стыда и гнева при мысли о том, что ее мать могла бы сказать об этом письме от Хью. Несмотря на то что вокруг сидело много народу или даже как раз поэтому. Когда они оставались одни, Элен обычно произносила какое-нибудь дразнящее словечко. Но в присутствии всех остальных миссис Эмберли получила бы вдохновение от публики и ударила бы в какое-нибудь изысканное описание или комментарий. «Хью и Элен, — стала бы объяснять она, — некая смесь между Сократом<sup>237</sup> и Алкивиадами и Дон Кихотом с Дульцинеей». — Бывали моменты, когда она ненавидела свою мать. «Это тот случай, — говорил хорошо знакомый голос, — случай «Я бы любила тебя, мой дорогой, сильнее, не люби я так сильно этнологию». Элен пришлось немало выстрадать из-за этих писем.

---

<sup>236</sup> *Мемсаиб* — жена европейского поселенца в Индии, преимущественно англичанина или португальца.

<sup>237</sup> *Сократ* (ок. 470–399 до н. э.) — древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики как метода отыскания истины.

Она разорвала конверт.

22 июня 27 г.

«Элен, сегодня хороший летний день. Я думаю, ты слишком молода, чтобы задумываться о значении отдельных дней. Ты живешь на этой земле всего около семи тысяч дней, а человеку нужно прожить на ней по крайней мере десять тысяч, чтобы начать осознавать, что жизнь не бесконечна, и с днями нельзя поступать как попало. Я существую на свече уже больше, чем тринадцать тысяч дней, и уже виден конец — безграничные возможности сильно сузились. Нужно шить костюм в зависимости от количества сукна, а сукна не просто мало, но оно еще и постоянно рвется. Когда ты молода, тебе кажется, что можно выкроить время и сделать себе всевозможные роскошные наряды — кивера, ризы да докторские мантии, трико Нижинского<sup>238</sup> и брюки грифельного цвета, которые носил Рембо<sup>239</sup>, или же алую рубаху Гарибальди<sup>240</sup>. Когда число твоих дней подойдет к десяти тысячам, ты начнешь понимать, что будешь счастлива, если тебе удастся скроить один приличный рабочий костюм, который был бы всегда в твоём распоряжении. Это гнетущее осознание, а летний день — один из немногих, который способен тебя успокоить. Самый долгий день. Один из шестидесяти-семидесяти самых длинных дней из отпущенных нам двадцати пяти тысяч. А что я сделал с этим самым долгим днем — одним из самых обыденных, самых заурядных? Перечень моих занятий унизительно нелеп и бессодержателен. Единственное, делающее мне честь и в глубоком смысле этого слова разумное дело, которое я сделал, это недолгое размышление о тебе, Элен, и это письмо...»

— Что-нибудь интересное в письмах? — спросила миссис Эмберли, когда ее дочь снова вышла из дома.

— Только записка от Джойс.

— От нашей мемсаиб?

Элен кивнула.

— Она живет в О-Олдершоте, ну, вы знаете, — объявила Мери Эмберли собравшейся компании. — В О-Олдершоте, — повторила она, протянув первый слог так, что место стало смехотворно нереальным, а факт проживания в нем Джойс превратился в фантастический и почти неприличный миф.

— Можешь благодарить звезды за то, что ты не живешь в О-Олдершоте, — сказал Энтони. — В конце концов, это ты должна была там оказаться, как генеральская дочь.

В самый первый момент тот факт, что он перебил ее, заставил Мери сделать паузу; она уже пыталась развить свои фантастические вариации на тему Олдершота. Но хорошее настроение вернулось к ней, когда она осознала, насколько большую возможность он предоставил ей.

— Да, я знаю! — нетерпеливо вскричала она. — Генеральская дочь. Но ты понимаешь, что по милости Божьей я могла бы сейчас быть полковничьей женой? Я была на волосок от выхода замуж за военного. На волосок, говорю я тебе. За восхитительно прекрасного человека. Но мамонта. — Она потеряла лоб. — Абсолютного мамонта. Еще хорошо, что он оказался таким непробиваемым занудой. Будь он хоть на миллиметр привлекательнее, я бы бежала с ним в Индию. И что потом? Это невообразимо.

— Невообразимо! — повторил Беппо с легким смешком.

— Отнюдь, — сказал Энтони. — Прекрасно вообразимо. Каждый вечер клуб от шести

---

<sup>238</sup> *Нижинский Вацлав Фомич* (1889–1950) — русский танцовщик, эмигрировал из России.

<sup>239</sup> *Рембо Артюр* (1854–1891) — французский поэт-символист.

<sup>240</sup> *Гарибальди Джузеппе* (1807–1882) — народный герой Италии, сражался добровольцем в других странах.

до девяти, вечеринки в доме правительства, адюльтер в жаркую погоду и поло в прохладную, непрерывная возня с индийскими слугами, постоянные денежные затруднения и домашние сцены, время от времени эпидемии малярии и дизентерии, ежемесячная связка подержанных романов из Книжного клуба, газета «Таймс» и все время неминуемое приближение старости — в два раза быстрее, чем в Англии. Если вы когда-нибудь были в Индии, ничего проще вообразить нельзя.

— И ты думаешь, все это постигло бы меня? — спросила Мери.

— А что еще могло случиться? Не думаешь же ты, что тебе пришлось бы ходить и покупать в Кветте<sup>241</sup> натуры Пуссена?

Мери рассмеялась.

— Или читать Макса Джейкоба в Равалпинди?<sup>242</sup> Ты стала бы такой же мемсаиб, как и все остальные мемсаиб. Может быть, еще более замученной и недовольной, чем большинство из них. Но все же мемсаиб.

— Пожалуй, что так, — согласилась она. — Но неужели человек находится целиком в распоряжении обстоятельств?

Он кивнул.

— И ты думаешь, я бы не спаслась?

— Не вижу, каким способом.

— Но это значит, что такого человека, как Я просто нет. Я, — повторила она, положив руку на грудь. — Я не существую в реальности.

— Конечно же не существуешь. В абсолютном смысле этого высказывания. Ты химическое вещество, а не живое существо.

— Но если человек реально не существует, удивительно, почему... — Она замялась.

— Зачем поднимать вокруг этого такую суматоху? — внес предложение Энтони. — Быть, кричать «ура» и скрежетать зубами. Вокруг приключений человека, лишённого самости вследствие ряда случайностей. И несомненно, — продолжал он, — если ты начала интересоваться, ты рано или поздно поймешь, что нет причины поднимать такую шумиху — если ты обладаешь здравым смыслом. Как и я, — добавил он с улыбкой.

Наступило молчание. «Ты не поднимаешь шума, — подумала про себя миссис Эмберли, имея в виду Джерри Уотчета. — Не поднимаешь шума. Но как было возможно не поднимать шума, если он так глуп, так эгоистичен, так звероподобен и в то же время так дьявольски привлекателен — как вода в пустыне, как сон в пору бессонницы?» Она ненавидела его, но мысль, что через несколько дней он будет здесь, останется дома и заставит ее испытывать колкое ощущение по всему *телу*, преследовала ее. Она закрыла глаза и глубоко вдохнула.

Все еще держа в руках котенка, как ребенка, покрытого мехом, Элен покинула лужайку. Она хотела побыть в одиночестве, вне пределов слышимости смеха, звенящих и беспомощных голосов. «Семь тысяч дней, — повторяла она снова и снова. И не только клонившееся к закату солнце делало картину величественно и узорчато прекрасной, но и раздумье о минувших днях, человеческих слабостях, о конечном неминуемом разуверении. «Семь тысяч дней, — произнесла она вслух, — семь тысяч дней». Слезы потекли у нее по лицу, и она еще сильнее прижала к груди спящего котенка.

Севернейк, Уайт-Хорс, Оксфорд, и между ними рев и вой «бугатти» Джерри Уотчета, порывы ветра, уклонения и падения, тошнотворное, но в то же время приятное ощущение ужаса от головокружительной скорости. И вот они уже вернулись назад. Казалось, прошло столетие, и одновременно — будто они никуда не уезжали. Машина сделала остановку, но

---

<sup>241</sup> *Кветта* — город в Пакистане.

<sup>242</sup> *Равалпинди* — город в северной части Пакистана, в то время входивший в состав Индийского доминиона.

Элен и не пошевелилась, чтобы выйти.

В чем дело? — спросил Джерри. — Почему ты не выходишь?

— Кажется, будто наступил страшный конец, — произнесла она со вздохом. — Словно разрушились чары. Или я вышла из магического круга.

— Магического? — вопросительно повторил он. — Это какой магии? Черной или белой?

— Пегой. — Элен рассмеялась. — Совершенно прекрасной и совершенно ужасной. Знаешь, Джерри, за то, как ты водишь, тебя нужно упрятать за решетку. Или в сумасшедший дом. Безумец и преступник. Но я обожаю такую езду, — добавила она, открывая дверцу и выходя из машины.

— Хорошо! — только и ответил он, награждая ее улыбкой, которая была подчеркнута бесстрастной. Он нажал на газ, и автомобиль, выдохнув облако горелого масла, завернул за угол дома к гаражу.

Восхитительна! — думал он. И как он мудро поступил, когда взял ее в эту частную прогулку под своим покровительством. Хитрая приманка. Создал все условия для игры. Скоро она будет есть из его рук. Настоящей бедой конечно же была Мери. Надоедливая сучка! — подумал он с внезапным приступом ненависти. Ревнивая, подозрительная, назойливая. Вела себя так, будто он ее частная собственность. И вдобавок жадная и ненасытная. Все время бросалась на него — бросалась своим стареющим телом. Его лицо, когда он заводил автомобиль в гараж, сморщилось от презрения.

Не утруждая себя снятием пальто, полностью забыв о болезни своей матери и на секунду вообще о ее существовании, Элен прошла через прихожую и почти бегом ворвалась в кухню.

— Где Томпи, миссис Уикс? — потребовала она ответа у кухарки. Действие солнечного света, деревни и «бугатти» Джерри таково, что ей сейчас обязательно был нужен котенок. Немедленно. — Мне нужен Томпи, — настаивала она. И тут же извинилась и объяснила: — У меня не было времени увидеть его сегодня утром, — добавила она. — Мы собирались в спешке.

— Кажется, Томпи неважно себя чувствует, мисс Элен. — Миссис Уикс отложила в сторону шитье.

— Неважно?

— Я положила его здесь, — продолжала миссис Уикс, поднимаясь с виндзорского кресла и указывая на дверь в буфетную. — Здесь прохладнее. Видимо, это реакция на жару. У него словно лихорадка. Не знаю даже, что с ним случилось, — заключила она тоном наполовину жалобным, наполовину сочувственным. Она сострадала Томпи. Но еще более она сострадала себе, потому что Томпи принес ей все это беспокойство.

Котенок лежал в тени под раковиной. Присев на корточки перед его корзиной, Элен протянула руку, чтобы взять его; затем, слегка вскрикнув от ужаса, отдернула ее, словно коснулась чего-то отталкивающего.

— Но чтостряслось с ним? — закричала она.

Полосатая шкурка маленького животного потеряла всю свою гладкость, весь шелковистый блеск и свалялась сырыми, неровными комками. Отекшие глаза были закрыты и полны желтого гноя. Насморк испортил некогда красивый узорчатый мех на морде. Несмышленный, но милый маленький Томпи, которого она, беспомощного, держала в одной руке, к которому она прижималась лицом и в чьи глаза смотрела, исчез, и на его месте лежал грязный, едва живой комочек. Как та печенка, внезапно пришло ей на ум, отчего она брезгливо содрогнулась. И моментально она почувствовала стыд за мысль, за тот жест презрения, продиктованный бессознательным импульсом.

«Какая я сволочь! — думала она. — Чистая сволочь!»

Томпи был болен, несчастен, может быть, умирал. А она оказалась настолько брезгливой, что побоялась прикоснуться к нему. Сделав усилие, чтобы побороть свое отвращение, она снова протянула руку, взяла маленького котенка и свободной рукой

пыталась приласкать (с какой-то болезненной неохотой) мокрую и обвислую шерсть. Слезы навернулись ей на глаза, переполнили их и потекли вниз по щекам.

— Это ужасно, это невыносимо, — повторяла она срывающимся голосом. Бедный маленький Томпи! Прекрасный, родной, забавный Томпи! Убит — нет, хуже, чем убит, — превращен в жалкий комочек грязи, без всякой причины, просто бессмысленно — и в такой день, божественный день, когда над Уайт-Хорс плыли облака, а солнце светило над вершинами Севернейкского леса. А теперь, что было еще хуже, ей внушало отвращение бедное маленькое животное, она не могла прикоснуться к нему, будто он был куском той печенки — она, которая притворялась, что любит его, которая не любила его. Не стало лучше оттого, что она держала его, как теперь, и гладила, и не играло роли то, что она при этом чувствовала. Она могла изобразить жест переполнявшего ее отвращения, и отвращение никуда не исчезало. Несмотря на любовь.

Она подняла залитое слезами лицо и взглянула на миссис Уикс.

— И что же нам делать?

Миссис Уикс покачала головой.

— Я никогда не замечала, чтобы вы вообще что-либо могли сделать. Даже с кошками.

— Но есть же какое-то лекарство.

— Никакого, кроме того, чтобы оставить их в покое, — заявила миссис Уикс с пессимизмом, очевидно, подкрепляемым желанием, чтобы оставили в покое ее. Затем, тронутая несчастьем Элен, она утешительно добавила: — Он поправится. Не нужно плакать. Пускай он поспит.

На плитках конюшенного дворика послышался звук шагов, и через открытое окно донеслась слегка фальшиво исполненная песенка «Да, сэр, она моя малышка». Элен распрямилась и, выглянув, крикнула:

— Джерри! — Затем, в ответ на выражение удивленного соболезнования, добавила: — Случилось что-то ужасное.

В больших, сильных руках Томпи чувствовал себя более маленьким и несчастным, чем обычно. Но Джерри был мягок и грациозен. Наблюдая за ним, когда он промокал глаза котенка, удалял слизь из ноздрей, Элен поразились тонкой точности его движений. Она сама, как она думала, придавая высокое значение своему собственному неумению, была неспособна сделать ничего, кроме как погладить Томпи и почувствовать отвращение. Безднадежен, почти обречен. А когда он попросил ее помочь в том, чтобы засунуть Томпи в рот полтаблетки аспирина, размельченного в молоке, она все испортила, разлив лекарство.

— Может быть, я сделаю это лучше сам, — сказал он и взял у нее ложку. Элен была слишком сильно унижена...

Мери Эмберли была разгневана. Она лежала здесь, больная и в лихорадке, и волнением доводила себя до еще более сильной лихорадки и боли, думая об опасном вождении Джерри. И здесь же была Элен, внезапно забредшая к себе в комнату после того, как ее не было в доме более двух часов, не имея элементарной порядочности прийти и убедиться, все ли с ней в порядке, более двух часов, когда ее мать — заметьте! — лежала там в агонии, испытывая стресс, думая, что дочь попала в аварию.

— Но Томпи умирал, — объясняла Элен. — Теперь он уже мертв. — Ее лицо было очень бледным, а глаза красными от слез.

— Ну, если ты предпочитаешь жалкого кота родной матери...

— Кроме того, ты спала. Если бы ты не спала, ты бы услышала, как приехала машина.

— И теперь ты желаешь мне сна, — с видом оскорбленной добродетели сказала миссис Эмберли. — Могу ли я на минуту забыться от такой боли? Вдобавок, — прибавила она, — я не спала. Я находилась в бреду. Я бредила несколько раз на протяжении дня. Конечно же я не слышала машину. — Ее взгляд упал на бутылку сомнифейна, стоявшую на столике рядом с ее постелью, и подозрение, что Элен также могла заметить ее, привело ее в еще больший раж. — Я всегда знала, что ты эгоистка, — не унималась Мери. — Но я, должна сказать, не думала, что ты будешь настолько паскудной.

В другой раз Элен вспылила бы и вступилась за оскорбленное достоинство, или же, обвиненная в аморализме, разрыдалась. Но сегодня она чувствовала себя слишком несчастной, чтобы еще проливать слезы, слишком подавленной стыдом и неудачей, чтобы негодовать даже против самой вопиющей несправедливости. Ее молчание еще более усугубило надрыв миссис Эмберли.

— Я всегда привыкла думать, — продолжала она, — что ты всего лишь эгоистична от безалаберности. Но теперь я вижу, что это бессердечность. Обычная бессердечность. Вот я — я пожертвовала тебе лучшие свои годы, и что я получила взамен? — Ее голос дрожал, когда она задала этот вопрос. Она была уверена в реальности своей жертвы, глубоко тронута мыслью о том, что она обладает масштабом, мученической значимостью. — Самое циничное — это безразличие. Я могла умереть в канаве, и ты бы не проявила беспокойства. Ты бы больше горевала о своем котенке. А теперь уходи, — почти закричала она. — Уходи! Я знаю, что у меня поднялась температура. Уходи.

После одинокого ужина, поскольку Элен ушла к себе в комнату, сославшись на головную боль, Джерри поднялся в спальню, чтобы поговорить с миссис Эмберли. В тот вечер он был особенно очарователен и так располагающе внимателен, что Мери забыла все накопившиеся поводы для жалоб и снова влюбилась в него по уши — не только потому, что этот безжалостный и совершенный любовник был красив и так легко и надменно умел подчинять себе, но и потому что он был добр, задумчив и обаятелен, одним словом, был всем, чем, как она знала, он раньше не был.

Часы пробили пол-одиннадцатого. Он поднялся с кресла.

— Пора тебе ложиться в кровать.

Мери воспротивилась, но он был непреклонен — для ее же блага.

Тридцать капель были нормальной дозой сомнифейна, но он отмерил сорок пять, чтобы быть доподлинно уверенным, что она спит, заставил ее выпить, затем («Как старая Нэнни!» — воскликнула она, смеясь от удовольствия) он обошел несколько раз вокруг кровати, подоткнул одеяло и, поцеловав ее на ночь с почти материнской нежностью, выключил свет и вышел из ее комнаты.

Часы на деревенской церковке пробили одиннадцать. Как печально, думала Элен, слушая удары колокола на расстоянии, как одиноко! Ей казалось, будто она слушала голос своего собственного духа, вибрировавшего каким-то таинственным способом между стен опускавшейся ночи. Один, два, три, четыре... Каждый звонкий, чуть надтреснутый звук казался все более безнадежным и траурным, словно поднимался из глубин более печального одиночества, чем прежде. Томпи не стало, и она даже не смогла дать ему ложечку молока и растертый аспирин, не могла найти в себе силы побороть отвращение.

Эгоистична и бессердечна — ее мать абсолютно права. Но настолько же одинока, одинока в окружении бесчувственной злобы, убившего бедного маленького Томпи; и ее бессердечность возопила отчаянным голосом этого колокола — ночь была пустой и величественной.

— Элен! — внезапно раздался голос.

Она встрепенулась и повернула голову. Комната была непроницаемо черной.

— Это я, — продолжал голос Джерри. — Я очень беспокоился о тебе. Тебе уже лучше?

Ее первое удивление и тревога уступили место чувству негодования против его вторжения в одинокое пространство ее несчастья.

— Тебе не следовало беспокоиться, — хладнокровно произнесла она. — Со мной все в порядке.

Заклученный в призрачное облако турецкого табачного дыма, перцово-мятной зубной пасты и лаврового рома, он невидимо приблизился. Через одеяло рука на ощупь коснулась ее голени; затем, когда он сел на краешек кровати, прогнулись и скрипнули пружины.

— Почувствовал за собой некоторую ответственность, — продолжал он. — Все эти мертвые петли! — Тон его голоса заключал в себе невидимую улыбку, а сощуренные глаза причудливо и завораживающе блестели.

Она промолчала в ответ, и молчание превратилось в долгую паузу. «Плохое начало», — подумал Джерри, нахмурился в темноте и начал с другого краю.

— Я не могу не думать о несчастном маленьком Томпи, — произнес он уже изменившимся голосом. — Поражаюсь, как удручающе то, что животное заболевает и умирает так быстро. Это кажется столь чудовищно несправедливым.

Через несколько минут она уже рыдала и у него был повод утешить ее.

Мягко, так же, как он брал в руки Томпи, и с той же самой нежностью, которая настолько тронула миссис Эмберли, он погладил волосы Элен и затем, когда ее всхлипывания начали стихать, коснулся пальцами другой руки ее предплечья. Снова и снова, с терпеливой регулярностью кормилицы, убаюкивающей ее, снова и снова... «По крайней мере триста раз», — думал он, перед тем, как отважился на жест, который мог быть истолкован как любовный. Три сотни раз; и даже ласкам его пришлось видоизмениться на десятки ладов, как будто случайно, пока постепенно, произвольно рука, бывшая сперва у нее на плече, наконец стала впиваться все крепче ей в кожу, с той же самой материнской настойчивостью прильнула к ее груди, пока пальцы, методично передвигавшиеся по ее локонам, касались ушей, потом щек и губ и замирали, легко и невинно, наполненные энергией поцелуев, обещаний и близкой немоты, в конце концов снизошедших к ней из темноты в качестве награды за долготерпение.

## Глава 25

20 мая 1931 г.

Это было еще одним «ударом». Фитцсиммонс, Джефрис, Джек Джонсон, Карпентьер, Демпси, Джин Танни — чемпионы приходили и уходили; но метафора, которой мистер Бивис описывал свои утраты, оставалась неизменной.

Да, это был тяжелый удар. И все же, как казалось Энтони, в воспоминаниях отца за обеденным столом о детских годах дяди Джеймса звучала почти триумфальная нота.

— Бедный Джеймс... у него были такие курчавые волосы... *Nos et mutamur* <sup>243</sup> — Сожаление и ностальгия смешивались с некоторым удовлетворением — удовлетворением старика, обнаружившего, что он еще жив, еще способен ходить на похороны своих одногодков и тех, кто моложе, чем он. — Два года, — настаивал он. — Между мной и Джеймсом была разница почти в два года. В школе я был Бивис-старший. — Он с прискорбием покачал головой, но старые усталые глаза заблестели неукротимым светом. — Бедняга Джеймс! — Он вздохнул. — Мы не очень часто виделись в последние годы — со времени его перехода в другую веру. Как он мог? Это до сих пор терзает меня. Католик — он один из всех...

Энтони ничего не ответил. «Но в конце концов, — думал он, — это не так удивительно». Старик вырос атеистом толка Брэдли. Должно быть, был невыразимо счастлив, выставляя напоказ свой вызов космосу и бесплодное отчаяние. Но ему выпало несчастье родиться гомосексуалистом в то время, когда в этом было стыдно признаться даже самому себе. Врожденное извращение отравило ему всю жизнь. Превратило воображаемое и восторженное, как у мистера Пиквика<sup>244</sup>, отчаяние в настоящую, обыденную трагедию. Несчастье и невращения; старик наполовину сошел с ума. (Что не помешало ему стать первоклассным статистиком страхового общества.) Затем, во время войны, тучи немного

---

<sup>243</sup> И мы меняемся (*лат.*). — Окончание известного латинского выражения: «Времена меняются, и мы меняемся с ними».

<sup>244</sup> *Пиквик* — герой романа английского писателя Чарлза Диккенса (1812–1870).



рассеялись. Можно было быть добрым к раненым солдатам — быть добрым *propatria*<sup>245</sup> и с чистой совестью. Энтони припомнил визиты дяди Джеймса к нему в госпиталь. Он приходил почти каждый день. Нагруженный дарами для дюжины приемных племянников так же, как и для родного. На его длинном меланхоличном лице в те дни царил постоянная улыбка. Но счастье никогда не бывает слишком долгим. Наступил мир, и после четырех райских лет ад стал казаться чернее, чем всегда. В 1923 году он перешел в лоно католической церкви, чего и следовало ожидать.

Но мистер Бивис просто не мог понять этого. Мысль о том, что Джеймс, окруженный иезуитами, Джеймс, преклонявший колена во время мессы, Джеймс лег в лурдский госпиталь с неоперабельной опухолью и, умирая, нашел утешение в религии, — наполняла его ужасом и изумлением.

— И все же, — сказал Энтони, — я восхищаюсь тем, как они помогают человеку расстаться с жизнью. Умирание — это совершенно животный процесс. Более животный, чем морская болезнь. — Он секунду помолчал, думая о последнем и самом мучительном часе дяди Джеймса. Тяжелое, носовое дыхание, рот, открытый, словно пещера, руки, скребущие простыню. — Как мудра была церковь, сделавшая из смерти таинство!

— Суэта и фарс, — презрительно произнес мистер Бивис.

— Но гениальный фарс, — не поддавался Энтони. — Произведение искусства. Сама по себе процедура слегка напоминает переплывание Ла-Манша — только гораздо хуже. Но им удается превратить это во что-то действительно прекрасное и величественное.

В основном для зрителя, конечно. Но, может быть, так же значимо и для исполнителя.

За столом наступило молчание. Горничная унесла грязные тарелки и подала десерт.

— Будете яблочный торт? — спросила Полин и надрезала корку.

— Яблочный пирог, моя дорогая. — Тон мистера Бивиса был суровым.

— Когда ты усвоишь то, что торт всегда открыт? А то, что имеет корку, — пирог.

Каждый взял себе сливок и сахара.

— Кстати говоря, — внезапно сказала Полин, — вы слышали о миссис Фокс?

Энтони и мистер Бивис покачали головами.

— Мэгги Кларк вчера сказала мне. У нее случился удар.

— Ах бедная, бедная, — вздохнул мистер Бивис. Затем, задумчиво: — Удивляюсь, как просто люди уходят из жизни, после того как становятся чем-то. Мне кажется, я видел ее не более полудюжины раз за последние двадцать лет. И вот, прежде чем...

— У нее не было чувства юмора, — вмешалась Полин.

Мистер Бивис повернулся к Энтони.

— Я полагаю ты не... ну... «держался возле нее» с тех пор, как погиб ее бедный сын.

Энтони покачал головой, не ответив на вопрос. Между ними был уговор не вспоминать о том, что он сделал, чтобы избежать общения с миссис Фокс. Те длинные письма, полные любви, которые она писала ему в первый год войны — письма, на которые он отвечал все короче и короче, поверхностнее, с большим количеством общих фраз и наконец перестал отвечать совсем, даже не успевая прочитывать ее послания. Даже не читал, и все же, движимый какими-то суеверными угрызениями совести, никогда не выбрасывал. По крайней мере дюжина синих конвертов, надписанных крупным, разборчивым, наклонным почерком, лежали нераспечатанные в одном из ящиков его стола. Их присутствие каким-то таинственным, необъяснимым способом проливали бальзам на его совесть. Вопрос, заданный отцом, заставил его почувствовать неудобство, и он поспешил сменить тему разговора.

— И во что ты так усердно вкапывался последнее время? — спросил он тем же самым шутивно-архаичным языком, которым порой так увлекался его отец.

Мистер Бивис усмехнулся и начал рассказывать о результатах своих исследований

---

<sup>245</sup> Зд. патриотом (лат.).

современного американского сленга. Какие смачные выражения! Богатство поистине елизаветинское с новыми образованиями и первозданными метафорами! Лошадиные перья, смазать тарелку, застегни свой рот — великолепно!

— А как тебе, если тебя назовут чахоточной фрау? — обратился он к своей младшей дочери Диане, которая просидела весь ужин в суровом молчании. — Или еще хуже — слабой подпругой, дорогая моя? Или я мог бы сказать, что у тебя, Энтони, дамский комплекс. Или с сожалением вспомнить о твоей привычке крутить любовную катушку. — Он засиял от удовольствия.

— Напоминает китайскую грамоту, — сказала Полин с другого конца стола. Ее круглое спокойное лицо приняло веселое выражение; тройной подбородок затрясся, как желатин. — Твой отец думает, что он кошачья пижама. — Она протянула руку, взяла с серебряного подноса пару шоколадных пирожных и затолкала одно из них себе в рот. — Кошачья пижама, — невнятно повторила она и подавилась от нового приступа смеха.

Мисгер Бивис, выработавший в себе необходимую степень надменности, нагнулся вперед и спросил Энтони интимным шепотом:

— Что бы ты делал, если бы чахоточная фрау имела несчастье задохнуться?

«Они оба душки», — подумала Диана и вышла из-за стола, ничего не сказав. Но как глупы они казались, как невыразимо глупы! Но все равно, у Энтони не было права критиковать их, а своей чрезмерной вежливостью он их критикует, негодяй. Она была возмущена. Никто не имел права на это, кроме нее и, может быть, ее сестры. Она попыталась подумать о том, как бы досадить Энтони, но он не подал ей удобного случая, да и у нее не было таланта к составлению эпиграмм. Ей пришлось довольствоваться молчанием и нахмуренными бровями. Вдобавок наступило время возвращаться в лабораторию.

— Мне нужно идти, — произнесла она в своей резкой отрывистой манере, поднялась из-за стола, и добавила, наклонившись, чтобы поцеловать мать: — Я категорически запрещаю вам есть эти сладости. Предписание врача.

— Ты не врач, моя дорогуша.

— Буду ровно через год.

Спокойным жестом Полин сунула в рот еще одно шоколадное пирожное.

— Вот через год я и прекращу есть сладкое, — проговорила она. Энтони ушел несколькими минутами позже. Идя по улице, он поймал себя на том, что постоянно возвращается в мыслях к миссис Фокс. «Пережила удар, — думал он, — и, может быть, очень опасный. Наступил ли паралич?» Он был чрезвычайно обеспокоен тем, как не допустить того, чтобы отец говорил о ней и у Полин не было случая сказать свое слово. Он представлял, как она лежит, беспомощная, полумертвая, и чувствовал ужас, притом что наряду с печалью испытывал некое удовлетворение, странное облегчение. Потому что, в конце концов, она была главным свидетелем обвинения, человеком, способным принести роковое свидетельство против него. Мертва или всего лишь наполовину мертва, и ее уже нельзя будет призвать в суд, а при ее отсутствии дело против него будет прекращено. В глубине своей души он даже был рад известию, которое сообщила Полин. Рад, к невероятному своему стыду. Он пытался сосредоточиться на чем-нибудь другом, и как раз кстати подошел автобус, на котором он быстро добрался до надежной гавани Лондонской библиотеки.

Он провел там около грех часов, просматривая материалы по истории анабаптистского движения, затем побрел к себе на квартиру в Блумсбери. В тот вечер он ожидал Глэдис к себе на ужин. Девушка последнее время чувствовала себя немного утомленной, но тем не менее... Он улыбнулся про себя в предвкушении удовольствия.

Они договорились, что она придет к шести, но пятнадцать минут седьмого ее еще не было. Не было и полседьмого, и в семь. В восемь часов он, глядя на синие конверты со штампом 1914 и 1915 года и адресом, выведенным почерком миссис Фокс, задумался над унылой дилеммой, появившейся после того, как прошли нетерпение и гнев: стоит ли открывать их. Он все еще предавался раздумьям, когда зазвонил телефон, и Марк Стейтс

спросил его, не свободен ли он случайно вечером. В самый последний момент составила вечеринка. Там будут Питли с женой, психолог, тот индийский политик, Сен и Элен Ледвидж... Энтони убрал письма обратно в ящик стола и поспешил из дома.

## Глава 26

*5 сентября 1933 г.*

Был третий час. Энтони лежал на спине, уставясь в темноту. Сон не шел, словно его намеренно отгонял чуждый злой дух, поселившийся в теле Энтони. Снаружи в соснах цикады непрерывным стрекотом возвещали миру о своем существовании, и изредка пение петуха раздавалось из темноты, все громче и все ближе, пока все птицы в близлежащих садах не стали, принимая этот вызов, кричать как сумасшедшие. Затем ни с того ни с сего сперва одна, потом другая утихли, и весь ансамбль становился все тише и тише, удаляясь на расстояние, — вот этот крик летит над Францией, вообразил он, вслушавшись в удаляющиеся звуки, в резкую волну вороньего карканья. Может быть, они уже за сотни миль. И затем где-то эта волна повернет назад и покатится обратно так же быстро, как и пришла. Назад, может быть, с Северного моря, над полями битв, над пригородами Парижа и через леса от первой до последней птицы; затем по Беосским равнинам, по холмам Бургундии и, со стремительностью воздушного потока, по долине Роны, мимо Баланса, Оранжа и Авиньона, мимо Арля, через голые холмы Прованса, пока снова не окажутся здесь, час спустя после предыдущего всплеска, беспокойно и пронзительно нарушая громкий, непрекращающийся стрекот цикад.

Внезапно ему на ум пришел отрывок из «Человека, который умер» Лоренса, и, благодарный за повод прервать ненадолго тщетные попытки погрузиться в сон, он включил свет и спустился вниз, чтобы поискать книгу. Да, она была здесь. «Когда он отошел, закукарекал молодой петух. Это был сдавленный, истерзанный крик, но в голосе птицы было что-то, что было сильнее, чем печаль. Это была жажда жизни, воспевание ее триумфа. Человек, который умер, стоял и смотрел на петуха, который сбежал и был пойман, взъерошился, поднялся на лапы, закинул голову и открыл клюв в очередной битве между жизнью и смертью. Храбрец кричал, и его крики, словно становившиеся тише от шнура, схватившего птичью лапу, все же не умолкали. Человек, который умер, знал, что ему нечего терять, и видел отчаянное бесстрашие в трясущемся кровяном гребне, пенные облака на небосклоне, черно-рыжего кочета и зеленые языки пламени, изрыгаемые ветвями фиговых деревьев. Эти весенние твари подошли ближе, горя от желания и уверенности. Они приблизились, как пламенные гребни, из синего потопа незримого желания, из огромного, невидимого моря силы и страсти, цветные, горячие, мимолетные и уже мертвые в момент своего прихода. Человек, который умер, пытался постигнуть суть неумерших вещей, но более не видел их трепетного желания быть и существовать. Вместо этого он слышал их звенящие, гремящие, вызывающие возгласы всем оставшимся живым существам...»

Энтони читал до тех пор, пока не закончил историю о человеке, который умер и снова вернулся к жизни, о человеке, который сам был спасшимся петухом; затем отложил в сторону книгу и снова лег в постель. Пена на волнах невидимого моря желания и силы. Но жизни, жизни как таковой, внутренне воспротивился он, было недостаточно. Как можно было довольствоваться безымянностью чистой энергии, чем-то меньшим, чем сила личности, ее мистическая божественность, которая, все еще бессознательная, была вне добра и зла? Цикады непрерывно стрекотали, и снова, около четырех часов, волна петушиного крика пронеслась по земле и покинула пределы слышимости, уйдя по направлению к Италии.

Жизнь неизбежно выдыхалась. Но в ней были образы, как он помнил, более яркие и впечатлявшие, чем кричащий петух или молодые листочки, проклеывавшиеся на зимних ветвях белого древесного скелета. Он вспомнил фильм об оплодотворении кроличьей яйцеклетки, который когда-то смотрел. Сперматозоиды на экранной плоскости отчаянно

пробивали дорогу к своей цели — лунообразной сфере яйцеклетки. Бессчетные, стремящиеся со всех сторон, они бешено вибрировали своими хвостиками. И вот самые первые достигли цели и вгрызались в нее, бросались на наружную стенку живой материи, прорывали в сумасшедшей спешке целые клетки, отслаивающиеся и умирающие. И наконец один из захватчиков достиг глубины ядра, и акт оплодотворения совершился — пассивная сфера внезапно пришла в движение. После быстрого, сильного сокращения гладкая, округлая поверхность превратилась в складчатую и до определенной степени нечувствительную к другим живчикам, которые тщетно бросались на нее. И затем яйцеклетка начала разделяться, стенки ее стали изгибаться, пока не коснулись центра, и образовались две клетки вместо одной; потом, когда две клетки повторили этот же процесс, их стало четыре, затем восемь, затем шестнадцать. И внутри клеток зернышки протоплазмы находились в постоянном движении, как горох в варящемся супе, но движение их было самостоятельным, стимулировалось их собственной энергией.

По сравнению с этими крошечными кусочками живой материи кукарекающий петух, цикады, неумолчно заявлявшие о своем существовании, были всего лишь едва живыми. Жизнь под микроскопом казалась гораздо более оживленной и неудержимой, чем в макромире. Неукротимой. Ужасна была жуткая бессознательность этого непреодолимого, примитивного вождения! И какой страх таился в игре этой иррациональной страсти, насильственного и безличного эгоизма! Невыносимого, пока думаешь об этом в понятиях сырой материи и имеющейся в наличии энергии.

Да, сырой материал и поток энергии. Внушительный по своему количеству и протяженности. Но качественно они представляли собой лишь относительную ценность: стали бы ценными только переплавившись во что-либо другое, приспособленные служить какой-то скрытой цели. Для Лоренса животная цель казалась достаточной и удовлетворительной. Петух, кукареканье, борьба, случка — все это анонимно, и человек так же безличен, как и петух. Лучше такая бессознательная анонимность, считал он, чем жалкие отношения человеколюдей, наполовину подчиненные сознанию, и все же лишь частично достигшие уровня цивилизации.

Но Лоренс никогда не глядел в микроскоп, никогда не видел биологическую энергию в ее примитивном, бесформенном состоянии. Он и не желал взглянуть, из принципа не принимал микроскопов, боясь того, что они могут разоблачить, и был прав в своем страхе. Те глубины за глубинами безымянности, неумолимо надвигающиеся, приводили его в ужас. Он настаивал на переработке сырого материала, но переработке только до определенной стадии и ни в коем случае не дальше, на том, чтобы энергия ползучей биомассы была пущена на относительно полезные цели и чтобы ее использование не пошло дальше животных. Произвольно и не рационалистично. На противоположный случай существовали и не игнорировались скрытые цели и институты. Двигаясь во времени и пространстве, человеческое существо неминуемо встречало их на своем пути, недвусмысленно присутствующих и реальных.

Мышление и жажда знаний — вот были цели, ради которых Энтони использовал энергию, которую наблюдал под микроскопом, которая вызывающе кричала петухом во тьме. Мысль как результат и знание как результат. И теперь внезапно стало ясно, что это были только средства — такой же несомненный сырой материал, как и сама жизнь. Сырой материал — и он предсказывал, он знал, что конечный продукт будет таким же, и частью своего существа он восставал против знания. И что же, засесть за превращение этого сырого жизненного, мыслительного, информационного материала в это — в его годы, при всем при том, что он цивилизованный человек! Сама мысль казалась смешной. Одно из тех абсурдных послехристианских похмелий — как страх его отца перед более неоспоримой существующей реальностью, все равно что исполнение гимна во славу рабочих во время всеобщей стачки. Мигрень, икота после опьянения религией вчерашнего дня. Но с другой стороны, он понимал, что никогда не будет способен превратить этот сырой материал в конечный продукт, не знал, где и откуда начать. Он боялся предстать круглым дураком, человеком, не

имеющим достаточно смелости, терпения, силы духа.

Где-то около семи, когда солнце за ставнями было уже высоко над горизонтом, он погрузился в тяжелый сон и, пробудившись три часа спустя, увидел Марка Стейтса, стоящего перед его кроватью и пристально смотрящего на него с улыбкой, — лицо напоминало занятную и любопытную горгулью<sup>246</sup>, затянутую москитной сеткой.

— Марк? — в изумлении воскликнул он. — Какого лешего?..

— Свадебная! — произнес Марк, указывая на муслиновую фату. — Поистине *premiere communion!*<sup>247</sup> Я наблюдал за тобой, пока ты спал.

— Долго?

— О, не беспокойся, — сказал он, отвечая не на сказанный вслух, а на скрытый в недовольном тоне Энтони вопрос. — Ты не ходишь в гости во сне. Наоборот, сам приглашаешь гостей. Никогда не видел настолько невинный образ, чем ты в этой вуали. Как младенец Самуил<sup>248</sup>. Совсем как ангел.

Вспомнив о том, как Элен употребила то же самое слово утром перед их разрывом, Энтони нахмурился. Затем, помолчав секунду, спросил:

— Зачем ты пришел?

— Чтобы посидеть с тобой.

— Я тебя не звал.

— Это ясно и так, — ответил Марк.

— Что это значит?

— Значит то, что ты обнаружишь это после самого события.

— Обнаружу что?

— То, что ты хотел моего появления. Сам не подозревая о своем желании.

— С чего ты взял?

Марк пододвинул стул и сел, перед тем как ответить.

— Я видел Элен той ночью, когда она вернулась в Лондон.

— В самом деле? — Голос Энтони был до предела блеклым и невыразительным. — Где? — закончил он.

— У Хью. Хью устраивал вечеринку. Там возникли кое-какие неудобные моменты.

— Почему?

— Ну, потому что она так хотела. Она была в странном настроении, видишь ли.

— И она объяснила тебе почему?

Марк кивнул.

— Она даже дала мне прочитать твое письмо. По крайней мере его начало. Я не стал читать целиком.

— Элен заставила тебя прочитать мое письмо?

— Вслух. Она настояла. Но ты понимаешь, она была в очень странном состоянии. — Повисла длинная пауза. — Вот из-за чего я пришел, — наконец добавил он.

— Думая, что я буду рад видеть тебя, — отпарировал Энтони ироничным гоном.

— Думая, что ты будешь рад видеть меня, — серьезно ответил Марк.

После очередной паузы Энтони произнес:

— Ну, может быть, ты не совсем уж не прав. Вообще, конечно, мне противен твой вид. — Он улыбнулся Марку. — Заметь, никаких переходов на личности. Мне был бы так же противен вид кого бы то ни было. Но с другой стороны, я рад, что ты пришел. А это уже касается личности. Потому что ты, похоже, имеешь кое-какое представление о том, что к

---

<sup>246</sup> *Горгулья* — в готической архитектуре выступающая водосточная труба в виде фантастической фигуры.

<sup>247</sup> Первое причащение (*фр*).

<sup>248</sup> *Самуил* — герой Ветхого Завета, великий пророк, его рождение описывается как чудо.

чему, — заключил он с уклончивой расплывчатостью. — Если есть кто-нибудь, кто может... — он хотел сказать «помочь», но мысль о том, чтобы ему оказывали помощь, казалась столь отпугивающей для него, гротескно ассоциировалась с хорошо подобранными словами приходского священника после смерти главы семейства, с откровенным, дружеским разговором домовладельца об искушениях пола, что он в неудобстве осекся. — Если кто-либо и в состоянии разумно рассуждать на эту тему, — продолжал он на другом выразительном уровне, — так это, я думаю, ты.

Марк кивнул, не говоря ни слова, и подумал: как свойственно было этому человеку говорить о разумных рассуждениях — даже сейчас!

— У меня возникло чувство, — продолжал Энтони медленно, преодолевая внутренние трудности перед тем, как сказать, — чувство, что я смогу пережить это и все уладить. На другой основе, — вымолвил он словно под пыткой. — Настоящая... — он покачал головой, — я немного устал от нее. — Затем, осознав с чувством стыда нелепость, неуместность и, хуже, чем нелепость, — фальшивость недоговоренности, уверенно закончил. — ...Не пойдет. Это основа, которая не может вынести больше, чем вес призрака. И чтобы воспользоваться ею, я сам превращусь в призрака. — После паузы он так же медленно продолжал: — Последние несколько дней у меня странное чувство, что я нахожусь не там, где был все эти годы. С тех пор... я даже не знаю когда. Видимо, с предвоенного времени. — Он никак не мог собраться и заговорить о Брайане. — Не там, — повторил он.

— Огромное количество людей находятся «не там», — сказал Марк. — По крайней мере не как люди. Только лишь как животные и биологические функции.

— Животные и биологические функции, — повторил Энтони. — Точно сказано. Но в большинстве случаев у них нет выбора. Небытие навязано им силой обстоятельств. В то время как я имел свободу выбирать — по крайней мере, так же, как и все вольны выбирать. Если я нахожусь не там, в этом есть смысл.

— И ты хочешь сказать, что только что обнаружил тот факт, что никогда там не был?

Энтони покачал головой.

— Нет, нет, я конечно же знал это. Все время. Но в теории. Так же, как любой знает... ну, например, что есть птицы, которые живут в симбиозе с осами. Любопытный и интересный факт, но не более того. Я не допустил бы большего. И затем имел бы оправдания. Работа: слишком богатая личная жизнь мешает мне работать. И необходимость в свободе: свободе мыслить, свободе утолять страсть познания мира. И в свободе самой по себе. Я захотел быть свободным, потому что было невыносимо им не быть.

— Я могу это понять, — сказал Марк, — при условии, если есть кто-то, кто доволен этой свободой. И при том условии, — продолжал он, — что кто-то осознает свою свободу путем преодоления препятствий на пути к ней. Но как ты можешь быть свободным, если «тебя» нет?

— Я всегда строил обратный силлогизм — как ты можешь быть свободным, или, скорее (поскольку необходимо мыслить об этом в отрыве от конкретных личностей), как может существовать свобода, если «ты» продолжает существовать? «Ты» должно быть состоятельно и ответственно, должно делать выбор и быть ему верным. Но если человек освобождается от себя, он освобождается от ответственности и нужды в состоятельности. Человек свободен как ряд безусловных, несвязанных состояний без прошедшего и будущего, за исключением тех случаев, когда нельзя намеренно избавиться от воспоминаний и предчувствий.

Секунду спустя он выругался.

— Шаткий идиотизм старого Сократа! Он воображал, что человеку только и оставалось знать, что правильную линию поведения и то, как ей следовать. Человек практически всегда ее знает — и чаще всего не следует ей. Или, может быть, тебе это не понравится, — добавил он другим тоном, смотря на Марка сквозь москитную сеть. — Людям свойственно приписывать другим свои недостатки. В моем случае слабость. Не говоря уже о робости, — прибавил он со смехом, автоматическим, настолько глубоко укоренившейся была привычка

наполовину отступать, что выражалось в самой природе личной уверенности в том, что слушатель сомневается в серьезности его намерений во время разговора. Он снова рассмеялся, словно все это было нелепицей, недостойной, чтобы о ней говорили. — Почему-то забыли, что люди могут оказаться разными. С тугим умом и толстым кошельком. Осмелюсь также утверждать, что все, что ты делаешь, ты считаешь правильным.

— Да, я всегда поступаю так, — согласился Марк. — Независимо от того, верно это или неверно. — Он изобразил на лице анатомическую улыбку.

Энтони откинулся на подушки, сцепив руки за головой и полузакрыв глаза. Затем после долгой тишины он повернулся к Стейтсу и резко произнес:

— Неужели ты не чувствуешь, что тебе просто никто не в силах помешать в том, на что ты решился? Вот теперь, например, я поймал себя на том, что ни с того ни с сего стал говорить с тобой именно так — почему я думал об этом еще до того, как ты пришел, почему пытался отважиться на какой-то смелый поступок. Я удивлялся и чувствовал, что мне просто никто не сможет помешать. Подумал, что было бы лучше отказаться от всего этого и вернуться к обычным занятиям. К спокойной жизни. Даже при том, что спокойная жизнь окажется роковой. Роковой, смертельной, но в то же время я отдал бы за нее что угодно. — Он покачал головой. — Видимо, если бы ты не явился и не вселил в меня с помощью стыда некоторую уверенность, я бы так и сделал — бросил бы все и стал бы жить спокойной жизнью. — Он рассмеялся. — А может быть, — добавил он, — я буду жить спокойно прямо сейчас. Независимо от тебя. — Он встал, снял москитную сетку и вышел на середину комнаты. — Я собираюсь принять ванну.

## Глава 27

*27 мая 1914 г.*

Энтони спустился к завтраку и обнаружил, что его отец объяснял двум девочкам этимологию названий того, что они ели.

— ...Просто вариант слова «pottage». Вы говорите «porridge» так же, как... — он подмигнул им, — или, я надеюсь, вы не говорите «заглохни» вместо «замолчи».

Девочки вяло продолжали есть.

— А, Энтони! — вновь заговорил мистер Бивис. — Лучше поздно, чем никогда. Что, остался без овса сегодня утром? Но тебе, надеюсь, достанется абердинская котлета.

Энтони положил себе пикши и сел на свое место.

— Вот письмо для тебя. — Мистер Бивис протянул ему конверт. — Узнаешь почерк Брайана?

Энтони кивнул.

— Ему все еще нравится работа в Манчестере?

— Думаю, что да, — ответил Энтони. — За исключением того, конечно, что он работает слишком много. Он бывает в газете до часу или двух ночи. А затем с обеда до вечера пишет диплом.

— Что ж, приятно видеть молодого человека с такой энергией и целеустремленностью, — сказал мистер Бивис. — Хотя, конечно, ему не нужно так усердно трудиться. Он ведет себя так, словно у его матери нет средств.

«Средства» так возмутили Энтони, что он, хоть и считал поступки Брайана нелепыми, ответил отцу с язвительной суровостью:

— Он бы не принял денег своей матери, — произнес он крайне холодно. — Это вопрос принципа.

Неприятности отошли в сторону, когда девочки отставили тарелки из-под каши и набросились на абердинские котлеты. Энтони воспользовался случаем и принялся читать письмо.

«Как долго о тебе не было весточки. Здесь все идет по-прежнему, или должно быть так, если бы я чувствовал себя веселей. Но я сплю ничуть не лучше, и мозг работает не так, как мог бы. Уже наконец закругляюсь с дипломом, как и с работой в газете. Все это дает мне право с нетерпением ожидать намеченных нами двухнедельных каникул в Лэнгдейле. Ради бога, не подведи меня. Какое невыносимое ощущение доставляет тело, когда оно хоть в чем-то малом работает не так! Даже если все в порядке, это невыносимо при таком количестве несовременных неудобств. Иногда я горько возмущаюсь этой физиологической подверженностью копрологии и непристойностям. Напиши скорее и дай мне знать, как у тебя дела, что ты читаешь, встретил ли ты кого-либо интересного. И сделай мне, пожалуйста, одну любезность. Джоан сейчас в городе у своей тети, работает в Обществе взаимопомощи. Ее отец конечно же не хотел, чтобы она шла туда — предпочел, чтобы она была дома, чтобы у него была возможность тиранить ее. Разыгралась настоящая битва, в которой он окончательно проиграл; итак, она работает уже около месяца. За это я ей крайне благодарен — но в то же время по разным причинам чувствую некоторую обеспокоенность. Если бы я мог выезжать на выходные, я бы приехал сам, но у меня нет такой возможности. И может быть, в некотором смысле это даже и к лучшему. В моем теперешнем скверном состоянии я скорее буду скелетом на пиру, и ко всему прочему есть серьезные осложнения. Я не могу рассказать о них в письме, но если ты совершишь путешествие на север в июне, я попробую. Перед этим мне следовало бы попросить у тебя совета. У тебя характер понапористей, чем у меня. И это единственная причина, по которой я не стал излагать тебе суть дела — из-за боязни того, что ты сочтешь меня дураком. Такова человеческая глупость. Но впоследствии мы обязательно обсудим эту проблему. Тем временем не мог бы ты сблизиться с ней, пригласить ее куда-нибудь на ужин, разговориться с ней и затем написать мне, какова, ты думаешь, ее реакция на Лондон, что она чувствует в жизни в целом и так далее. Это тяжелый переезд — из отдаленного уголка в Лондон, из полунищенской лачуги в богатый дом, от подчинения злобной тирании отца до независимости. Крутой переход, и, хоть я и рад этому, я слегка нервничаю, предчувствуя последствия. Но ты увидишь.

*Твой Б.»*

Энтони увиделся с ней в тот же день. Та же прежняя застенчивость, заметил он, когда они обменивались рукопожатиями в вестибюле ресторана, та же смущенная улыбка, то же слабое подергивание бровей. Лицом и телом она была более женственной, чем тогда, когда он ее видел в последний раз, год назад, выглядела также более привлекательной — в основном, несомненно, потому, что была лучше одета.

Они прошли в зал и сели за столик. Энтони заказал ужин и бутылку «Вувре», затем начал зондировать почву.

Лондон — как ей нравился Лондон?

Восхищалась им.

И даже работой?

Да, за исключением, может быть, конторской. Но три раза в неделю она подрабатывала в яслях.

— Я люблю маленьких детей.

— Даже совсем маленьких, от которых вечно разит?

Джоан кипела от негодования.

— Они чудесны. Я люблю ухаживать за ними. Кроме того, это позволяет мне наслаждаться всей остальной лондонской жизнью с чистой совестью. Я чувствую, что заработала на театр и танцы.

Стыдливость прервала ее разговор, выставив его, как и было раньше, в другом свете. На секунду ей стало трудно говорить, она едва шевелила губами, а голос стал тихим и невнятным. Она спрятала лицо, и затем внезапный порыв сильного чувства — восхищения, некоторого отчаяния или непреодолимой радости, и она смотрела на него внезапно и удивительно осмелевшими глазами; голос, будучи почти неслышимым, стал чистым;



крепкие белые зубы сверкали между губами, открывшимися в искреннем выражении чувства. Потом внезапно она словно испугалась своей смелости; поняв, что он, возможно, станет осуждать ее за это. О чем он думал? Не поступила ли она глупо? Ее голос прервался, кровь прилила к щекам, и она устала на свою тарелку, так что несколько последующих минут ему не удалось добиться от нее ничего, кроме коротких, сумбурных ответов на его вопросы, ничего, кроме самых поверхностных нервных смешков в ответ на его лучшие попытки рассмешить ее. Еда и вино тем не менее делали свое дело, и, когда подошел официант, она почувствовала себя более уверенной. Они начали говорить о Брайане.

— Ты должна сказать ему, чтобы он не работал так много, — проговорил он.

— Ты думаешь, я не пытаюсь? — Затем, при этом в ее голосе появились сердитые нотки, она продолжила: — Это в его природе. Он ужасно добросовестный.

— От тебя требуется сделать так, чтобы он стал недобросовестным. — Энтони улыбнулся ей, ожидая того же в ответ. Но вместо этого она нахмурилась; ее лицо выразило негодование и несчастье.

— Тебе легко говорить, — пробормотала она. Наступила пауза, во время которой она сидела с опущенными глазами, потягивая вино.

«Они могли бы пожениться, — в первый раз мелькнуло в голове у Энтони, — если бы он согласился жить за счет своей матери. Почему же нет, если он так любит эту девушку?..»

С персиковым десертом все мысли облеклись в слова.

— Трудно говорить, — изрекла она. — Я почти ни с кем этим не делилась. С тобой все по-другому. Ты знаешь Брайана очень давно; ты самый старый из его друзей. Ты поймешь. Я чувствую, что тебе я могу признаться.

Заинтересовавшись, но вместе с тем ощутив некоторое беспокойство, он пробурчал какую-то вежливую несуразицу.

Она не заметила следов его взволнованности; для нее в тот момент Энтони был единственной посланной небом возможностью выплеснуть наконец поток мучительных чувств, так долго сдерживаемый.

— Это все его добропорядочность. Если б ты только знал!.. С какой стати он считает, что в любви есть что-то постыдное? В обычной, счастливой любви. Он думает, что это неправильно, что у него не должно быть подобных чувств.

Она отсгавила тарелку и, наклонившись вперед и положив локти на стол, заговорила более тихим, более доверительным тоном о том, как Брайан целовал ее и потом стыдился этого и о тех других поцелуях, от которых в знак искупления вины он отказался.

Энтони изумленно слушал. «Некоторые осложнения», — написал Брайан в письме; это мягко сказано. Это было чистое сумасшествие. Трагичное, но также гротескное и нелепое. Ему подумалось, что Мери сочла бы эту историю просто смешной.

— Он говорил, что хочет быть достойным меня, — продолжала Джоан. — Достойным любви. Но все, что произошло, заставило меня чувствовать себя недостойной. Недостойной всего и во всем. Виноватой — ощущающей себя правонарушительницей. И грязной вдобавок, если ты понимаешь, о чем я говорю, — как будто я упала в грязь. Но, Энтони, в этом же нет ничего плохого, ведь так? То есть мы никогда не занимались тем, что не было... ну, ты понимаешь... целиком невинным. Почему он говорит, что он достоин, и делает так, чтобы я в то же время чувствовала себя недостойной. Почему это так? — не унималась она. У нее в глазах стояли слезы.

— Он всегда был таким, — произнес Энтони. — Видимо, он так воспитан... Его мать — восхитительный человек, — добавил он и тотчас заметил, что ввернул в речь оборот миссис Фокс. — Может быть, только она отчасти угнетала его, и, очевидно, поэтому...

Джоан энергично закивала, но не вымолвила ни слова.

— Мне кажется, она заставила его метить слишком высоко, — продолжал он. — Слишком высоко и так все время, если понимаешь, и даже тогда, когда он не следовал прямо ее примеру. Например, нежелание брать от нее деньги...

Джоан подхватила эту тему со страстным энтузиазмом.

— Да, почему он так хотел отличаться от всех остальных? В конце концов, в мире есть множество хороших людей, и они не считают это необходимостью. Но тем не менее, — добавила она, пристально глядя в глаза Энтони, словно пытаюсь уловить в них и смягчить любой неодобрительный взгляд или, хуже, ироничную заботу, — тем не менее я думаю, что это очень идет ему. Очень! — повторила она с каким-то вызовом. Затем, снова обретя критический тон, которым она не позволяла говорить Энтони, но на который, как ей казалось, ее чувства к Брайану давали право ей самой, она продолжала: — Все равно, я не понимаю, почему то, что сто мать предлагала ему деньги, могло оскорбить его. Я уверена в том, что это по преимуществу заслуга его матери.

Он удивился.

— Но Брайан говорил мне, что миссис Фокс настаивал на том, чтобы он взял их.

— О, она сделала вид, будто хотела, чтобы он их взял. Мы приезжали сюда в мае на выходные, чтобы все обсудить. И она не уставала повторять ему, что в том, что он возьмет сумму, нет ничего плохого, и что ему следует подумать обо мне и о женитьбе. Но потом, когда мы с Брайаном сказали ей, что я согласна на то, чтобы он отказался, она...

Энтони перебил ее.

— Так ты согласилась?

Джоан опустила глаза.

— В какой-то мере, — произнесла она угрюмо. Затем, с внезапной злостью подняв глаза, она вымолвила: — Как я могла не согласиться с ним? Видя, что именно это он хотел сделать и сделал бы, даже если бы я и не дала своего согласия. И к тому же я говорила тебе, что в этом есть что-то совершенно прекрасное и удивительное. Конечно же я согласилась. Но согласие не означало то, что я действительно хотела, чтобы он отказался от денег. И вот тут неискренность его матери вышла наружу, — она притворилась, будто думает, что я хочу, чтобы он не взял эту сумму, и поздравила меня и его с нашим решением. Сказала, что мы герои и все такое. И тем самым внушила ему эту идею. Я уверяю тебя, что это ее дело. Гораздо в большей степени, чем ты думаешь.

Она умолкла, и Энтони счел лучшим закрыть эту тему. Только Бог знал, чего она могла бы наговорить, если бы он позволил ей дальше распространяться о миссис Фокс.

— Бедняга Брайан! — сказал он громко и добавил, найдя спасение в тривиальной фразе: — Лучшее враг хорошего.

— Истинно так! — воскликнула она. — Враг хорошего. Он хочет быть совершенным — но посмотри на результат! Он мучает себя и причиняет боль мне. Почему меня можно заставить чувствовать себя грязной и преступной? А он именно это и делает. В то время как я ни в чем не виновата. Да и он, если разобраться. И все же он хочет, чтобы я чувствовала то же самое по отношению к нему. Нечистоту и преступность. Почему он так осложняет мое положение? Делает все невероятно трудным? — Ее голос дрожал, и слезы наполнили глаза. — Извини, — сказала она. — Я выставила себя глупой. Но если бы ты знал, как это тяжело для меня! Я так сильно его люблю и хочу любить его и впредь. Но он, кажется, не позволяет мне этого. Это, должно быть, так прекрасно, но он делает все, чтобы это казалось гнусным и отвратительным. — Затем, после паузы, почти перейдя на шепот, она добавила: — Иногда я сомневаюсь, смогу ли я выдержать дальше.

«Значило ли это, — думал он, — что она уже решила разорвать с Брайаном отношения — уже встретила кого-то, кто был готов любить ее и быть любимым менее трагично, более естественно, чем он? Нет, вероятно, нет, — решил Энтони. — Но все походило на то, что скоро так оно и окажется. На его взгляд (хоть это было не совсем то, что подходило ему) она была привлекательна. В кандидатах не было бы недостатка, и, если бы представился достойный, была бы она способна — хоть она могла сознательно желать этого — отказать?»

Джоан нарушила молчание.

— Я очень часто мечтаю о доме, в котором мы собираемся жить, — сказала она. — Прохожу из комнаты в комнату, и все это выглядит великолепно. Такие милые занавески и чехлы для кресел. И вазы, полные цветов. — Она вздохнула и затем, после паузы,

продолжала: — Ты понимаешь причину того, почему он отказывается взять деньги матери?

Энтони помедлил минуту, затем уклончиво ответил:

— Я понимаю, но не думаю, что мне самому следовало бы делать подобное.

Она снова вздохнула.

— Я с тобой согласна. — Она взглянула на часы, затем надела перчатки. — Мне нужно идти. — И с этим возвращением от разговора по душам к прозе жизни, людям и назначенным встречам в ней внезапно снова пробудилось болезненное самосознание. Не утомила ли она его? Не посчитал ли он ее за дурочку? Она посмотрела ему в лицо, пытаясь угадать его мысли, затем опустила глаза. — Я боюсь, что уже достаточно много наговорила о себе, — пробормотала она. — Не знаю, могу ли я еще надоедать тебе... Он воспротивился.

— Единственное, чего я желаю, это быть в чем-нибудь полезным. Джоан снова подняла лицо и наградила его мимолетной улыбкой благодарности.

— Ты сделал многое уже тем, что просто выслушал.

Они вышли из ресторана, и Энтони, проводив ее до автобуса, направился к Британскому музею, раздумывая по дороге, какого рода письмо написать Брайану. Стоило ли ему умыть руки и просто послать отписку о том, что Джоан чувствует себя хорошо и счастлива? Или он должен сообщить Брайану, что она все ему рассказала, и затем продолжать советовать, увещевать, убеждать? Энтони прошел мимо двух огромных колонн портика в холодный мрак внутри. «Обычная проповедь, — подумал он с отвращением. — Если только можно подходить к этой проблеме так, как к ней нужно подходить — как к раблезианской шутке<sup>249</sup>. Но от бедного Брайана вряд ли можно было ожидать того, что он увидит все в нужном свете. Даже если бы размышления — для разнообразия — в раблезианском стиле принесли ему огромнейшую пользу. — Энтони показал свой билет служащему и прошел в читальный зал. В этом всегда была беда, — размышлял он, — никогда не удастся заставить человека быть каким-нибудь, кроме того, какой он есть в действительности, или повлиять на него средствами, в надежности которых он уже усомнился». Он толкнул тяжелую дверь и оказался под куполом, источавшим слабый запах книжной пыли. Миллионы книг. Сотни тысяч авторов из разных веков, и каждый был убежден в своей правоте, уверен, что знает заветную тайну, думал, что сможет убедить весь мир тем, что доверит ее бумаге и чернилам. В то время как конечно же единицы, которых удавалось убедить, были те, которых природа и обстоятельства уже убедили. И даже на них нельзя было полностью полагаться. Обстоятельства менялись. То, что казалось истинным в январе, уже не действовало в августе. Служащий протянул Энтони книги, отложенные для него, и он прошел на свое место. Огромные духовные пласты в непрекращающихся родовых муках, и в результате — что? *Si ridiculum murem requiris, drcumspice*<sup>250</sup>. Довольный своим открытием, он оглядел читающих рядом с ним — мужи, похожие на моржей, тусклые фемини, индийцы, изможденные или цветущие, усатые патриархи, молодые люди в очках. Наследники всех веков. Удручающие, если воспринимать их серьезно, но также нестерпимо смешные. Он сел и открыл книгу де Ланкре «*Tableau de l'Inconstance des Mauvais Anges*»<sup>251</sup> — на том месте, где он кончил читать накануне. «*Le Diable estoit en forme de bouc, ayant une queue et au dessous un visage d'homme noir, ou elle fut contrainte le baiser...*»<sup>252</sup> Он беззвучно

---

<sup>249</sup> Рабле Франсуа (1494–1553) — французский писатель-гуманист. Отвергал средневековый аскетизм, ханжество и предрассудки.

<sup>250</sup> Если хочешь увидеть глухую мышшь, оглянись (*лат.*).

<sup>251</sup> «Книга уличения злых духов» (*фр.*).

<sup>252</sup> «Дьявол принимает образ козла, сзади у которого хвост, а спереди черное лицо, требующее поцелуя...» (*фр.*)

рассмеялся. Еще одна шутка для Мери, подумал он. В пять часов он встал с места, оставил книги на столике и доехал на метро от Холборна до Глостер-роуд. Через несколько минут он уже стоял перед парадной дверью дома Мери Эмберли. Дверь открыла горничная; он по привычке улыбнулся ей и, воспользовавшись привилегией завсегда у дома, побежал наверх в гостиную без объявления.

— У меня есть рассказ для тебя, — провозгласил он, перелетев порог комнаты.

— Наверное, грубоватый и пошлый, — ответила Мери Эмберли, сидевшая на софе.

Энтони поцеловал ей руку в той вычурной манере, которую недавно усвоил, и сел.

— Тем, кто пошел сам, — произнес он, — все кажется пошлым.

— Удачно сказано! — И с кривой улыбкой маленьких губ и темным мерцанием суженных век, она добавила: — Грязный ум — это пир на время.

Шутка была старой и не принадлежала ей, но смех Энтони тем не менее польстил ей. Это был смех от всей души, громкий и долгий — громче и дольше, чем позволяло само высказывание. Но на самом деле он смеялся не над ним. Шутка едва ли была отговоркой; его смех был реакцией, но не на отдельный стимул, а на всю необычайную и волнующую ситуацию. Чтобы иметь возможность свободно разговаривать о чем угодно (прошу заметить, о чем угодно) с женщиной, леди, подлинной «мясительницей теста», как мистер Бивис в моменты шуточных этимологических замечаний, бывало, говорил, ревностной английской мясительницей теста, которая была чьей-то любовницей, читала Малларме<sup>253</sup> и была знакома с Гийомом Аполлинером<sup>254</sup>; послушать, как мясительница теста проповедует то, чем она занимается, вскользь упоминая постели, ватерклозеты, физиологию того, что вследствие неудобопроизносимости англосаксонского слова они были вынуждены называть *l'amour* — для Энтони этот двухлетний опыт, несмотря на нерегулярные измены Мери, был отравляющей смесью свободы и запретного плода, облегчения и приятного возбуждения. Во вселенной его отца, в мире Полин и тетюшек таких вещей просто не было — но не было с болезненно, ярко заметным отсутствием. Как загипнотизированный пациент, которому было приказано увидеть пятерку пик как что-то эфемерное, они намеренно не замечали то, что не желали видеть, заговорщицки молчали о том, насчет чего были слепы. Естественные функции даже самых низших животных необходимо было игнорировать; не говорили даже о четвероногих. Случай с козой, например, был теперь одним из отборнейших анекдотов Энтони. Изысканный юмор — но теперь, по прошествии почти двух лет после того, как он познакомился с Мери и когда все это произошло, это казалось гораздо забавнее! Пикник в том жутком Шайдекском ущелье, с Вайсхорном, висевшим в нем как наваждение или пучок горечавки, подобранный внимательным мистером Бивисом в подножной траве, после того как семью посетил едва выросший козленок, жадный до соли с их яиц вкрутую. Уклоняясь и чувствуя легкое отвращение, несмотря на полученное удовольствие, две его маленькие сводные сестрички вытягивали руки, чтобы животное их облизало. Полин в это время делала моментальный снимок, а мистер Бивис, чей интерес к козам был чисто филологическим, цитировал Феокрита<sup>255</sup>. Пастушеская сцена! Но внезапно маленькое создание расставило ноги и, столь же невыразительно глядя на семейство Бивисов округлыми зрачками своих больших желтых глаз, стало мочиться на горечавку.

«Они не очень-то щедры на масло» и «Как великолепно сегодня выглядит старый Вайсхорн», — вымолвили Полин и мистер Бивис почти одновременно — она, вглядываясь в свой бутерброд, жалобным тоном, а он, смотря в отдаленье, с восторженной нотой в голосе.

В спешке и словно виновато дети подавили внезапный крик веселья и отвели лица друг

---

<sup>253</sup> *Малларме Стефан* (1842–1898) — французский поэт-символист.

<sup>254</sup> *Аполлинер Гийом* (1880–1918) — французский поэт-экспериментатор.

<sup>255</sup> *Феокрит* (кон. IV—1-я пол. III в. до н. э.) — древнегреческий поэт. Основал жанр идиллии.

от друга и от разгневанной козы. Моментально пойдя на компромисс, мир мистера Бивиса, Полин и тетушек снова обрел достоинство.

— И как же твоя история? — любопытствовала миссис Эмберли, когда смех поутих.

— Ты ее услышишь, — сказал Энтони и несколько секунд помолчал, зажигая сигарету и раздумывая, что и как сказать. Он хотел сделать свой рассказ интересным, одновременно занимательным и психологически глубоким; история для курительной комнаты, которая годилась бы для библиотеки или лаборатории. Для этого у Мери нужно вызвать двойную порцию смеха и восхищения.

— Ты знаешь Брайана Фокса? — начал он.

— Конечно.

— Старый бедняга Брайан! — Самим тоном, употреблением ласкательного прилагательного Энтони утвердил положение превосходства, заявил о своем праве, праве просвещенного вивисектора от науки на анатомирование и исследование. — Да, старый бедняга Брайан! Маниакальная озабоченность своим целомудрием! Девственность — самое неестественное из всех сексуальных извращений, — плакатно прибавил он, используя цитату из Реми де Гурмона<sup>256</sup>. Одобрительная улыбка Мери вселила в него новые силы. Свежие силы, естественно, за счет Брайана. Но в тот момент он не додумался до этого.

— Но чего можно ожидать, — вмешалась миссис Эмберли, — если у него такая мать? Один из эмоциональных вампиров. Очередная святая Моника.

— Святая Моника Эри Шеффера, — дополнил он. Но в миссис Фокс не было ни единой черты святой Шеффера. Однако конец его рассказа, вызвавшего смех и восторг Мери, был достаточным оправданием каких бы то ни было целей. Шутка с Шеффером была великолепной, слишком хорошей, чтобы ей пренебречь, даже если она была отпущена не к месту. И когда Мери произнесла то, что в тот момент было ее любимой фразой, то есть сказала что-то о «маточной реакции» миссис Фокс, он цепко ухватился за слова и начал применять их не только к миссис Фокс, но и к Джоан, и даже (состряпав еще одну шутку на физической нелепости явления) к Брайану. Маточные реакции Брайана против целомудрия в противоборстве с маточными реакциями его самого и Джоан против обычных вожделений — это была драма. Драма, объяснил он, существование которой он до сих пор только подозревал и логически выводил. Теперь нужда в догадках отпала; он знал доподлинно. Прямо из первых уст. Или скорее из вторых — от Джоан. Бедная Джоан! Вивисектор положил очередную жертву на операционный стол.

— Как ранние христиане, — отпустила комментарий миссис Эмберли, когда он закончил.

Злоба и презрение в ее голосе внезапно заставили его вспомнить, в первый раз с того момента, когда он начал рассказывать, что Брайан его друг и что Джоан на самом деле несчастна. Слишком поздно ему захотелось объяснить, что, несмотря на все обстоятельства, опровергающие это, не было никого, кого бы он любил и кем бы так восхищался, как Брайаном. «Пойми меня правильно, — говорил он Мери задним числом и в воображении. — Я абсолютно предан ему». Он начал обдумывать эту тему. Но ни одна сколь угодно великая часть его внутренних излияний не могла опровергнуть того факта, что он предал того, кто доверился ему, и был непростительно злобен, не умея даже оправдать свое поведение. В то же время конечно же эта злоба казалась ему выражением собственной психологической остроты; это обманутое доверие, неотъемлемые факты, без которых острота не могла бы подействовать. Но теперь...

Он внезапно почувствовал смущение и одновременно косноязычие и укор совести.

— Я ужасно сострадал Джоан, — запинаясь, пробормотал он, пытаясь исправить свою вину. — Я обещал, что сделаю все, что могу, чтобы помочь бедной девушке. Но что? Вот в чем вопрос. Что? — Он произнес это с преувеличенной долей смущения. Смущенный, он

---

<sup>256</sup> Гурмон Реми де (1858–1915) — французский писатель и критик.

был оправдан в том, что не оправдал доверие Джоан; он рассказал обо всем (начал он теперь убеждать себя) единственно для того, чтобы спросить совета у Мери — совета опытной светской женщины.

Но опытная светская женщина смотрела на него с сильным беспокойством. Глаза миссис Эмберли сузились и презрительно засверкали; левый уголок ее рта иронически сдвинулся.

— Самое прекрасное в тебе, — сказала она с мудрым видом, — это твоя невинность.

Ее слова были настолько оскорбительными, что он на мгновение забыл Джоан, Брайана, свое недостойное поведение и мог думать только о своем уязвленном тщеславии.

— Благодарю, — сказал он, — пытаюсь наградить ее откровенно забавной улыбкой. Невинен, она полагала, что он невинен? После времени, проведенного вместе в Париже. После всех шуток о маточных реакциях?

— Так восхитительно юн, так трогателен.

— Я рад, что ты так думаешь. — Улыбка на его лице стала кривой; он почувствовал, как кровь приливает к щекам.

— К тебе приходит девушка, — продолжала миссис Эмберли, — и жалуется на то, что ее недостаточно целовали. А ты тут как тут, торжественно спрашиваешь, что ты можешь сделать, чтобы помочь ей! И теперь ты краснеешь, как свекла. Дорогой мой, я тебя обожаю! — Положив руку ему на плечо, она приказала: — Встань на колени посреди комнаты.

С изрядной долей застенчивости он повиновался. Мери Эмберли с минуту смотрела на него молча и с лучисто-издевательской улыбкой в глазах. Затем мягко спросила:

— Хочешь, я покажу тебе, как тебе нужно помочь ей? Хочешь? Он кивнул, не отвечая ни слова; но тем не менее на расстоянии руки она испытующе улыбалась ему в лицо.

— Или же я кажусь тебе дурочкой? — спросила она. — Хорошо ли ты усвоишь урок? Может быть, я буду тебя ревновать? — Она покачала головой и улыбнулась — веселой и «цивилизованной» улыбкой. — Нет, я не верю в ревность. — Она сжала его виски обеими руками и, шепнула, придвинувшись к нему вплотную: — Вот как ты можешь помочь ей.

Энтони почувствовал себя униженным из-за того, что она почти с презрением взяла на себя ведущую роль; но ни стыд, ни негодование не могло отменить знакомой телу приятной щекотки и желания. Он отдал себя ее поцелуям.

Пробили часы, и немедленно с верхнего этажа донесся приближающийся звук пронзительных детских голосов. Миссис Эмберли подалась назад и, прислонив пальцы к губам, оттолкнула его от себя.

— Ты должен быть семьянином, — со смехом сказала она. — Сейчас шесть часов. В шесть часов я становлюсь любящей матерью.

Энтони вскочил на ноги и, думая, как бы не выдать того, что здесь происходило, подошел к камину и встал там, положив локти на каминную полку, глядя на акварель Кондера<sup>257</sup>.

Дверь с шумом распахнулась, и с визгом, похожим на свист скорого поезда, маленькая круглолицая девочка лет пяти ворвалась в комнату и закружилась вокруг матери.

Другая девочка, на три или четыре года старше, влетела следом.

— Элен! — непрестанно выкрикивала она, и ее лицо, выражавшее взволнованное неодобрение, было до смешного похоже на лицо гувернантки. — Элен! Ты не должна. Скажи ей, что она не должна так орать, мама, — обратилась она к миссис Эмберли.

Но миссис Эмберли только засмеялась и прошлась пятерней по пышным светлым волосам.

— Джойс верит в Десять Заповедей<sup>258</sup>. — сказала она, оборачиваясь к Энтони. —

---

<sup>257</sup> Кондер Чарлз (1868–1909) — австрийский живописец, писал акварелью и маслом.

<sup>258</sup> Десять заповедей — основы иудейского и христианского вероучения, данные, согласно Библии, Богом

Родилась с верой в них. Не так ли, родная моя? — Она обняла Джойс за плечо и поцеловала ее. — В то время как Элен и я... — Она качнула головой. — Слишком упрямы.

— Нэнни говорит, что сквозняк вызывает у нее упрямство, — подала голос Джойс и выразила негодование, когда ее мать, Энтони и даже, в результате непостижимой передачи заразы, маленькая Элен расхохотались. — Но это верно, — кричала она, и слезы разгневанной добродетели стояли у нее в глазах.

## Глава 28

*25 июня 1934 г.*

С какой легкостью человек может стать Стиггинсом в современном обличье! Гораздо более изысканным и, следовательно более отвратительным, более опасным Стиггинсом. Ибо сам Стиггинс был несомненно слишком глуп для того, чтобы обладать чрезвычайно скверным характером или быть способным причинять вред окружающим. Посему уж, если я предал этому свой ум, Бог знает к чему я могу прийти, двигаясь по пути духовной лжи. Даже если бы я не предавал этому свой ум, я мог бы зайти далеко — как я, к своему ужасу, представил сегодня, когда разговорился с Перчезом и тремя-четырьмя его адептами. Говорили об «антропологическом подходе» Миллера, о мире как образе жизни при условии, что любая политика имела хоть малейшую надежду быть перманентно успешной. Разговор был чрезвычайно ясным, глубоким и убедительным. (Бедные желторотые слушали развесив уши.) Гораздо более убедительно, чем когда-либо, говорил сам Перчез; этот атлетически-шутливый христианский стиль начинает с произведения эффекта, но вскоре заставляет слушателей почувствовать, что с ними говорят, как с ничего не понимающими. Они любят прежде всего то, чтобы оратор был как можно более серьезным, но при этом чтобы его можно было понять. Именно этим секретом я, кажется, владею. Так я поистине мастерски разглагольствовал на тему духовной жизни, втайне радуясь тому, что я не слишком заумен, и в то же время кажусь доброжелательным — и внезапно я понял, кто я такой. Я Стиггинс Я говорил о теории смелости, самопожертвования, терпения без знания практики. Говорил, ко всему прочему, тем людям, которые испытали на деле то, о чем я так громогласно вещал — проповедовал с таким эффектом, что мы поменялись ролями — они слушали меня, а не я их. Обнаружение того, что я делал, наступило внезапно. Меня охватил стыд. И все же, что было еще более постыдным, я продолжал речь. Правда, недолго. Через минуту или две я просто был вынужден прекратить, извиниться и настоятельно заявить, что читать лекцию на данную тему — не мое занятие.

Нэнни так сказала.

Сие иллюстрирует, как легко можно стать Стиггинсом по ошибке или неосознанно. Но эта неосознанность, однако, не является извинением, и человек в ответе за ошибку, которая возникает, конечно же из удовольствия, которое он получает оттого, что он более талантлив, чем другие, и оттого, что может управлять ими посредством своего таланта. Откуда же берется неосознанность? Оттого, что человек никогда не утруждал себя анализом своих мотивов; а анализ мотивов не происходит потому, что мотивы большей частью сомнительны. Если, конечно, человек отдает себе отчет в мотивах, но лжет себе насчет них, пока наконец не начинает верить, что они хорошие. Таково убеждение Стиггинса. Я всегда осуждал самохвальство и стремление к насильному принуждению, считая его вульгарным, и воображал себя полностью свободным от этих вульгарностей. И постольку, поскольку я вообще свободен, я теперь понимаю, что это только благодаря безразличию, которое отделило меня от остальных, благодаря финансовым и интеллектуальным обстоятельствам, которые сделали меня социологом, а не банкиром, администратором, инженером,

работающим в прямом контакте с моими друзьями. Не вступать в контакты, как я понял, неправильно; но в тот момент, когда я в них вступаю, то ловлю себя на мысли, что навязываю себя и свой диктат. Навязываюсь, что гораздо хуже, совсем как Стиггинс, пытаюсь оказывать чисто словесное воздействие путем игры добродетелями, которую я не стану применять на практике. Унизительно обнаруживать, что предполагаемые хорошие качества человека происходят в основном как следствие обстоятельств и дурной привычки ни на кого не обращать внимания, что и заставляло меня избегать поводов вести себя плохо. Заметьте: неплохо бы поразмышлять о добродетелях, противоположных тщеславию, жажде власти, лицемерию.

## Глава 29

24 мая 1931 г.

Занавески были подняты; солнечный свет ярким пятном ложился на туалетный столик. Элен, как обычно, была еще в постели. Дни тянулись долго. Нежась в мягкой, затмевающей сознание теплоте под одеялом, она сокращала время сном, смутными, непоследовательными мыслями, полусонным чтением. В это утро у нее на столике лежали стихотворения Шелли<sup>259</sup>. «И платье легкое точило аромат...» Она увидела длинноногую фигуру в белой кисее с покатыми плечами и высоко поднятой грудью.

...точило аромат,  
И волосы; и локоны, и взгляд  
Остановили бег, упавши вниз...<sup>260</sup>

(Фигура в туфлях-лодочках с квадратными носами и в перевязанных крест-накрест черной лентой белых хлопковых чулках, пустилась бегом.)

И сладость напоила слабый бриз;  
И дышащая дикостью краса  
Вне чувств, как та взогненная роса,  
Растаяла в ветвях замерзших тех...

Полуоткрывшаяся роза перед ее внутренним взором уступила место странно искажившемуся лицу Марка Стейтса. Что он рассказывал вчера о духах... Мускус, амбра... И Генрих IV<sup>261</sup> со зловонным потом своих ног. *Bien vous en prend d'etre rot; sans cela on ne vous pourrait souffrir. Vous puez comme charogne*<sup>262</sup>. Она скорчила гримасу. Запах Хью был похож на запах прокисшего молока.

Пробили часы. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать! Она почувствовала за собой вину; затем вызывающе сказала себе, что останется в постели до обеда. Знакомый голос, принадлежащий Синтии, укором прозвучал у нее в памяти. «Тебе следовало бы почаще выезжать в свет, встречаться с людьми». Но эти люди, люди Синтии, были нестерпимыми занудами. Она явственно увидела, как мать стучит пальцем по ее

<sup>259</sup> Шелли Перси Биши (1792–1822) — английский поэт-романтик.

<sup>260</sup> Здесь и далее — отрывки из поэмы Шелли «Эпипсихидон» (1821).

<sup>261</sup> Генрих IV (1553–1610) — французский король с 1589 г.

<sup>262</sup> Лучше бы вы были королем — вы бы так не страдали. Вы смердите, как падаль (*фр.*).



голове. «Твердая слоновая кость, моя дорогая! Безнадёжно глупа, невежественна, безвкусна, медлительна». «Я была воспитана выше моих умственных способностей, — вот и все, что она сказала Энтони той ночью. — И поэтому сейчас, если я когда-либо провожу время с людьми такими же глупыми и необразованными, как я сама, это мучительная, невыносимая пытка!»

Синтия была мила, конечно; мила всегда, даже в ту пору, как они имеее ходили в школу. Но муж Синтии — эта поисковая собака! А ее молодые люди и молодые женщины этих молодых людей! Мой дружок. Моя подружка. Как она ненавидела эти слова и тем более ту невыносимую манеру, с которой они произносили их! Такие беззастенчивые, такие наглые намеки на то, что они спят вместе! И в то же время большинство из них были крайне респектабельными. В тех случаях, когда они не были респектабельными, это казалось еще хуже — двойное лицемерие. На самом деле спали друг с другом и притворялись, что всего лишь лукаво притворяются. К тому же это носило угрюмый налет высокопоставленных англичан. А после этого они всегда играли в игры. «Ы-ыгры, — протягивала миссис Эмберли еще до того, как стала употреблять морфий. — Старая Добрая Школа к каждому дому». Смотри больше на этих людей, делай больше того, что делают они... Элен покачала головой,

Супруга! Ангел! Посланная Роком,  
Летящая в беззвездных небесах...

Было ли это все бессмыслицей? Или же это значило что-то, что-то восхитительное, чего она никогда не испытывала? Но нет, она когда то переживала нечто подобное.

Ибо в полях Бессмертия  
Мои дух сперва почтит дух верный твой,  
Что там нашел божественный покой...

Это было унизительно теперь, несомненно, но факт оставался фактом, с помощью Джерри она знала точно, что означали эти строчки. Божественное присутствие в божественном месте. И это было присутствием в постели мошенника, который являлся также виртуозом в искусстве любви. Она нашла извращенное удовольствие в том, чтобы настаивать как можно сильнее на гротескном несоответствии между фактами и тем, что она чувствовала.

Тебя люблю я; мне дано познать.  
Что на сердце моем лежит печать,  
Что влагу чистой, яркой сохранит  
Тебе...

Элен бесшумно рассмеялась. Звук часов, отбивших четверть, снова заставил ее подумать о совете Синтии. Были также другие люди — те, которых они встречали, когда обедали с Хью в музее университета. «Эти богобоязненные люди, — вновь заговорила ее мать, — которые не перестают бояться Бога даже тогда, когда выбросили его на обочину дороги». Комитет по богобоязни. Бояться Бога в лекционных залах Мировой ассоциации образования. Бояться его на нескончаемых дискуссиях Планового общества. Но приятная внешность Джерри, его искусство любовника — как все это запланировать так, чтобы это не существовало? Или зародыш беспрепятственно рос и рос в материнском чреве? «Координированная система планирования семьи на всю страну». Она вспомнила взволнованный, убедительный голос Фрэнка Дитчлинга. У него был вздернутый нос, и большие ноздри смотрели пристально, как вторая пара глаз. «Перераспределение населения... Спутниковые городки... Зеленые пояса... Лифты даже в домах рабочих...» Она слушала, поддаваясь гипнотическому воздействию его ноздрей, и в то время это казалось

прекрасным, тем, за что стоит умереть. Но впоследствии... Да, лифты — это очень удобно; ей захотелось иметь лифт у себя в квартире. Парки были прекрасным местом для гуляний. Но как могла кампания Фрэнка Дитчлинга привести к каким-либо желаемым результатам? Координированная политика не сделает ее мать менее грязной, менее безнадежно преданной на милость ее отравленного тела. А Хью — станет ли Хью другим в городе-спутнике или в доме с лифтом, если не будет ежедневно подниматься и спускаться с четвертого этажа в Лондоне? Хью! Она с издевкой подумала о его письмах — обо всем нежном, прекрасном, о чем он писал — и затем о человеке, которым он был в каждодневной жизни, — о ее муже. «Скажи мне, как я могу тебе помочь, Хью?» Приводя в порядок его бумаги, печатая на машинке его записки, выискивая дою него ссылки в библиотеке. Но всегда, со стеклянными глазами за стеклами очков, он качал головой: или ему не нужна была помощь, или она была неспособна оказать ее. «Я хочу быть хорошей женой, Хью». Со смехом матери, звучавшим у нее в воображении, ей было трудно произносить эти слова. Но они были искренни; она действительно хотела быть хорошей женой. Штопать чулки, греть для него молоко перед сном, читать написанное им, быть *serieuse*, впервые и глубоко. Но Хью не хотел, чтобы она была хорошей женой, она была не нужна ему. Божественное присутствие в божественном месте. Но местом были его письма; она присутствовала, когда дело касалось его, только на противоположном конце почтовой связи. Он даже не хотел, чтобы она спала с ним — или по крайней мере хотел ее не очень, не так, как это бывает обычно. Вот уж воистину зеленый пояс!

Но это не относилось к делу. Ибо делом были минуты молчания, которые наступали в те моменты, когда Хью принимал пищу. Дело было то мученическое выражение лица, которое появлялось, когда она входила в его кабинет во время работы. Дело были унижительные, жалкие приближения в темноте, отвратительная дистанция и чувственная аккуратность, в которой роль, отведенная ей, была чисто идеальной. Дело было выражение отчаяния, почти ужаса и отвращения, которое она распознала в первые недели их брака, когда она слегла с гриппом. Он выказал участие; и первое время она была тронута, почувствовала себя благодарной. Но когда она обнаружила, каких героических усилий ему стоило ухаживать за ней во время болезни, благодарность рассеялась. Сами по себе, без сомнения, усилия были восхитительны. То, чем она возмущалась, то, что она не могла простить, был как раз тот факт, что усилие было затрачено. Она хотела, чтобы ее принимали такой, какая она была, даже в лихорадке, даже с пеной и желчью на губах. В этой мистической книге, которую она читала, был отчет мадам Гийон о том, как она подняла с пола жуткий комок слюны и гноя и сунула себе в рот — ради испытания воли. Больная, она была испытанием воли Хью; и с тех пор каждый месяц обновляла тайный ужас тела. Это было нестерпимое оскорбление, и было бы не менее невыносимым в одном из спутниковых городков Дитчлинга, в распланированном мире, где только и слышались бы бредни богобоязненных атеистов.

Но существовала также Фанни Карлинг. «Мышь» — так прозвала ее Элен: она была маленькой, сизой, юркой и молчаливой. Но это была таинственная мышь. Мышь с огромными голубыми глазами, казавшимися постоянно удивленными тем, что они видели за оболочкой вещей. Удивленные, но в то же время невыразимо счастливые: это счастье казалось Элен почти неприличным, но она завидовала ему. «Как можно верить вещам откровенно лживым? — спрашивала она наполовину злобно, наполовину действительно желая познать ценный секрет». — «Жизнь заставляет, — отвечала мышь. — Если ты живешь истинной жизнью, все это оказывается абсолютно истинным». И она снова стала нести несусветную чушь о любви Бога и любви человеческой по воле Божьей. «Не понимаю, что ты хочешь сказать». — «Только потому, что не хочешь понять, Элен». Глупый, приводящий в бешенство ответ! «Откуда ты можешь знать, чего я хочу?»

Со вздохом Элен снова обратилась к книге.

В ту секту никогда я не вступал,

Чей был устав, чтоб каждый выбирал  
Любовницу и друга из толпы,  
(«Одного из моих мальчиков-друзей...»)  
А всем же остальным, хоть похвальбы  
Ведут к забвенью, хоть такие нравы,  
И торная дорога, что без права  
Уводит вдаль измученных рабов,  
Домой спешащих сенью мертвецов  
Путем широким по земле — и так  
Один им будет друг, а может, враг  
На сей унылый, бесконечный шлях.

«Унылый и бесконечный, — повторила она про себя. — Но он мог быть таким же долгим, — подумала она, — и таким же унылым с несколькими спутниками, как и с одним — с Бобом, Сесилом, Квентином и Хью».

Любовь — не то, что золотая нить  
Из-за того, что взять — не разделить.

— Я не верю в это, — сказала она вслух; и как-никак, она не испытывала слишком большой любви, чтобы делить ее. Для бедного мальчика Сесила она никогда не изображала больше чем сострадание. С Квентином это было просто... просто гигиена. Что касается Боба, он проявлял искреннюю заботу о ней, и она со своей стороны делала все, что могла, чтобы платить ему тем же. Но под его восхитительными манерами, под геройскими взглядами на самом деле не скрывалось ничего. А как любовник он был безнадежно неуклюж, груб, некультурен и непонятлив! Она порвала с ним всего несколько недель спустя. И может быть, продолжала думать она, это был ее рок — терять сердце только от таких мужчин, как Джерри, быть любимой только такими, как Хью, Боб и Сесил. Поклоняться жестокости и подлости, быть боготворимой пороком.

Зазвонил телефон; Элен подняла трубку.

— Алло.

Это был голос Энтони Бивиса. Он приглашал ее поужинать с ним завтра.

— Было бы неплохо, — сказала она, хотя уже обещала вечер Квентину.

У нее на лице играла улыбка, когда она снова легла на подушки. Интеллигентный человек, думала она. Стоит полсотни таких бедолаг, как Сесил или Квентин. Забавный, очаровательный, даже достаточно красивый. Каким приятным он показался ей в тот вечер у Марка! Специально постарался, чтобы выглядеть милым. В то время как этот осел и выскочка Питчли специально постарался, чтобы вести себя грубо, и оскорблял ее. Она была заинтригована, не был ли Энтони равнодушен к ней. Ей бы очень этого хотелось. Теперь его приглашение подавало повод не только надеяться на это, но и со всей уверенностью так считать. Она напевала про себя; затем с внезапной энергией отбросила в сторону одеяло. Наконец она решила встать с постели и одеться к завтраку.

## Глава 30

*2 июля 1914 г.*

Что касается Мери Эмберли, та весна и начало лета были для нее невыразимо скучными. Энтони, без сомнения, очаровательный мальчик. Но два года достаточно длинный промежуток времени; он потерял свою новизну. И к тому же он был слишком влюблен. Конечно, приятно, что в тебя влюблены, но не настолько же... и если любовь длится не так долго. В таком случае любовники причиняют лишь неприятности; они начинают

воображать, что у них есть права, а у тебя обязанности. Что совершенно невыносимо. Весь тот шум, который Энтони поднял прошлой зимой из-за того художественного критика в Париже!

Мери вряд ли видела, чтобы кто-нибудь был так безутешно расстроен, что льстило в определенном смысле. Художественный критик при более близком знакомстве оказался немного занудным, ей даже понравился процесс шантажа немymi несчастьями и слезами Энтони. Но сам принцип был неверен. Она не хотела, чтобы ее любили с помощью шантажа. Особенно если это затяжной шантаж. Она предпочитала, чтобы такого рода вещи были краткими, острыми и возбуждающими. В другой раз и с кем-нибудь другим, кто не был бы художественным критиком, она бы позволила ему шантажировать ее. Но беда в том, что, кроме Сидни Гэттика, — а она не полностью уверена, сможет ли выносить голос и манеры Сидни, — в поле зрения не было никого. Мир был местом, где все занятые и волнующие вещи, казалось, ни с того ни с сего перестали происходить. Вот почему она набросилась на Энтони с тем, что называла «лечение Джоан», просто в надежде немного позабавиться и нарушить вялое течение времени.

— Как продвигается лечение? — спросила она в очередной раз в тот июльский день.

Энтони ответил длинным рассказом, тщательно отрепетированным заранее, о своем положении Почтенного Дядюшки и о том, как он утверждался в более привилегированном статусе Большого Брата; как из Большого Брата он предложил почти незаметно эволюционировать до Сентиментального Кузена, а из Сентиментального Кузена...

— На самом деле, — сказала миссис Эмберли, перебив его, — ты маешься бездельем.

Энтони запротестовал.

— Я двигаюсь медленно. Пользуюсь стратегией.

— Стратегией! — презрительно откликнулась она. — Это всего-навсего трусость.

Он отверг ее обвинение, но не мог удержаться, чтобы не покраснеть. Потому что она конечно же была наполовину права. Это была трусость. Несмотря на два года, проведенные в качестве любовника Мери, он все еще страдал от застенчивости, ему все еще не хватало уверенности в себе в присутствии женщин. Но его робость была не единственной тормозящей силой в этом деле. Были также угрызения совести, привязанность и верность. Но обо всем этом говорить с Мери было невозможно. Она сказала бы, что он всего лишь пытается замаскировать свой страх с помощью нескольких удобных маскарадных костюмов, просто отказалась бы поверить в искренность всех других его чувств. И беда состояла в том, что это было бы оправдание ее отказа. Потому что в конце концов эти угрызения совести, привязанность и верность не сильно проступали наружу, когда он в первый раз рассказал ей свою историю. Как часто с тех пор в бесполезных выплесках гнева он проклинал себя за то, что это сделал. И, пытаясь убедить себя в том, что ответственность лежала не целиком на его плечах, также проклинал Мери. Винил ее за то, что она не сказала ему, что он предал дружескую верность из чистого распутства и тщеславия; за то, что она не отказалась слушать его.

— Суть дела в том, — теперь Мери продолжала уже беспощадно, — что у тебя кишка тонка целовать женщину. Ты только и можешь что надевать на себя нежные и томные лица и молчаливо просить, чтоб тебя соблазнили.

— Что за чушь! — Но он краснел еще сильнее, чем раньше. Не обратив внимания на то, что ее перебили, Мери продолжала:

— Конечно же она не соблазнит тебя. Она слишком молода. Может быть, не слишком, чтобы самой быть соблазненной. Потому что то, что тебя тянет к ней, называется материнским инстинктом, а он есть даже у трехлетнего ребенка. Даже трехлетний ребенок почувствует, что у него от тебя сжимается сердце. Сжим-мается. — Она насмешливо протянула «м». — Но обольщение... — Миссис Эмберли покачала головой. — Нельзя ожидать, что оно последует скоро. И естественно, не от двадцатилетней девушки.

— Дело в том, — проговорил Энтони, пытаясь отклонить ее от болезненного анатомирования его характера, — что я никогда не находил Джоан особенно

привлекательной. Слишком проста. — Он произнес это слово с выговором, характерным для Мери. — Кроме того, она еще совсем ребенок, — добавил он, моментально пожалев о том, что сказал, потому что Мери снова набросилась на него, как стервятник.

— Ребенок! — повторила она. — Мне это нравится. А как ты сам? С твоей болтовней о чайниках и горшках! Соска называет пеленку малым дитем. Хотя, конечно, — продолжала она, возобновляя атаку в том месте, где только что прервала ее, — это не более чем естественно, что ты жалуешься на нее. Она слишком ребячлива для тебя. Слишком ребячлива, чтобы набрасываться на других, и достаточно ребячлива, чтобы на нее набрасывались. Бедная девочка — она пришла не по тому адресу. Она не получит от тебя больше поцелуев, чем получает от своего сидящего во мраке раннего христианина. Даже если ты кричишь по всем углам, что ты цивилизованный...

Внезапно открывшаяся дверь прервала ее.

— Мистер Гэттик, — объявила камеристка.

Огромный, вульгарный, почти светящийся внутренним свечением самодовольства и уверенности, Сидни Гэттик гусиной походкой вполз в комнату. Его голос звучно загудел, когда он высказал свои приветствия и осведомился о здоровье. Глубокий, мужественный голос, какой может быть только у актера-режиссера, играющего роль силача. А его профиль, внезапно заметил Энтони, слишком походил на актерский — слишком добротный, чтобы быть естественным. И в конце концов, продолжал размышлять он, чувствуя презрение, порожденное ревностью и некоторой завистью к светскому успеху других, кто были эти адвокаты, если не актеры? Умные актеры, но ум у них как у прохожих зевак; способны зазубрить обстоятельства дела и все забыть через минуту после того, как оно окончено, как зазубривалась формальная логика или Деяния апостолов<sup>263</sup>. Никакого нормального образования и связного мышления. Просто ум экзаменуемого вложен в тело актера и выражается тягучим актерским голосом. И за это общество платит человеку пять или шесть тысяч фунтов в год. И человек считается важным, мудрым, замечательным; человек чувствует себя в положении патрона. Нельзя сказать, чтоб это было престижно, уверял себя Энтони, когда тебе покровительствует этот продувной, гудящий шарлатан. Было впору рассмеяться — до такой степени это было нелепо! Но, несмотря на нелепость и даже когда люди смеялись, покровительство казалось болезненно унижительным. То, например, как он играл сейчас видного пожилого военного, фальшивого сельского сквайра и, похлопывая его по плечу, говорил: «Ну, Энтони, парнишка мой!» — это было совершенно невыносимо. Хотя в данном случае невыносимость, как казалось Энтони, стоила того, чтобы с нею смириться. Человек мог быть докучливым и амбициозным дураком, но по крайней мере его появление уберегло его от нападков Мери. В присутствии Гэттика она не могла бомбардировать его упреками, касающимися Джоан.

Но он и без Мери и ее докучливой злонамеренной болтовни почувствовал немедленную потребность в чем-то забавном и волнующем. Немногие вещи более восхитительны, чем намеренный дурной вкус, более забавны, чем замешательство кого-то другого. Перед тем как Гэттик успел закончить свои предварительные гудения, она опять вернулась к старой, болезненной теме.

— Когда вам было столько же лет, сколько сейчас Энтони, — начала она, — всегда ли вы ждали, пока женщина соблазнит вас?

— Меня?

Она кивнула.

Оправившись от удивления, Гэттик улыбнулся понимающей улыбкой опытного Дон Жуана и как можно более мужественным голосом первого любовника произнес:

— Конечно же нет. — И самодовольно рассмеялся. — Наоборот, боюсь, что я врывался туда, куда ангелы боятся входить. Иногда получал пощечины. Но чаще всего нет. — Он

---

<sup>263</sup> Деяния апостолов — пятая по счету книга Нового Завета.

пошловато подмигнул.

— Энтони предпочитает сидеть смиренно, — сказала миссис Эмберли. — Сидеть смиренно и ждать, пока женщина сделает первый шаг.

— О, это плохо, Энтони, это очень плохо, — прогудел Гэттик, и его голос снова заставил вспомнить усы военного и твидовый костюм сельского джентльмена.

— Вот бедная девочка, которая хочет, чтобы ее поцеловали, — продолжала миссис Эмберли, — но просто не находит мужества взяться рукой за талию и сделать это.

— Нечего сказать в свою защиту, Энтони? — спросил Гэттик. Пытаясь, но довольно неуспешно, притвориться, что ему все равно, Энтони пожал плечами.

— Только вот это и неверно.

— Что неверно? — спросила Мери.

— Что у меня нет смелости.

— Но правда то, что ты не поцеловал. Не так ли? — настаивала она на своем. — Ведь так? — И когда ему пришлось признать, что это правда, она заявила: — Я всего лишь делаю очевидные выводы из фактов. Вы юрист, Сидни. Скажите мне, справедливо ли это заключение?

— Абсолютно справедливо, — произнес Гэттик, и сам лорд-канцлер не говорил бы более веско. Он был окружен аурой мантий и пышных париков. Он был воплощенное правосудие.

Энтони открыл рот, чтобы что-то сказать, но затем снова его закрыл. Перед лицом Гэттика и Мери, упрямо считающей, что она очень «цивилизованна», он не мог прямо выразить свои чувства. И если это и были его истинные чувства, почему (вопрос снова возник сам собой), почему он рассказал ей об этом? И рассказал в ее своеобразном стиле — как будто он был режущим по живому комедиантом. Тщеславие, распутность; и затем, конечно, тот факт, что он был влюблен в Мери и старался ей угодить любой ценой, даже ценой того, что он искренне чувствовал. (И в момент рассказа, как он был вынужден признать, он не чувствовал ничего, кроме желания быть интересным.) Но опять же это невозможно было выразить словами. Гэттик не знал об их связи и не должен знать. И даже если бы не Гэттик, было бы сложно, почти невозможно объяснить это Мери.

Она бы подняла на смех его романтические бредни — насчет Брайана, насчет Джоан, даже насчет себя, сочла бы его смешным и нелепым из-за того, что он делает трагедию из ничтожной любовной интрижки.

«Люди склонны настаивать, — говаривала она, — на том, чтобы относиться к *mons Venetiis*<sup>264</sup> так, как если бы это была гора Эверест<sup>265</sup>. Слишком глупо!»

Когда он наконец начал:

— Я не делаю этого... — ему пришлось ограничиться словами, — ...потому что не хочу.

— Потому что ты не осмеливаешься, — воскликнула Мери.

— Осмеливаюсь.

— Нет. — Ее темные глаза сверкнули. Она была в высшей степени довольна собой.

Гудя, но с долей усмешки в низком голосе Лорд-канцлер снова попытался отстоять свои позиции.

— Это сокрушительный удар по тебе, — сказал он.

— Готова держать пари, — сказала Мери. — Пять шансов против одного. Если тебе удастся сделать это в течение месяца, я дам тебе пять фунтов.

— Но я говорю тебе, что не хочу.

— Нет, так просто ты не отвертишься. Пари есть пари. Пять фунтов тебе, если ты

---

<sup>264</sup> Венерин холм, лобок (*лат.*).

<sup>265</sup> Эверест (также Джомолунгма) — самая высокая точка земного шара — 8448 м над уровнем моря.

успешно справишься с задачей за месяц. А если нет, то ты заплатишь мне один фунт.

— Вы слишком щедры, — заметил Гэттик.

— Всего один фунт, — повторила она. — Но я никогда не буду с тобой общаться.

Несколько секунд они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Энтони сильно побледнел. Сжав губы и наклонив голову, Мери улыбалась; за полузакрытыми веками ее глаза горели злобной усмешкой.

Почему ей нужно было быть такой грубой с ним, размышлял он, такой законченной стервой? Он ненавидел ее, ненавидел еще больше из-за того, что бешено хотел ее, из-за воспоминаний и предвкушения тех удовольствий, из-за ее свободного ума и эрудиции, словом, из-за того, что заставляло его неизбежно делать все, что она хотела. Даже тогда, когда он знал, что это глупо и неверно.

Наблюдая за ним, Мери видела взбунтовавшуюся ненависть у него в глазах, и, когда он наконец опустил их, она разгадала в них знак собственного триумфа.

— Больше никогда, — повторила она. — Никогда совсем.

Дома, когда Энтони вешал шляпу на вешалку в прихожей, отец окликнул его.

— Загляни сюда, сынок.

«Черт!» — выругался про себя Энтони; у него на лице явно отразилась досада, но мистер Бивис был слишком занят, чтобы заметить это, когда Энтони вошел в его кабинет.

— Я тут немного поразвлекся с картой, — сообщил мистер Бивис, сидевший за письменным столом с развернутым листком «Швейцарского артиллерийского обозрения». У него была страсть к картам, страсть, которой он частично был обязан своей любви к прогулкам, частично профессиональному интересу к именам собственным. — Комбаллас, — пробормотал он про себя, не глядя на карту. — Шамоссер. Очаровательно, очаровательно! — Затем, повернувшись к Энтони, сказал: — Чрезвычайно сожалею в том, что твоя совесть не позволяет тебе взять отпуск и отправиться с нами. Энтони, выдвинувший исследовательскую работу в качестве отговорки для того, чтобы остаться в Англии с Мери, веско кивнул головой.

— Совершенно невозможно читать серьезные книги на большой высоте, — пояснил он.

— Насколько я могу предсказать, — произнес мистер Бивис, снова занявшийся картой, — у нас будут веселые гуляния и восхождения на Дьябелере. И какое восхитительное это название! — добавил он кстати. — Ввысь на Коль-дю-Пийон, например. — Он проследил пальцем извилистый путь дороги. — Видишь?

Энтони нагнулся немного ближе и бегло взглянул.

— Нет, не увидишь, — продолжал мистер Бивис. — Я все закрыл рукой. — Он выпрямился и полез сначала в один карман, потом в другой. — Где же у меня, — сказал он, нахмурившись; затем внезапно самая смелая филологическая шутка пришла ему в голову, и нахмуренные брови сменились лукавой улыбкой. — Где у меня этот маленький пенис? Или, если точнее, крошечный карандашик?..

Реакцией Энтони была только бледная, смущенная мина в ответ на озорное подмигивание отца.

— *Pencil*, — был вынужден объяснить мистер Бивис. — *Penecillus* — уменьшительное от *peniculus* — двойного уменьшительного от *penis*, что, как ты знаешь, — продолжил он, наконец вынув карандаш из левого внутреннего кармана, — первоначально означало «хвост». А теперь давай снова произведем атаку на Пийон. — И поднеся карандаш к карте, он проследил им зигзагообразные линии. — А когда мы поднимемся на вершину Кол, — говорил он, — то возьмем курс на северо-запад до склона Мон-Форнеттац, и потом...

Это был первый раз, думал Энтони, когда отец в его присутствии заговорил на тему физиологии пола.

## Глава 31

6 сентября 1933 г.

— Смерть, — произнес Марк Стейтс. — Это единственное, что мы еще умудрились не опознать. Не потому, конечно, что у нас не было такого желания. Мы как собаки в Акрополе. Бегаем с наполненными пузырями и только и норючим поднять ножку под каждой статуей. И в большинстве случаев нам это удается. Искусство, религия, героизм, любовь — на всем мы оставили свои визитные карточки. Но смерть — смерть остается недостижимой. Мы оказались неспособными осквернить эту статую. Пока по крайней мере. Но прогресс все еще идет вперед. — Он растянул рот в неестественной улыбке. — Чем более многообещающие надежды, тем светлее будущее... — Костлявые руки изобразили загибающий жест. — Когда-нибудь такой-то будочный гений без сомнения сумеет вскарабкаться и нанести точный и заслуженный удар прямо в лицо этой статуи. Но к счастью, прогресс еще не зашел так далеко. Смерть пока остается.

— Остается, — повторил Энтони. — Но дымовая завеса довольно плотная. Мы умудряемся почти всегда забывать о ней.

— Ну уж, не всегда. Она висит неуничтожимо. Нетронутая. И даже, — оценивающе произнес Марк, — больше чем нетронутая. В наших руках большие и лучшие дымовые завесы, чем были у наших отцов. Но за дымом враг более грозен. Смерть выросла, несомненно, а утешения и надежды растаяли, как дым. Выросла до таких размеров, какой была тогда, когда люди серьезно верили в ад. Потому что если ты теперь занят тем, что ходишь в кино, читаешь газеты, смотришь футбол, ешь шоколад, то знай, что наступит смерть, которая есть ад. Каждый раз, когда дымовая завеса немного рассеивается, люди одним глазком подглядывают за тем, что там, и ужасаются. Я считаю, что это утешительная мысль. — Он снова улыбнулся. — Это многое примиряет. Даже для тех занятных собачат в Акрополе. — Повисла тишина. Затем он продолжал, уже другим тоном: — Утешительно думать, что смерть остается верной. Все остальное преходящее, но смерть не изменит нам. Если случится так, что нам придется рисковать жизнью, мы сможем рисковать ею так же всецело, как раньше. — Он поднялся, обошел раз или два комнату; затем остановился перед креслом, где сидел Энтони. — Вот зачем я пришел к тебе, — сказал он.

— Зачем?

— Чтобы поговорить о том, как рисковать жизнью. Я чувствовал, будто завяз в тряпине. По горло в болоте цивилизованного общества. — Его лицо исказилось, как при вдыхании смрадного запаха. — Нет другого выхода. Снова рисковать. А это было бы как глоток свежего воздуха. Я думал, что, может быть, ты тоже... — Он оборвал фразу на середине.

— Мне никогда не приходилось подвергаться опасности, — сказал Энтони после паузы. — Кроме того случая, когда она меня прямо подстерегла, — добавил он, вспоминая о том тупоголовом с ручной гранатой.

— Не повод ли это для того, чтобы начать?

— Беда в том, — сказал Энтони хмурясь, — беда в том, что мне всегда мешала трусость. Нравственная трусость, конечно. Может быть, это было также вызвано физическим состоянием — не знаю. Мне никогда не представился случай доподлинно выяснить.

— Я бы подумал, что у тебя есть более надежная причина.

— Может быть.

— Если это повод для того, чтобы круто изменить свою жизнь, не было ли лучше всего изменить все одним ударом?

— Смертельным ударом?

— Нет, нет. Просто риск, никакого самоубийства. Это всего лишь опасно, то дело, о котором я думаю. Не более того. — Стейтс снова сел на стул. — На днях я получил письмо, — начал он. — От старого мексиканского приятеля. Человека, с которым я работал в фирме «Финка». Зовут его Хорхе Фуэнтес. По-своему замечательный человек.

Он рассказал историю Хорхе, окруженного революционерами в своем поместье в долине Оахаки. Большинство других землевладельцев бежали. Он был одним из тех



немногих, кто поднял сопротивление. Сперва ему помогали два его брата. Но их убили, одного из ружья, с дальнего расстояния, а другого с помощью мачете в засаде среди кактусов. Хорхе бился в одиночку. Затем, когда он скакал на лошади по полям, дюжине бандитов удалось вломиться в его дом. Он вернулся и обнаружил свою жену и двух маленьких сыновей убитыми. После всего этого дом больше не было смысла защищать. Он достаточно долго продержался и застрелил троих убийц, затем оставил родовое имущество и пошел работать по найму. Это было как раз в тот период, когда Марк познакомился с ним. Теперь у Хорхе снова был собственный дом и немного земли; он служил агентом для многих плантаторов на тихоокеанском побережье штата Оахака: набирал для них рабочую силу и был единственным, кому доверяли индейцы, единственным, кто не пытался их обмануть. Не так давно, однако, случилась беда. Дон Хорхе ударился в политику, стал главой партии, у него завелись враги и чуть менее опасные друзья. Теперь он был в оппозиции; губернатор штата преследовал его и его соратников. Плохой человек, по мнению дона Хорхе; продажный, несправедливый, да и непопулярный. Избавиться от него было бы не слишком сложно. Часть войск обязательно изменит ему. Но перед тем, как начать подготовку переворота, дон Хорхе хотел знать, есть ли какая-то перспектива того, что Марк окажется в районе Оахаки в ближайшем будущем.

— Бедный старый Хорхе! Он так трогательно верит в здравость моих рассуждений. — Марк рассмеялся. Приуменьшать веру в него дону Хорхе, устранять причины этой веры, — это разливало по всему его телу жгучее наслаждение. Он мог рассказать Энтони о том случае, когда старый осел пошел и позволил бандитам поймать себя, и о том, как его вызволили. Хорошая история, к тому же вполне правдоподобная. Но он извлек бы большее удовольствие из того, чтобы не рассказывать ее. — Да, это лучше, чем его суждения, — продолжал Марк. — Но это все равно что ничего не сказать. Дон Хорхе смел — смел как лев, но по-глупому. Никакого чувства реальности. Он устроит путаницу из своего переворота.

— Если там не будет тебя и ты не поможешь ему. А ты предлагаешь отправиться чуда?

Марк кивнул.

— Я написал ему, что приеду, как только смогу уладить свои дела в Англии. Мне пришло в голову, что ты... — И он опять оборвал фразу на полуслове и вопросительно посмотрел на Энтони.

— Неужели ты думаешь, что это уважительная причина? — наконец задал вопрос Энтони.

Марк рассмеялся.

— Такая же уважительная, как любой другой мексиканский политик, — ответил он.

— Это достаточно уважительно?

— Для моей цели. И в любом случае, что такое уважительная причина? Тирания при комиссарах, тирания при гауляйтерах — не все ли равно? Тупоголовый сержант всегда тупоголовый сержант, независимо от цвета его рубашки.

— То есть революция с целью сделать революцию?

— Нет, у меня своя цель. Все это ради каждого, кто примет участие в восстании. Ведь каждый сможет позабавиться во время переворота так же, как и я.

— Надеюсь, что буду чувствовать себя великолепно, — вымолвил Энтони после паузы.

— Несомненно.

— Хотя я чертовски боюсь — даже с этого расстояния.

— Что сделает всю процедуру еще более интересной. Энтони глубоко вздохнул.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Я поеду с тобой. — Затем с силой: — Это наиглупейшая, наименее осмысленная идея, о которой я когда-либо слышал, — заключил он. — Но так как я всегда был умным и рассудительным... — Он осекся и, смеясь, потянулся за трубой и жестянкой табаку.

## Глава 32

29 июля 1934 г.

Сегодня после обеда пошли с Элен послушать речь Миллера в Тауэр-Хилле<sup>266</sup>. Собралась большая толпа. Он говорил хорошо — правильный подбор аргументов, шуток, эмоциональный настрой. Тема — мир. Мир везде или никакого мира вообще. Мир между народами недостижим без включения в политику межличностных отношений. Милитаристы дома, на фабрике и в конторе в отношениях с подчиненными и конкурентами не могут претендовать на то, чтобы правительство относилось к ним как к пацифистам. Лицемерны и глупы те, кто защищает мир между государствами и в то же время ведет личные войны в бизнесе и в семье. В это время коммунисты в толпе стали забрасывать оратора вопросами. Как можно чего-либо достигнуть без революции? Без ликвидации личностей и классов, стоящих на пути социального прогресса? И так далее. Ответ (как всегда с чрезвычайно острым чувством юмора): цель определяет результат. Насилие и принуждение приводят к постреволюционному обществу; не к коммунистическому, но (как в России) иерархичному, управляемому олигархией, использующей методы тайной полиции. И тому подобное.

Спустя около четверти часа рассерженный молодой клакер забрался на маленькую стенку, где стоял Миллер, и стал угрожать тем, что сбросит его, если тот не прекратит. «Ну давай, Арчибальд!» Толпа расхохоталась; молодой человек еще более рассердился, приблизился, сжал кулаки, выпрямился. «Слезай, старый ублюдок, или я...» Миллер стоял достаточно спокойно, улыбался, руки по швам, повторял «хорошо», — он не возражал против того, чтобы его сбросили. Атакующий по-боксерски задвигал руками, сунув кулак на расстояние дюйма от носа Миллера. Старик не шелохнулся, не выдал ничем страха или гнева. Противник отвел руку, но вместо удара в лицо нанес достаточно сильный удар в грудь. Миллер зашатался, потерял равновесие и свалился со стенки в толпу. Извинившись перед людьми, на которых он упал, Миллер рассмеялся и снова поднялся на стенку. Пошла еще одна репетиция представления. Снова молодой человек набылся, но когда Миллер снова не поднял рук, не показав и тени страха или гнева, ударил его в грудь. Миллер упал и снова вскарабкался. Получил еще один удар. Подшлся еще раз. В этот раз человек вознамерился ударить по лицу, но ладонью плашмя. Миллер прямо держал голову и улыбался. «Пенни за три удара, Арчибальд». Человек налетел на Миллера и сбил его со стенки. Тот снова взобрался на нее, посмотрев на часы. «Еще десять минут, и тебе придется приниматься за работу, Арчибальд. Давай». Но в этот раз у того нашлось смелости только сжать кулаки и назвать Миллера старым кровопийцей и реакционером. Затем он повернулся и сошел со стенки, преследуемый злобным смехом, выкриками, посвистами и улюлюканьем толпы. Миллер продолжил речь.

Реакция Элен была любопытной. Негодование при виде зверства юнца по отношению к старику. Но в то же время гнев на Миллера, который позволил себя сшибать, не оказывая сопротивления. Причина этого недовольства? Неясна; но я думаю, что она с негодованием отнеслась к успеху Миллера. Отрицала тот факт, что юнец был психологически доведен до бессилия. Отрицала и возмущалась тем, что подобная демонстрация была альтернативой терроризму и ненасильственным средствам борьбы. «Это всего лишь уловка», — сказала она.

«Не такая уж легкая уловка, — настаивал я. — Я уж, конечно, не смог бы осуществить такое». — «Любой мог бы научиться, если б попробовал». — «Возможно; здорово бы было, если б мы все попробовали?» — «Нет, я думаю, это глупо». — «Почему?» Она затруднилась с ответом. «Потому что это неестественно», — такова была причина, которую ей наконец удалось сформулировать, и она принялась развивать ее в терминах какой-то эгалитарной философии<sup>267</sup>. «Я хочу быть, как все другие. Хочу иметь такие же чувства и интересы. Я не

---

<sup>266</sup> Тауэр-Хилл — лекторий в Лондоне.

<sup>267</sup> Эгалитаризм — мелкобуржуазная утопия, проповедующая всеобщую уравнительность как принцип

хочу быть какой-нибудь особой. Просто обычный человек; не кто-нибудь, кто горд тем, что освоил сложный трюк. Как этот твой Миллер». Я отметил, что все мы обучаемся таким сложным трюкам, как вождение машины, работа в конторе, чтение и письмо, переход через улицу. Почему бы нам не освоить и другой сложный трюк? Трюк потенциально гораздо более полезный. Если бы все смогли научиться этому, то кто-то мог бы позволить себе быть как все, безопасно разделять все чувства с уверенностью, что приобретешь что-то хорошее, а не плохое. Но Элен никак не поддавалась увещаниям. И когда я предложил присоединиться к старику и устроить совместный вечерний обед, она отказалась. Сказала, что и знать его не хочет. Что тот молодой человек был совершенно прав — Миллер реакционер. Реакционер, кутающийся в маскировочный саван разговоров об экономической справедливости, но за всем этим он — всего лишь агент тори. Его настойчивые утверждения, что перемен в социальной организации было недостаточно, что они должны сопровождаться, должны вырастать из перемен в межличностных отношениях — что это, если не нота консерватизма? «Я считаю, что он вредный элемент, — сказала она. — И считаю также, что ты вредный элемент». Но она согласилась на ужин со мной. Что показывало, насколько дешево она оценивала мои силы и способности поколебать ее убеждения!

Аргументы... я мог привести кучу аргументов; она не восприняла бы их. Но акция Миллера задела ее. Он высказал свою доктрину и подкрепил ее действием, не ограничившись одной декларацией. Ее признание в том, что я не мог уязвить ее сквозь доспехи, как он, было крайне оскорбительным. Тем более что я знал, что это правда.

Настойчивость, храбрость, выносливость. Все это плоды любви. Полюби добро, и безразличие и лень станут неприемлемы. Смелость приходит так же, как к матери, защищающей свое дитя; и в то же время нет страха перед противником, которого любишь, что бы он ни делал, любишь за возможность добра в нем. Что же до болезни, утомленности, злобы — они уносятся с радостью, ибо кажутся незначительными по сравнению с добром, которое любишь и которого хочешь достичь. Огромная пропасть отделяет меня от этого состояния! То, что Элен не испугалась моей вредности (которая была лишь теоретической), но устрасилась Миллера (так как сама его жизнь была аргументом) являлось болезненным напоминанием об этой пропасти.

## Глава 33

*18 июля 1934 г.*

Занавес поднялся, и их взору предстала Венеция, зеленая при лунном свете; Яго разговаривал с Родриго на пустынной улочке.

— Огня скорее! Дайте мне свечу<sup>268</sup>, — кричал Брабанцио из своего окна. И спустя секунду улицу заполнила толпа, послышалось бряцание оружия и доспехов, факелы и светильники горели желтым светом в зеленой темноте...

— Невыносимо вульгарная декорация, — вынес вердикт Энтони, когда занавес упал после первой картины.

Джоан посмотрела на него с удивлением.

— Неужели? Да, наверное, она плохая, — прибавила она, неискренне отдавая филистерскую дань вкусу. На самом деле она находила ее восхитительной. — Ты знаешь, — призналась она, — я всего лишь пятый раз в театре.

— Только пятый раз? — словно не веря, переспросил он.

Но перед ними уже возникла другая улица и еще больше вооруженных людей, снова

---

организации общественной жизни.

<sup>268</sup> Здесь и далее цитаты из пьесы Шекспира «Отелло» даются в переводе Б. Л. Пастернака.

Яго, грубовато-добродушный, и сам Отелло, гордый, как настоящий король, отдающий приказания каждым словом и жестом; и когда Брабанцио вошел со всей свитой, когда свет от факелов мерцал на их копьях и алебардах, какой героически величавой казалась сцена! «Долой мечи! Им повредит роса». — Мучительный озноб пробежал у нее по спине, когда она слушала реплики героев, когда поднялась черная рука, и кончики мечей опустились к земле от одного этого жеста.

— Он совершенно правильно произносит текст, — признал Энтони.

Зал совета был богато украшен лепниной; туда и сюда проходили сенаторы в красных мантиях. И вот снова появился Отелло.

Все еще по-королевски величествен, но королевское благородство на этот раз выразалось не в командах, не в поднятии руки, а выше — в божественной надмирности его слов, спокойной, величественной музыке.

Говорил  
О сказочных пещерах и пустынях,  
Ущельях с пропастями и горах,  
Вершинами касающихся неба...

Ее губы пошевелились, когда она повторила за ним знакомые слова — знакомые, но видоизмененные голосом, позой говорящего, местом действия, и, хоть она знала их наизусть, они казались совершенно новыми.

И вот наконец вышла Дездемона, юная, прекрасная; ее шея и обнаженные плечи хрупко и нежно поднимались над тяжелым, величественным платьем. Роскошная парча, и под нею восхитительно манящее девичье тело; прекрасные слова девичьим голосом.

Слушаться вас мой дочерний долг.  
Но вот мой муж.

Она снова почувствовала, как по ее спине бегут мурашки. И вот все удалились, Отелло, Дездемона, сенаторы, воины, вся красота, все благородство — остались только Яго и Родриго, что шептались в пустом покое. «Когда она будет сыта им по горло, она опомнится». И затем тот жуткий монолог. Намеренное, сознательное зло...

Аплодисменты, свет, возвещающий об антракте, были почти святотатством, и, когда Энтони предложил купить ей коробку шоколада, она почти негодуя отказалась.

— Как ты думаешь, есть ли такие люди, как Яго? — спросила она. Он покачал головой.

— Люди не признаются себе в том, что зло, которое они совершают, есть зло. Они поступают так, не отдавая себе отчета. Или же изобретают причины, по которым верят, что так правильно. Яго — плохой человек, который пропускает суждения других людей мимо ушей.

Свет снова потух. Началась сцена на Кипре. Они увидели Дездемону и Отелло под палящим солнцем и охраняющую нежность его любви!

Солнце село. В сумеречном помещении, между каменных стен пили, ругались, бряцали мечами и снова Отелло королевским приказом, требующим молчания, призвал к повиновению. Последним королевским приказом. В последующих сценах было невыносимо смотреть на великого воина, сановитого дворянина, благородного венецианца, превращающегося под ударами Яго в негра, дикаря, неуправляемого, первобытного неандертальца. «Платок — признания — платок!.. Носы, уши, губы! Возможно ли это?» И потом намерение убить. «Зачем яд? Лучше задушите ее в постели, которую она осквернила». И затем жуткое излияние его гнева на Дездемону, удар, нанесенный публично; унижительное уединение в запертой комнате и диалог между девушкой, вставшей на колени, и Отелло, моментально обретшим здравомыслие, но здравомыслие низкое, неблагородное, такое, как у

Яго, цинично признающего только худшее, верящего в возможность свершения только того, что было самым низменным.

Ну, виноват. А я предполагал,  
Что ты — дитя венецианских улиц,  
В супружестве с Отелло.

У него в голосе была омерзительная нота издевки, отдающая жутким пошлым смехом. Джоан невольно начала дрожать.

— Это невыносимо, — прошептала она Энтони между картинами. — Зная о том, что должно случиться. Это слишком ужасно. Я просто не могу этого вынести.

Ее лицо побледнело; она говорила с искренней силой чувства.

— Тогда давай уйдем, — предложил он. — Прямо сейчас. Она замотала головой.

— Нет, нет. Я должна досмотреть до конца. Должна.

— Но если тебе не вынести...

— Не проси меня объяснить. Не сейчас...

Занавес снова поднялся.

У матери моей была служанка,  
Варвара. Друг ее, гулявший с ней,  
Был ветрогоном и Варвару бросил.  
Была у ней излюбленная песнь.

Ее сердце учащенно билось и болело от ожидания трагедии. Почти детским голосом, сладостным, но тоненьким и не поставленным Дездемона начала петь:

Несчастливая крошка в слезах под кустом  
Сидела одна у обрыва.

Неясный образ возник перед глазами Джоан; слезы покатались по ее щекам.

Наконец спектакль кончился и они вышли на улицу. Джоан глубоко вздохнула.

— Я хочу идти, милую за милей, без остановки.

— Но ты же не можешь этого сделать, — коротко сказал он. — Во всяком случае, не в этом платье.

Джоан взглянула на него с выражением болезненного удивления.

— Ты сердисься на меня? — спросила она.

Покраснев, он не нашел ничего лучшего, как улыбнуться.

— Сержусь? С чего это я должен сердиться? — Но она была, конечно, права. Он был сердит — сердит на все и всех, кто был виной теперешнего невыносимого положения: на Мери, за то, что она впутала его во все это, на себя, за то, что позволил себя связать, на Джоан, за то, что она была предметом того жуткого пари, на Брайана, потому что на нем лежала полная ответственность за все случившееся, и даже на Шекспира, актеров и теснящуюся толпу...

— Ну не сердись, — взмолилась она. — Сегодня такой чудесный вечер. Если б ты знал, как восхитительно я чувствую себя благодаря тебе! Но мне приходится быть слишком осторожной с восхищением. Все равно что нести чашку, наполненную до краев. Малейший толчок — и все пропало. Так дай же я спокойно донесу ее до дома.

Ее слова заставили его смутиться, почти почувствовать за собой вину. Он нервно засмеялся.

— Как ты думаешь, тебе удастся спокойно донести ее до дома в экипаже? — спросил он.

Ее лицо осветилось от удовольствия, вызванного этим предложением. Он помахал

рукой, и кеб остановился перед ними. Они забрались внутрь и закрыли за собой дверь. Кебмен потянул за удила. Старая лошадь прошла несколько шагов и затем, после удара кнута, пустилась очень медленной рысью. Мимо Ковентри-стрит, через горящий огнями цирк, на Пиккадилли. Над шпилем собора Святого Иакова растворенная чернота неба светилась медным свечением. Отражавшаяся в антрацитной мгле дороги длинная перспектива фонарей казалась невыразимо печальной, как напоминание о смерти. Но вот показались деревья Грин-парка — яркие, дышащие неземной, почти весенней свежестью там, где свет фонарей касался листьев. Жизнь царила так же, как и смерть.

Джоан сидела не говоря ни слова, бережно удерживая в душе хрупкую чашу неведомого блаженства, в которую также была налита сильнейшая печаль. Дездемона была мертва, Отелло мертв, и фонари, удалявшиеся навсегда сужающейся галереей, стали символами их участи. И все-таки уныние сходящихся параллелей и скорбь после трагедии были такими же неотъемлемыми составляющими ее теперешней радости и восторга, вызванного красотой поэзии, как и радость и почти аллегорическая красота тех сияющих листьев. Но эта ее радость не была каким-то одним, особенным чувством, затмевающим все другие; это были все чувства, слитые воедино, — состояние, может быть, цельной и неделимой тревоги. Голоса и отголоски ужаса, восторга, жалости и смеха — все гармонично уживалось в ее сознании. Она сидела там, за лошадью, бегущей мелкой рысью, спокойная, но спокойствие это содержало в себе накал сколь угодно сильной страсти. Печаль, радость, боязнь, веселье — неразделимо, необыкновенно переплелись во всем ее существовании. Она лелеяла в душе призрачное чудо.

Экипаж, думал он, был самым надежным местом. Они подъехали уже к углу Гайд-парка; к этому времени он уже должен был по крайней мере держать ее за руку. Но она сидела, как статуя, глядя в пустое пространство, в потусторонний мир. И если бы кто-то грубо вернул ее в сферу реальности, она бы обрушила на того человека свой гнев.

«Мне нужно придумать версию для Мери, — решил он. — Но это не так уж легко». У Мери был исключительный талант распознавать ложь.

Старая лошадь в упряжи осторожно замедлила ход и остановилась. Они приехали. «Ой как быстро, — подумала Джоан, — ой как быстро». Она бы могла ехать так вечно, молчаливо нежась в лучах несказанной радости. Она вздохнула, едва ступив на тротуар.

— Тетушка Фэнни просила, чтобы ты зашел пожелать ей спокойной ночи, если она еще не ляжет.

Это означало, что последняя надежда на это исчезла, подумал он, последовав за ней в слабо освещенную прихожую.

— Тетушка Фэнни! — тихо позвала Джоан, открывшая дверь в гостиную. Но ответа не последовало; в комнате царил мрак.

— Легла спать?

Она повернулась к нему и утвердительно кивнула. Буквально секунду они молча стояли лицом к лицу.

— Мне пора идти, — наконец вымолвил он.

— Сегодня был удивительный вечер, Энтони. Просто удивительный.

— Я рад, что тебе понравилось. — За улыбкой-ширмой он думал и понимал, что последний шанс еще не упущен.

— Это было больше, чем просто удовольствие, — говорила она. — Я не знаю, как назвать то, что было. — Она улыбнулась ему и добавила: — До свидания. — И протянула руку.

Энтони взял ее, сказал «до свидания» в ответ; затем, внезапно решив, что это может быть теперь или никогда, обнял ее за плечи и поцеловал.

Внезапность его решения и смущение придали его движениям неуклюжую резкость, неотличимую от той, которая могла бы быть результатом импульсивного влечения, не поддающегося никаким правилам рассудка. Сперва его губы коснулись ее щеки, затем прильнули ко рту. Она пыталась отвернуться, спрятаться; но движение было совершено

почти до того, как началось. Она прильнула к его губам своими, повинувшись неожиданному порыву Размытое и непостижимое чувство, наполнявшее ее весь вечер, внезапно обрело реальные формы, превратившись в почти сокрушительное наслаждение, которое, начиная от губ, овладело всем ее телом и разумом. Изумление и гнев первой секунды были поглощены бурей новых ощущений, Казалось, будто тихие сумерки внезапно зажглись ярким пламенем, будто расслабленные, немые струны музыкального инструмента вдруг натянулись и стали вибрировать, издавая резкие и пронзительные звуки, пока наконец яркость и напряжение не истощились после чрезмерного накала. Она чувствовала, словно внутри у нее возникла пустота, разверзлась пропасть мрака.

Энтони ощущал, как тяжелеет в его руках ее тело. Оно стало настолько тяжелым, что Энтони едва не потерял равновесие. Собравшись с силами, он еще сильнее прижал ее к себе.

— Что с тобой, Джоан?

Она не ответила, прильнув лбом к его плечу.

Он чувствовал, что если сейчас отпустит Джоан, то она упадет. По всей видимости, ей внезапно стало дурно. Он уже собирался позвать на помощь, разбудить тетушку, объяснить, что случилось... В отчаянии раздумывая, что делать, он огляделся вокруг. Лампа в прихожей бросала полоску света сквозь открытую дверь гостиной, так что был виден край дивана, обитого желтым ситцем. Все еще держа ее одной рукой за плечи, он нагнулся и подхватил ее под коленями; затем с усилием (поскольку она оказалась тяжелее, чем он предполагал) поднял ее на руки, пронес по узкой освещенной полосе, ведущей во тьму, и мягко, насколько смог, опустил ее на диван.

Встав на колени перед ней, он спросил:

— С тобой все в порядке?

Джоан глубоко вздохнула, приложила руку ко лбу, затем открыла глаза и взглянула на него мимолетным взглядом; охваченная робостью и стыдом, она закрыла лицо руками.

— Прости меня, — прошептала она. — Я не понимаю, что случилось. Я внезапно потеряла сознание. — Она помолчала секунду; лампы снова зажглись, нити накаливания колебались, но слегка, щадя зрение. Она вновь опустила руки и повернула лицо к нему, застенчиво улыбаясь.

Когда его глаза привыкли к слабому свету, он заботливо взглянул ей в лицо. Слава богу, с ней, казалось, было все в порядке. Ему не нужно звать тетушку. Чувство облегчения было настолько глубоким, что он взял ее руку и нежно сжал ее.

— Ты не сердись на меня, Энтони?

— А почему я должен сердиться?

— Ну, у тебя есть все права. Так упасть в обморок... — Она чувствовала, что лицо ее было обнаженным и открытым; освободив руку от его хватки, она снова была вынуждена скрывать свой стыд. Так упасть в обморок... Воспоминание унизило ее. Помыслив о том внезапном, безмолвном, сильном его жесте, она сказала себе: «Он меня любит. А Брайан? Но существует ли Брайан?» Его нет, и таинственная сила заставила Джоан думать, что его не будет никогда и не может быть. Все, что она ощущала, было желание, присутствие рук и губ, присутствие сильное, ждущее вновь выразиться в поцелуях, как те. Грудь ее вздымалась, но она не ощущала этого, словно за нее дышал кто-то другой. «Он любит меня», — повторила она; это было тому подтверждением. Она убрала руки с лица, несколько мгновений смотрела на Энтони, потом протянула руки и, прошептав его имя, с силой притянула к себе его голову.

— Ну, и каков результат? — выкрикнула Мери, лежащая на диване, когда он вошел. По унылому выражению лица Энтони она сочла, что выиграла пари, и это повергло ее в уныние. Внезапно она почувствовала по отношению к нему сильный гнев — гнев вдвое и втрое более ожесточенный, чем раньше, за то, что он был так бессилён, из-за того, что он не потрудился выполнить то, что ему надлежало; потому что сделал то, чего она меньше всего хотела. После дня езды на машине с Сидни Гэттиком она пришла к выводу, что он был абсолютно невыносим. Энтони, наоборот, казался самым очаровательным из всех мужчин. Она не хотела выгонять его, даже временно, но ее угроза прозвучала громко и недвусмысленно;

если бы она не привела ее в действие, по крайней мере частично, весь ее авторитет был бы подорван. А теперь бедняга вынуждал ее сдерживать слово. Рассерженно-упрекающим тоном она произнесла:

— Струсил и проиграл. По тебе это заметно.

Он покачал головой.

— Нет, я выиграл.

Мери с сомнением взглянула на него.

— По-моему, ты лжешь.

— Нет. — Он сел рядом с ней на диван.

— Тогда почему ты выглядишь так угрюмо? Мне это не очень-то льстит.

— Какого черта ты заставила меня сделать это? — взорвался он. — Все выглядело идиотски. — Это было мерзко, но Мери всего-навсего рассмеялась бы, произнеси он вслух это слово. — Я с самого начала знал, что это будет по-идиотски. Но ты настояла. — Его голос был резким, в нем слышались жалоба и возмущение. — И теперь бог знает как это аукнется. Что потом будет с Джоан и с Брайаном, если на то пошло. Бог знает.

— Но объясни! — кричала Мери Эмберли. — Объясни. Не витийствуй, как маленький пророк. — Ее глаза горели насмешливым любопытством. Она предощущала какую-то восхитительно-волшебную историю. — Расскажи, — повторила она.

— Я просто сделал то, что ты мне велела, — тускло ответил он.

— Герой!

— В этом нет ничего смешного.

— В чем дело? Ты получил пощечину?

Энтони сердито нахмурился и замотал головой.

— Тогда как она это восприняла?

— В этом-то вся и беда. Она восприняла это серьезно.

— Серьезно? — переспросила Мери. — Ты хочешь сказать, что она угрожала рассказать обо всем отцу?

— Нет, она как раз подумала, что я в нее влюблен. Она хочет порвать с Брайаном.

Миссис Эмберли запрокинула голову и разразилась звонким, раскатистым смехом.

Энтони почувствовал, что звереет.

— Я не шучу.

— Вот где была твоя ошибка. — Мери утерла глаза и глубоко вздохнула. — Это одна из лучших шуток, которые я когда-либо слышала. Но что ты предлагаешь делать?

— Мне придется сказать ей, что это была ошибка.

— Будет восхитительная сцена!

Он покачал головой.

— Я напишу письмо.

— Смело, как и всегда! — Она похлопала его по колену. — Ну, а теперь я хочу услышать подробности. Как получилось, что ты дал ей зайти так далеко? До того, что она подумала, что ты в нее влюблен. До того, что она собирается разорвать с Брайаном. Ты не мог подавить это в зародыше?

— Это было трудно, — пробормотал он, избегая ее инквизиторского взгляда. — Ситуация... понимаешь, слегка вышла из-под контроля.

— То есть ты потерял голову.

— Если хочешь, то да, — неохотно признался он, думая о том, каким он оказался глупцом, каким несусветным олухом.

Ему, несомненно, следовало отступить, когда она пошла с ним на сближение в темноте; он должен был воспрепятствовать ее поцелуям, быть уверенным, что его собственные были невинными и не имели подоплеки. Но вместо этого он отвечал на них — из лени или трусости, потому что требовалось слишком серьезное усилие, чтобы сделать необходимые и обязательно сложные объяснения; из слабой и неуместной душевной доброты, поскольку это могло причинить ей боль или унижить ее, если бы он сказал «нет» и вызвать страдание,



которое, как он собственными глазами видел, было нестерпимым. И, принимая ее поцелуи, он испытывал блаженство, отвечал на них со страстностью, которая, как он знал, была результатом всего-навсего неглубокой, минутной чувственности, но которую Джоан теперь, это было очевидно (но он знал об этом еще тогда), неизбежно стала бы рассматривать как само собой возникшую, для которой она стала особым и неуничтожимым предметом. Сторонний наблюдатель сказал бы, что он сделал все от него зависящее, чтобы создать наибольшее непонимание в кратчайшее время.

— Как ты предлагаешь выпутываться из этого? — спросила Мери. Он ненавидел ее за то, что она задала этот вопрос, так мучивший его.

— Я напишу ей письмо, — ответил он, словно это могло сойти за нормальный ответ.

— А что об этом скажет Брайан?

— Я собираюсь поехать с ним на озеро послезавтра, — отвечал Энтони, словно это не имело отношения к предмету разговора.

— Как Во-ордсворт, — протянула Мери. — Здорово это будет. А что конкретно ты собираешься сказать ему о Джоан? — неумолимо продолжала она.

— Ну, я объяснюсь.

— Но, предположим, Джоан объяснится первой — под другим углом? Он покачал головой.

— Я сказал ей, что не хочу, чтобы она писала Брайану до того, как я поговорю с ним.

— И ты думаешь, она тебя послушает?

— А почему нет?

В ответ Мери пожала плечами и взглянула на него, лукаво улыбаясь, ее глаза блестели за сощуренными веками.

— А почему, собственно говоря, да?

## Глава 34

*3 марта 1928 г.*

«Реорганизация»... «Перестройка»... «Список капиталовложений в свете существующих условий торговли». Энтони оторвал глаза от напечатанной страницы. Упершись локтями в подушки, Мери Эмберли смотрела на него, как он заметил, внимательно и смущенно.

— Ну? — спросила она, подаваясь вперед. Выкрашенные хной до неприлично рыжего цвета, ее растрепанные волосы пьяно ниспадали на лоб. Ночная рубашка распахивалась, когда она двигалась; под замусоленными кружевами ее грудь тяжело вздымалась в опасной близости от него. — Что это все значит?

— Это значит, что тебя собираются разорить.

— Разорить?

— Платя тебе шесть шиллингов и восемь пенсов с каждого фунта.

— Но Джерри сказал мне, что у них великолепно идут дела, — запротестовала она рассерженно-жалобным тоном.

— Джерри не знает всего, — милостиво объяснил он.

Но конечно же этот прохвост знал все слишком хорошо; знал и видел выгоду в своем знании, когда акционеры не скупясь вознаградили его, желая сбыть свои приобретения перед обвалом.

— Почему ты не спросишь его об этом? — В его голосе слышалось некоторое возмущение, которое он почувствовал этим вечером сразу же по возвращении из Нью-Йорка, когда его втянули в запутанные обстоятельства денежной трагедии Мери. Любой другой, предполагал он, бросил бы ее с того момента, как она начала принимать морфий; единственный из ее друзей, проведший вне Англии полгода, он еще не имел случая и не нашел повода, чтобы скрыться. Его отъезд сохранил их дружбу, словно замороженные

продукты, в том же состоянии, в котором она была, когда он уезжал. Когда она срочно попросила его вернуться, у него не нашлось причин отказываться. Кроме того, слухи были преувеличены; она не могла быть настолько испорченной, насколько ее изобразили.

— Почему бы тебе не спросить его? — раздраженно повторил он.

— Он уехал в Канаду.

— Ах, он уехал в Канаду...

Наступила пауза. Он положил акцию на одеяло. Миссис Эм-берли взяла ее и перечитала в ней написанное — в сотый раз, надеясь выискать в ней что-то новое, что-то отличное от того, что было.

Энтони взглянул на нее. Лампа на ночном столике освещала ее профиль с безжалостно откровенной ослепительностью. Какие впалые у нее щеки! И эти морщины вокруг рта, обрюзгшие мешки под глазами! Вспоминая, как она выглядела в тот раз, когда он последний раз видел ее, тогда в Беркшире, всего лишь прошлым летом, Энтони ужаснулся. Наркотик состарил ее на двадцать лет за считанные месяцы. И не только тело ее было испорчено; морфий изменил и ее характер, превратил ее в другого, несравненно худшего человека. Та обворожительная рассеянность, например, та невыразительность, которой, как и любым другим средством женской привлекательности, она всегда с некоторым раздражением гордилась, теперь превратились почти в идиотское безразличие. Она стала забывчивой, на многое не обращала внимание; вдобавок ко всему ничего не желала делать и не могла терпеть любого беспокойства. Ее волосы, экстравагантно покрашенные (в надежде, как ему показалось, приобрести большую привлекательность, которую она уже сама не могла не считать потерянной) были жирными и нерасчесанными. Мазок красной краски, неумело наложенный, сделал ее нижнюю губу бесформенной и асимметричной. Сигаретный окурок прожег пуховое одеяло, и его перья трепыхались, как снежные хлопья, всякий раз, когда она двигалась. Подушки измазаны яичными румянами. На простыни красовалось пятно от кофе. Между ее телом и стеной опасно накренился поднос, на котором стоял принесенный ей ужин. Столовый нож, все еще в подливке, соскользнул на пододеяльник.

Внезапным движением миссис Эмберли скомкала акцию и швырнула ее прочь.

— Эта сволочь! — крикнула она голосом, дрожащим от гнева. — Эта сволочь буквально силой заставила меня вложить деньги. И вот — посмотри, что случилось! — Слезы навернулись ей на глаза, и черная краска потекла с ресниц по щекам, оставляя длинные темные следы. — Он специально сделал это, — продолжала она, все так же сердито всхлипывая.

— Только для того, чтобы навредить мне. Он натуральный садист. Ему доставляет удовольствие причинять людям боль. Он сделал это ради наслаждения.

«Ради выгоды», — чуть не сказал Энтони, но осекся. Может быть, ее слегка утешала мысль о том, что ее обманули не из грубых коммерческих интересов, а из дьявольской злобы, таящейся и проистекающей в любовной страсти. Было бы негуманно лишать ее этой иллюзии. Пусть бедная женщина допускает к себе мысли наименее болезненные и унижающие. Вдобавок, чем менее противоречивой и сбившейся с пути она будет, тем скорее она перестанет колотиться. Разумно и рассудительно он удовлетворился ни к чему не обязывающим кивком.

— Когда я думаю о всем том, что я сделала для этого человека! — снова не выдержала миссис Эмберли. Но пока она оглашала свой невнятный перечень благодеяний и уступок, Энтони не мог удержаться, чтобы не подумать, что этот человек сделал для нее; сверх того, в выражениях, в которых Джерри обычно описывал свои деяния. Грубые, невыразимо циничные термины. Он словно упражнялся в том, чтобы говорить гадости. Было страшно, хотелось нервно смеяться и было стыдно, что такие недопустимые грубости могут содержать долю правды. И вот — все это оказалось правдой.

— Весь цвет лондонской интеллигенции, — продолжала всхлипывать миссис Эмберли. — Со всеми ними он встречался у меня дома.

«Эти старые ведьмы! — голос Джерри Уотчета отчетливо звучал в памяти Энтони. —

Они все сделают, чтобы завладеть этим, абсолютно все».

— Что-то не видно, чтобы он когда-либо ценил их, — продолжала она.

— Он был слишком глуп для этого, слишком некультурен.

«Не просто старая ведьма, однако, если она просит дорого за молчание. Проблема в том, чтобы дать ей достаточно. Это не такая уж простая задача, смею тебя заверить».

Тон ее голоса сменился от разгневанного до жалобного.

— Но что мне делать? — взмолилась она. — Что я могу сделать? У меня нет ни гроша. Я живу на подавание.

Он пытался убедить ее в обратном. Что-то обязательно оставалось. Небольшая, но достаточно приличная сумма. С голоду она никогда не умрет. Если бы она жила умеренно, если бы научилась экономить...

— Но мне придется снять более дешевую квартиру, — прервала она его и, когда он согласился, что ей, несомненно, придется отсюда съехать, выдала новую, более громкую порцию жалоб. Сменить жилье на более дешевое еще хуже, чем остаться без гроша и жить на милостыню — хуже, потому что более ощутимо. Без картин на стенах, без ее мебели — как она могла жить? Она и так физически больна, и теперь переезд в маленькие комнаты — да у нее там разовьется клаустрофобия. И как ей обойтись без необходимых книг? Как он надеялся, что стесненные обстоятельства заставят ее начать работать. Ведь ей, конечно, придется работать; она уже думала написать критическое исследование одного современного французского романа. Да, как он хотел, чтобы она это сделала, если благодаря ему она лишалась литературы?

Энтони беспокойно завертелся в кресле.

— Я не ожидаю от тебя ничего, — сказал он. — Я просто говорю о том, что ты сама сочтешь нужным сделать.

Они долго молчали. Затем, с едва заметной улыбкой, которую она попыталась сделать вкрадчивой и обаятельной, она проговорила:

— Теперь ты будешь на меня сердиться.

— Нисколько. Я просто хочу, чтобы ты реально посмотрела в лицо фактам. — Он поднялся и, почувствовав реальную опасность быть сильно втянутым в беды Мери, символически заявил о своем праве на свободу тем, что стал ходить взад-вперед по комнате.

«Я должен поговорить с ней о морфии, — думал он, — попытаться убедить ее лечь в больницу и вылечиться. Для ее же пользы. Ради бедной Элен». Но он знал Мери. Она начнет сопротивляться, будет кричать, впадет в раж. Будет выть, как волк. Или, что еще хуже, гораздо хуже, подумал он с содроганием: она раскается, пообещает бросить, изойдет слезами. Окажется, что он ее единственный друг; моральная опора в жизни. В результате он не сказал ничего. «Это не доведет ее до добра, — уверял себя он. — От случаев с морфием ничего хорошего не жди».

— Нужно трезво оценивать реальность, — произнес он вслух. Бессмысленная банальность, но что еще он мог сказать?

Неожиданно, с покорной быстротой, которую он нашел определенно недоброй, она согласилась с ним. Согласилась всецело. Нечего было плакать над разлитым молоком или строить воздушные замки. Необходим план — множество планов — серьезных, практических, мудрых планов новой жизни. Она улыбнулась ему с некоторой долей потворства, словно они были парой конспираторов.

Неохотно, с недоверием он принял ее приглашение посидеть на краешке кровати. Планы разворачивались сами — достаточно серьезные. Маленькая квартирка в Хэмпстеде. Или же небольшой домик на одной из грязных улочек рядом с Кингз-роуд<sup>269</sup>, в Челси. Время от времени она даже сможет устраивать недорогие вечеринки. Будут приходиться настоящие друзья несмотря на скромность предложенного — они ведь не откажутся. Она

---

<sup>269</sup> *Кингз-роуд* — квартал в Лондоне и одноименное шоссе, один из центров великосветской жизни.

упорствовала с довольно жалким желанием, чтобы ее переубедили.

— Конечно, — пришлось сказать ему, хоть не дешеви́зна заставляла их избегать ее общества, а грязь, нищета, морфий, этот невыносимый запах эфира при дыхании.

— Можно устраивать винные вечеринки, — говорила она. — Это будет здорово! — Ее лицо засветилось. — Ты, Энтони, какую бутылку принесешь? — И до того, как он успел ответить, она продолжала: — Нам будет бесконечно туго с напитками. Бесконечно... — И секунду спустя она принялась рассказывать о внимании, которым Джордж Уиверн вдруг принялся окружать ее тогда. Довольно странно при таких обстоятельствах, видя к тому же, что Сэлли Уиверн тоже... Она улыбнулась своей загадочной улыбкой — со сжатыми губами и полужакрытыми глазами. И что уж было совсем удивительно — даже старина Ледвидж недавно подавал ей знаки...

Энтони удивленно слушал. Те сочувствующие, немногие, но настоящие друзья превратились, словно по воле колдовства, в натуральную стаю пылких любовников. Верила ли она серьезно в свои собственные планы? Но так или иначе, продолжал размышлять он, это, казалось, не играло никакой роли. Даже невыполнимые, эти фантазии определенно могли поднять ее дух, восстановить ее, по крайней мере временно, до состояния бодрой самоуверенности.

— В тот раз в Париже, — говорила она с той откровенностью, на которую только была способна. — Ты помнишь?

Но это было ужасно.

— Отель «Сен-Пер»<sup>270</sup>. — Ее голос завибрировал и потонул в низком гортанном смехе.

Энтони кивнул, не поднимая головы. Она, видимо, хотела, чтобы он ответил ей хотя бы намеком на многозначительную улыбку, вызванную скабрёзным напоминанием о той старой шутке о святых отцах и их развлечениях с высшей церковной санкции. На их жаргоне «поиграть в святого отца» или, более идиоматично, «сыграть святошу» означало «заняться любовью». Он нахмурился, внезапно разгневавшись. Как она посмела?..

Шли секунды. Сделав отчаянное усилие, чтобы заполнить ледяную пропасть молчания, Мери произнесла, словно сентиментально вспоминая о прошлом:

— Мы славно веселились тогда.

— Славно, — повторил он голосом как можно более вялым. Внезапно она схватила его за руку.

— Энтони, милый!

«О боже», — подумал он и попытался как можно вежливее высвободиться, но хватка горячих и сухих пальцев не ослабевала.

— Как мы были глупы, когда ссорились, — продолжала она. — Точнее, я была глупа.

— Не так-то уж, — вежливо заметил он.

— Это дурацкое пари. — Она покачала головой. — И Сидни...

— Ты добила́сь того, что хотела.

— Я напоролась на то, чего не хотела, — быстро возразила она. — Всегда выходит то, чего не хочешь — глупо, из чистой вредности. Выбираешь худшее только потому, что оно худшее. Гиперион против сатира — и, следовательно, сатир.

— Но при определенных целях, — не выдержав, произнес он, — сатир лучше удовлетворяет.

Не обращая внимания на его слова, Мери Эмберли вздохнула и закрыла глаза.

— Делаешь то, чего не хочешь, — повторила она, словно про себя. — Всегда делаешь то, чего не хочешь. — Она разжала пальцы и, положив ладонь под голову, откинулась на подушки с уверенностью — старой знакомой уверенностью, что в отеле «Сен-Пер» была та сладостная по своей изящности беззаботность, дико-волнующая из-за белой тесемки,

---

<sup>270</sup> *Отель «Сен-Пер»* — известная гостиница в Париже.

перевязанной вокруг горла, как у жертвы, выпяченных грудей, поднятых и твердых под кружевами. Но сегодня кружева были грязными и рваными, груди изможденно обвисли, горло жертвы было не более чем увядшей плотью, сморщившейся, поллой между вздувшихся сухожилий.

Она открыла глаза, и он с испугом узнал взгляд, который она бросила ему, как тот же самый, фотографически тот же взгляд, одновременно полуобморочный и циничный, насмешливый и вяло-рассеянный, который неудержимо манил его тогда, в Париже, пятнадцать лет назад. Это был взгляд тринадцатого года на лице двадцать восьмого — болезненно неуместный. Он в ужасе вглядывался в ее черты секунду или две, затем решился нарушить молчание.

— Мне нужно идти.

Но до того, как он успел подняться, миссис Эмберли быстро нагнулась вперед и положила руки ему на плечи.

— Нет, не уходи. Тебе нельзя уходить. — Она пыталась повторить то веселособлазнительное приглашение, но не смогла скрыть сильное волнение, таившееся в ее глазах.

Энтони покачал головой и, несмотря на запах эфира, искренне улыбался, когда лгал насчет званого ужина, на который ему нужно было поспеть к одиннадцати. Стоя у края кровати, он мягко, но точным и решительным движением отвел ее пленяющие руки.

— Спокойной ночи, дорогая Мери! — Его голос был теплым; теперь он мог позволить себе быть дружелюбным. — *Bon courage!*<sup>271</sup> — Он сжал ее запястья, затем, нагнувшись, поцеловал руки — сперва одну, потом другую. Затем он поднялся и, как только путь к свободе открылся перед ним, почувствовал, что свобода позволит ему любую экстравагантность чувств. Но вместо того, чтобы что-то сказать, Мери Эмберли посмотрела на него взглядом, теперь уже пристальным и недвижным, словно каменным от неминуемого несчастья. Маска, которая казалась ему светящейся любовной капризностью, внезапно стала жуткой от столкновения с реальностью. Он всем своим существом почувствовал эту неуместность. Дурак, лицемер, трус! И он почти бегом рванулся к двери и ринулся вниз по ступенькам.

«Если женщина, — читала Элен в Британской энциклопедии, — принимает яд или любое вредное вещество, или же незаконно использует любой инструмент, производящий выкидыш, она виновна в...» Звук шагов Энтони достиг ее уха. Она встала, быстро прошла к двери и оттуда на лестничную площадку.

— Ну? — Она не улыбнулась в ответ на его приветствие и сделала вид, что его приход не вызвал у нее никакой радости. Когда она обратила к нему свое лицо, в нем было лишь беспокойство, лишенное жеманства, столь характерного для ее матери.

— Что с тобой, Элен? — Он был настолько испуган, что выкрикнул эти слова. Она несколько секунд смотрела на него молча, затем покачала головой и начала расспрашивать его об акциях и финансовом положении.

Очевидно, думал он, отвечая на ее вопросы, известие воспринимается как трагическое. Но трагическое до такой степени — он взглянул на нее: нет, этого невозможно было ожидать. Вряд ли девушка испытывала дикую привязанность к своей матери. Да и как она могла иметь место при волчьем эгоизме Мери? И в конце концов, прошло около года с той поры, как несчастная женщина начала прибегать к морфию. Можно было рассчитывать, что к этому времени ужас потерял часть своей силы. И все-таки он никогда не видел лица более несчастного. Такая молодость, такая свежесть — невероятно, чтобы такое лицо могло ассоциироваться с подобным выражением отчаяния. Один лишь вид Элен вызывал в нем странное чувство вины, чувство ответственности. Но когда он сделал очередной жест искреннего участия, она только покачала головой и отвернулась.

— Тебе лучше уйти, — бросила она.

---

<sup>271</sup> Будь молодцом! (фр.)

Энтони секунду поколебался и затем ушел. В конце концов, она этого хотела. Все еще чувствуя за собой вину, но испытав полное облегчение, он закрыл за собой парадную дверь и, глубоко вздохнув, направился к станции метро.

Элен снова обратилась к энциклопедии. «...Производящий выкидыш, она виновна в преступлении и подлежит наказанию в виде пожизненных исправительных работ, но не менее трех лет, или тюремного заключения сроком до двух лет. В случае если ребенок рождается живым...» Но там не были перечислены ни необходимые яды, ни инструменты, ни как ими пользоваться. Только эта глупая ерунда насчет тюремного заключения. Еще одна лазейка закрылась перед ней. Казалось, словно целый мир сговорился, чтобы запереть ее наедине с жгучей, невыносимой тайной.

Часы в задней гостиной мелодично пробили одиннадцать. Элен поднялась, поставила тяжелый фолиант на место и прошла наверх в комнату матери.

Мери Эмберли в это время была занята тем, что с печальной медлительностью, но весьма ловко и осторожно наполняла шприц для подкожного впрыскивания содержимым маленькой стеклянной ампулы. Она встрепелась, лишь только открылась дверь, подняла глаза, судорожным жестом пытаясь спрятать шприц и ампулу в постельном белье, затем, боясь пролить хоть малую часть драгоценной жидкости, застыла на месте.

— Уходи отсюда! — гневно крикнула она. — И вообще, откуда у тебя эта привычка входить без предупреждения? Я никому не позволяю входить к себе без предварительного стука, — повторила она еще более резко, обрадовавшись внезапному оправданию своему гневу.

Элен постояла секунду или две в дверях, практически без движения, словно не веря тому, что говорили ей ее глаза; затем стремительно прошла в центр комнаты.

— Дай мне эти вещи, — сказала она, протягивая руку.

Миссис Эмберли отступила к стене.

— Убирайся, — закричала она.

— Но ты обещала...

— Тебе пригрелось.

— Ты обещала, мама...

— Нет. И знаешь — я вправе делать все, что хочу.

Не говоря ни слова. Элен шагнула вперед и схватила мать за запястье. Миссис Эмберли закричала так громко, что Элен, боясь, как бы слуги не пришли посмотреть, что случилось, ослабила хватку.

Миссис Эмберли прекратила кричать, но взгляд, которым она смотрела на Элен, был ужасающим по своей злобности.

— Если я из-за тебя разолью хоть каплю вот этого, — заявила она голосом, дрожащим от гнева, — я тебя убью. Убью тебя, — повторила она.

Они секунду молча смотрели друг на друга. Наконец Элен нарушила тишину.

— Ты хочешь убить меня, — медленно проговорила она, — потому что я не даю тебе убить себя. — Она вздрогнула. — Хорошо, уж если ты действительно хочешь себя доконать... — Она не договорила.

Миссис Эмберли в молчании смотрела на дочь.

— Если ты действительно хочешь... — Она вспомнила слова, которые за несколько минут до того сказала Энтони, и внезапно у нее по щекам покатались слезы. Ее охватила жалость к самой себе. — Ты же не думаешь, что я хочу себе вреда, — сломанным голосом произнесла она. — Я ненавижу это. Ненавижу. Но ничем не могу помочь себе.

Сидя на краешке постели, Элен обняла мать за плечи.

— Мамочка дорогая! — взмолилась она. — Не плачь. Все будет хорошо. — Она была глубоко тронута.

— Это все Джерри виноват, — плакала миссис Эмберли и, не заметив легкого содрогания Элен, продолжала: — Во всем он виноват. Во всем. Я всегда знала, что он сволочь. Даже тогда, когда я изо всех сил заботилась о нем.

Словно ее мать вдруг стала чужой, той, с кем нельзя было говорить так доверительно, Элен убрала согнутую руку.

— Ты заботилась о нем? — не веря своим ушам прошептала она. — Каким образом?

Отвечая на совершенно другой вопрос, отражая упрек, который не был сделан, миссис Эмберли ответила:

— Я не могла ничего сделать... Как с этим. — Она легко взмахнула рукой, державшей подкожный шприц.

— Ты хочешь сказать, — произнесла Элен очень медленно, словно преодолевая неодолимое сопротивление, — хочешь сказать, что... он был твоим любовником?

Странность тона в первый раз после начала их разговора пробудила в душе миссис Эмберли что-то, напоминающее осознание реального, личного присутствия ее дочери. Повернувшись, она взглянула на Элен с удивлением.

— А ты не знала? — Но, увидев невыразимо бледные, непроизвольно дрожащие губы, старшую из женщин охватило внезапное раскаяние. — Ой, дорогая моя, прости. Я не думала... Ты так молода, и ты не понимаешь. Ты не должна... Но куда ты уходишь? Вернись, Элен!..

Дверь хлопнула. Миссис Эмберли рванулась было, чтобы последовать за своей дочерью, но затем, поразмыслив, вновь занялась наполнением шприца.

## Глава 35

*4 августа 1934 г.*

Вернулся удрученный с вечера, на котором была Элен и с полдюжины ее новых политических друзей. Какая страсть к «ликвидации» тех, кто с ними не согласен! И такая искренняя убежденность в том, что ликвидация необходима!

Революция — только ее и ждут. Займитесь проблемой реформ исключительно в сфере политики и экономики — и вам придется признать, что ликвидация необходима.

Вспомните Новую историю. Рост промышленности параллельно с ростом населения. Теперь там, где расширяются рынки, две наиважнейших проблемы всех индустриальных государств решаются сами собой. Новые изобретения могут привести к технологической безработице, но расширяющиеся рынки уничтожают ее при возникновении. Отдельный человек может обладать неопределенной покупательной способностью, но средний ее уровень неуклонно растет. Покупательная способность многих делает то же, что раньше делала покупательная способность немногих.

Численность нашего населения, теперь стабильного, скоро начнет падать. Сужение вместо расширения рынков. Следовательно, не стоит ждать автоматического решения проблемы. Контроль за рождаемостью делает необходимым координированное политическое мышление. План должен быть крупномасштабным. Иначе машина не заработает. Другими словами, политическим деятелям придется быть в двадцать раз более осмотрительными, чем раньше. Будет ли, например, удовлетворена потребность в образованных людях?

И конечно же образование, как всегда настаивал Миллер, не является изолированным. Система идеологического планирования подразумевает чувства тех, кто будет планировать. Возьмите для примера английскую политику. Мы сделали огромное число преобразований, но не подумали учесть принципы, лежащие в их основе. (Сравните титулы короля с его теперешним положением. Сравните наши протесты против социализма с реальностью государственного регулирования.) В английской политике нет крупномасштабных планов, в ней никогда не шла речь о важнейших принципах. К каким это привело результатам? Помимо всего прочего, английские политические лидеры всегда отличались чрезмерно добрым нравом. Причина тому проста. Решение практических проблем по мере их возникновения и без соответствия ведущим принципам. Политика — это вообще на

восемьдесят процентов торговли. Теперь торговцы теряют спокойствие, но не смотрят друг на друга как на дьяволов в человеческом обличье. Но именно от этого не способны удержаться принципиальные люди и те, кто занимается системным планированием. В основе такого принципа лежит право; план, направленный на благо всех людей. Отсюда вытекает логическая аксиома — те, кто не согласен с вашим планом — враг рода человеческого и его блага. Эти люди больше не являются мужчинами или женщинами — они враги, воплощение зла и дьявола. Убивать мужчин и женщин — нехорошо, но убивать порождения дьявола — почетно. Отсюда возникают святая инквизиция, ОГПУ<sup>272</sup> и Робеспьер. То есть люди с сильной, почти фанатичной религиозной или революционной верой, люди с хорошо продуманными планами улучшения судеб их сограждан, в этом мире или в загробном, стали более систематичными и хладнокровно жестокими, чем все прочие. Мышление посредством примитивных лозунгов влечет за собой использование ружей и дубинок. Правительство со всеобщим планом улучшения жизни общества — это правительство, прибегающее к пытке. *Per contra* <sup>273</sup>, если вы никогда не будете руководствоваться принципами и составлять планов, а действовать в каждой ситуации сообразно с обстоятельствами и постепенно, вы сможете себе позволить невооруженную полицию, свободу слова и *habeas corpus* <sup>274</sup>». Великолепно. Но что произойдет, если индустриальное общество, во-первых, научится осуществлять технологические достижения с постоянно возрастающей скоростью и, во-вторых, изобретет противозачаточные средства? Ответ: оно должно либо осуществлять планирование в соответствии с общими политическими и экономическими принципами, либо развалиться. Но правительства с принципами и планами почти всегда основаны на тирании и прибегают к политическому шпионажу и терроризму. Так нужно ли делать шаг назад к рабству и пыткам ради сплочения нации?

Развал с одной стороны, правление инквизиции и ОГПУ с другой. Настоящая дилемма, если план в основном касается экономики и политики. Но подумайте о нуждах конкретных людей: мужчин, женщин и детей, а не Государств, Религий, Экономических Систем и тому подобных абстракций — и тогда есть надежда пройти меж двух огней. Поскольку, если вы начнете принимать в расчет интересы народа, вы тотчас же увидите, что свобода от принуждения является необходимым условием их развития до уровня сознательных личностей, что форма экономического процветания, состоящая из обладания предметами, которые не нужны, не ведет к индивидуальному благосостоянию, что досуг, наполненный пассивными развлечениями, не очень-то приятен, что за удобства городской жизни платится высокая физическая и умственная цена, что образование, которое позволяет вам уклоняться не в ту сторону, почти бессмысленно, что социальная организация, которая приводит к принуждению личности, а еще через несколько лет к тому, что люди начинают убивать друг друга, должна быть неправильной. И так далее. А если вы будете исходить из интересов Государства, Религии, Экономической Системы, произойдет полнейшая переоценка ценностей. Люди должны стрелять друг в друга, потому что интересы Нации этого требуют; людей нужно учить думать о цели и не выбирать средства, потому что учителя не знают никаких других методов; люди должны жить в городах, должны иметь время для досуга, чтобы читать газеты и ходить в кино, им должно внушать смелость покупать вещи, которые им не нужны, ради поддержания государственной промышленности; их нужно принуждать и поработать, потому что иначе они могут подумать о своих нуждах и тем самым причинить беспокойство своим правителям.

---

<sup>272</sup> ОГПУ, *Объединенное государственное политическое управление* — орган по охране государственной безопасности при Совете народных комиссаров СССР в 1923–1934 гг.

<sup>273</sup> Зд. наоборот (лат.).

<sup>274</sup> Неприкосновенность личности (лат.).



Воскресенье для человека, а не человек для воскресенья. Но человек сейчас ведет себя по-фарисейски и настаивает, что он сотворен ради других вещей — науки, промышленности, нации, денег, религии, образования — всего, что на самом деле сотворено для него. Почему? Потому что он так мало беспокоится о своих общечеловеческих интересах, что чувствует непреодолимое искушение принести себя в жертву этим идолам. Другого средства, кроме как позаботиться о своем будущем, нет, и, когда люди научатся заботиться о себе, им предстоит действовать согласно своим интересам. А это значит научиться использовать себя и свой разум. Это очень утомительно — постоянно возвращаться к той же самой точке. Не было бы здорово, если бы был другой выход из всех затруднений?! Резкий и простой. Метод, не требующий большего человеческого усилия, кроме как регистрации голоса на выборах или приговора к расстрелу какого-нибудь «врага народа». Спасение извне, как доза каломели<sup>275</sup>.

## Глава 36

*19 июля 1914 г.*

В поезде, идущем на север, Энтони думал о том, что ему предстояло. В течение следующих двух или в крайнем случае трех дней Брайан должен узнать о том, что произошло, и необходимо было также написать письмо Джоан. Но какими словами? И какие извинения у него были тому, что он совершил? Стоило ли ему говорить всю правду о пари с Мери? Для него правда имела некоторые преимущества; если бы он рассказал ее, он мог свалить большую часть вины за случившееся на Мери — но возникала угроза, продолжал размышлять Энтони, что сам он покажется слабым и безвольным. Но для Джоан вся правда была бы невыносимо унижительной. Как бы он ни винил Мери, Джоан по-прежнему останется оскорбленной. Если бы только он мог рассказать всю правду Брайану и придумать что-либо другое для Джоан!

Но это было невозможно. Им нужно рассказать одну и ту же историю и, ради Джоан, историю, которая была бы вымышленной. Но какую историю? Какое объяснение этих фактов было бы для него наименее дискредитирующим и повлекло бы наименьший позор для Джоан? В целом, решил он, самым лучшим было бы утверждать, что он потерял голову, что его увлек внезапный порыв, порыв, которому он безумно поддался и потом сожалел об этом. Это был кто-то другой, кто поцеловал ее, — вот что он напишет Джоан. Кто-то другой — но не слишком другой. Она бы обиделась, если бы он заставил ее почувствовать, что этот другой был всего-навсего вислоухим остолопом, случайно попавшим в темную гостиную. Человек, который поцеловал ее, должен был быть частично им самим — Энтони Бивисом. В достаточной мере собой, чтобы сказать, что он был очень к ней привязан и глубоко ей сочувствовал; но кем-нибудь другим до той степени, чтобы в тот вечер позволить обстоятельствам превратить привязанность и сочувствие в... Во что? Любовь? Желание? Нет, он бы поостерегся говорить что-нибудь настолько определенное; он заговорил бы об ошибке, временном умопомрачении, испортившем такие прекрасные отношения, и так далее. Пока он мог всего лишь пояснить, что он ужасно расстроен и чувствует за собой вину; что вина его была сильнее, чем та, которую он испытывал когда-либо, что Брайан единственный, кто достоин ее, что осложнения, которые возникли между нею и Брайаном, всего-навсего временные и скоро... И все остальное.

Да, письмо должно быть достаточно простым. Беда в том, что от него потребуются разъяснения и оправдания, что ему придется выдержать упреки, выслушать доверительные признания, может быть, защищаться от проявлений страсти. И в промежутке нужно будет

---

<sup>275</sup> *Каломель* — один из хлоридов ртути, твердое бесцветное вещество, используемое в медицине как противомикробное средство.

говорить с Брайаном — а с Брайаном все начнется с расспросов; и чем больше он думал об этих расспросах, тем сложнее ему было предугадать, какую роль Брайан станет играть в них.

Энтони воображал, как ему самому придется объяснять, что он не был влюблен, что Джоан только на время потеряла голову, а он потерял свою, что ничего не изменилось и что Брайану всего-то и нужно было пойти и поцеловать ее самому. Но удастся ли ему заставить Брайана поверить себе? Человек всегда остается собой — это казалось ему вероятным, тем более вероятным, чем дольше он раздумывал и приходил к выводу, что Брайан не поверит. Брайан — человек, который вообразит, что мужчина может поцеловать женщину только по поводу не менее серьезному, чем чистосердечная любовь. Ему будет сказано, что Джоан приняла поцелуи и ответила на них, и никакая болтовня о потерянных головах не убедит его в том, что не было серьезной любовной авантюры со всем отсюда вытекающим. А затем, раздумывал Энтони, что мужчина делает затем? Он будет унижен конечно же, он почувствует, что его предали, но так есть шансы, что дело обойдется без ругани. Нет, может случиться нечто похуже. Брайан, вероятно, примет всю вину на себя, откажется от всех своих прав, откажется верить клятве Энтони, что он не был влюблен, что все случившееся всего лишь неудачная шутка. Это была бы слишком мучительная жертва, если Джоан уйдет к человеку, которого она действительно любит и который любит ее. И потом, что если Джоан согласится? И вероятно, уныло подумал Энтони, вспоминая то, как она отвечала на его поцелуи, она почти наверняка так поступит. Жуткая перспектива! Он не мог себе представить, как столкнется со всем этим. А с какой, собственно, стати ему нужно сталкиваться с этим? Он мог прибегнуть к безопасным средствам — даже выехать из страны и остаться за границей — полгода, может быть, даже год, если необходимо. И глядя на поля, проплывающие за окном, он откинул голову и закрыл глаза, воображая себя в Италии или, если Италия недостаточно далека от Англии, в Греции, в Египте, даже в Индии, на Малайских островах, на Яве. С Мери, поскольку Мери, конечно, пришлось бы отправиться также, по крайней мере, на половину срока. Она могла бы оставить детей кому-либо из родственников, а поехать в Египет, раздумывал он, практичный в своих грезах, в межсезонье было довольно дешево, а учитывая панику военного времени, и вообще почти даром... Был ли Луксор<sup>276</sup> таким же внушительным, как он выглядел на фотографиях? А Парфенон?<sup>277</sup> А Пестум?<sup>278</sup> А как теперь обстоят дела в тропиках? В воображении он бороздил океан от острова к острову в Эгейском море, курил гашиш в каирских трущобах, травился героином в Бенаресе, почитывал понемногу Джозефа Конрада<sup>279</sup> в Индии, даже, может быть, Лота<sup>280</sup>, несмотря на его чеканно-казенный стиль, среди девочек с медным загаром и гортензий, и разглядывал бы репродукции Гогена, хотя он считал невозможным любить его так, как его любила Мери. Это гипотетическое бегство в будущем было также бегством теперь, сейчас, и он надолго забыл, сидя в углу своего купе, о причине своего предполагаемого побега к экзотике. Память о том, что случилось, явное предвосхищение того, что еще случится, вернулось только с сознанием того, что поезд пересекал Шап Фелл и уже через час он будет

---

<sup>276</sup> *Луксор* — город в Египте, в среднем течении Нила.

<sup>277</sup> *Парфенон* — храм Афины Парфенос на Акрополе в Афинах, памятник древнегреческой высокой классики.

<sup>278</sup> *Пестум (Посейдония)* — город на юго-западе *Италии*, выстроенный греками в VI в. до н. э. и существовавший до IX в. н. э.

<sup>279</sup> *Конрад Джозеф* (1857–1924) — английский писатель польского происхождения, бывший моряком английского торгового флота. Наиболее известны его романы «Сердце тьмы» (1902), «Лорд Джим» (1900).

<sup>280</sup> *Лоти Пьер* (1850–1930) — французский писатель. Продолжительный опыт службы моряком на Востоке нашел отражение в его романах.

разговаривать с Брайаном на платформе в Эмблсайде. Что он должен сказать? Как? Как подготовить его? И какова будет реакция Брайана? Как будет вести себя Джоан, когда получит письмо? Страшные вопросы! Но почему он поставил себя в необходимость отвечать перед ними? Как глупо он поступил, сразу не уехав! К этому времени он был бы уже в Венеции, в Калабрии<sup>281</sup>, на борту корабля в Средиземном море. Там, где даже письма не дойдут к нему. Надежный и счастливый в полном неведении о последствиях своих действий. И вдобавок свободный. И вместо этого он тупо сидел на прежнем месте и довольствовался положением раба обстоятельств, созданных собственной глупостью. Но даже теперь, в одиннадцатом часу, не было слишком поздно. Он мог выйти на следующей станции, вернуться обратно в Лондон, достать немного денег и уехать в течение двадцати четырех часов. Но когда поезд остановился в Кендале, он не сделал ни единого движения. Он всегда чурался принятия внезапных решений. Он ненавидел страдания и с ужасом смотрел вперед, ожидая того, что приготовили ему следующие несколько дней и недель. Но его страх перед страданием был меньше, чем страх перед действием. Он считал, что легче в бездействии ожидать того, что надвигалось, чем сделать решительный выбор и действовать согласно ему.

Когда поезд снова тронулся, он думал о причинах, которые оправдывали его пассивность в принятии решения. Брайан рассчитывал на него и был бы очень обеспокоен, если бы Энтони не приехал. Он, пожалуй, сразу помчится в Лондон, чтобы выяснить, что случилось, встретится с Джоан и моментально обо всем узнает. И как он должен был объясняться с отцом? Кроме того, не было причины думать, что Мери поедет с ним; у нее имелись планы на лето, и она, видимо, не расположена менять их. И пока бы он был в отъезде, бог знает, какие всплыли бы обстоятельства. Вдобавок бегство явилось бы трусостью, продолжал он уверять себя, и практически сразу же ему подумалось, что он, может быть, и смог бы с тем же успехом избежать всех осложнений, не выезжая из Англии. Немного такта, чуть-чуть выжидательного терпения...

Брайан ждал на платформе, и, увидев его, Энтони почувствовал внезапный мучительный укол сострадания. Все же между человеком и его обликом было подчас пугающее и болезненное противоречие. Грубый домотканый жакет и бриджи, английские гетры, сапоги на подковах, набитый до отказа рюкзак служили показателями энергии и хорошего самочувствия. Но сам вид Брайана свидетельствовал об обратном. Продолговатое лицо выглядело изможденным и бледным. Нос, казалось, вырос по сравнению с тем, что было раньше, глазницы стали глубже, а скулы выдавались вперед еще больше. А когда он заговорил, заикание делало его речь еще более трудной для восприятия.

— Что с тобой случилось? — воскликнул Энтони, кладя руку на плечо своего друга. — Ты выглядишь несчастным.

Отчасти тронутый проявлением подлинного участия (было удивительно, думал он, каким неожиданно красивым оказался Энтони), отчасти оттого, что его вид выдавал его, Брайан покачал головой и пробормотал что-то невнятное насчет небольшой усталости и нужды в отдыхе.

Но его представление об отдыхе, как выяснилось, заключались в том, чтобы отправиться в поход с прохождением двадцати миль в день по самым отвесным горам, которые только можно было найти.

Энтони неодобрительно взглянул на него.

— Тебе бы следовало сидеть в шезлонге, — сказал он, но по его словам было видно, что совет сделан неискренне. Брайан уверил себя, что усиленные упражнения с горным пейзажем всегда были на пользу. На пользу — из-за Вордсворта, потому что в той интерпретации христианства, которую давала его мать, пейзаж означал откровение.

— Я л-люблю г-гулять, — стоял на своем Брайан. — Вчера в-видел н-нырка. Это м-место п-полно п-прекрасными птицами.

---

<sup>281</sup> *Калабрия* — полуостров и административная область на юге Италии.

Опечаленный внезапной болезнью друга, Энтони позабыл о Джоан и обо всех событиях последних дней; но эти птицы (птию-юцы, этакие щебетуньи) разительно напомнили ему о том, что случилось. Испытав внезапный стыд, словно он был пойман в каком-то недостойном проявлении лицемерия, Энтони убрал руку с плеча Брайана. Они в молчании продолжили свой путь по платформе и вышли на улицу. Там они остановились, чтобы обговорить дальнейшие действия. Брайан хотел отослать багаж с носильщиком и отправиться пешком к особняку в Лэнгдейле. Энтони предложил остановить попутную машину.

— Сегодня тебе нельзя ходить пешком вообще, — заявил он; затем, когда Брайан, протестуя, сказал, что еще недостаточно тренировался и сменил тему дискуссии, возразив, что это Энтони устал с дороги и в любом случае не мог топтать пешком из-за своей неудобной одежды и обуви. После окончательного довода, не позволявшего вернуться в Лэнгдейл на своих двоих, Брайан уступил и согласился на машину. Так они и поступили.

Нарушив затянувшееся молчание, Брайан спросил:

— Т-ты видел Джоан н-недавно?

Энтони молча кивнул.

— И к-как она?

— Довольно хорошо. — Энтони вдруг поймал себя на том, что его ответ был бодрым и невнятным, таким, каким отвечают на вопрос о здоровье человека, к которому не испытывают особого интереса. Его разум защитил себя от вопроса Брайана автоматически и рефлекторно, с помощью лжи — а это была ложь по упущению, как и тело — Энтони сморгнул, отдернув руку, подавшись назад, — защитилось, как от выброшенного вперед кулака. Но лишь только были произнесены эти слова, как Энтони успел пожалеть о краткости и необдуманности, с которой они вылетели; он почувствовал, что необходимо сейчас же перейти к сути дела. Он должен рассказать все немедленно, без дальнейшей задержки облегчив душу. Но время шло, он никак не мог решиться заговорить и через несколько секунд уже стал относиться к своей трусости как к выдержке, сочтя, что ошибочно, вредно для здоровья Брайана рассказать все теперь же и по-настоящему дружеским поступком было выждать удобного случая, может быть, завтра или через два дня, когда Брайан придет в лучшее состояние для того, чтобы принять новость.

— Т-тебе н-не п-показалось, что она б-была обеспокоена? — продолжал Брайан. — Н-насчет всей этой з-задержки со свадьбой?

— Ну, да, конечно, — признал Энтони. — Нельзя сказать, что она обрадована этим.

Брайан покачал головой.

— К-как и я. Н-но я д-думаю, что все это п-правильно. Я д-ду-маю, что в к-конечном итоге она п-поймет, что все т-так и н-нуж-но. — Затем, после паузы он произнес: — Если бы т-только можно б-было б-быть абсолютно уверенным. Иногда я д-думаю, н-не есть ли это какой-то эг-гоизм?

— Что — это?

— П-приверженность п-принципам и н-невнимание к-к людям. К д-другим людям, — м-может быть, они в-важнее д-даже, чем к-какой-нибудь истинный п-принцип. Н-но если ты д-до самого к-конца следуешь своим убеждениям... — Он замялся, обратив смущенное и несчастное лицо к Энтони, затем снова поглядел в сторону. — Н-ну, как ты думаешь? — отчаянно закончил он.

— Воскресенье создано для человека, — произнес Энтони, подумав, каким все-таки дураком оказался Брайан, не принявший достаточную сумму денег для того, чтобы спокойно жениться. Если бы Джоан без всяких проволочек вышла замуж, не было бы никаких личных объяснений, никаких обещаний, поцелуев и жутких последствий этих поцелуев. И потом, конечно же была бедная Джоан. Он все еще чувствовал почти праведный гнев к Брайану за то, что тот не выполнял основной христианский принцип, что воскресенье существует для человека, а не человек для воскресенья. Но даже если это и так, внезапно вмешался навязчивый внутренний голос, был ли человек вправе ради договора нарушить равновесие

чувств другого, разорвать давние отношения, предать друга?

Брайан тем временем размышлял о случившемся пару месяцев назад, когда они с Джоан обсуждали тему денег с его матерью.

«Ты все еще думаешь, — спросила она тогда, — что тебе не следует ничего брать?» И продолжала, когда он сказал ей, что ничего в его планах не изменилось, приводить доводы за то, чтобы он со спокойной совестью забрал эти несчастные деньги. Система, может быть, была несправедливой, и человек должен был изменить ее, но пока можно было использовать финансовые преимущества для того, чтобы помочь отдельным жертвам системы.

«Именно так я всегда и считала», — заключила миссис Фокс.

Ну и правильно, закончил он; и то, что он и не собирался подвергать критике то, что она делала, даже не мыслил, что это возможно: критиковать. Но ее положение слишком отличалось от его. Мужчина, он имел возможность зарабатывать на жизнь так, как она никогда не была вправе. Кроме того, у нее оставалась ответственность, в то время как у него...

«А как насчет Джоан? — перебила она его, мягко кладя руку на плечо девушке. — Разве за нее ты не в ответе?»

Он опустил глаза и, чувствуя, что не он должен был отвечать на этот вопрос, молчал.

Последовали долгие секунды неудобной и даже чреватой тишины, после которой он поинтересовался, будет ли Джоан отвечать, и, если нет, он станет говорить и действовать сам.

И наконец, к его облегчению, Джоан странно зажатым и сдавленным голосом произнесла: «Все-таки Брайан был тогда ребенком. А я взрослая, я отвечаю сама за себя. И я вполне понимаю его мотивы».

Он поднял голову и посмотрел на нее с благодарной улыбкой.

Но ее лицо оставалось холодным и словно чужим: она встретила с ним глазами и тотчас отвела взгляд.

«Ты понимаешь, почему он вынужден так поступить?»

Джоан кивнула.

«И ты это одобряешь?»

Она минуту помялась и затем снова кивнула. «Если Брайан считает, что это правильно...» — начала она, затем прервалась.

Миссис Фокс смотрела то на него, то на нее. «Я уверена, уж вы-то молодая, героическая пара», — сказала она, и тон ее голоса, такой красивый, так сочно наполненный чувством, придал словам еще большую значительность. Он понял, что она была убеждена в правильности своего вывода.

Но позднее, когда Джоан и он остались наедине, и он пытался благодарить ее за то, что она сделала для него, он вспомнил с печальным недоумением, что она взглянула на него со злобным и горьким гневом.

«Ты любишь свои идеи больше, чем меня. Гораздо больше».

Брайан вздохнул, стряхнув с себя долгую рассеянность, посмотрел на деревья на обочине дороги, на горы, так роскошно усеянные тенью и освещенные поздним вечерним полусветом, на мраморные острова облачков в небе — посмотрел на них, увидел всю их красоту и понял, что красота эта совершенно напрасна.

— Если б я з-знал, — произнес он, — что мне д-делать.

Энтони думал о том же, но промолчал.

## Глава 37

*Осень 1933 г.*

Улаживание дел заняло у Марка больше времени, чем он ожидал, и иногда, в долгие недели, что предшествовали их отъезду, искушение бросить всю эту глупую затею и рвануть

в восхитительный потусторонний мир средиземноморского солнца и отвлеченных идей стало для Энтони практически непреодолимым.

— С какой целью ты сам туда едешь? — спрашивал он негодуя.

— Для забавы, — был весь ответ, который Марк удостоился дать.

— А твой дон Хорхе, — настаивал Энтони. — Чего он надеется достичь этой своей маленькой революцией?

— Своей великой славы.

— Ну а индейцы?

— Они останутся там же, где были и раньше и где будут всегда — внизу.

— И тем не менее ты считаешь, что стоит туда ехать и помогать этому дону Хорхе?

— Мне стоит. — Марк улыбнулся анатомической улыбкой. — И тебе стоит. Тебе очень даже стоит, — стоял он на своем.

— Но уж никак не пеонам<sup>282</sup>, я полагаю.

— Ни в коем случае. Что получают от этой революции французские пеоны? Или наши друзья, русские, если на то пошло? Несколько лет приятного опьянения. Затем все та же каторга. Может быть, позолоченная и перекрашенная.

— И ты ожидаешь, что я укачу с тобой туда ради забавы? — Мысль о Средиземном море и о книгах разбудила воображение Энтони. — Это безумно, это отвратительно.

— Другими словами, — сказал Марк, — ты боишься. Что ж, почему бы и нет? Но уж если трусишь, ради бога, так и скажи. Имей мужество сознаться даже в собственной трусости.

Как он ненавидел Марка за то, что тот высказал ему явные истины, которые он и сам хорошо знал! Если бы не мистер Бивис, и тот разговор с Элен, и в конце концов с Беппо Боулзом, может быть, у него хватило бы смелости признать свою трусость. Но они все вместе и каждый по отдельности сделали это признание невозможным. Прежде всего его отец, все еще глубоко зарывшийся в семейной норе среди юбок и этимологии, да запаха рыжеволосых женщин — но возбужденный, Энтони никогда раньше не видел его таким возбужденным: он был оскорблен, разгневан, просто взбешен. Пост президента Филологического общества, который должен был без всяких вопросов перейти к нему, вместо того достался Дженкинсу. Дженкинсу, видите ли.

Обычному ни в чем не смыслящему популисту, сугубой противоположности настоящего ученого. Шарлатану, мошеннику от филологии, настоящей, если пользоваться американским жаргоном, продувной бестии.

Избрание Дженкинса на несколько шагов приблизило мистера Бивиса к смерти. Из человека, выглядевшего гораздо моложе своих лет, он превратился в того, у кого возраст выдает каждая морщина. Старик, изможденный до полусмерти, сотлевший изнутри.

— Я беспокоюсь, — призналась Полин Энтони. — Он доведет себя до болезни. До того, что прямо-таки упадет в детство. Мне никак не удастся заставить его понять, что не в этом дело. Или, скорее, мне никак не удастся сделать так, чтобы он это почувствовал. Умом он понимает, что все в порядке, но все равно продолжает волноваться.

Даже в глубокой пучине чувств, раздумывал Энтони, когда возвращался к себе домой, даже в уютных интеллектуально-потусторонних мирах человека может застигнуть судьба. И внезапно он понял, что, проведя всю свою жизнь в попытках бороться против ориентиров того мира, в котором жил его отец, он всего лишь преуспел в том, что стал как раз тем, кем был его отец, — человеком в норе. С той небольшой разницей, что в его случае нора оказалась целиком построенной на адюльтере, а не на браке, а его идеи касались типов общества, а не слов. Изредка он вылезал из своей норы — его выгоняли оттуда, словно хоряка. Но было чрезвычайно легко поддаться искушению и вернуться туда. Вернуться,

---

<sup>282</sup> *Пеон* — неквалифицированный работник, находящийся фактически в полуфеодальной зависимости у хозяина.

чтобы спокойно и уютно жить. Нет, не спокойно; в том-то все и заключалось. В любой момент какого-нибудь Дженкинса могли избрать президентом или главой чего-нибудь, и тогда он, беззащитный в своей норе мыслей и ощущений, окажется на милости любой внезапно возникшей детской страсти. Может быть, за границей он научится защищаться от таких непредвиденных обстоятельств. Он решил отправиться с Марком.

Но в последующие дни искушение продолжало посещать его. Несмотря на зрелище того, что характер мистера Бивиса рушится на глазах, что старик неудержимо впадает в детство, спокойная жизнь казалась невыразимо привлекательной. «Марк безумец, — продолжал уверять себя он. — Мы делаем что-то глупое и неправильное. И в конце концов, моя социология важнее. Она поможет людям мыслить более здраво». Было ли это «обязанностью» (нелепое слово!) заниматься его наукой? Но все-таки спустя более чем два с половиной месяца после своего возвращения в Лондон он увидел Элен и Беппо Боулза — увидел их обоих в один день. Встреча с Элен оказалась счастливой. Они столкнулись во французском зале Национальной галереи<sup>283</sup>. Энтони почти вплотную разглядывал картину Сезанна<sup>284</sup> «Гора Сент-Виктуар» в тот момент, когда ощутил, что два других посетителя остановились прямо у него за спиной. Он сдвинулся чуть-чуть в сторону, чтобы дать им возможность видеть картину, и продолжал детальное рассмотрение полотна.

Прошло несколько секунд. Затем, очень медленно и с иностранным акцентом мужской голос произнес:

— Смотрите, как мелкие буржуа девятнадцатого века пытались сбежать от индустриализма. Зачем ему понадобилось рисовать такие романтические пейзажи? Потому что так он забудет о новых средствах производства. Потому что он не будет думать о пролетариате. Вот зачем.

— Да, я полагаю, именно поэтому, — произнес другой голос. В испуге Энтони понял, что за ним стояла Элен. «Что мне делать?» — лихорадочно думал он, когда голос послышался снова.

— Ой, это Энтони! — Рука коснулась его плеча.

Он разогнулся и повернулся к ней, подкрепляя удивление на лице жестами и звуками, не подходящими восторженному изумлению. То лицо, которое он в прошлый раз видел каменным и светящимся от злобной насмешки, затем в агонии ликования, затем налившимся кровью и с жалкими, искажившимися чертами от невыразимого горя, и наконец непроницаемым, каким оно было сначала, но еще более жестким и непроницаемым, теперь лучилось красотой, нежностью, озаряясь изнутри какой-то уверенной радостью. Она взглянула на него без малейшего следа смущения, словно ее прошлое совершенно исчезло, а оставалось и было реальным только настоящее.

— Это Эрки Гизебрехт.

Светловолосый молодой человек рядом с ней поклонился, словно резиновый, и они обменялись рукопожатиями.

— Ему пришлось бежать из Германии, — объяснила она. — Его бы расстреляли за его убеждения.

Переводя взгляд с одного довольного лица на другое, Энтони чувствовал не зависть и не ревность, а настолько горькое и острое несчастье, что оно, казалось, причиняло почти физическую боль. Боль, которая не утихала и нисколько не утолялась торжественной нелепостью короткой лекции, которую Элен сейчас же произнесла на тему «Роль искусства в проявлении классовых интересов». Слушая, он не мог удержаться от внутреннего смеха, думая, забавляясь, о том, какие фантастические вещи порой делает любовь, когда дело

---

<sup>283</sup> *Национальная галерея* в Лондоне — одно из лучших в мире собраний западноевропейской живописи; основана в 1824 г.

<sup>284</sup> *Сезанн Поль* (1839–1906) — французский живописец, представитель постимпрессионизма.

доходит до вопросов вкуса, политических убеждений, религиозного мировоззрения. Но за смехом, за ироническими размышлениями все сквозила, не переставая, та же самая несчастная боль.

Он отверг приглашение выпить с ними чаю.

— Я обещал навестить Беппо, — объяснил он.

— Передай ему, что я его люблю, — сказала она и тотчас спросила, не встречал ли он с момента своего возвращения Хью. Энтони отрицательно покачал головой.

— Мы с ним больше не общаемся, если хочешь знать.

Сделав усилие, чтобы улыбнуться, Энтони произнес, поспешая прочь:

— Счастливо вам с ним развестись.

Сквозь тусклую дымку дня он видел перед собой ее нежно-лучистое лицо и чувствовал вместе с болью несчастья возобновление той другой, более сильной боли неудовлетворенности самим собой. Со времени его возвращения в Лондон он вел заурядную столичную жизнь — обеды с учеными и государственными мужами, ужины, где женщины поддерживали разговор сплетнями и анекдотами, и легкие, ничего не значащие успехи, которые его дарование и некоторая природная обаятельность всегда позволяли ему приобрести на таких посиделках, заставляли его совершенно забыть о своем недовольстве, утоляли его боль, как лекарство снимает мучения зубной боли. Встреча с Элен моментально нейтрализовала действие лекарства и оставила его беззащитным перед новой болью, нисколько не уменьшавшейся от временного действия болеутоляющей таблетки — даже, скорее, усиливавшейся благодаря ей. Ибо несчастье, которое он позволил себе унять опиум такого плохого качества, было новой причиной для неудовлетворения вдобавок к старой. И думай после этого, что он серьезно лелеял мысль о возвращении к прежней спокойной жизни! Спокойно несчастной, спокойно бесчеловечной, поскольку все подобные мысли вели к тихому помешательству. Затея Марка могла оказаться глупой и даже бесчестной, но как бы она ни была плоха, это все-таки лучше, чем тихая, дремотная работа и редкие, холодные чувственные забавы на средиземноморском берегу.

Стоя перед дверью квартиры Беппо, он услышал голоса — Беппо и еще одного мужчины. Он позвонил. Время шло. Дверь оставалась закрытой. Голоса были все слышны, но невнятные; пронзительный визг Беппо и грубый, все усиливающийся лающий голос какого-то незнакомца свидетельствовали о ссоре. Он снова позвонил. Визг и крики еще какое-то время раздавались, но затем их сменил шум шагов. Дверь распахнулась, на пороге стоял Беппо. Лицо его было красным, а лысина покрылась испариной. За его спиной появился грубый, но красивый молодой человек с прямой солдатской выправкой, небольшими усами и вьющимися каштановыми волосами, смазанными маслом. Он был одет в синий саржевый костюм, делавший его совершенно неотразимым.

— Войди, — произнес Беппо почти бездыханно.

— Я не помешал?

— Нет, нет. Мой друг как раз собирался — кстати, это мистер Симпсон, — сейчас собирается уходить.

— Разве? — спросил молодой человек многозначительным голосом и с ноттингемпширским акцентом. — Я не знал об этом.

— Может быть, мне лучше уйти, — предложил Энтони.

— Нет, пожалуйста, не надо, лучше не надо. — В голосе Беппо сквозила почти отчаянная мольба.

Молодой человек засмеялся.

— Ему нужна защита — вот в чем все дело. Думает, что его собираются шантажировать. И я мог бы, если б захотел. — Он посмотрел на Энтони многозначительным наглым взглядом. — Но я не хочу. — Его лицо выражало то, что первоначально было задумано как гордое праведное негодование. — Не стал бы делать этого и за тысячу фунтов. Это собачья игра, вот что я скажу. — От красноречивой безличности негодование спустилось на землю и сфокусировалось на Беппо. — Ни у кого нет резона быть



подлецом, — продолжал он. — Это тоже собачья игра. — Он поднял обвиняющий палец. — Низкая, грязная свинья. Вот кто ты есть. Я говорил это раньше, говорю и теперь. И мне все равно, кто меня слышит. Я могу доказать это. Да, я уверен в этом. Низкая, грязная свинья.

— Хорошо, хорошо, — кричал Беппо тоном человека, готового к безоговорочной капитуляции. Схватив Энтони за плечо, он взмолился: — Иди посиди в гостиной.

Энтони выполнил то, что ему велели. Снаружи, в прихожей, те почти шепотом обменялись несколькими фразами. Затем, после короткого молчания, передняя дверь хлопнула, и Беппо, бледный и растерянный, вошел в комнату. Одной рукой он вытирал лоб, но только после того, как тот сел, Энтони увидел, что было у него во второй. Пухлые белые пальцы Беппо крепко держали бумажник. В смущении он сунул примиривший их с Симпсоном предмет в нагрудный карман. Затем, шипя, словно чайник, от несчастья, так, как он шипел и от радости, он взорвался, как открытая бутылка имбирного пива.

— Вот все деньги, которые остались. Ты видел. Зачем мне прятать их? Всего только деньги. — И он загремел, захлопал, завизжал, зашипел, почти бессвязно отрекаясь от «всего этого», чувствуя глубокое сострадание к себе. Да, его можно было вдвойне пожалеть — пожалеть за то, что ему пришлось страдать из-за «них» торгашеского отношения к нему, в то время как то, чего он искал, была любовь ради любви и авантюра ради авантюры; пожалеть также за все растущую неспособность получить хоть малейшее удовольствие от любовного приключения, в котором не было новизны. Повторение все больше становилось угрожающим. Повторение уничтожало то, что он называл *frisson*<sup>285</sup>. Неимоверная трагедия. Он, который так желал нежности ради понимания, взаимодействия, был лишен того, в чем так нуждался. Связь с кем-либо, принадлежащим к его классу, с кем-либо, с кем было о чем поговорить, оставалась вне вопроса. Но как была возможна настоящая нежность без настоящих чувств? С ними связь была возможна, дико желаемая. Но нежность питалась не более за счет общения, чем за счет чувственности. А чувственность, совершенно лишенная общения и нежности, казалась теперь возможной только при постоянной смене объекта. Каждый раз должен был быть другой. За это его можно было пожалеть, но положение имело свою романтическую сторону. Или по крайней мере могло иметь — зачастую так и было. А теперь Беппо жаловался, что «они» изменяли, становились продажными, открытыми хищниками, обычными торговцами собой.

— Ты только что видел, — сказал он, — гнусность всего этого, всю эту низость. — Его отчаяние кипело и переливалось через край под внутренним давлением углекислого газа. Полный возбуждения, он взлетел со стула и стал расхаживать взад-вперед по комнате, демонстрируя Энтони то оттопырившийся жилет, то роскошный галстук от Сульки, то лицо с висящим подбородком, гладкую, словно лакированную лысину, широкие клетчатые брюки, черный жакет, насаженный подобно груше на узкие плечи, а за лысиной посередине, чуть выше воротника, пух бледно-каштановых волос, как у флорентийского пажа. — И я не подлец. У меня тьма недостатков, но только не этот. Почему они не могут понять, что это не низость, а желание... — Здесь он замялся. — Желание остаться человеком? Всего лишь жажда романтики, приключений. Вместо этого они устраивают эти жуткие, оскорбительные сцены. Отказываясь просто-напросто понять...

Он продолжал расхаживать по комнате, не говоря ни слова. Энтони оставил все сказанное им без ответа, но задумался, знал ли Беппо истину слишком хорошо или также отказывался понять, что для «них» стареющий и малопривлекательный человек вряд ли мог показаться романтиком, что единственным завлекающим средством, оставшимся у него помимо некоторого хорошего вкуса, который «они» не в состоянии оценить, были его деньги. Знал ли он все это? Да, разумеется, знал — это было неизбежно. Он знал это великолепно и тем не менее отказывался понимать. «Как и я», — подумал Энтони. В тот же вечер он позвонил, чтобы дать окончательный ответ Марку, после чего тот уже мог

---

<sup>285</sup> Трепет (*фр*).

заказывать билеты.

## Глава 38

10 августа 1934 г.

Сегодня Элен опять говорила о Миллере. Говорила с каким-то пылким возмущением. (Некоторые воспоминания, некоторые логические ходы похожи на больные зубы, до которых нужно все время дотрагиваться, только чтобы удостовериться, что они все еще болят.) Ненасилие: на этот раз это была всего лишь чистая уловка, но дело не в этом — все равно все было неправильно. Если вы убеждены в людской низости, вы не имеете права не прилагать усилий к тому, чтобы заставить их вести себя порядочно. Согласен — но как вы вероятнее всего добьетесь этой цели? Насилием? Насилие может привить людям нормы положительного поведения лишь на очень короткое время; подлинной и долговременной праведности из этого не выйдет. Она обвинила меня в том, что я уйду от истинных целей, находя убежище в туманном идеализме. Все это наконец переплавилось в непримиримую ненависть к нацистам. Везде мир, но только не у нацистов, и всю Европу постепенно отравляет фашистская зараза. Их необходимо наказать, истребить поголовно — как крыс. (Заметьте, что мы все на девяносто девять процентов пацифисты. В согласии с Нагорной проповедью<sup>286</sup>; без учета того, что один процент в ряде случаев может породить Наполеона или Тамерлана<sup>287</sup>. Мир, прекрасный мир до тех пор, пока не начнется война, которая нас устраивает. Отсюда результат — каждый человек является заведомой жертвой чьей-то крайне желательной войны. Девяносто девять процентов. Этот пацифизм есть всего лишь завуалированный милитаризм. Мир возможен только тогда, когда в обществе сто процентов пацифистов.)

Мы обменялись огромным количеством «за» и «против»; затем некоторое время молчали. Наконец она заговорила о Гизебрехте — человеке, прошедшем бог знает какие пытки. «Ты не удивлен моим мнением о нацистах?» Я не был нисколько удивлен, так же, как и самими нацистами. Удивительной была бы терпимость с их стороны и прощение с ее. «Но человек, который мог прощать, исчез, когда исчез Эkki. Я была доброй, когда он был со мной. Теперь я зла. Если бы он все еще был здесь, я смогла бы простить тех, кто убрал его. Но это невозможное условие. Я никогда не смогу прощать». (На это, конечно, можно было дать ответ, но в том положении, в котором я находился, я не имел права давать какие бы то ни было ответы.) Она продолжала рассказывать о том, кем он был для нее. Кем-то, кого она не стыдилась любить, в отличие от того стыда, который она испытывала от своих чувств к Джерри. Кем-то, кого она была способна любить всем своим существом — «не время от времени или частью своей души, на крыше, и не просто ради забавы, в художественной мастерской, перед обедом». И она все возвращалась к одному и тому же — что Эkki сделал ее доброй, правдивой, неэгоистичной и, уж конечно, счастливой. «Я стала совершенно другой, пока была с ним. Или, может быть, я впервые стала собой». Затем: «Помнишь, как ты смеялся надо мной в тот раз на крыше, когда я говорила о моем истинном Я?» Естественно, я помнил! В тот момент я не был сам достаточно истинным, чтобы постичь мою собственную отдаленность от реальности. Впоследствии, когда я увидел, как она рыдает, когда я узнал, что намеренно отказывался любить ее, я понял это.

После паузы она сказала:

«Вначале я думала, что смогу любить тебя почти так же, как я любила Эkki».

---

<sup>286</sup> *Нагорная проповедь* — согласно Новому Завету первая проповедь, сказанная Иисусом Христом.

<sup>287</sup> *Тамерлан (Тимур)* (1336–1405) — среднеазиатский государственный деятель и полководец, совершал грабительские походы.

И я уж сделаю все, что в моих силах, чтобы помешать ей.

Ее лицо осветилось внезапной злобной усмешкой — точь-в-точь как у ее матери.

«Удивительно, как смешна трагедия, когда посмотришь на нее с обратной стороны!»  
Затем, все еще улыбаясь, она произнесла: «Неужели ты способен вообразить, что тебе есть до меня дело? Одним словом, что ты лю-юбишь меня?»

Не только воображал, но и на самом деле любил.

Она вытянула вперед руку, как полицейский. «Только не разводи здесь сантиментов, как в кино. Иначе мне придется выставить тебя за дверь — чего я не хочу делать. Потому что (довольно странно!) ты мне действительно нравишься. Несмотря ни на что. Я никогда не думала, что так будет. Не из-за той собаки. Но ты мне нравишься». Болезненная яркость вновь появилась у нее на лице. «Как и все то, что я никогда не рассчитывала делать снова! Как, например, есть досыта — но я смогла это себе позволить через каждые три дня. И хотеть заниматься любовью. Это казалось невысказанным святотатством. И все же через три или четыре месяца мне в голову пришло, что я только об этом и мечтала. И на днях, я полагаю, я обязательно этим займусь. Займусь «без всяких гарантий», как пишут в инструкции к пылесосу, который высылают на дом для проверки качества. Так же, как и раньше. — Она снова рассмеялась. — Вероятнее всего, с тобой, Энтони. Пока с неба не свалится еще одна собака. Ты будешь готов начать заново?»

Только если это будет не так, как раньше. Я бы хотел отдавать больше и получать больше.

«Отдавать и получать зависит от обоих». Затем она переключила разговор на другую программу — с кем я «был» в настоящее время. И когда я ответил, что ни с кем, спросила, не было ли сложно и неприятно воздерживаться и почему я стараюсь подражать Марку Стейтсу. Я попытался объяснить, что я не подражал Марку, что аскетизм Марка только ради него самого, чтобы он чувствовал себя более уединенным, более сосредоточенным, в более удобном положении для того, чтобы оценивать других людей. В то время как я как раз пытался избегать случаев, когда можно было подчеркнуть уникальность личности чувственностью. Ненависть, гнев, амбиции открыто противоречат назначению человека; похоть и жадность делают то же самое косвенно и скрытно: настаивая исключительно на частном, личном опыте и, в случае похоти, используя других людей как средство приобретения такого опыта. Менее опасная, чем злые умыслы и стремление к превосходству, престижу, общественному положению, похоть все-таки несовместима с пацифизмом — но может стать совместимой, если перестанет быть самодостаточной и станет средством к объединению посредством любви между двумя отдельными личностями. Такой вот союз и представляет собой модель союза вообще.

## Глава 39

*25 марта 1928 г.*

Стоило Элен прикрыть глаза, как за веками во всей своей дикости и хаотичности вновь оживала красноватая мгла. Казалось, словно это был железнодорожный вокзал, полный спящих туда-сюда людей и громких голосов; цвета накалялись, силуэты резко выделялись, расцветиваясь четкой до нереальности оболочкой форм и оттенков необычайной яркости. Было такое впечатление, что лихорадка собрала в ее голове многочисленную толпу, включила яркий свет и на полную мощность завела граммофон. На неестественно яркой сцене самочинно являлись и исчезали странные силуэты, злобно не считаясь с желаниями Элен. Являлись и исчезали, говорили между собой, жестикулировали, непрестанно играли свою изысканную безумную драму, не жалея ее, измученную, не принимая в расчет ее страстного желания обрести покой и одиночество. Иногда, в надежде, что окружающий мир затмит эти словно чаплиновские перемещения, она открывала глаза. Но свет причинял ей боль, и, несмотря на бутончики роз на обоях, несмотря на белый пододеяльник и шишки в

изголовье кровати, несмотря на зеркало, щетки для волос, флакон одеколona, эти образы на обратной стороне век продолжали жить своей частной жизнью, никем не обеспокоенные. Сумасшедшей, лихорадочной жизнью — теперь уж совершенно неправдоподобной, словно рассказ, сочиненный кем-то другим, но тем не менее мучительно уместной, мучительно ее.

Этим утром, например, этим утром (который был час? Время вдруг стало бесконечным и несуществующим; но, по крайней мере, это было как раз после того, как мадам Бонифе вошла проведать ее, удушая — удушая запахом чеснока и грязного белья) здесь была огромная прихожая со статуями. Золотые статуи. Она узнала Вольтера пятидесяти футов в высоту, и рядом стоял один из огромных китайских верблюдов. Люди располагались группками, прекрасно смотрясь, как актеры на сцене. И действительно, они были на сцене. Играли пьесу с интригой, пьесу с любовными сценами и револьверами. Как ярко светила рампа! Как внятно и патетично они произносили свой текст! Каждое слово звучало, словно колокольчик, каждая фигура была, как светящаяся лампа.

«Руки вверх... Я люблю тебя... Если она попадет в ловушку...» И все-таки кто они были, что значили их слова? И вот по какой-то непонятной причине они стали вслух производить арифметические вычисления. Шестидесят шесть ярдов линолеума по три фунта одиннадцать шиллингов за ярд. А женщина с револьвером внезапно оказалась мисс Космас. Вольтер куда-то исчез и с ним же позолоченный верблюд. Остался только фон. Мисс Космас всегда ненавидела ее за то, что она не успевала по математике, всегда была жестокой и несправедливой. «По три одиннадцать, — кричала мисс Космас, — по три и одиннадцать». Но номер мадам Бонифе был одиннадцать, и Элен снова и снова гуляла по улице Томб-Иссуар, чувствуя себя все более и более нездоровой с каждым шагом. Шла все медленнее и медленнее в надежде никогда туда не дойти. Но дома очумело неслись ей навстречу, как стены движущихся эскалаторов метро. Неслись на полной скорости навстречу ей, и затем, когда номер одиннадцать поравнялся с ней, замерли намертво, не издав ни звука. «Мадам Бонифе. *Sage Femme de Iere Classe*»<sup>288</sup>. Она стояла и разглядывала надпись, так же, как и на самом деле два дня назад; затем прошла вперед — так же, как тогда. «Ну еще одну минутку», — молила она себя, пока не справилась со своей нервозностью, пока не стала чувствовать себя менее больной. Пошла снова в начало улицы и оказалась в садике вместе со своей матерью и Хью Ледвиджем.

Это был садик, обнесенный стеной, где на одном конце росли сосны. И из этого подлеска выбежал человек — человек с какой-то жуткой кожной болезнью на лице. Красные пятна, струпья и шелушение. Ужасно! Но ее бабушка только и нашла сказать, что «Господь плюнул ему в лицо», и все засмеялись. Но в середине леса, продолжала грезить она, стояла кровать, и она тотчас улеглась на нее, глядя на огромные толпы людей, играющих другую пьесу, а может быть, ту же самую. Они были яркими из-за света ramпы, и их голоса звучали, как колокола, у нее в ушах, но это был неразборчивый, сливающийся воедино гомон. И там был Джерри, сидевший на краешке постели, и целовал ее, ласкал ее плечи, грудь. «Джерри, не надо! И эти люди — они могут увидеть нас. Не делай этого, Джерри!» Но когда она попыталась оттолкнуть его, он был неподвижен, словно глыба гранита, и все это время его руки, его губы доставляли легкое и мимолетное наслаждение ее коже; и стыд, отчаяние оттого, что ее видит весь народ, причинял в то же время какое-то физическое страдание — еще более щекотливое, дикое ощущение, уже напоминающее не мотылька, а какого-то огромного жука, вращающегося, жужжащего, и все же приятного. «Не надо, Джерри, не надо!» И внезапно она вспомнила все — ту ночь после того, как умер котенок, все последующие ночи и затем первые признаки охлаждения, растущее беспокойство и тот день, когда она звонила ему и получила известие о его отъезде в Канаду, затем, наконец, вложенные деньги и тот вечер с матерью... «Я ненавижу тебя», — кричала она, но, когда ей удалось последним нечеловеческим усилием оттолкнуть его, она почувствовала настолько

---

<sup>288</sup> «Мудрая женщина 1-ого класса» (фр.).

сильный приступ боли, что на мгновение забыла весь свой бред и оказалась целиком во власти животных, физических ощущений. Постепенно боль утихла, и потусторонний мир, созданный лихорадкой, вновь взял ее в свои объятия. Джерри перед ней больше не было — внезапно возникла мадам Бонифе, держа что-то в руке: «*Je vous ferai un peu trial*»<sup>289</sup>. И оказалось, что не было никакой кровати в сосновой рощице, а кушетка в гостиной мадам Бонифе. Она сжала зубы точно так же, как она сжимала их тогда. Только на этот раз все было гораздо хуже, потому что она знала, что сейчас произойдет. И в ярком свете опять появились люди, игравшие сумасшедшую пьесу. И, лежа там, на кушетке, она сама была частью действия снаружи и наконец перестала быть собой, превратившись в кого-то другого, кого-то в купальном костюме и с огромной грудью, как у леди Кнайп. И как можно было предотвратить то, чтобы ее грудь стала такой же? Звонко, как колокольчики, но невнятно актеры обсуждали кошмарную возможность. Возможность того, чтобы у Элен была такая же грудь, жирные бедра, складки на икрах, Элен с огромным количеством детей, постоянно ревуших, — и этот отвратительный запах свернувшегося молока и детских пеленок. И внезапно здесь появилась Джойс, катящая коляску по улицам Олдершота. Вот она вынула ребенка. Вот покормила его. Наполовину с испугом, наполовину с интересом, она смотрела, как он гремит погремушкой и сосет грудь. Вот он прижался к ее груди лягушачьим лицом с жадным выражением, постепенно расслабляясь по мере насыщения, приходя в бессмысленный восторг. Но руки — они были полностью человеческими, чудесно тонкими и изящными. Восхитительные, прекрасные маленькие ручки! Непреодолимые ручки! Она взяла его у Джойс, прижала вплотную к груди и нагнулась, чтобы поцеловать эти очаровательные маленькие пальчики. Но то, что она теперь держала в руках, было умирающим котенком, печенкой в мясницкой, то ужасное нечто, что она, открыв глаза, увидела в руках у мадам Бонифе и как она затем выбрасывает его в оловянный таз в кухне.

За хирургом послали вовремя, и Элен теперь была вне опасности.

Уверившись в этом, мадам Бонифе вновь обрела материнское раблезианское добродушие, так присущее ее характеру.

И мгновение спустя она уже заговорила об операции, которая спасла жизнь Элен. «*Ton petit curetage*»<sup>290</sup>, — говорила она с каким-то веселым лукавством, словно о каком-то запретном удовольствии. Для Элен любая вибрация этого сытого, довольного голоса являлась очередным оскорблением, унижительной выходкой. Лихорадка прошла; теперь она чувствовала слабость, но сознание ее было чистым. Она вновь вернулась в реальный мир. Повернув голову, она увидела свое отражение в гардеробном зеркале. Вид собственной худобы, бледность и голубые прозрачные тени под глазами доставили ей некоторое удовольствие, она вглядывалась в свои глаза, теперь словно безжизненные и лишенные блеска. Сейчас она бы по привычке напудрилась, слегка подкрасила губы, навела щеточкой лоск на тусклые невымытые волосы, но она, наоборот, предпочла болезненную бледность и растрепанность. «Как у котенка», — не переставала думать она. Превращенный в грязный маленький комочек большой плоти, бывший резвым и милым животным, а ставший чем-то отвратительным, словно та самая печенка, словно та ужасная вещь, что мадам Бонифе... Она содрогнулась. И теперь этот *ton petit curetage* — таким же голосом, что и *ton petit amoureux*<sup>291</sup>.

Это последнее унижение было ужасным. Она люто ненавидела отвратительную женщину, но в то же время была рада тому, что та была такой противной. Эта радостно-грубая вульгарность подходила всему остальному. Но когда мадам Бонифе покинула

---

<sup>289</sup> «Могу сделать вам немного больно» (фр.).

<sup>290</sup> «Твоя маленькая сиделка» (фр.).

<sup>291</sup> Твой маленький любовник (фр.).

комнату, Элен разрыдалась — тихо, надрывно, охваченная жалостью к себе.

Неожиданно возвратившись, мадам Бонифе нашла ее на второе утро после *petit curetage* отчаянно плачущей. Искренне расстроенная, она стала успокаивать Элен. Но успокоение, как всегда, пахло луком. Испытав физическое отвращение, смешанное с возмущением против вторжения и замкнутый мир ее несчастья, Элен отвернулась и, когда мадам Бонифе усиленно пыталась утешить ее, покачала головой и попросила, чтобы та ушла. Мадам Бонифе секунду помялась, затем подчинилась, но пустила парфянскую стрелу<sup>292</sup> в форме мягкого упоминания о письме, которое она принесла и теперь положила на подушку Элен. От него, без сомнения. Доброе сердце, несмотря ни на что... Письмо, как оказалось, было от Хью. Она принялась читать его.

Он писал:

«Отпуск в Париже! Из моей грязной маленькой конуры, наполненной безделушками, как я завидую тебе, Элен! Париж в разгаре лета. Восхитительно красивый, не то что эта страна туманных дымок. Лондон всегда траурный, даже при солнечном свете. И чистый, немеркнувший блеск парижского лета! Как бы я хотел быть там! Желание конечно же эгоистичное по сравнению с удовольствием быть с тобой вне Лондона и Британского музея. И неэгоистичное из-за тебя — потому что мысль о том, что ты одна в Париже, беспокоит меня. Теоретически, если рассуждать рационально, я знаю, что с тобой ничего не может случиться. Но тем не менее — тем не менее я хотел бы быть там, чтобы невидимо охранять тебя — так, чтобы ты не знала о моем присутствии, никогда не воспринимала мою преданность как назойливость, так, чтобы ты всегда ощущала уверенность, исходящую от двоих, а не от одного. Я, к сожалению, не смог бы быть хорошим помощником в тесном углу. (Как я иногда ненавижу себя за свои постыдные неуместные замечания!) Но, наверное, лучше, чем никто. И я никогда бы не посягнул на недозволенное, никогда не вмешался в чужое дело. Я буду словно призрак — кроме тех случаев, когда ты испытаешь нужду во мне. Моей наградой станет всего лишь пребывание вблизи тебя, чтобы просто видеть и слышать тебя, — наградой того, кто выходит из запыленного места в сад и смотрит на цветущие деревья, слушая шум фонтанов.

Я никогда раньше не говорил тебе (боялся, что ты будешь смеяться — пускай, ведь, в конце концов, это твой смех) о том, что я часто придумываю сам себе истории, в которых я всегда с тобой — так же, как теперь я рассказал тебе, что хотел бы быть с тобой в Париже. Присматривать за тобой, оберегать тебя от зла и взамен вдыхать свежесть твоей красоты, согреваться твоим огнем, твоей прекрасной чистотой...»

Рассерженно, словно ирония этих слов была намеренной, Элен отбросила письмо в сторону. Но час спустя она снова взяла его и стала перечитывать с самого начала. В конце концов, было утешительно знать, что есть на земле кто-то, кто готов о тебе заботиться.

## Глава 40

11 сентября 1934 г.

Был с Миллером на показе научных фильмов. Развитие морского ежа. Оплодотворение, деление клеток, рост. Вновь передо мной встает прошлогодний кошмарный образ более чем бергсоновской<sup>293</sup> жизненной силы, всесильного Темного Божества — гораздо более

---

<sup>292</sup> *Парфянская стрела* (перен.) — замечание, прибегаемое к моменту ухода.

<sup>293</sup> *Бергсон Анри* (1859–1941) — французский философ-идеалист, представитель интуитивизма и философии жизни.

темного, странного и жестокого, чем воображал Лоренс. Сырой материал, который на своем уровне эволюции уже является готовым продуктом. За этим последовали таблицы с земляными червями. Недельное бесполое совокупление червя с червем в пробирке со слизью. Затем невообразимо прекрасный фильм, рассказывающий об истории жизни мясной мухи. Яйца. Личинки на куске разлагающегося мяса. Белоснежные, как стадо овец на лугу. Прячутся от света. Потом, после пяти дней роста, спускаются на землю, обматывают себя тонкой паутинкой и делают кокон. Еще через двенадцать дней выходит готовая муха. Фантастический процесс воскресения! Орган, заменяющий головной мозг, надувается, как воздушный шарик. Распухает настолько, что стенки кокона ломаются. Из него вылупляется муха. (Маленькое нечаянное чудо!) Пробивается наверх, к свету. На поверхности видно, как она буквально напитывает свое мягкое, влажное тело воздухом, расправляя скомканные крылья и пуская кровь в вены. Удивительное и трогательное зрелище.

Я задал вопрос Миллеру: каков будет результат распространения подобных знаний? Знаний о мире несравненно более невероятном и более прекрасном, чем может вообразить любой мифотворец. О мире, всего несколько лет назад совершенно неизвестном, за исключением узкого круга специалистов. К чему приведет то, что об этом будут знать все? Миллер рассмеялся. «Результат будет настолько же малым или настолько же большим, насколько люди этого захотят. Те, которые предпочитают думать о сексе и деньгах, будут думать о сексе и деньгах. Как бы громко не возвещалась с экранов слава Божия». Господствует наивное представление о том, что реакция на благоприятные обстоятельства будет неизбежно и автоматически положительной. Опять-таки сырой материал нужно обработать. Одни продолжают верить в машинный прогресс, потому что хочется лелеять эту глупейшую иллюзию — настолько она утешительна. Утешительна, потому что перекладывает всякую ответственность за то, что вы делаете или не можете делать, на кого-то или что-то другое.

## Глава 41

*Декабрь 1933 г.*

Вечером, в Колоне<sup>294</sup> они сели в кеб и проехали по эспланаде. Белесое, как огромный рыбий глаз, перед ними простиралось, словно мертвое, море. Вопреки почтовым открыткам с изображением заката, тощие пальмы были символом покорной безнадежности, а горячий воздух в ноздрях пахнул паленой шерстью. Они немного поплавали в теплом рыбьем глазу и затем вернулись в город сквозь сгущающийся ночной мрак.

Для богатых после ужина существовали кабаре, дорогие напитки и белые проститутки за десять долларов. Для бедных, живущих в маленьких улочках, у открытых на улицу дверей, ведущих в освещенную спальню с широкой кроватью, сидели мулатки.

— Будь у меня побольше добросовестности, я пошел бы и подхватил сифилис, — сказал Энтони, когда они поздней ночью вернулись в отель.

Запах пота, запах алкоголя, запахи канализации, отходов и дешевых духов; затем, наутро, канал, огромные замки и корабль, бороздящий пространство двух океанов. Дьявольский прогресс сделал возможным, говорил Марк, улыбаясь своей анатомической улыбкой, перевозить шлюх и виски по воде вместо суши от Колона в Панаму.

Корабль двигался на север. Раз в два дня они заходили в какой-нибудь маленький порт взять на борт груз. Из залежей бананов в Сан-Хосе к ним в каюту забрался паук величиной с кулак, покрытый шерстью. У Чамперико<sup>295</sup>, где из гавани выходили лихтеры<sup>296</sup>,

---

<sup>294</sup> Колон — порт в Панаме, у входа в Панамский канал.

<sup>295</sup> Чамперико — город в Гватемале, на Тихоокеанском побережье.

нагруженные ящиками с кофе, в море упала индианка и тотчас утонула.

Ночью, казалось, двигался не корабль, а звезды. Они медленно, наискось подымались, зависали на вершине своей траектории, затем падали вниз, нерешительно забирали вправо и опять возвращались на прежнее место, затем, начиная все заново, опять тянулись к зениту.

— Достаточно удручает, — вынес вердикт Энтони. — Но красиво. Усовершенствование привычной небесной механики. Можно было лежать на палубе и смотреть на них хоть без конца.

В голосе Стейтса прозвучала нота мрачного удовлетворения, когда он провозгласил, что через два дня они будут в Пуэрто-Сан-Фелипе.

Пуэрто-Сан-Фелипе было селением, состоявшим из хижин с ветхими деревянными пристройками прямо у воды, где хранился кофе. Агент дона Хорхе в порту помог им пройти таможенный досмотр. Настоящий испанец, полумертвый от тропических болезней, но все же на редкость учтивый.

— Мой дом — ваш дом, — заверил он их, когда они поднимались вверх по крутой тропинке к его бунгалу. — Мой дом — ваш дом.

На веранду сверху свисали орхидеи, а среди них были клетки с непрерывно кричащими зелеными попугаями.

Измощенная женщина, преждевременно и безнадежно замучившаяся и состарившаяся, надорванная сверх всякой меры, шаркая, выползла из двери, чтобы наградить их улыбкой и заранее извиниться за плохое гостеприимство. Пуэрто-Сан-Фелипе было небольшим местечком, не имевшим особых удобств; и ко всему прочему, объяснила она, ребенок чувствовал себя плохо, очень плохо.

Марк спросил у нее, что с ним случилось. Она смотрела на него глазами, лишенными выражения от утомления, и ответила, что причиной была лихорадка. Лихорадка и головная боль.

Вместе с ней они прошли в дом, и им представилась маленькая девочка, лежавшая на раскладушке, беспокойно метавшаяся головой по сторонам, тщетно пытаясь отыскать прохладное место на подушке, место, на котором могла отдохнуть ее щека, какое-то положение, в котором ее боль могла казаться слабее. Комната была полна мух, и запах жареной рыбы доносился с кухни. Глядя на девочку, Энтони внезапно поймал себя на том, что вспомнил Элен в тот день на крыше, как она вертела головой в мучительном наслаждении.

— Я полагаю, это мастоидит, — сказал Марк. — Или, может быть, менингит.

Когда он произнес: это, девочка вынула слабые ручонки из-под одеяла, подняла их вверх, сжав голову между ладоней, и начала еще сильнее вертеться из стороны в сторону, наконец разразившись душераздирающим воплем.

— Тихо, тихо, — все повторяла мать, сперва заискивающе, затем с возрастающей настойчивостью, умоляя, увещевая, приказывая ребенку перестать кричать, не чувствовать такую зверскую боль. Вопли все продолжались, голова по-прежнему металась из стороны в сторону.

Измученная наслаждением, измученная болью. Мы отданы на милость собственной коже и слизистым оболочкам, на милость тонких, готовых порваться нервов.

— Тихо, тихо, — повторяла женщина почти рассерженно. Она склонилась над кроватью и изо всех сил потянула на себя два тонких запястья одной рукой, положив другую на лоб, желая с усилием удержать голову неподвижной на подушках. Все еще крича, маленькая девочка боролась против силы, давившей ее. Костлявая рука женщины еще крепче сжала ее запястья и придавила лоб. Если бы она могла силой подавить болевые приступы, может быть, боль бы и отступила, может быть, девочка прекратила бы вопить и, выздоровев, с улыбкой села бы на кровати.



— Тихо, тихо, — приказывала женщина сквозь сжатые зубы. Нечеловеческим усилием девочка освободила руки от хватки этих когтеобразных пальцев. Рука снова прижала ее голову. Перед тем как женщина успела снова схватить руки девочки, Марк коснулся ее плеча. Она оглянулась и посмотрела на него.

— Лучше оставить ее в покое.

Подчинившись, она выпрямилась и отошла к двери, ведущей на веранду. Они последовали за ней, поскольку больше им ничего не оставалось делать.

— *Mi casa es suya* <sup>297</sup>.

Но слава богу, это было не так. Детские крики поутихли, но жареная рыба и попугай среди орхидей... Марк вежливо отклонил предложенный ранний завтрак, и они снова вышли на мучительный солнцепек. *Mozos* <sup>298</sup> навьючили их багажом ломовых мулов, а верховые мулы уже стояли оседланными в тени дерева. Марк и Энтони надели огромные шпоры и сели в седла.

Тропинка поднималась все выше и выше, уклоняясь от берега, и вела сквозь джунгли, серебристые и коричневато-розовые от засухи. Сидя в седле с высокой спинкой, Марк читал «Тимона Афинского»<sup>299</sup> в карманном издании шекспировских трагедий. Каждый раз, переворачивая страницу, он пришпоривал мула, и несколько ярдов они ехали чуть быстрее, затем вновь переходя на прежний медленный шаг.

В гостинице в Тапатлане, где они остановились на ночь, Энтони впервые в жизни покусали постельные жуки, и на следующее утро начался приступ дизентерии... На четвертый день он уже оправился и можно было осматривать виды. Последнее землетрясение почти полностью разрушило церковь. Густые, черные гроздья летучих мышей свисали, как спелые сливы, со стропил; индийский мальчик, босой и в лохмотьях, шпательвал стены с облупившейся краской; на алтарях барочные святые колыхались и взмахивали руками, застыв в боговдохновенном порыве. Затем Марк и Энтони снова пошли на рыночную площадь, где черные индианки тайно, словно в засаде, прикрывшись темными шальями, сидели на корточках в пыли перед маленькими подносами с фруктами и вялыми овощами. Мясо на лотке мясника было покрыто коростой мух. Ритмично раскачивая ушами, мимо проплывали ослы, бесшумно вздымая пыль маленькими быстрыми копытами. Молчаливо проходили женщины, неся на голове оловянные сосуды, наполненные водой с радужными керосиновыми пятнами на ее поверхности. Из-под широких полей шляп черные глаза разглядывали незнакомцев с непостижимым змеиным блеском, который казался лишенным всякого любопытства, всякого интереса, любого ощущения, вызванного их присутствием.

— Я устал, — объявил Энтони. Они прошли всего немного, но в Тапатлане жить и что-то чувствовать было чрезвычайно утомительно. — Когда я умру, — продолжил он после паузы, — то меня пошлют именно в это место ада. Я его тотчас узнаю.

Гостиничный бар располагался в тусклом, как склеп, помещении со сводчатым потолком, подпираемым в середине кирпичной колонной, достаточно широкой для того, чтобы выдержать землетрясение. Марк назвал это место саксонской усыпальницей и тотчас пошел к себе в комнату, чтобы принести носовой платок, оставив Энтони сидеть в плетеном кресле.

Опершись о стойку, красиво одетый молодой мексиканец в дорожных бриджах и огромной фетровой шляпе хвастался перед барменшей аллигаторами, которых он подстрелил в болотах рядом с устьем Коппалиты, затем стал рассказывать ей о своей жесткости при

---

<sup>297</sup> Мой дом ваш (*исп.*).

<sup>298</sup> Ребята, парни (*исп.*).

<sup>299</sup> «Тимон Афинский» (1608) — пьеса Шекспира на сюжет из древнегреческой истории.

обращении с индейцами, воровавшими у него кофе, о деньгах, которые он рассчитывал выручить от продажи урожая.

«Пожалуй, это чересчур», — думал Энтони, смотревший и слушавший из своего кресла. Ему нравилось это зрелище, но молодчик повернулся и, поклонившись с церемонностью изрядно пьяного человека, спросил, не выпьет ли с ним чужеземный кавалер стаканчик текилы.

От усталости Энтони заговорил по-испански с большими паузами, и его усилия, потраченные на то, чтобы объяснить, что он чувствует себя плохо и что из-за алкоголя ему может быть еще хуже, очень скоро оказались напрасными. Молодчик слушал, неотрывно глядя на него своими темными, яркими, как у индейца, но в то же время чрезвычайно выразительными глазами европейца, в которых можно было прочесть сильную и страстную заинтересованность и внимательную настроенность. Энтони продолжал бормотать, и внезапно эти глаза приобрели новый и опасный блеск; красивое лицо исказилось от гнева, костяшки сильных, хищных рук побелели от внезапно сжавшихся кулаков. Молодчик угрожающе выступил вперед.

— *Usted me desprecia!*<sup>300</sup> — прокричал он. Его движения, злоба, таящаяся в его голосе, заставили Энтони испытать панический страх. Он с усилием поднялся на ноги и, стоя за спинкой кресла, начал объясняться голосом, первоначально тихим и миролюбивым, но затем, несмотря на все его усилия сохранить его серьезным и твердым, обрывающимся и бездыханно пронзительным, в том, что он и не думал никого оскорблять, что это просто проблема (он помедлил перед тем, как дать медицинское обоснование и не мог придумать ничего лучшего, кроме боли в желудке) — *un dolor en mi estomago*.

По какой-то причине слово *estomago* показалось мексиканцу последним, самым грубым оскорблением. Он проревел что-то нечленораздельное; его рука потянулась к карману бриджей, и одновременно с тем, как барменша закричала о помощи, он снова выступил вперед, держа револьвер.

— Не смей! — закричал Энтони, не соображая, что говорит. Затем с невероятным проворством он вылетел из своего угла, чтобы укрыться за массивной колонной посреди комнаты.

В течение секунды мексиканца не было видно. Но не решил ли он подкрасться на цыпочках? Энтони вообразил, как револьвер внезапно высовывается из-за колонны прямо ему в лицо — или даже с тыла. Он почувствовал бы дуло, упершееся ему в спину, услышал бы чудовищный разрыв, и затем... Ужас, настолько сильный, что напоминал самую мучительную физическую боль, охватил его целиком; сердце билось более учащенно, чем когда бы то ни было, и он почувствовал, что вот-вот упадет в обморок. Подавив страх еще большим страхом, он высунул голову слева. Молодчик стоял всего лишь в двух ярдах от него, уставившись жутко-пронзительным взглядом на колонну. Энтони увидел, как мексиканец слегка дернулся, и с отчаянным криком о помощи отпрыгнул вправо, снова выглянул и подался влево, затем опять вправо.

«Это не может так продолжаться, — думал он. — Я не могу стоять здесь бесконечно». Мысль о пистолете, внезапно показывающемся из-за колонны, заставила его снова выглянуть. Мексиканец чуть шелхнулся, и он поспешно отпрянул влево.

Послышался скрежет револьвера — этого Энтони боялся больше всего. Чудовищный скрежет, внезапный и парализующий, как тот взрыв восемнадцать лет назад. Он зажмурил веки, но они не переставали дрожать, готовые моргнуть в ожидании жуткого последствия. Ресницы застили ему глаза, и сквозь какую-то дымку он видел, как отворилась дверь и Марк стремительно вошел в комнату. Вот он взял мексиканца за запястье... Пистолет выстрелил, звук, громкий, прогремел по стенам и потолку, Энтони издал страшный крик, словно был ранен, и, закрыв глаза, вплотную прижался к колонне. Чувствуя всего лишь тошноту, боль в

---

<sup>300</sup> Это мне не нравится! (*исп.*)

паху и резь в кишечнике, он ждал, превращенный в простое воплощение жуткого ожидания следующего взрыва. Ожидание казалось вечным. Он вскрикнул: «Нет, не надо!» — но, открыв глаза, которые все еще дергались, увидел Марка Стейтса, демонстрировавшего мускулами лица дружелюбно-ироническую улыбку.

— Все в порядке, — сказал он. — Можешь выходить.

Чувствуя глубокий стыд и подавленность, Энтони последовал за ним на свежий воздух. Молодой мексиканец был снова у стойки и снова пил. Когда они приблизились, он повернулся и с распростертыми объятьями двинулся им навстречу.

— *Hombre*, — обратился он к Энтони, горячо сжимая его руку. — *Hombre!* <sup>301</sup>

Энтони чувствовал себя невыразимо униженным и подавленным.

## Глава 42

15 сентября 1934 г.

Последние несколько дней я задумываюсь над изречением Уильяма Пенна<sup>302</sup> — «Сила может покорить, а Любовь побеждает, и тот, кто прощает первым, достоин лаврового венка».

«Сила может покорить...» Я представляю, как люди применяют силу. Сперва в рукопашном бою. Кулаки, ножи, дубинки, кнуты. Рубцы, алые или синие, по всему телу. Рваные раны, синяки, осколки сломанных костей, лица, жутко распухшие и кровоточащие. Затем я пытаюсь вообразить на своем собственном теле боль искрошенного пальца или от ударов палкой или плетью по лицу, след от ожога раскаленным железом. Другие более мелкие пытки и истязания. Затем я представляю себе силу на расстоянии: пули автоматической винтовки, тротилловые шашки, удушающий газ, волдыри от ожогов, пожары.

Наконец я рисую в воображении силу в форме экономического принуждения. Голодные дети со вспученными животами, похожими на шары, и конечностями, тонкими как спички. Тридцатилетние женщины, похожие на старух. И все эти живые трупы, стоящие в молчании на уличных углах в Дареме или Южном Уэльсе или шаркающие ногами по дорожной грязи.

Да, сила может покорить. Покорить с помощью смерти, ран, путем голода и страха. Мне видятся запуганные лица, жалкие, несчастные мольбы о подаянии. Управляющий за своей конторкой, произносящий очередную угрозу. Клерк, пресмыкающийся перед начальством перед угрозой увольнения. Сила есть акт открытого выступления против предусмотренного Богом человеческого братства. «Сила может покорить, а Любовь побеждает...» Я повторяю краснокожим историю жизни самого Пенна. Вспоминаю, как Миллер, бывало, улаживал подозрительность и враждебность индейцев горных деревень. Думаю о Пеннеле на северозападной границе, о квакерах во время голода в России, об Элизабет Фрай и Дамиэне.

Вслед за этим я анализирую перевод любви в сферу и термины политики. Кэмпбелл и Бэннерман настаивали на восстановительных работах в Южной Африке — посыпалась куча протестов и кассандровские пророчества таких «здоровых и практичных людей», как Артур Бэлфур. Любовь побеждает даже в неуклюжей, искаженной форме политической конституции. «Тот, кто прощает первым, достоин лаврового венка». В Южной Африке англичане простили тех, кого они обманули, что не намного легче, чем простить того, кто обманул тебя, — и таким образом выиграли приз, который никогда бы не получили, веди они долгую насильственную войну. Ни один приз не был завоеван со времени прошедшей войны, потому что ни один из тех, кто воевал, до сих пор еще не простил тех, кого он оболгал, или

---

<sup>301</sup> Мужик... мужик! (*исп.*)

<sup>302</sup> Пенн Уильям (1644–1718) — основатель английской квакерской колонии в Северной Америке.

тех, кто оболгал его. При правильном приложении к ситуации любовь всегда побеждает. Это эмпирически установленный факт. Любовь — лучшая политика. Лучшая не только для тех, кто любит, поскольку любовь всегда конструктивна. Она вырабатывает средства, которыми может осуществляться эта политика. Чтобы продолжать любить, человеку нужны терпение, смелость и выдержка. Но процесс любви порождает эти средства, только пока длится сама любовь. Любовь побеждает, поскольку ради предмета любви тот, кто любит, терпелив и смел.

А что значит быть любимым? Доброта и стремление к доброте во всех человеческих существах — в том числе в тех, кто охотнее других занят тем, что отказывается проявить это стремление к доброте даже по отношению к тем, кто любит. Если любовь достаточно велика, она может изгнать страх даже перед самыми злыми врагами.

Я заканчиваю тем, что перед моим внутренним взором все еще стоит образ доброты — образ матери. Доброта, если ее силы используются в полной мере, есть достигнутый идеал, видимый в своем совершенстве и также заметный в том, как он реализован на практике, в том, как он присутствует в любой ситуации, в которой мы можем оказаться. Ведь в реальности это целый образ мыслей, чувств и переживаний. Это целая система, которую представляю себе достаточно спокойно, во всей ее полноте — представляю ее без слов, без образов, но цельно, как единое простое сущее. Я прорываюсь к ней — и тотчас отступаю обратно в сферу слов и, наконец, обратно (хоть с новыми силами и с большим пониманием, наполнив мозг образами) в обычную жизнь.

*17 сентября 1934 г.*

Сегодня Элен позвала меня для того, чтобы я помог ей развлечь ее сестру и зятя, только что вернувшихся из Индии. Пришлось надеть вечерний костюм — первый раз за этот год, — потому что Колин не мог позволить себе появиться в театре или в «Савой-гриле» в чем-нибудь кроме белого галстука. Удручающий вечер. Джойс тощая и нездоровая раньше времени. Колин украдкой поглядывает на более стройных и молодых женщин. Она ревнует и постоянно гундит, а он, недовольный тем, что привязан, словно веревкой, к жене и детям, винит ее в собственной излишней строгости, которая не позволяет ему быть распутником, а он хочет им быть. Каждый из них хронически не выносит другого. То и дело подаются признаки дурного нрава и происходят обмены гадкими и злыми словами. У Колина помимо этого другие несчастья. Англия, как показалось, не встретила офицера и джентльмена должным почетом. Извозчики грубы с ним, люди низших классов толкают его на улице. «Они называют Англию страной белых. (Это после второй «маленькой» в театральном баре в антракте.) Это не так. Подавайте мне Пуну каждый раз».

Допустим, у нас у всех будут свои Пуны, убежища от неприятной реальности. Опасность медитации, как все время говорит Миллер, в том, что она становится вот такой лазейкой. Квиетизм<sup>303</sup> может быть простым сибаритством. Силы притягивания очень похожи на мастурбацию. Но такую, которая более возвышенна, которую практикуют мистики-любители, употребляющие священные термины религии и философии. «Созерцательная жизнь». Это может послужить высокоинтеллектуальной заменой Марлен Дитрих<sup>304</sup>: предмет для эротических фантазий в сумерках. Медитация сама по себе вещь ценная, но только если это не приводит к такому приятному концу; только как средство проведения желаемых перемен в личности и образе существования. Вести созерцательную жизнь не значит жить, утопая в роскоши и вожделениях к заманчивой Пуне; это значит жить

---

<sup>303</sup> *Квиетизм* — религиозное учение, доводящее идеал пассивного подчинения воле Бога до требования быть безразличным к собственному «спасению».

<sup>304</sup> *Дитрих Марлен* (1901–1992) — американская актриса. Особым успехом пользовался фильм с ее участием «Голубой ангел».

в Лондоне, но не создавать себе стиль, похожий на кокни<sup>305</sup>.

## Глава 43

20 и 21 июля 1914 г.

Энтони казалось, что нужный, подходящий момент для того, чтобы сказать Брайану правду (или, по крайней мере, ту долю правды, которую ему было целесообразно знать), никогда не представится сам. Первый вечер был заранее исключен — потому что Энтони чувствовал, что должен повременить, так как Брайан выглядел уж чересчур больным и изможденным. За вечерним ужином и после него Энтони говорил на крайне непринужденные темы. Предметом разговора были «Размышления о насилии» Жоржа Сореля<sup>306</sup> — чтение совершенно неуместное для фабианцев. И видел ли Брайан, как метко попадала в его любимого Бергсона Джульен Бенда? А что он думает о белом стихе Лесли Аберкромби?<sup>307</sup> А о последней публикации Джилберта Кэннана? На следующее утро они вышли погулять к Лэнгдейлскому пику. Оба не собирались тренироваться, но, несмотря на учащенное дыхание и бьющееся, как колеса поезда, сердце, Брайан настаивал с поистине спартанским упорством на том, что Энтони сперва счел нелепицей, а потом издевательством. Когда они вернулись домой, солнце уже было высоко, и они изрядно устали, а Энтони вдобавок терзало возмущение. Отдых и ленч несколько улучшили его настроение, но он все-таки посчитал невозможным обращаться с Брайаном иначе как с мужчиной, все ему прощать, но тем не менее сохранять достоинство. Достоинство, однако, было несовместимо с тем, чтобы поведать ему всю правду. Вечер они провели в тишине — Энтони читал, а Брайан беспокойно бродил по комнате, словно подыскивая повод заговорить — повод, который не давали ни Энтони, ни и царивший вокруг него дух крайней занятости.

Следующим утром Энтони внезапно разбудила тревожная мысль о том, что время шло, и не только для него, но также и для Джоан и для Брайана. Нетерпение Джоан могло заставить ее забыть об обещании ничего не писать Брайану, и, кроме того, чем дольше он оттягивает неизбежное объяснение, тем хуже Брайан будет о нем думать.

Сославшись на нездоровье, он позволил Брайану выйти одному и, глядя, как тот упорно штурмует отвесный склон за усадьбой, сел за стол, чтобы написать письмо Джоан. Или, скорее, попытаться написать его, поскольку каждый из набросков, которые он делал, содержали один из двух недостатков, и каждый из этих недостатков подвергал его, как он понимал, некоторой опасности. Если он станет слишком настаивать на уважении и привязанности, которые подогрели его так, что он потерял голову в тот проклятый вечер, она ответит, что настолько сильные уважение и привязанность уже походят на любовь, а посему оправдывают его предательство Брайана, ибо любовь покрывает все. А если он станет слишком сильно напирать на потерю головы и временном безумии, она почувствует себя оскорбленной и пожалуется Брайану, миссис Фокс, своим родственникам, поднимет шум и в бешенстве назовет его подонком, совратителем и еще бог знает кем. Проведя три часа и испортив с дюжину листов бумаги, он понял, что лучшее из того, что он сотворил, отсылать стыдно. Он сердито отложил это письмо в сторону и в состоянии гнева начертил грозное послание Мери, полное упреков. Проклятая женщина! Это она должна ответить за все.

---

<sup>305</sup> *Кокни* — пренебрежительно-насмешливое прозвище жителей Лондона из средних и низших слоев населения.

<sup>306</sup> *Сорель Жорж* (1847–1922) — французский философ-эклектик, теоретик анархо-синдикализма.

<sup>307</sup> *Аберкромби Лесли Патрик* (1879–1957) — английский архитектор, новатор британского градостроительства.

«Намеренная злоба...» «Бесстыдно эксплуатировала мою любовь к тебе...» «Обращаясь со мной, как с каким-то животным, ты могла издеваться ради собственного удовольствия...» Фразы так и сыпались с его пера. «Это прощание, — заключил он, и наполовину уже сам верил в то, что он в сердцах написал. — Я не желаю больше тебя видеть. Никогда». Но ссору, думала вторая его половина, всегда можно уладить: он ее проучит, и затем, если она будет себя хорошо вести, если он почувствует, что не может без нее, то... Он запечатал письмо и тут же отправился на местный почтамт, чтобы его отправить. Этот решительный поступок мог поправить его чувство собственного достоинства. По дороге домой он задумал, на этот раз вполне определенно, привлечь Брайана к разговору этим вечером и затем, уже зная его реакцию, снова попробовать написать письмо Джоан на следующее же утро.

Брайан вернулся к шести часам, объятый ликованием оттого, что прошел еще дальше и взобрался на вершины еще большего количества гор, чем в прошлый раз, но выглядел он, несмотря на всю его радость, совершенно измочаленным. Увидев его так давно знакомое лицо, теперь трагически изможденное и понурое, хотя и излучавшая диковатую улыбку, Энтони почувствовал сильный прилив тех же чувств, которые он испытал в первый же вечер: заботливое участие к старому другу, искреннее сочувствие его страданиям — и вместе с этим невыразимое чувство вины перед ним, ответственность за его судьбу. Моментальное признание могло бы уменьшить его боль и в то же время позволило бы ему выразить свои чувства, но он колебался и не говорил ни слова. И через несколько секунд, в ходе почти моментального химического процесса, произошедшего в его психике, сочувствие и участие соединились с чувством вины и образовали гнев. Да, он определенно злился на Брайана за то, что тот выглядел таким усталым, за то, что он уже был таким несчастным, и за то, что станет еще более несчастным в тот момент, когда ему будет поведена правда.

— Ты с ума сошел, изнуряя себя так, — резко сказал Энтони и повел Брайана в дом, чтобы тот отдохнул перед ужином.

После еды они пошли на маленький лужок рядом с домом и террасой и, расстелив коврик, улеглись, глядя на небо, зеленое ко времени их приезда, а теперь постепенно приобретающее все более густой синий оттенок.

«Вот и настал неумолимый срок», — подумал Энтони с екнувшим сердцем; и в тягостном молчании стал готовить речь, просчитывая в мозгу все возможные ходы; он все еще колебался между резкой и скоропалительной правдой и уклончивой стратегией, которая постепенно подготовит жертву к последнему удару.

Но перед тем, как он решил, какой подход наиболее соответствовал его признанию, Брайан внезапно начал длинную и сбивчивую речь. Было очевидно, что он также ждал удобного случая облегчить душу, но вместо того, чтобы изображать кающегося грешника, как он намеревался, Энтони внезапно обнаружил в себе (отчасти к облегчению, отчасти к огорчению и смущению) стремление к тому, чтобы сыграть роль исповедника и духовника; ему захотелось прослушать заново историю, которую Джоан уже рассказала ему — ту самую, что была разукрашена святыми Мониками и внутриутробными реакциями и так чудесно подействовала на Мери Эмберли. Ему предстояло услышать, какой унижительной, какой болезненной его друг сочтет невозможность сдержат в узде собственное тело, подавить в себе низкую похоть, недостойную любви, которую он чувствовал к Джоан. Или, может быть, Брайан, цитируя строки Мередита: «Вулкан огромный изрыгает языки пламени из бездны к небесам», — не счел бы «это» недостойным, когда обстоятельства позволили бы «этому» занять свое место в неразрывном комплексе, составляющем идеальный брак, но недостойным именно тогда, когда «это» не могло найти законного выражения, потому что «это» могло бы бросить вызов здравому рассудку.

— Мне п-пришлось б-бежать, — объяснил он, — ф-физически устранился на б-безопасное расстояние. П-потому что я н-не был сп-пособен к-к-к... — «контролировать» у него не получилось, и он удовольствовался менее выразительным словом, — управлять с-собственной в-волей. Стыдно быть слабым, — закончил Брайан.

Энтони кивнул. Слабым в том, чтобы решиться на поцелуй, и не менее слабым, когда

дело дошло до прерывания того, что совершилось по общему согласию — хоть и было чем-то большим, чем просто слабость, чем-то положительным, развратной пирушкой в ситуации глупой, опасной, неуместной.

— Н-но если знаешь, что н-не м-можешь это п-побороть, — говорил Брайан, — я считаю, что лучше уйти в с-сторону. Лучше, чем вп-путаться в неизбежную п-передрагу.

— Да, я согласен, — процедил Энтони, удивляясь, почему он не поддался своему порыву и не вышел в Кенделе.

— И н-не т-только впутаться с-самому, н-но и впутать других. — Повисла длинная тишина, и затем медленно и усердно Брайан принялся объяснять, что самым великолепным, самым прекрасным в Джоан была ее естественность. Она была сильна, как сама природа, и так же непредсказуема; она была добра, как природа, щедра и до глубины души невинна. Она обладала всеми качествами летнего пейзажа, цветущего дерева, водоплавающей птицы, что летает, вся сверкающая и с горящими глазами, между камышей. Эта естественность и была тем, что он так любил в ней, потому что она так разительно отличалась от его собственной скрупулезности и рационализма. Но та же естественность делала для Джоан невозможным понимание, почему он считал ее присутствие таким опасным, почему он чувствовал необходимость держаться от нее подальше. Ей было неприятно оттого, что он удерживал себя от этого, она считала, что это происходит потому, что он ее не любит, в то время как на самом деле...

На самом деле, говорил себе Энтони, находя некоторое утешение, вновь будившее в нем чувство превосходства и насмешливый цинизм, она жаждала поцелуев, и при первой ласке все ее тело с содроганием протестовало против запрета, наложенного на «это».

— Н-на самом д-деле, — с усердием выговаривал Брайан, — я люблю ее б-больше, чем всегда. Н-несоизмеримо больше. — Он секунду помолчал, затем продолжал, глядя на Энтони: — Н-но что мне д-делать?

Все еще охваченный высокомерным презрением, Энтони грубость молчаливого ответа счел еще одной победой, столь, однако, недолгой, как и легкой. Первая мысль его сменилась беспокойным осознанием того, что он поставлен перед выбором: или сказать Брайану, что произошло между ним и Джоан, или дать еще один успокоительный и уклончивый ответ на его вопрос, отложив разглашение правды на потом. Но такой успокоительный ответ был бы чудовищно лживым, и когда бы он наконец решился сказать Брайану правду, то тот навсегда бы запомнил именно эту ложь и непременно использовал бы ее против Энтони при первом удобном случае. Но сказать правду теперь же, в этом конкретном контексте, было бы особенно болезненно, и болезненно, продолжал думать он, не только для него самого, но также, помимо всего прочего, для Брайана. После всего, что Брайан сказал в этот вечер, выдать обыкновенный отчет того, что случилось, было бы чрезмерной жестокостью и преднамеренным оскорблением.

## Глава 44

*21 сентября 1934 г.*

Размышления святой Терезы. «Давайте смотреть на наши собственные недостатки, а не на недостатки других. Нам не следует настаивать на том, чтобы каждый следовал нашим путем, не следует брать на себя смелость учить других духовности, ведь мы сами толком не знаем, что это такое. Стремление к праведности души, хоть и данное нам Богом, может часто свести нас с прямого пути». Ко всему этому добавьте следующее: Великая благодать Божия — заниматься самоисследованием, но слишком много — так же плохо, как и слишком мало, как говорится; поверьте мне, с Божьей помощью мы совершим больше путем размышлений о Божественном, чем если будем заняты исключительно собой. Но наш опыт говорит нам о том, что размышление о Боге — о благодати в самом открытом виде — есть путь к осознанию того, что благодать присутствует в незначительной степени в жизни человека и часто

стремление к осознанию благодати удерживает от какого-то сущего, не являющегося обычной человеческой личностью и сильно подчиненного ей. Христианский Бог и буддийский высший Разум суть результаты конкретного опыта, но буддист отклоняется от нормального состояния больше, чем христианин. Христиане, конечно, находились в этом состоянии чаще, чем буддисты, и столкнулись с более серьезными трудностями при выражении его в ортодоксальных терминах. Обе концепции правомочны — так же, как правомочны как макроскопический, так и микроскопический взгляды на материю. Мы наблюдаем окружающий мир с помощью физиомыслительного аппарата, и этот аппарат может отвечать только на определенные стимулы. В пределах относительно узких он работает. Природа явлений, воспринимаемых каждым из нас, зависит от природы индивидуального инструмента и от его применения, заложенного в нас с детства или выбранного нами впоследствии. Исходя из этих данных, можно сделать выводы, которые могут быть логически состоятельными или несостоятельными. Любая философия интеллектуально оправданна, если, во-первых, она опирается на факты, которые для философа являются данными, и если, во-вторых, логическое построение, основанное на этих фактах, выдерживает критику. Но философия, интеллектуально оправданная, не означает философию, оправданную нравственно.

Мы можем применить наш инструмент намеренно, с помощью воли. Это означает, что можно подчинять воле вариации в личном опыте, которые лежат в основе нашей философии, данные, из-за которых мы спорим. Проблема: необходимо построить действительно крепкие логические мосты между заданными фактами и логическими выводами. Что совершенно недостижимо. Нет неопровержимых подтверждений ни одной из основных на сегодняшний день космологических теорий. Ну и что же с этим делать? Опирайтесь, насколько это возможно, на эмпирические факты и всегда помнить, что они могут быть изменены любым, кто захочет изменить механизм восприятия. Так, что можно видеть, например, или неизлечимую бессмысленность и порочность, или осязаемые перемены к лучшему — что угодно: это вопрос выбора.

## Глава 45

*14 апреля 1928 г.*

Невыразимое чувство счастья — вот что должно было принести ему ее письмо. Но лицо Хью, когда он гулял — гулял вместо обеда взад-вперед по длинной галерее этнографического собрания, было смущенной и расстроенной маской. Слова письма Элен настойчиво звучали в его памяти. «Никого ни капельки не волнует, жива я или умерла...»

Символ смерти в хрустале и череп, украшенный бирюзой, посмотрели на него из мексиканской витрины. «Никого не волнует...» Это должно было стать его возможностью... Он думал о ее несчастье с мучительным состраданием, но также с надеждой. В несчастье она обратится к нему. «Никого не волнует...» «Никого, кроме тебя». К его восторгу, гордости и ликованию, вызванному чтением этих слов, примешивалось, по мере того, как он читал дальше, осознание, что она не понимала на самом деле, как его это волновало, не могла оценить истинную глубину его чувства. «Моя мать? — писала она. — Но с тех пор, как она начала пичкать себя той жутью, она стала какой-то другой — да и всегда была какой-то другой, даже когда была здорова (хотя, конечно, не настолько непохожей). Так же, как и я всегда была кем-то другим, если на то пошло. Ей нужна была дочь, а я всегда была самовлюбленной и безответственной. Как и она, в сущности. Какая-то другая. Как я могла волновать ее? Ты не эгоист, Хью. Ты...» Но дело было не просто в эгоистичности или альтруизме, внутренне воспротивился он, глядя на разрисованные лица на перуанских вазах, пляшущие сверху справа с немигающей пристальностью застывшей жизни. Все дело было в чем-то другом, в чем-то более глубоком и более духовном. Слева висели высохшие, фантастически размалеванные трофеи папуасских охотников за скальпами, напоминавшие



обезглавленных клоунов. В черепа из пролива Торреса были вставлены круглые блестящие глаза из перламутра. Да, более духовном, настаивал Хью, думая о том, что он писал о ней — лирично! лирично! — и о том тонком анализе своих собственных чувств. Тут был альтруизм, уже растаявший и, как и должно было быть, превратившийся во что-то более утонченно-эстетическое. Альтруизм на картинке. Альтруизм кисти Ватто или Чимы да Конельяно<sup>308</sup>. А она сама, предмет его созерцательно-эстетического альтруизма, — она также в его воображении, во все растущей стопке страниц романа о ней обладала качествами, характерными для картины или музыкальной пьесы; была чем-то, увидеть или услышать что являлось уже достаточным счастьем; может быть, иногда прикоснуться, словно она была статуей, приласкать с почти неосязаемой нежностью. И иногда в этих грезах она представляла холодной, несчастной — никому до нее не было дела, — и она просила, чтобы он успокоил и согрел ее, ласкалась к нему, хотела забраться под крыло, в те альтруистические, созерцательные, неосязаемые руки и оставаться там в безопасности, хоть и обнаженной, как на картине, девственной, идеальной, но тающей, тающей... Пернатая, как посол при полном параде, с птичьим клювом, зубами, как у акулы, эта деревянная маска однажды заставила того, кто ее носит, почувствовать в головокружительном танце, что он больше не человек, а божество. «Ты говорил, что всегда хочешь быть со мной. Ну что ж, я много об этом размышляла за недавнее время, и думаю, что я бы тоже этого хотела. Дорогой Хью, я не влюблена в тебя, но ты нравишься мне больше, чем кто бы то ни было. Я уверена, что ты милее, добрее, нежнее многих и не эгоист. И конечно же это достаточно крепкий фундамент для того, чтобы что-то построить».

Эти слова, когда он прочел их в первый раз, наполнили его чувством, напоминавшим панику, и с тем же самым протестующим волнением он теперь прогуливался между Новой Каледонией и Соломоновыми островами. Во чреве деревянной рыбы бонито меланезийская вдова открыла маленькую дверцу, и там, напоминавший ночной горшок, находился череп ее мужа. Но это всегда было духовно и эстетично, и он хотел быть с ней. Или она была неспособна понять это? Он определенно заявил с достаточной ясностью: «Если ты все еще хочешь этого, я тут как тут — я тоже этого хочу». Это было кошмарно, думал он, абсолютно кошмарно. Она вынуждала его принять решение и делала невозможным то, чтобы он сказал «нет», беря на вооружение то, что он уже сказал «да». Он чувствовал себя загнанным в угол, связанным по рукам и ногам. Женитьба? Но ему придется полностью переменить образ жизни. Его квартира слишком мала. Ей будет хотеться есть мясо по ночам. Миссис Бартон заметит. Из копий, висевших слева от него, некоторые были украшены вулканическим стеклом, некоторые — спинными хребтами скатов, а некоторые — человеческой костью. «Ты, вероятно, думаешь, что я дура, да вдобавок ветреная и безответственная. Это правда — я такой была до настоящего времени. Я безнадежна — я сделалась такой в результате жизни, которую вела. Теперь я хочу в корне изменить все, и знаю, что я смогу стать совершенно другой. *Serieuse*. Хорошей женой и всем прочим. (Боже, как это глупо, когда переносится на бумагу.) Но я отказываюсь больше стыдиться хорошего. Отказываюсь бесповоротно». Эта безответственность, думал он, была одной из самых прекрасных и наиболее трогательных черт ее характера. Это отделяло ее от мира обыденности, лишало вульгарности, свойственной многим людям. Он не хотел, чтобы она брала на себя ответственность и становилась доброй женой. Он хотел, чтобы она была похожа на Ариэля<sup>309</sup>, на нежное создание в его собственной рукописи, существом иного порядка, находившимся между добром и злом. Тем временем он направлялся в Африку. Фигурка негритянки, державшей свои длинные остроконечные груди в обеих руках, мрачно сверкала из стеклянной коробки. Живот у нее был татуирован, а пупок выпирал маленькой шишечкой. Копья в следующей

---

<sup>308</sup> Чима да Конельяно Джованни Батиста (ок. 1459–1517/1518) — итальянский живописец.

<sup>309</sup> Ариэль — персонаж пьесы Шекспира «Буря», светлый дух в противоположность Калибану.

витрине имели стальные наконечники. «Похожа на Ариэля, — повторил он про себя, — как те полотна Ватто в Дрездене, как Дебюсси<sup>310</sup>». В качестве резонатора этот ксилофон вместо обычной тыквы имел человеческий череп, и на рогах из слоновой кости висели черепа в виде гирлянд, берцовые кости окружали священнодейственный барабан из Ашанти<sup>311</sup>. «Она все испортила», — в отчаянии сказал он себе. И внезапно, подняв глаза, он увидел, что она была здесь, спешила по узкому проходу между витрин навстречу ему.

— Ты? — едва вымолвил он.

Но Элен была слишком обеспокоена, чтобы обратить внимание на его мрачный взгляд, бледность и, наконец, виновато вспыхнувшие щеки, слишком сильно занята своими мыслями, чтобы услышать ноту испуганного понимания в его голосе.

— Прости, — сказала она, едва дыша, когда взяла его руку. — Я не хотела помешать тебе здесь. Но ты не знаешь, что творилось сегодня утром у меня дома. — Она покачала головой, и губы ее задрожали. — Мама как сумасшедшая — это невозможно опираться... Ты единственный, кто...

Он нелепо пытался утешить ее, но действительность глубоко отличалась от того, как он воображал себе ее несчастье. Воображение всегда было прекрасной областью, а реальность — угрозой неминуемой катастрофы. В отчаянии он прибегнул к тому, чтобы переменить тему. Эти штучки из Бенина были довольно интересны. Леопард из слоновой кости, испещренный медными точками, бронзовые негритянские воины с листьяобразными копьями и мечами, у которых с пояса свисали головы их врагов. Европейцы с бородами и орлиными носами в головных уборах шестнадцатого века, мешковидных чулках и повязках крест-накрест вокруг шеи. Иронично, как будто в скобках, он заметил, что единственное, чему эти люди научились у христианства, это искусству распинать людей. Карательная экспедиция в 1897 году обнаружила место, полное крестов. А прекрасная головка молодой девушки в конусообразной фригийской шапочке с коралловыми бусинками...

— Взгляни на это, — внезапно прервала его Элен и, отогнув рукав, показала ему две красных полукруглых отметины на коже в нескольких дюймах выше запястья. — Это она укусила меня, когда я пыталась заставить ее лечь в постель.

Хью был полон брезгливости и негодования.

— Это ужасно! — прокричал он. — Просто жутко. — Он взял ее за руку. — Ах ты бедный ребенок! — И они буквально секунду стояли, не говоря ни слова. Затем внезапно его жалость испарилась от осознания того, что случилось. Теперь пути к бегству не было. Он снова поймал себя на мысли о миссис Бартон. Если она заметит, то что он будет делать?

## Глава 46

*30 октября 1934 г.*

Марк сказал за ужином, что перечитывает «Анну Каренину». Она ему нравилась, как и все романы. Он лишь пожаловался на крайнюю неправдоподобность даже самой лучшей беллетристики. И начал перечислять все недостатки. Почти никакого внимания маленьким физиологическим событиям, которые определяют, будет ли день иметь приятный или неприятный тон. Испражнение, например, способное создать или испортить весь день. Пищеварение. И для героинь романа их месячные драмы. Затем небольшие заболевания — катар, ревматизм, головные боли, усталость глаз. Хронические физические недостатки — от

---

<sup>310</sup> *Дебюсси Клод* (1862–1918) — французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма.

<sup>311</sup> *Ашанти* — раннефеодальное государство, существовавшее с конца XVII в. на территории современной Ганы и захваченное Великобританией.

чрезмерной полноты (в случае импотенции или уродства) до восхитительных психических расстройств. И наоборот, внезапные припадки неизвестного внутреннего или мышечного характера или просто обыкновенное ухудшение здоровья. Не говоря уже, конечно, о роли, которую играют простые чувства, доставляющие удовольствие. Горячая ванна, например, вкус бекона, мех на ощупь, запах фрезий. В жизни, например, пустая пачка из-под сигарет может причинить больше беспокойства, чем отсутствие любовницы, чего никогда не найдешь в книгах. Почти полностью умалчивается о маленьких развлечениях, заполняющих значительную часть человеческой жизни. Чтение газет, походы по магазинам, обмен сплетнями, всевозможные грезы, начиная от лежания в постели и воображения того, что бы ты делал, если бы у тебя была нужная любовница, доход, лицо, общественное положение, и кончая сидением в кинозале и пассивным получением готовых грез из Голливуда.

Ложь по упущению неизбежно превращается в позитивную ложь. Литература намекает, что людей контролирует если не разум, то по крайней мере внятные, хорошо организованные, открыто проявляющиеся чувства. В то время как факты свидетельствуют об обратном. Иногда чувства играют роль, а иногда нет. Да восторжествует любовь, хотя бы погиб мир, но любовь может быть благородным названием для безотчетного влечения к одежде или запаху какого-то определенного человека, безумное желание повторить ощущение, вызванное каким-то ловким движением. Или возьмите подобные случаи (это редко предается огласке, но происходит крайне часто, если верить любому, кто оказывался в такой ситуации) из жизни знаменитых государственных деятелей, отцов церкви, юристов, промышленных магнатов — на первый взгляд таких разумных, показательно интеллигентных, таких высоконравственных, если кругом люди; но в частной среде, при непреодолимой тяге к бренди, молодым людям, юным девочкам в поезде, к эксгибиционизму, азартным играм или накопительству, к угрозам и к рабскому подчинению, ко всем бесчисленным сумасшедшим извращениям, связанным с жадой к деньгам, власти и силе, с одной стороны, и к половому наслаждению, с другой. Обыкновенный тик или действие различных раздражителей, безумные и неподотчетные желания играют в человеческой жизни такую же роль, как и организованные и допустимые чувства. Любая художественная литература отрицает подобный факт и распространяет чудовищную ложь о природе мужчины и женщины.

Несомненно, это правильно, отвечает Марк. Потому что если бы людям показывали, кто они есть на самом деле, они бы либо поубивали друг друга, как клопов, либо сами сунулись в петлю. «Но тем не менее я больше не могу утруждать себя чтением беллетристики. Выдумка и ложь мне не интересны. Как бы поэтично они ни были бы выражены. Это всего лишь занудство».

Я согласился с Марком в том, что беллетристика не выполняет свое предназначение. В том, что необходимо знать все, и знать это не просто по научной литературе, но также в той форме, которая позволила бы вжиться в факты, а не просто овладеть ими. Всецелое выражение (в терминах беллетристики) ведет к глубокому знанию, то есть всеми качествами разума, всей правды — безоговорочное предварительное условие любого спасительного действия, любой серьезной попытки воспитать настоящего человека. Воспитание изнутри, путем выработки правильного самоиспользования. И в то же время воспитание извне, посредством социально-экономических условий, созданных в свете исчерпывающего знания личности и пути, на котором личность может проявлять себя и благодаря этому изменяться.

Марк всего-навсего рассмеялся и сказал, что я похож на людей, которые ходят из дома в дом и продают электрические стиральные машины.

*4 ноября 1934 г.*

Был на великолепной встрече в Ньюкасле<sup>312</sup> с Миллером и Перчезом. Огромные,

---

<sup>312</sup> *1 Ньюкасл* — город в Англии, административный центр графства Тайн-энд-Уир, где находится крупное месторождение угля.

ликующие толпы, в основном состоящие из неимущих. Возьмите на заметку тот факт, что пацифистская настроенность обратно пропорциональна уровню благосостояния. Чем выше бедность, чем длиннее срок безработицы, тем более искренним становится желание не воевать больше и тем более сильным скептическое отношение к условным идолам — Империи, Чести Нации и всему прочему. Негативное отношение тесно связано с плохими экономическими условиями. Следовательно, на это не стоит полагаться. Такой пацифизм не имеет автономной жизни. Он находится, прежде всего, на милости тех, кто способен дать деньги, и угрозы войны приведут только к очередному всплеску безработицы. Во-вторых, он зависит от того, кто предложит заманчиво позитивную доктрину, какой бы криминальной ни была эта позитивность. Разум ненавидит пустоты. Отрицательный пацифизм и скептицизм по отношению к существующим институтам — всего-навсего дыры в разуме, пустоты, которые ожидают того, чтобы их заполнили. Фашизм и коммунизм обладают достаточным позитивным содержанием, чтобы служить этими заполнителями. Внезапно может появиться кто-то, кто обладает способностями Гитлера. Отрицательная пустота способна наполниться до отказа во мгновение ока. Эти пацифисты-скептики за одну ночь превратятся в напичканных идеями фанатиков национализма, классовой войны или чего угодно. Отсюда вопрос: есть у нас время заполнить пустоту положительным пацифизмом? Или, даже при наличии времени, имеем ли мы способность сделать это?

## Глава 47

*10 и 11 января 1934 г.*

Телеграмма дона Хорхе была приказом немедленно продать шесть сотен ящиков кофе. На самом же деле это был условный сигнал, возвещавший, что момент наступил и он немедленно ждал их к себе.

Марк посмотрел на своего компаньона с явной враждебностью.

— Все твои чертовы тонкие кишки! — сказал он.

Энтони воспротивился, утверждая, что с ним все в порядке.

— Ты не годен для марш-броска.

— Годен.

— Нет, — повторил Марк с настойчивостью, граничивший в то же время со страстным негодованием. — Три дня на муле по этим проклятым горам — это слишком тяжело для любого в твоём состоянии.

Уязвленный словами друга и боясь, что он, согласившись с Марком, выкажет свой страх перед теми трудностями, которые им предстояли, Энтони упрямо твердил, что он готов преодолеть все. Желая верить этому, Марк быстро позволил убедить себя. Дону Хорхе был отправлен ответ — шестьсот ящиков кофе немедленно проданы, и он должен ожидать дальнейших подробностей в пятницу. И вот наконец, после ленча, в одуряющую полуденную жару они отправились за кофе «Финка», росшим высоко в горах над Тапатланом, где один из друзей дона Хорхе должен был предоставить им ночлег. Марк снова вытащил своего карманного Шекспира, и они четыре часа прищипывали медлительных животных, все вперед и вперед, по запыленным зарослям маиса, и по полям, сквозь сухую, безлистную щетину ветвей, которая наконец уступила место зеленому мраку и золотым огням кофейных плантаций под возвышавшимися тенистыми деревьями. Вперед и вперед, и Марк тем временем прочитал целиком «Гамлета» и два первых акта «Троила и Крессиды»<sup>313</sup>, а Энтони сидел и думал в дымке, окутавшей его глаза, как долго он еще сможет вынести это. Но наконец, когда стало совсем темно, они достигли места назначения.

---

<sup>313</sup> «Троил и Крессиды» — пьеса Шекспира (1602), написана на сюжет из древнегреческой мифологии.

В четыре часа на следующее утро они снова были в седле. Под деревьями царила двойная ночь — листва поглотила яркие звезды, но мулы с твердой уверенностью выбирали себе путь по извилистой тропинке. Время от времени Марк и Энтони проезжали под невидимыми лимонными деревьями, и во тьме запах цветов был подобен мимолетному, невыразимому откровению чего-то неземного — минутному восторгу, и затем, по мере того, как мулы продвигались, перебирая копытами, вверх по каменистой тропе, запах кожи и пота символизировал угасание этой сверхъестественной жизни, знаменуя возвращение к обыденности.

Поднялось солнце, и чуть позже они выступили из возделанных кофейных зарослей на возвышенную местность обнаженных гор и сосен. Почти на одном уровне дорожка извивалась в обе стороны вдоль, изрезанных гор. Слева под обрывом видна была долина, все еще темная от теней. Вдали, в дымном воздухе, пропахшем пылью засушливого лета и запахом лесных пожаров, в туманной белизне виделся тихоокеанский берег.

Марк все еще читал «Троила и Крессиду». Спуск был настолько отвесный, что им пришлось слезть с мулов и вести их под уздцы, еще через час они вышли к берегу речушки. Они перешли ее вброд и под палящим солнцем начали карабкаться на склон. Не было ни одной тени, и огромные голые холмы имели цвет пыли и выжженной травы. Ничто даже не шелохнулось, ни одна ящерица меж камней. Вокруг не было ни малейшего признака жизни. Безнадежно пустой хаос гор, казалось, простирался вдаль бесконечно. Все выглядело так, словно они ехали через границу мира в небытие, в бесконечные просторы горячего и пыльного ничто.

В одиннадцать часов они остановились на ленч, и еще час спустя, когда солнце стояло прямо над головой, сделали еще один привал. Тропа уходила вверх, затем спускалась на полторы тысячи футов в ущелье и снова выходила на поверхность. К трем часам Энтони был настолько изможден, что едва мог думать и видеть. Пейзаж, казалось, колыхался перед ним, как нарисованный, иногда темнел, меркнул и полностью опадал. Он слышал голоса, и его мысли начинали жить своей собственной жизнью у него в голове — жизнью, не связанной с земной, безумной, дурманящей и беспощадной. В фантазмагории, прекратить которую было выше его сил, один образ следовал за другим. Он был словно одержим бесом, словно кто-то принуждал его жить чужой жизнью и думать чужими мыслями. Но пот, который в три ручья лился у него с лица и промочил рубашку и хлопковые дорожные бриджи, был его собственным. Его собственным и страшным, невыносимым. Он ждал, что вот-вот заохает, даже разрыдается, но сквозь бред собственного двойника вспомнил о слове, данном Марку, и искреннее обещание того, что не утомится. Он мотал головой и продолжал ехать — ехать по несуществующему миру дикой фантазии и полупризрачного, зыбкого ландшафта, сквозь отвратительную реальность своей боли и усталости.

Голос Марка вывел его из полубоморока.

— С тобой все в порядке?

Очнувшись, с усилием приведя взгляд в норму, он увидел, что Марк остановился и ждал его прямо у изгиба тропинки. В пятидесяти ярдах вслед за багажным мулом ехал *тозо*.

— Мул-ла-а-а! — раздался долгий возглас, и вместе с ним глухой удар палки по спине мула.

— Извини, — пробормотал Энтони, — Я, должно быть, отстал.

— Ты уверен, что с тобой все в порядке?

Энтони кивнул.

— Осталось меньше часа езды, — сказал Марк. — Поднажми, если можешь. — В тени огромной соломенной шляпы на его изможденном лице появилась ободряющая улыбка.

Тронутый, Энтони улыбнулся в ответ и, чтобы вселить в Марка уверенность, попытался пошутить о том, как тяжело, должно быть, деревянным седлам оттого, что на них беспрестанно ездят.

Марк рассмеялся.

— Если мы доберемся живыми и здоровыми, придется пожертвовать пару серебряных

седел собору Святого Иакова в Компостелле. — Он рванул за уздцы, пришпорил мула и тот потянулся вверх по склону; затем, сбросив вниз камни из-под копыт, споткнулся и упал вперед на колени.

Энтони закрыл глаза, чтобы они минуту отдохнули от яркого света. Услышав шум, он снова открыл их и увидел, что Марк лежит лицом на земле, а мул усиленными рывками пытается встать на ноги. Пейзаж вмиг приобрел ясные очертания, зыбкие образы застыли. Забыв о боли в спине и в ногах, Энтони спрыгнул с седла и побежал по тропинке. Когда он приблизился, Марк поднялся на ноги и уже залез на мула.

— Ушибся? — спросил Энтони.

Тот покачал головой, но ничего не ответил.

— У тебя идет кровь.

Бриджи были разорваны на левом колене, и на нем виднелось красное пятно. Энтони крикнул *тозо*, чтобы тот вернулся вместе с багажным мулом и затем, опустившись на одно колено, открыл перочинный нож и отрезал им кусок ткани, соприкасавшийся с раной, образовав длинную бахромчатую щель в плотном материале.

— Ты испортишь мне бриджи, — подал голос Марк.

Энтони ничего не ответил, оторвав большой кусок материала.

Коленная чашечка и верхняя часть голени представляли собой красное пятно плоти без кожи, серое там, где кровь пропиталась пылью и землей. На внутренней части колена зияла глубокая рана, обильно кровоточащая.

Энтони сжал зубы, словно боль была его собственной, и закусил нижнюю губу. Чувство болезненного физического отвращения смешивалось с мучительным состраданием. Он содрогнулся.

Марк нагнулся вперед, чтобы рассмотреть поврежденное колено.

— Месиво, — была его реакция.

Энтони ничего не сказал, затем открутил пробку фляги и, смочив носовой платок, стал удалять грязь с ран. Чувство брезгливости исчезло — он был полностью поглощен выполняемой задачей. Сейчас не было ничего важнее, чем смыть песок, не причинив Марку лишней боли.

В это время *тозо* вернулся к ним с багажным мулом и в молчании стоял рядом, глядя сверху вниз своими ничего не выражающими глазами на то, что происходит.

— По-моему, он думает, что мы заняты ненужным делом, — произнес Марк, сделав попытку улыбнуться.

Энтони поднялся на ноги, приказал *тозо* снять с мула поклажу и вытащил из одного из холстяных узлов аптечку.

Почувствовав жжение дезинфицирующего средства, Марк разразился громким хохотом.

— Не говори мне больше своей социологической туфты насчет йода, — сказал он. — Это все старая как мир идея о причинении людям зла ради их же блага. Как Иегова. Господи! — И он снова расхохотался, когда Энтони промокнул очередной участок сырой плоти. Затем, когда колено было забинтовано, он сказал Энтони: — Дай мне руку. — Энтони помог ему подняться на ноги, он сделал несколько шагов вперед по тропинке и вернулся назад. — Кажется, ничего. — Марк нагнулся, чтобы осмотреть передние ноги мула. На них едва виделись царапины. — Ничего не удерживает нас от того, чтобы двинуться вперед, — заключил он.

Они помогли ему забраться в седло, и он, пришпорив мула больной ногой, поскакал быстрым шагом вверх по склону холма. Остаток пути он казался Энтони, особенно когда приосанивался и выпячивал грудь и тогда, когда тропинка изгибалась и сзади виделся его профиль, мраморной и застывшие-бледной, статуей стойка, израненного, но еще живого и молчаливо мирящегося со своей агонией.

Позже назначенного часа — поскольку Марк предпочел сдерживать шаг, но не заставлять мулов фырчать и обливаться потом в полдневную жару — они въехали в Сан-Кристоваль-

эль-Альто.

Тридцать или сорок индейских ранчо виднелись на узком кряже между двумя вдающимися в море заливами, за которыми с каждой стороны гряда за грядой горы беспорядочно уходили вдаль, сливаясь с дымкой.

Увидев именитых путешественников, местный лавочник поспешил на площадь, чтобы предложить им ночлег. Марк выслушал его, со всем согласился и сделал движение, чтобы слезть с мула; затем, поморщившись, остался сидеть в седле. Не поворачивая головы, он крикнул громким, сердитым голосом:

— Вам придется стаскивать меня с этого проклятого животного.

Энтони и *тозо* помогли ему спуститься, но, оказавшись на земле, Марк отверг всякую дальнейшую помощь.

— Я могу ходить и сам, — отрезал он и нахмурился, как будто, протянув руку, Энтони хотел оскорбить его.

Их пристанище на ночь оказалось дровяным сараем, наполовину заполненным кофейными ящиками и шкурами. Осмотрев место, Марк снова захромал, чтобы взглянуть на соломенный навес, служивший конюшней для мулов, затем предложил прогуляться по деревне — «осмотреть достопримечательности», как он выразился.

Прогулка, как было видно, причинила ему столько боли, что он не мог вымолвить ни слова. В молчании они пересекли маленькую площадь, в молчании же зашли в церковь, в школу и в городскую тюрьму. Также не говоря ни слова, они шли дальше друг за другом, поскольку, если бы они шли рядом, думал Энтони, он мог бы видеть лицо Марка, искаженное гримасой боли. В то время как если бы он шел впереди, это было бы оскорблением, вызовом Марку, который бы заставил его ускорить шаг. Энтони намеренно тащился позади, не говоря ни слова, словно индейская женщина, следующая по пыльной дороге за своим мужем.

Примерно через полчаса Марк почувствовал, что достаточно измордовал себя.

— На сегодня хватит достопримечательностей, — мрачно сказал он. — Я предлагаю съесть что-нибудь.

Ночь была пронизывающе холодной, а спать им пришлось на обыкновенных нарах. На следующее утро Энтони очнулся после беспокойного, истомившего его сна.

— Проснись! — кричал ему в ухо Марк. — И поднимайся.

Энтони испуганно вскочил и увидел Марка, сидящего на противоположном конце нар, подперев рукой голову, и сердито глядящего на него.

— Пора отчаливать, — продолжал хриплый голос. — Уже седьмой час.

Внезапно вспомнив о случившемся вчера, Энтони спросил, как его колено.

— Да все так же.

— Ты выпался?

— Конечно же нет, — раздраженно отозвался Марк. Затем, отведя взгляд, добавил: — Я не могу встать. У меня нога как деревянная.

Энтони напялил сапоги и, открыв дверь сарая, чтобы впустить солнечные лучи, подошел к Марку и сел на краешек его кровати.

— Неплохо было бы наложить чистую повязку, — сказал он и начал развязывать бинт.

Корпия прилипла к сырой плоти. Энтони осторожно потянул за нее, затем отпустил.

— Пойду попрошу немного теплой воды в магазине, — сказал он. Марк едва слышно хохотнул и, взяв кончик повязки большим и указательным пальцами, резко рванул. Квадратный кусок розовой ткани остался у него в руке.

— Нет! — крикнул Энтони, морщась, как будто бы боль была его. Но Марк только презрительно улыбался. — Ну вот, теперь снова идет кровь, — добавил Энтони уже другим тоном, найдя медицинское оправдание своему выкрику. Но на самом деле не струйка свежей крови обеспокоила его больше всего, когда он склонился, чтобы посмотреть на рану, обнаженную Марком. Колено полностью распухло и было почти черным от синяков, а по краям вновь вскрывшейся раны плоть была желтой от гноя.

— С таким коленом ты вряд ли сможешь ехать, — сказал он.

— А это уж мне решать, — был ответ Марка, и спустя секунду последовало добавление: — В конце концов ты сам решился ехать позавчера.

Эти слова выражали презрительное уничижение. «Если такой слабак, как ты, может перевозмогать боль, то уж я-то, конечно...» Именно это он имел в виду. Но оскорбление, как показалось Энтони, было ненамеренным. Причиной его послужило крайнее высокомерие, почти ребяческое по своей неразумной силе. Кроме того, колено бедняги было действительно повреждено. Времени для оскорблений не оставалось.

— Со мной было практически все в порядке, — примирительным тоном проговорил Энтони. — А у тебя нога, которая в любой момент воспалится.

Марк набычился.

— Уж если я не иду пешком, а еду на муле, все будет в порядке, — настаивал он. — Просто колено слегка задубело и в синяках. Да и кроме того, — добавил он, противореча тому, что было сказано перед этим, — в Миахутле есть врач. Чем скорее я попаду к нему в руки, тем лучше.

— Пока ты трясешься на муле, будет гораздо хуже. Вот если б ты подождал здесь денек-два...

— Дон Хорхе подумает, что я предал его.

— К черту дона Хорхе. Пошли ему телеграмму.

— Здесь не работает телеграф. Я спрашивал.

— Ну тогда пошли *tozo*.

Марк покачал головой.

— Я не доверяю ему.

— Почему?

— Он напьется при первой же возможности.

— Иными словами, ты не хочешь его посылать.

— Кроме того, будет слишком поздно, — продолжал Марк. — Дон Хорхе через день или два уже уедет.

— И ты воображаешь, что сможешь отправиться с ним?

— Я думаю быть там, — сказал Марк.

— Ты не сможешь.

— А я говорю тебе, что буду там. Я не собираюсь подводить его. — Его голос был холодным и охрипшим от едва сдерживаемого гнева. — А теперь помоги мне встать, — приказал он.

— Не буду.

Двое в молчании смотрели друг на друга. Затем, сделав усилие, чтобы сдержать себя, Марк пожал плечами.

— Ну ладно, так и быть. Я кликну *tozo*. А если ты боишься отправляться в Миахутлу, — продолжил он тоном дикарского презрения, — можешь проваливать назад в Тапатлан. — Я обойдусь и один. — Затем, в открытую дверь, он крикнул: — Хуан! Эй, Хуан!

Энтони пришлось капитулировать.

— Хорошо, пусть будет по-твоему. Если ты действительно сошел с ума... — Он не договорил: — Но я ни за что не отвечаю.

— Тебя и не просили, — ответил Марк. Энтони встал и пошел за аптечкой. Вынув корпию, он промокнул рану и наложил свежую повязку. Сцена прошла в молчании; затем, пытаясь забинтовать рану, Энтони произнес:

— Надеюсь, мы прекратили ругаться? Так, наверное, будет легче?

Несколько секунд Марк был полон ненависти и безразличия.

Затем он поднял глаза и выдавил из себя примирительно-дружескую улыбку.

— Мир, — сказал он, одобрительно кивая. — Мы заключим мир.

Но он не принял во внимание боль. Она началась, мучительная, лишь только он пытался выполнить поставленную перед собой задачу спуститься с нар. Но без того, чтобы



согнуть поврежденное колено, это оказалось невозможным, даже с помощью Энтони, а согнуть колено было пыткой. Когда он наконец поднялся на ноги, он был весь бледен и его лицо выражало свирепость.

— Все в порядке? — спросил Энтони.

Марк кивнул и хромая вышел из сарая, даже не взглянув на Энтони, словно тот стал его заклятым врагом.

Пытка снова началась, когда пришла пора взбираться на мула, и возобновлялась с каждым шагом, делаемым животным. Как и днем раньше, Марк ехал впереди. Во главе кавалькады он доказывал свое превосходство и вместе с тем оставался недостижимым для любопытных глаз. Воздух был по-прежнему холодным, но время от времени Энтони замечал, что Марк вынимал платок и прикладывал его к лицу, словно был в испарине. Каждый раз, когда он клал платок в карман, он с новым, каким-то дикарским усердием прищипывал мула.

Дорожка уходила вниз, затем снова поднималась, вилась по склону среди сосен и опять опускалась вниз, вниз, вниз. Прошел час, потом два, три; солнце высоко стояло в небе, и жара была нестерпимой. Три часа, затем три с половиной, и вот наконец пошли лесные опушки, холмы и поля, скирды кукурузы с индейских полей, ряды хижин, старуха, несущая воду, загорелые дети, молчаливо играющие в пыли. Авантюристы находились на окраинах нового селения.

— Как насчет того, чтобы выйти и пообедать здесь? — высказал мнение Энтони и с помощью шпоры перевел мула на рысь. — Мы могли бы достать свежих яиц, — закончил он, поравнявшись с другим мулом. Лицо, когда Марк обратил его к нему, было белым, как полотно, и, когда он разжал стиснутые зубы, чтобы заговорить, нижняя челюсть непроизвольно затряслась.

— Мне думается, стоит двигаться вперед, — начал он почти неслышно. — У нас впереди еще длинный путь... — Затем он отчаянно заморгал, голова опустилась, а тело, казалось, вот-вот сползет. Он припал, нагнувшись вперед, к шеи мула, завалился на сторону и упал бы на землю, если бы Энтони не подхватил его за руку и не удержал в седле.

## Глава 48

*23 июля 1914 г.*

Энтони снова вздремнул после звонка и поэтому опоздал к завтраку. Когда он вошел в маленькую гостиную, Брайан взглянул на него испуганными глазами и, словно почувствовав за собой вину, быстро сложил письмо, которое в тот момент читал, и убрал его к себе в карман. Это, однако, произошло после того, как Энтони, находившийся на противоположном конце комнаты, узнал достаточно четкий и изысканно наклонный почерк Джоан. Произнеся подчеркнуто небрежным тоном «доброе утро», он сел и принялся медленно наливать себе кофе с таким видом, словно это был сложный научный процесс, требующий максимума внимания.

«Сказать ли ему сейчас? — размышлял он. — Да, я должен это сделать. Это должно исходить от меня, даже несмотря на то, что он уже все знает. Проклятая девчонка! Почему она не смогла сдержать свое обещание?» Он чувствовал праведный гнев по отношению к Джоан. Нарушить собственное слово! И какого черта она разболтала Брайану? Что произойдет, если его рассказ будет отличаться от ее? И тем не менее, каким дураком он будет выглядеть, если признается теперь, когда уже поздно? Она лишила его права, любой возможности рассказать Брайану о том, что случилось. Женщина сорвала план его действий, и пока его гнев превращался в жалость к самому себе, он ощущал себя человеком, полным самых наилучших намерений, исполнение которых нарушилось в самый последний момент. Она закрыла ему рот как раз перед тем, как он собирался произнести те слова, которые поставили бы все точки над *i*, и поступив так, сделала ситуацию абсолютно невыносимой.

Чего она ожидала от него теперь, когда Брайан обо всем знает? Вместо ответа на этот вопрос он, по крайней мере на первые несколько минут, закрылся газетой «Манчестер гардиан». В укрытии он притворился, поедая яичницу, что испытывает огромный интерес ко всему тому, что там писалось о России, Австрии и Германии. Но затянувшееся молчание наконец стало невыносимым.

— Похоже, дело идет к войне, — в конце концов произнес он, не покидая своего бастиона.

С другого конца стола Брайан подал слабый знак согласия. Текли секунды. Затем послышался шум отодвигаемого стула. Энтони сидел не двигаясь, глубоко озабоченный мобилизацией в России и не обращая внимание на то, что происходит в непосредственной близости от него. Только когда Брайан открыл дверь, он спросил, наполовину повернувшись, но не настолько, чтобы видеть лицо Брайана.

— Уже уходишь?

— Я в-вряд ли пойду г-гулять с-сегодня утром.

Энтони одобрительно кивнул, словно семейный врач.

— Правильно, — заметил он и добавил, что сам он хочет взять напрокат велосипед в деревне и съездить в Эмблсайд. Нужно купить кое-что. — Увидимся за обедом, — закончил он.

Брайан ничего не ответил. Дверь за ним закрылась.

Без четверти час Энтони уже вернул взятый велосипед и возвращался вверх по склону холма к усадьбе. На этот раз уже решено точно — раз и навсегда. Он расскажет Брайану все — почти все, и в тот самый момент, когда войдет.

— Брайан! — крикнул он с порога.

Ответа не было.

— Брайан!

Отворилась кухонная дверь, и старая миссис Бенсон, служившая кухаркой и горничной, появилась в узкой прихожей. Мистер Фокс, объяснила она, отправился на прогулку где-то с полчаса; к обеду не будет, как он сам сказал, и собирался (можете ли поверить?) отправиться натошак, но она заставила его взять с собой бутерброды и вареные яйца.

С чувством внутреннего неудобства Энтони в одиночестве сел за ленч. Брайан намеренно избегал его, и поэтому должно быть сердится, или еще хуже, внезапно пришло ему на ум, обиделся — так глубоко, что не мог выносить его присутствия.

Мысль об этом заставила Энтони содрогнуться — обиды всегда были ужасны и мучительны также для того, кто их наносит. А если Брайан принесет со своей прогулки великодушное прощение, а, зная его, Энтони чувствовал уверенность, что так и будет — что тогда? Столь же болезненно было быть прощенным, особенно болезненно в случае, если об обиде не было сказано заранее. «Если бы у меня только был шанс сказать ему, — неустанно повторял он себе, — если бы я только мог это сделать». И почти заставлял себя поверить в то, что ему помешали.

После ленча он вышел в поле за усадьбой, надеясь (поскольку именно сейчас он решил срочно все рассказать), и в то же время, поскольку разговор мог стать мучительным и неприятным, сильно боясь, что встретит Брайана. Но он не встретил никого. Отдохнув на гребне холма, он сумел на какое-то время забыть о своих бедах на фоне прекрасного вида. Такой типично и обманчиво английский, думал он, желая, чтобы Мери была здесь и услышала его комментарии. Горы, долины, озера, но все в уменьшенном масштабе. Ничтожно маленькие, таящиеся, как английские усадьбы — все уютные, милые местечки — ничего грандиозного. Ни единого намека на мегаломанию тринадцатого века и никакой барочной вычурности. Уютная, пресыщенная величавость. И почти воспрянув духом, он начал спускаться.

Нет, сказала старая миссис Бенсон, мистер Фокс еще не вернулся.

Он в одиночестве пил чай, затем сел в шезлонг на лужайке и стал читать «Проблемы

стиля» де Гурмона<sup>314</sup>. В шесть часов вышла миссис Бенсон и после пространного объяснения того, что стол накрыт и что холодная баранина в кладовой, пожелала ему доброго вечера и отправилась вниз по дороге к своему домику.

Вскоре после этого его стали кусать комары, и он вернулся в дом. Маленькая кукушка в швейцарских часах открыла свою дверцу, прокуковала семь раз и спряталась. Полчаса спустя она снова высунулась и крикнула один раз. Было время ужинать. Энтони поднялся и пошел к задней двери. В конце усадьбы холм светился почти сверхъестественным светом.

Брайана нигде не было. Энтони вернулся в гостиную и для разнообразия немного почитал Сантаяну<sup>315</sup>. Кукушка издала восемь пронзительных криков. Над оранжевым пятном заходящего солнца уже виделась вечерняя Венера. Он зажег лампу и задвинул шторы. Затем, снова сев, пытался продолжить чтение Сантаяны, но эти тщательно отшлифованные самоцветы остроумия перекатывались по плоскостям его ума и не оставляли ни малейшего впечатления. Наконец он захлопнул книгу. Кукушка объявила о том, что было полдевятого.

Несчастный случай, думал он. Мог ли Брайан стать жертвой несчастного случая? Но в конце концов люди не так-то часто попадают в них — тем более когда совершают тихие прогулки. Внезапно его осенила новая мысль, и в одно мгновение вероятность растянутых связок и переломанных ног исчезла. Эта прогулка — он совершенно в этом уверен — совершена на станцию. Брайан в поезде, он едет в Лондон, чтобы увидеть Джоан. Это было очевидно, лишь только такой вариант пришел ему в голову. Просто не могло быть по-другому.

— Господи! — сказал Энтони вслух в пространство маленькой комнаты. Затем, когда безнадежность ситуации вызвала в нем чувство цинизма и безразличия, он пожал плечами и с зажженной свечой отправился в кладовую за холодной бараниной.

На этот раз, решил он, пока ел мясо, он действительно может сбежать. Просто спрятаться до тех пор, пока положение не улучшится. Он не чувствовал никаких угрызений совести. Поездка Брайана в Лондон освободила его, по его собственной оценке, от любой другой ответственности в этом деле; он чувствовал, что теперь свободен и может делать все, что считает нужным.

В приготовлениях к побегу он, поужинав, поднялся на верхний этаж и начал упаковывать чемодан. Воспоминание о том, что он дал Брайану почитать «Жену сэра Айзека Хармана» заставило его со свечой в руке пройти через лестничную площадку. На комод в комнате Брайана на видном месте стояли три конверта, прислоненные к стене. Два из них, как он заметил еще с порога, были с маркой, а на третьем марки не было. Это последнее письмо адресовалось ему, два других соответственно Джоан и миссис Фокс. Он поставил свечу на стол, взял свое письмо и вскрыл конверт. Его наполнило смутное, но сильное предчувствие, страх перед чем-то неизвестным, чем-то, что он не осмеливался знать. Он стоял долго, держа в руке открытый конверт и вслушиваясь в тяжелое биение собственной крови. Затем, наконец придя к окончательному решению, вынул сложенные листы. Их было два, один был исписан почерком Брайана, другой рукой Джоан. Сверху на письме Джоан Брайан сделал пометку: «Прочти сам». Он прочел:

«Дорогой мой Брайан. К этому времени Энтони, видимо, уже сказал тебе о том, что произошло. И знаешь ли, это действительно произошло — откуда-то со стороны, если ты понимаешь, что я имею в виду, — как несчастный случай, как будто меня переехал поезд. Я

---

<sup>314</sup> Гурмон *Ремю де* (1858–1915) — французский писатель и критик, сформулировал свою концепцию символизма.

<sup>315</sup> Сантаяна *Джордж* (1863–1952) — американский философ-идеалист, представитель критического реализма.

конечно же не думала об этом раньше, и Энтони, наверное, также не думал; открытие того, что мы любим друг друга внезапно пронзило нас, объяло нас сверху донизу. Не может быть и речи о том, что мы сделали это намеренно. Вот почему я не чувствую за собой вины. Прости, да — это больше, чем способны выразить слова, — за ту боль, которую я причиню тебе. Я готова сделать все, что смогу, для того, чтобы уменьшить ее. Я прошу у тебя прощения за то, что ущемила твои чувства, но я не чувствую себя виноватой, не чувствую, что обошлась с тобой бесчестно. Это было бы так, если бы я специально решила оскорбить тебя — но это не так. Я могу лишь сказать тебе, что это снизошло на меня — на нас обоих. Брайан, милый, я невыразимо страдаю оттого, что заставила тебя мучиться — тебя из всех людей. Если бы у меня действительно было такое намерение, я бы не смогла воплотить его. Не более того, как ты смог бы с умыслом причинить мне боль. Но это просто произошло — так же, как ты причинил боль мне из-за того страха, который ты всегда испытывал перед любовью. Ты не хотел обидеть меня, но обидел — ты ничем не мог помочь. Тот порыв, который вынудил тебя к этому, охватил тебя всего, целиком, как порыв любви, который охватил меня и Энтони. Не думаю, что в этом есть чья-либо вина, Брайан. Нам просто жутко не повезло. Все должно было быть прекрасно, но это вдруг свалилось на нас — сперва на тебя — так, что ты причинил мне боль, затем на меня. Впоследствии, может быть, мы останемся друзьями. Я надеюсь, что так оно и будет. Вот почему я не говорю тебе «прощай», милый Брайан. Что бы ни случилось, я всегда буду твоим любящим другом.

*Джоан».*

Делая усилие, чтобы сохранить самообладание и унять глубокое внутреннее беспокойство, Энтони заставил себя с отвращением подумать о действительно тошнотворном стиле, которым обычно писались подобные письма. Разновидность амвонной проповеди, заключил он, пытаясь улыбнуться. Но улыбка не получилась. Его лицо отказалось выполнить то, о чем он его просил. Он выронил письмо Джоан и с неохотой взял в руки другой листок, написанный Брайаном.

«Здравствуй, Энтони. Прилагаю письмо, которое я сегодня утром получил от Джоан. Прочти его, и оно все объяснит. «Как он мог сделать это?» Я задавался этим вопросом все утро и теперь задаю его тебе. Как ты мог? Обстоятельства могут возобладать над нею — как поезд может переехать, по ее словам. И в этом, я знаю, была моя вина. Но обстоятельства не могли возобладать над тобой. Ты достаточно рассказал мне о себе и о Мери Эмберли, чтобы было совершенно ясно, что в твоем случае не возникало даже вопроса о произвольности действий. Почему ты так поступил? И почему ты приехал сюда и стал вести себя так, будто ничего не случилось? Как мог ты спокойно сидеть, выслушивать разговоры о моих трудностях с Джоан и изображать сочувствие, в то время как за два дня до этого дарил ей поцелуи, которые я был неспособен дать? Бог знает, я, очевидно, наделал за свою жизнь кучу глупостей и подлостей, много лгал, но я абсолютно искренне убежден, что не способен на то, что ты совершил. Я не думал, что кто-либо способен на это. Может быть, я пребывал в каком-то рае для дураков все эти годы, думая, что в мире просто недопустимы подобные вещи. Еще год назад я мог бы знать, как поступать, если обнаружу, что такое случилось. Но не теперь. Я знаю, что если бы я попробовал, я бы каким-то образом сошел с ума. Последний год надломил меня больше, чем я ожидал. Теперь я понимаю, что изнутри я расколот на куски и держусь, чтобы окончательно не рассыпаться, только благодаря продолжительному усилию воли. Словно разбитая статуя каким-то способом пытается не развалиться. Но теперь силы мои на исходе. Больше терпеть я не могу. Я знаю, что если бы мне пришлось увидеть тебя теперь, я бы просто распался на части — и не потому, что я осознаю, что ты сделал то, чего не должен был делать — такое могло случиться с кем угодно, даже с моей матерью. Статуя сейчас, а через секунду груда бесформенных осколков. Я не могу допустить этого. Может быть, мне следовало бы, но я просто не могу. Я чувствовал злобу к тебе, когда начал писать это письмо, но сейчас в моей душе больше нег ненависти. Да благословит тебя

Господь.

Брайан».

Энтони сунул два письма и надорванный конверт в карман и, забрав с собой два письма с марками и свечу, спустился вниз в гостиную. Через полчаса он прошел в кухню и поочередно сжег все письма и бумаги, которые оставил ему Брайан. Два нераспечатанных конверта с плотно сложенными листами горели медленно и время от времени вспыхивали, но наконец все было кончено. При помощи кочерги он измельчил обугленную бумагу до состояния пыли, расшевелил огонь, пока не возгорелся последний язык пламени, и закрыл печурку крышкой. Затем он вышел в сад и вниз по ступенькам на дорогу. По пути в деревню его сознание вдруг пронзила мысль о том, что он больше никогда не увидит Мери. Она стала бы спрашивать его и вытянула бы из него правду, которую потом растрезвонили бы по всему свету. Кроме того, хочет ли он действительно видеть ее теперь, когда Брайан... Он не смог даже допустить подобной мысли.

— Господи! — вскричал он вслух. На въезде в деревню он остановился на несколько секунд и подумал, что скажет, когда постучит в дверь полиции. «Пропал мой друг... Мой друг исчез и не появлялся целый день... Я беспокоюсь насчет своего друга...» Сойдет что угодно. И он поспешил с единственной мыслью о том, чтобы поскорее это пережить.

## Глава 49

12 и 14 января 1934 г.

В маленьком ранчо было темно и с полудня до заката душно и жарко, а ночью стоял пронизывающий холод. Перегородка разделяла хижину на две комнаты — в середине первой находился очаг из неотесанных камней, и, когда загорался огонь для приготовления пищи, дым медленно уходил сквозь щели в деревянных, без окон, стенах. Мебель состояла из табуретки, двух бочек из-под керосина, в которых хранили воду, нескольких необожженных глиняных горшков и каменной ступки для дробления кукурузы. С другой стороны вдоль перегородки располагались нары на подмостках. На них лежал Марк. К утру он был охвачен бредом и лихорадкой, а инфекция распространилась книзу, так что нога распухла до лодыжки.

Энтони, сидевшему здесь в горячих сумерках и слушавшему бормотание и внезапные выкрики ставшего незнакомым и чужим человека на нарах, в ту минуту нужно было решить только одно — послать ли того в Миахутлу за врачом и лекарствами или пойти туда самому.

Из двух зол предстояло выбрать меньшее. Он подумал о бедном Марке, брошенном и совсем одиноким в руках неумелых и не слишком-то доброжелательных дикарей. Но даже если он сам останется здесь, то что он сможет сделать с теми средствами, что у него есть? А допустим, *тозо* пойдет и не сможет уговорить врача прийти сразу же, не сможет принести необходимые припасы, не сможет, может быть, даже вернуться? Миахутла, как сказал Марк, была в местности пульке; там были океаны этого дешевого алкоголя. Пустив лошадь вскачь, он сам мог бы успеть туда и назад и быть у изголовья Марка не раньше, чем через тридцать часов. Белый человек с деньгами в кармане, он мог бы путем угроз и подкупа заставить врача пошевелиться. И что не менее важно, он знал бы, какие запасы нужно привезти с собой. Его ум был настроен решительно. Он поднялся и, шагнув к двери, велел *тозо* седлать его мула.

Он проехал не менее двух часов, когда случилось чудо. Достигнув изгиба дорожки, он увидел в пятидесяти ярдах от себя белого человека, сопровождаемого двумя индейцами, одного на лошади и другого, шедшего пешком с парой навьюченных багажных мулов. Когда они поравнялись, человек учтиво снял шляпу. Волосы под ней были светло-каштановыми, с сединой на висках, а глаза на сильно загорелом лице на удивление светлыми.

— *Buenos dias, cahallero*, 316 — приветствовал он. Энтони безошибочно узнал акцент.

— Доброе утро, — ответил он.

Они оба дернули за вожжи своих мулов и разговорились.

— Это первое английское слово, которое я слышу за последние семь с половиной месяцев, — сказал незнакомец. Он был пожилым человеком небольшого роста, сухопарым, но с прямой осанкой, которая придавала ему некоторое достоинство. Лицо имело удивительно правильные черты, нос был короткий, а верхняя губа необыкновенно длинной. Рот, как у инквизитора. Но этот инквизитор, видимо, забыл о своем предназначении и научился улыбаться. Вокруг ярких, пытливых глаз лучились таинственные морщинки, которые казались иероглифическими символами постоянно вспыхивающих насмешливых и добрых огоньков. Нелепое лицо, решил Энтони, но очаровательное.

— Меня зовут Джеймс Миллер, — представился незнакомец. — А вас? — Получив ответ, он спросил, называя собеседника, по квакерскому обычаю, по имени и фамилии: — Вы путешествуете один, Энтони Бивис?

Энтони объяснил ему, куда он направляется и по какому делу.

— Я полагаю, вы ничего не знаете о докторах в Миахутле, — заключил он.

Иероглифы вокруг глаз стали четче, а около губ появились смешливые морщинки. Джеймс Миллер рассмеялся.

— Я знаю здешних докторов, — сказал он, похлопав себя по груди. — «Доктор медицины, Эдинбург». И хороший запас медикаментов на этих мулах, что тоже неплохо. — Затем, сменив тон, он живо проговорил: — Поехали. Вернемся к вашему бедному другу как можно быстрее.

Энтони повернул своего мула, и друг подле друга двое мужчин поехали по дорожке.

— Ну, Энтони Бивис, — сказал доктор, — вы обратились по верному адресу.

Энтони кивнул.

— К счастью, — заметил он, — я не молился, иначе мне пришлось бы поверить в провидение и чудесное вмешательство.

— Дело не в этом, — согласился врач. — Нельзя, разумеется, утверждать, что все происходит целиком по воле случая. Вытягиваешь карту, которую тебе навязывает фокусник — карту, которую сам неизбежно заставил себе навязать. Это дело причины и следствия. — Затем без паузы он спросил: — Чем вы занимаетесь?

— Допустим, я социолог. Или, по крайней мере, был им.

— Да неужели? — Доктор, казалось, был приятно удивлен. — А я антрополог, — продолжал он. — Последние месяцы живу с лакандонами в Чиапасе. Хорошие люди, если узнать их поближе. И я собрал много материала. Кстати говоря, вы женаты?

— Нет.

— И никогда не были?

— Никогда.

Доктор Миллер покачал головой.

— Это плохо, Энтони Бивис, — сказал он. — Вы должны были жениться.

— Почему вы так считаете?

— Это видно по вашему лицу. Здесь и вот здесь. — Он коснулся его губ и лба. — Я был женат четырнадцать лет. А потом моя жена умерла. Гемоглобинурия. Мы тогда работали в Западной Африке. Она тоже была квалифицированным врачом. Знала свое дело в некоторых областях лучше, чем я. — Он вздохнул. — Знаете, вы бы стали хорошим мужем. Может быть, вы еще женитесь. Сколько вам лет?

— Сорок три.

— А выглядите моложе. Хотя мне не нравится землистый цвет вашей кожи. Не страдаете от запоров?

---

316 Добрый день, кабальеро (*исп.*).

— Ну, нет, — ответил Энтони с улыбкой и подумал: что, если бы каждый говорил с ним подобным образом. Может быть, немного утомительно относиться к каждому встречному как к человеку и позволять им узнать о тебе все, но гораздо интереснее, чем обращаться с ними, как с предметами, обыкновенными кусками материи, прижимающимися к тебе в автобусе, давящими тебе ноги на тротуаре. — Не страдаю, — повторил он.

— Имеете в виду, что страдаете, но не сильно, — сказал доктор. — Экземой болели?

— Так, чуть-чуть.

— И волосы заражены перхотью. — Доктор Миллер закивал в подтверждение своего вывода. — А головные боли у вас случаются?

Энтони пришлось сознаться, что иногда случаются.

— И конечно же ригидность затылка и прострел? Я знаю. Я знаю. Через несколько лет у вас разовьется пояснично-крестцовый радикулит или артрит. — Доктор помолчал секунду, с любопытством осматривая лицо Энтони. — Да-с, лицо землистое, — повторил он, качая головой. — И ирония, скептицизм, сухо-практическое отношение ко всему! Весьма неудовлетворительно! Все, что вы думаете, неудовлетворительно.

Энтони рассмеялся, но только чтобы скрыть некоторое беспокойство. Переход на дружеские отношения с каждым встречным мог быть слегка ошеломляющим.

— О, не воображайте, что я вас ругаю, — воскликнул доктор, и в его голосе была слышна нота искреннего раскаяния. Энтони все не мог прекратить смеяться. — Не берите вы в голову, что я в чем-то обвиняю вас. Протянув руку, он дружелюбно похлопал Энтони по плечу. — Мы все — те, кто мы есть, и когда речь заходит о том, чтобы превратить нас в то, чем мы должны быть, — это непросто. Да, непросто. Энтони Бивис. Как можно ожидать, чтобы вы думали только о том, что надо, если у вас хроническое кишечное отравление? Полагаю, с; рождения? Получили в наследство? И в то же время сутулость. Ложиться так на своего мула — это же ужасно. Нагрузка на позвоночник, словно от тонны кирпичей. Уже почти слышно, как он скрипит. А когда спина в таком состоянии, что происходит с остальными частями тела? Страшно подумать.

— И все-таки, — вмешался Энтони, слегка задетый перечислением своих физических уродств, — я еще жив и хочу вам кое-что рассказать..

— Кто-то здесь должен кое-что рассказать, — отвечивал врач. — Но тот ли он, кем вы хотите, чтобы он был?

Энтони не ответил, только с чувством неудобства улыбнулся.

— И если этот кто-то будет рассказывать гораздо дольше, вас это не заботит. Я серьезно, — настаивал он. — Абсолютно серьезно. Вам нужно изменить образ жизни, если хотите остаться в живых. И если дело в смене образа жизни, да, вы должны принять любую помощь, в которой нуждаетесь — от Бога и от врача. Я говорю вам это, потому что вы мне нравитесь, — объяснил он. — Я думаю, вам стоит изменить жизнь.

— Спасибо, — произнес Энтони, улыбаясь на этот раз от удовольствия.

— Говоря от имени врача, я бы порекомендовал курс иссушения тонкого кишечника.

— А говоря от имени Бога, — отпарировал Энтони, допуская, чтобы его удовольствие переросло в добродушную насмешливость, — я рекомендую курс молитв и поста.

— Нет, только не поста, — совершенно серьезно запротестовал врач. — Никакого поста. Только нормальная диета. Ни в коем случае мяса от мясника — это отравка для вас. И никакого молока; оно просто уничтожит вас. Принимайте его в форме сыра и масла, но ни в коем случае не жидкости. И как можно меньше яиц. И конечно же только один плотный обед в течение дня. Вам не нужна половина того, что вы едите. А что до молитвы... — Миллер вздохнул и в задумчивости наморщил лоб. — Мне, знаете ли, это никогда не нравилось. По крайней мере то, что обычно имеется в виду под молитвой. Все эти просьбы об особых милостях, руководстве и прощении — я всегда находил, что это делает человека эгоистом, заставляя его заниматься целиком только своей ничтожной личностью. Когда вы молитесь обычным способом, вы просто пережевываете самого себя. Вы возвращаетесь к своей собственной блевотине, если понимаете, что я хочу сказать. В то время как все мы хотим

кое-как освободиться от собственной грязи.

Кое-как, думал Энтони, освободиться от книг, от ароматной и упругой женской плоти, от страха и лени, от болезненного, но таинственно интригующего видения мира как зверинца или сумасшедшего дома.

— Преодолеть эту мелкую, грошовую ничтожную личность, — продолжал доктор, — с ее жалкими добродетелями и пороками, с глупыми желаниями и не менее глупыми претензиями. Но если вы не внимательны, молитва просто утверждает в вас дурную привычку быть личностью. Я говорю вам, я наблюдал такие вещи в клинике, и кажется, это оказывает на человека такое же влияние, как мясо из мясницкой. Молитва делает вас более собой, более отстраненным. Так же, как и ромштекс. Взгляните на связь между религией и диетой. Христиане едят мясо, пьют алкоголь и курят табак, и христианство прославляет личность, настаивает на ценности пустяковых молитв, проповедует, что Бог чувствует гнев, и одобряет преследование еретиков. То же самое с иудеями и магометанами. Кошер<sup>317</sup> и разгневанный Иегова. Баранина и говядина — и человек живет среди гурий и готов на месть во имя Аллаха в священных войнах. Теперь посмотрите на буддистов. Овощи и вода. И какова их философия? Они не превозносят личность, а, наоборот, пытаются преодолеть ее. Они не воображают, что Бог может рассердиться на них; они думают, что он сострадателен, если не просветлены, а если просветлены, то считают, что он не существует, кроме как в виде безличного вселенского разума. Поэтому они не предлагают просительную молитву; они медитируют или, другими словами, пытаются соединить свой разум с разумом вселенским. И в конце концов, они не верят в особую судьбу для отдельных людей; они верят в нравственный порядок, где каждое событие имеет свою причину и приводит к определенному результату — где карта навязана вам фокусником, но только потому, что ваши предыдущие действия вынудили его навязать вам карту. Какие миры вдали от Иеговы и Бога Отца и вечные, нетленные души! Факт, несомненно, в том, что мы мыслим так же, как едим. Я ем как буддист, потому что уверен, что это поддерживает во мне здоровье и бодрое расположение духа — и результат таков, что я мыслю как буддист, а мысля как буддист, я утверждаюсь в своей решимости есть таким же образом.

— И вы рекомендуете мне есть именно так?

— Более или менее.

— И вы также хотите, чтобы я так мыслил?

— В конечном итоге вы уже не сможете препятствовать этому. Но, конечно, лучше начать делать это сознательно.

— Но, дело в том, — начал Энтони, — что я уже мыслю как буддист. Может быть, не всегда, но, безусловно, во многом. Несмотря на ростбиф.

— Вам кажется, что вы мыслите как буддист, — возразил доктор. — Но на самом деле это не так. Все отрицать это думать не по-буддийски, а как христианин, который ест больше мяса из мясницкой, чем может одолеть его кишечник.

Энтони рассмеялся.

— Да, я знаю, что это звучит смешно, — сказал доктор. — Но это единственно оттого, что вы дуалист.

— Никогда так не считал.

— Может быть, не по убеждениям. Но на практике — кто вы еще, если не дуалист? Кто вы, Энтони Бивис? Умный человек — это очевидно. Но также очевидно, что вы имеете бессознательное тело. Эффективно мыслящий аппарат и безнадежно глупый сгусток мышц, костей и внутренних органов. Конечно же вы дуалист. Вы живете двойной жизнью. И одна из причин тому — то, что вы слишком сильно отравляете себя животными белками. Как и миллионы других людей конечно же! Какой сегодня самый главный враг христианства? Мороженое мясо. В прошлом только представители высших классов были глубоко

---

<sup>317</sup> *Кошер* (евр. «истинный, правоверный») — иудейский способ приготовления и сервировки пищи.



скептическими, отчаянными и всеотрицающими. Почему? Среди других причин потому, что они были единственными, кто мог позволить себе есть много мяса. А теперь к вашим услугам дешевая кентерберийская телятина и охлажденная аргентинская говядина. Даже бедняки могут позволить себе отраву, вселяющую в них полный скептицизм и отчаяние. И только очень сильные стимулы побудят их к целенаправленной деятельности, но, что самое худшее, единственная деятельность, которую они могут развернуть, — дьявольская. Их стимулируют только истерические призывы преследовать евреев, казнить социалистов или развязывать войну. Вы лично, к счастью, слишком интеллигентны, чтобы быть фашистом или националистом, но опять-таки в теории, а не в жизни. Поверьте мне, Энтони Бивис, ваш кишечник созрел для фашизма и национализма. Он давно вынуждает вас стряхнуть с себя жуткое всеотрицание, к которому он же вас и приговорил, — и превратить одну форму насилия в другую.

— Действительно, — согласился Энтони, — я здесь только по этой причине. — Он протянул руку по направлению к туманному кряжу гор. — Только для того, чтобы освободиться от негативизма. Мы были на пути к революции, когда бедный Стейтс получил рану.

Доктор кивнул головой.

— Вот видите, — сказал он. — Вы сами говорите! Неужели вы полагаете, что очутились бы здесь, будь у вас здоровый кишечник?

— Ну, я не знаю, — со смехом ответил Энтони.

— Вы прекрасно знаете, что не оказались бы, — почти сурово произнес доктор. — И по крайней мере не поехали бы по этому безумному делу. Потому что конечно же вы были бы здесь, скажем, как антрополог или как учитель, целитель или кто хотите, если бы это значило понимать людей и помогать им.

Энтони медленно кивал головой, ничего не говоря, и после этого они долго ехали в тишине.

За окнами было светло, и под открытым небом чище, чем в маленьком ранчо. Доктор Миллер выбрал для своего хирургического театра маленькую лесную полянку за пределами деревни.

— Там, где не налетит мушинный рой, будем надеяться, — сказал он, очевидно, не слишком сильно веря в это.

Два *тозо* выстроили очаг и поставили на огонь котел с водой. У школьного учителя был позаимствован стол и несколько табуреток, на которые были водружены бутылки с дезинфицирующим средством и хлопковая простыня для изголовья больного.

Доктор Миллер дал Марку дозу нембутала, и, когда наступило время, его в бессознательном состоянии перенесли на полянку среди сосен. Мальчишки со всей деревни окружили носилки и стояли вокруг с молчаливым вниманием, пока пациента перекладывали на стол. В брюках и широкополых шляпах, с маленькими одеялами, сложенными за плечами, они казались не детьми, а нелепой и злобной пародией на взрослых.

Энтони, державший гангренозную ногу, выпрямился и, оглянувшись, увидел ряд загорелых лиц и блеск ярких черных глаз. При этом зрелище он почувствовал растущий неконтролируемый гнев.

— Быстро убирайтесь! — крикнул он по-английски и приблизился к ним, махая руками. — Вон отсюда, чертенята!

Дети отступили, но медленно, с неохотой и явным намерением занять прежние позиции, лишь только он повернется к ним спиной.

Энтони сделал быстрый рывок вперед и схватил одного малыша за руку.

— Ах ты, сорванец!

Он с силой тряхнул ребенка и затем, движимый непреодолимым желанием причинить боль, дал ему тумака по голове, от которого большая шляпа мальчика слетела и упала между деревьев.

Не издав ни единого звука, ребенок побежал вслед за своими приятелями. Энтони

сделал последний угрожающий жест в их направлении, потом повернулся и побрел обратно к середине опушки. Он не сделал и нескольких шагов, когда камень, хорошо нацеленный, ударил его прямо посреди плеч. Он в гневе развернулся и разразился такими пошлыми ругательствами, которых не произносил с того времени, как был школьником.

Доктор Миллер, умывавший руки у столика, быстро взглянул на него.

— Что-то случилось?

— Маленькие чертенята швыряются камнями.

— Так вам и надо, — без всякого сочувствия произнес он. — Оставьте их в покое и идите выполнять свой долг.

Необычно клерикальное и военное слово внезапно заставило его с неудобством для себя осознать, что он вел себя глупо. Хуже, чем глупо. Вместе с осознанием непростительной глупости пришло желание оправдать ее. Тонем уязвленного негодования он произнес:

— Вы же не собираетесь позволять им смотреть, не так ли?

— Как я могу запретить им смотреть, если они хотят? — спросил доктор, вытирая руки. — А теперь, Энтони Бивис, — продолжил он почти свирепо, — крепитесь. Будет достаточно тяжело, так что, пожалуйста, без истерик.

Умолкнув и, из-за того, что тот пристыдил его, сердясь на Миллера, Энтони вымыл руки и надел чистую рубашку, которая должна была служить в качестве рабочего халата.

— Ну а теперь, — сказал доктор, шагнув вперед, — мы должны начать с удаления из этой ноги крови.

Из «этой», а не из «его» ноги, думал Энтони, стоя рядом с доктором и смотря на Марка, бесчувственно лежащего на ложе. Что-то безличное, никому, в сущности, не принадлежащее. Нога. Но лицо Марка, его спящее лицо, теперь так невероятно спокойное, гладкое несмотря на изможденность, как будто смертельное окостенение натянуло на искалеченные и напряженные мускулы новую кожу — оно никогда не стало бы просто «этим лицом». Оно было «его», его из-за несходства с той презрительной, страдающей маской, через которую Марк иногда смотрел на мир. Может быть, более всего из-за этого несходства. Энтони внезапно вспомнил, что говорил ему Марк еще несколько месяцев назад на Средиземном море, когда он проснулся и увидел эти глаза, теперь закрытые, но тогда широко открытые и яркие от насмешки, с сардонической ухмылкой разглядывающие его через москитную сетку. Может быть, человек на самом деле является тем, кем кажется во сне. Невинность и мир — сущность разума, а все остальное — простая случайность.

— Возьмите его ногу, — приказал доктор Миллер, — и поднимите ее как можно выше.

Энтони исполнил то, что ему было сказано. Нелепо поднятая, жутко распухшая и потерявшая естественный цвет, нога казалась более безличной и более неодушевленной, чем когда бы то ни было. Запах омертвевшей плоти ударял ему в нос. У него за спиной, среди деревьев послышался голос, пробубнивший что-то нечленораздельное; затем раздался смех.

— А теперь пусть ногу держит *mozo*, а вы стойте рядом со мной. — Энтони повиновался и снова стал дышать смолой деревьев. — Подержите эту бутылку.

Доктор удивленно пробормотал: «*Amarillot*»<sup>318</sup> — лишь только смочил бедро флавином<sup>319</sup>. Энтони снова взглянул в лицо своего друга; оно оставалось безмятежно-кротким. Совершенно чистым и спокойным. Нога с черной мертвой плотью; пила в растворе марганцовки, ножи и медицинский зажим; любопытные дети во все глаза смотрели из-за деревьев — никто не обращал особого внимания на Марка, виновника всего.

— Теперь хлороформ, — велел доктор Миллер. — И вату. Я покажу вам, как пользоваться этим. Затем вы продолжите сами. — Он открыл бутылку, и запах хвойных

---

318 «Желтый!» (*исп.*).

319 *Флавиин* — органическое вещество желтого цвета, применявшееся в медицине для обеззараживания.

деревьев при солнечном свете сменился резким тошнотворно-сладковатым запахом.

— Ну, видите, в чем здесь секрет? — спросил доктор. — Вот так. Теперь делайте сами. Я скажу вам, когда остановиться. А я буду накладывать жгут.

На деревьях не было птиц и почти никаких насекомых. Деревья были мертвенно-тихими. Эта солнечная полянка — маленький островок речи и движения среди океана молчания. И в центре островка еще одна молчаливая точка, более сильная, более роковая, чем молчание в лесу.

Жгут был наложен. Доктор Миллер приказал *того* опустить нелепо задранную ногу. Он придвинул табурет к изголовью, сел, затем снова встал и, в последний раз вымыв руки, объяснил Энтони, что оперировать ему придется сидя. Ложе было слишком низким, чтобы он мог стоять. Еще раз придвинув табурет, он сунул руку в сосуд с марганцовкой и вытащил скальпель.

При виде того, как широкие лохмотья кожи свисали, как банановая кожура, но в этот раз с кровоточащего плода, Энтони охватило жуткое ощущение тошноты. Рот его увлажнился от слюны, и ему пришлось непрерывно глотать, чтобы избавиться от нее. Он непроизвольно закашлялся, словно с ним вот-вот случится приступ тошноты.

— Теперь осторожней, — сказал доктор, не поднимая глаз. Артериальным зажимом он закрепил край гадко пахнущего сосуда. — Думайте об этом по-научному. — Он сделал еще один надрез алой плоти. — А если вам станет плохо, — продолжал он с внезапной резкостью, — ради бога, идите и делайте все быстро! — Затем тоном профессора, который демонстрирует студентам интересный момент, проговорил: — Необходимо отрезать длинные нервы. Будет жуткое стяжение, когда ткани срастутся. И тем не менее, — добавил он, — ему, видимо, придется пережить еще одну ампутацию дома. Боюсь, культя не будет хорошей.

Спокойное и примиренное, свободное от всех желаний, всякой злобы и всяких амбиций — таково было лицо того, кто получил свободу, того, для кого больше не существовало тюрем и цепей, не было больше гробницы под камнем и к кому не прилипал больше птичий клей. Лицо того, кто обрел свободу... Но на самом деле, размышлял Энтони, на самом деле его свобода навязана ему этим жутким запахом зла. Можно ли было быть своим собственным освободителем? На этом пути имелись ловушки, но из них можно выбраться. Тюрьмы, но их можно открыть. А если камеры пыток никогда не будут упразднены, может быть, на пытки станут смотреть как на нечто малозначашее. Такое же малозначашее, как скрежет полотна пилы, вгрызающийся в кость Марка. Марк лежал кротко и тихо; казалось, он улыбается.

## Глава 50

*Рождество 1934 г.*

Бог — личность или не личность? *Quien sabe?* <sup>320</sup> Только с помощью откровения можно решать такие метафизические вопросы. А с откровением игры не удаются — это все равно что вытащить из рукава три козырных туза.

Более интересен практический вопрос. Он как раз дает человеку больше силы для осознания добра — верить или не верить в персонифицированного Бога? Ответ: смотря кому. Некоторые умы работают так, другие иначе. Мой, как оказалось, реально не имеет нужды и просто считает невозможным мыслить о мире в личностных терминах. Патанджали говорит, что можно верить в персонифицированного Бога, а можно и не верить, в зависимости от вкуса. Психологические результаты будут одними и теми же в каждом случае.

---

<sup>320</sup> Кто знает? (исп.)

А что делать тем, чья натура нуждается в антропоморфности как в источнике энергии, и тем, которые одновременно не верят, что Вселенная управляется человеком в любом смысле этого слова? В большинстве случаев они отказываются от всего, что похоже на религию. Но это значит то же, что вылить ребенка вместе с водой. Желаемая связь с личностью может быть исторической, но никак не онтологической<sup>321</sup>. Контакт не с кем-то, кто существует в настоящем и управляет Вселенной, а с тем, кто, как известно, существовал некогда в прошлом. Подражание Христу (или любому другому историческому герою) будет эффективно, модель его поведения там и тогда будет восприниматься, как модель поведения здесь и сейчас. Любое размышление о благодати, общение с благодатью, созерцание благодати есть явно эффективное средство обретения благодати в жизни, даже когда то, о чем человек размышляет, с чем общается и что созерцает, есть не личность, а общий разум или даже идеал, существующий только в сознании человека. Основная проблема касается практики — выработать системы психологических упражнений для всех типов людей в зависимости от пола. Католицизм имеет много типов умственной молитвы — иезуитскую, францисканскую, лигурийскую, кармелитскую и так далее. Индуизм, северный, южный и дзэн-буддизм<sup>322</sup> также обладают множеством методик. Здесь необходимо провести огромную работу. Собрать и сопоставить данные из всех этих источников. Заимствовать опыт, изложенный в священных книгах, и, самое главное, поучиться у людей, использовавших на практике то, что там записано, и имеющих опыт обучения новичков. Со временем может стать возможным установить полное и окончательное *Ars Contemplative*<sup>323</sup>. Серия методов, приспособленных к каждому типу мышления. Способы размышления, общения и созерцания благодати. Является самодостаточным и в то же время собирается реализовать часть этой благодати на практике.

*1 января 1935 г.*

За машинный труд и хорошую организацию — современные изобретения — нужно будет платить, как и за все благие пожелания. Платить по многим счетам. Один из них — всеобщая вера, подкрепляемая технической и социальной эффективностью, в то, что прогресс является автоматическим и может двигаться извне.

Мы как личности можем ничего с этим не делать. Только уничтожать неугодных и распределять достаточное количество материальных благ — и все будет хорошо. Это то, что обратно магии, потворство естественной человеческой лени. Заметьте, как сильно эта тенденция господствует в современной жизни, обнаруживаясь при каждом удобном случае. Кажется, нет очевидной связи между Уэббами<sup>324</sup> и советским правительством с одной стороны и современным католицизмом с другой. Но какое разительное внутреннее сходство! Недавнее возрождение католицизма представляло собой в основном возрождение святынь. С католической точки зрения это «век святынь». Магическая сила святынь считается достаточной для спасения. Умственная молитва определенно явно отсутствует. Точная аналогия с Уэбб-советской идеей о прогрессе извне, путем машинного труда и эффективной организации. Для английских католиков святыни являются психологическим эквивалентом

---

<sup>321</sup> *Онтология* — учение о бытии в отличие от гносеологии — учения о познании.

<sup>322</sup> *Индуизм* — одна из крупнейших религий мира, сформировавшаяся в I тыс. н. э. В настоящее время существует в виде двух ветвей: вишнуизма (северного индуизма) и шиваизма (южного индуизма). Дзэн-буддизм — японская разновидность буддизма, основанная на голой медитации.

<sup>323</sup> *Искусство созерцания (лат.)*.

<sup>324</sup> *Уэббы Сидней* (1859–1947) и *Беатриче* (1858–1943) — английские экономисты, историки рабочего движения, идеологи тред-юнионизма и фабианского социализма.

тракторов в России.

## Глава 51

7 февраля 1934

Доктор Миллер слез с мула у самой двери, оставил его *tozo* и шагнул в хижину.

Приподнявшись на постели, Марк смотрел, как он входит, — маленькая, прямая фигура, шустро передвигающаяся; его голубые глаза ярко горели добротой и любопытством, а уголки рта готовы были изогнуться в улыбке.

— И как себя чувствует сегодня наш маленький пациент?

Бледное и все еще изможденное лицо Марка исказилось, изобразив яростно-сардоническую улыбку.

С табуретки, на которой он сидел рядом с постелью, Энтони бросил взгляд на Марка и вспомнил кротость этого лица три недели назад, при рассветном солнечном сиянии среди сосен. Кротость и примиренность. Но теперь жизнь возвратилась к нему, он благополучно выздоравливал, примиренность исчезла, оставив его озлобленным врагом всего мира. В его глазах поселилась вражда, вспыхивавшая всякий раз еще до того, как он был достаточно силен, чтобы заговорить. Вражда ко всем, кто появлялся рядом с ним, и особенно к старому Миллеру.

— Я не выношу, когда он начинает подмигивать, — сказал он один раз Энтони. — Никто не имеет права ходить здесь с таким видом, словно он ходячая реклама средств от запоров.

Но истинная причина ненависти Марка была другой. Он невзлюбил старого Миллера за то, что был зависим от него из-за неослабевающей и внимательной человеческой заботы. Бедный Марк! Как остро он страдал оттого, что ему приходилось принимать заботу и еще больше оттого, что его физическое увечье заставляло его просить о ней! Как горько он отвергал даже сочувствие, если оно оказывалось кем-то, по отношению к кому он считал невозможным считать себя выше! Его нелюбовь к доктору родилась в тот самый момент, когда он пришел в сознание, и усиливалась с каждым днем, пока тот откладывал свой отъезд с тем, чтобы присматривать за Марком.

— Но почему бы вам не продолжить свой путь? — спрашивал он, и когда доктор отвечал, что он не торопится и хочет благополучно проводить его до берега и даже, поскольку он сам уезжал, через Ла-Манш до Англии, страстно протестовал, говоря, что его нога уже практически зажила, что не составит никакой трудности вернуться обратно в Пуэрто-Сан-Фелипе и что сам он, может быть, сядет на судно, идущее на север, и уедет в Лос-Анджелес.

Но доктор не уезжал, наблюдая за Марком и в перерывах выезжая в соседние деревни лечить больных. Для выздоравливающего это было дополнительным источником раздражения — хотя причину, по которой это так нервировало Марка, Энтони не мог до конца понять. Возможно, Марка раздражал тот факт, что не он является благодетелем индейцев. Но как бы то ни было, Стейтс не уставал поддразнивать старого Миллера его «маленькими пациентами».

Затем, спустя две недели после операции поступило известие о бесславном провале восстания дона Хорхе. Он был схвачен на удивление малым количеством охраны, моментально осужден и расстрелян вместе с шефом-лейтенантом. В сообщении также говорилось, что эти двое откалывали шутки, когда шли под конвоем к кладбищу, где уже рылись их собственные могилы.

— И он умер, — заметил Марк, — веря, что я в последний момент испугался и подвел его.

Эта мысль была для него еще одной раной.

— Если бы не это проклятое несчастье... — непрестанно повторял он. — Если бы я

был там и мог бы советовать ему... Эта его сумасшедшая неосмотрительность! Вот почему он просил меня приехать. Он не доверял собственным суждениям. И я лежал в это время в вонючем свинарнике, когда бедный вояка шагал на расстрел на кладбище... — Откалывали шутки, когда он нюхал холодный утренний воздух. *Huele al cimintero, Don Jaime*<sup>325</sup>. Он бы тоже отколол шутку. Но вместо этого... Это была просто неудача, обыкновенное безумство провидения. Но провидение не позволило Марку дать выход своему горю. Под рукой были только доктор и Энтони. Его поведение по отношению к ним после новости о смерти дона Хорхе стало злобным и агрессивным... Словно он считал их лично ответственными за то, что случилось. Обоих, особенно доктора.

— Как идут ваши дела у постелей больных? — продолжал свое Марк тем же насмешливым тоном, которым спрашивал о маленьких пациентах.

— Боюсь, что ужасно, — добродушно ответил доктор Миллер, при этом снимая шляпу и садясь. — Они либо не имеют постелей, возле которых я должен быть — только одеяло на полу — либо не говорят по-испански, а я не владею их диалектом. А как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Я? — переспросил Марк тоном презрительного отвращения, как будто на него обрушилась волна сквернословия. — Очень хорошо, спасибо.

— Но слегка притворяется, как епископ Беркли<sup>326</sup>, — вмешался Энтони. — Чувствует боль в колене, которого у него нет.

Марк бросил на него каменный, полный ненависти взгляд и затем отвел глаза и стал смотреть сквозь открытую дверь хижины на яркий вечерний пейзаж.

— Не боль, — холодно ответил он, хоть это и была боль, которую он описывал Энтони всего полчаса назад. — Просто ощущение того, что колена все еще здесь.

— Боюсь, это неизбежно. — Доктор покачал головой.

— Я и не предполагал, что этого не будет, — сказал Марк, словно с достоинством отвечая на упрек в бесчестии.

Доктор Миллер нарушил двусмысленное молчание, заметив, что в холмистых равнинах много больных с увеличенной щитовидной железой.

— В этом есть своя прелесть, — заявил Марк, поглаживая воображаемую опухоль на своем горле. — Как я жалею тех кретинов, которых еще в детстве видел в Швейцарии! Боюсь, теперь они напичкали себя йодом до смерти. Сейчас все словно помешались на санитарии. — Он покачал головой и улыбнулся прежней анатомической улыбкой. — Что они там делают в этих холмистых равнинах?

— Выращивают кукурузу, — ответил доктор. — А в перерыве убивают друг друга. В этих горах очень сильна вендетта. Задействован буквально каждый. Я говорил с зачинщиками, пытаюсь убедить их забыть старые счеты и начать жизнь заново.

— Они умрут от скуки.

— Нет, я вместо этого научу их играть в футбол. Матчи между деревнями. — Он улыбнулся. — Я большой специалист по вендеттам, — добавил он. — По всему миру. Все благодарят за футбол, когда к нему привыкают.

— Господи!

— Почему «Господи»?

— Эти игры! Мы можем избежать их?

— Зачем? Это же величайшее благо, сделанное Англией для цивилизации, — сказал доктор. — Гораздо более важное, чем парламентское правление, паровой двигатель или «Начала» Ньютона. Важнее, чем английская поэзия. Поэзия никогда не может быть заменой

---

<sup>325</sup> На кладбище забастовка, дон Хайме (*исп.*).

<sup>326</sup> Беркли Джордж (1685–1753) — английский богослов и философ, субъективный идеалист, автор «Трактата о началах человеческого знания» (1710).

войне или убийствам. А игры могут. Полная и подлинная замена.

— Замена! — презрительно отозвался Марк. — Вы все время довольствуетесь заменами. Энтони находит ее в своей постели или в читальном зале Британского музея. Вы ищите ее на футбольном поле. Ну и бог в помощь! Почему вы так боитесь подлинного?

На некоторое время воцарилась тишина. Доктор Миллер посмотрел на Энтони и, видя, что тот не намерен отвечать, перевел взгляд на Марка.

— Вопрос не в том, боюсь я или нет, Марк Стейтс, — чрезвычайно мягко произнес он. — Вопрос в том, чтобы сделать правильный выбор вместо ложного...

— Подозреваю, что есть правильные варианты выбора, которые требуют меньшей смелости, чем неправильные.

— Опасность вашей меры благодати?

Марк пожал плечами.

— Что такое благодать? В большинстве случаев нечто неопределенное. Но по крайней мере нужно быть уверенным, что смело взглянуть в лицо опасности — хорошо.

— И ради этого вы считаете оправданным намеренное создание экстремальных ситуаций — за счет других. — Доктор Миллер покачал головой. — Так не пойдет, Марк Стейтс. Если вы хотите использовать бесстрашие, почему бы не сделать, чтобы оно служило добру?

— Например, обучению туземцев игре в футбол? — злобно усмехнулся Марк.

— Что зачастую не так легко, как кажется.

— То есть им не понять правил офсайда?

— Они не способны усвоить никакие правила, за исключением правил убивать людей из соседней деревни. А когда вы находитесь между двумя командами по одиннадцать человек, вооруженных до зубов и рычащих, что прикончат друг друга... — Миллер сделал паузу, и его широкий рот исказился в улыбке; почти невидимые иероглифы вокруг глаз углубились, когда он прищурил веки, и изобразили вполне явную радость. — Да, я говорю, что это не так просто, как кажется. Вы лично когда-нибудь смотрели в глаза разъяренной толпе, которая жаждет убить вас?

Марк кивнул головой, и у него на лице появилось выражение довольно злобного удовлетворения.

— Несколько раз, — ответил он. — Когда я выращивал кофе «Финка» чуть дальше по берегу, в Чиापасае.

— И вы были без оружия?

— Без оружия, — повторил Марк и пояснил: — Политики тогда все еще говорили о революции. Земля крестьянам и все прочее. И в одно прекрасное утро жители деревни пришли захватить усадьбу.

— Что вы согласно вашим принципам должны были одобрить.

— И естественно, одобрил. Но я едва смог принять это — при тех-то обстоятельствах.

— Почему?

— По-моему, это совершенно очевидно, не так ли? Они тогда наступали прямо на меня. И что — я должен был сказать им, что сочувствую их политике, и затем сдать усадьбу? Ну уж нет, это было бы слишком просто!

— Ну, и что вы тогда сделали?

— В первый раз их было сто человек, — объяснил Марк. — И ружья с патронташами висели на них, как игрушки на елке, и у каждого было по мачете. Но они были вежливы и говорили мягко. Они не хотели особенно ссориться со мной и не чувствовали себя безусловно уверенными. Да они и всегда не сильно-то шумят, — добавил он. — Я видел, как они убивают при полнейшей тишине. Как рыбы. Эта страна — натуральный аквариум.

— Кажется аквариумом, — поправил доктор Миллер. — Но когда я понял, как мыслят эти рыбы...

— Я всегда считал более важным понимать, как они пьют, — сказал Марк. —

Текила<sup>327</sup> — настоящий враг. К счастью, мои были более трезвыми. Иначе... Но кто знает, что случилось бы? — И после паузы он продолжал: — Они стояли на цементном полу, а я сидел у двери конторы в нескольких шагах над ними. Выше их, как будто давал торжественный прием своим верноподданным. — Он рассмеялся, румянец снова вернулся к щекам, и он заговорил с особенным смаком, словно слова обладали у него во рту каким-то чрезвычайно приятным вкусом. — Сотня озлобленных пеонов кофейного цвета, поедающих меня своими маленькими, блестящими черепашьими глазками — это было впечатляюще. Но я сумел сохранить лицо и голос и не сболтнул лишнего. Как я увидел, это многим помогло, и я стал думать об этих людях как о каких-то жалких, ничтожных насекомых. Тараканах, навозных жуках. Просто отнесся к ним как к сотне больших пучеглазых жучков. И повторяю, помогло. Само по себе это ощущение нам знакомо, не так ли? Это как будто у вас под ребрами живая птица. Птица со своим птичьим сознанием, которая страдает от своих личных боязней. Странное ощущение, но вместе с тем восхитительное. Не думаю, что я в своей жизни был более счастлив, чем в тот день. Положение одного против ста. Ста вооруженных до зубов. Но насекомых, элементарных насекомых. В то время как один был человеком. Прекрасное ощущение. — Он немного помолчал, улыбаясь сам себе.

— И что произошло потом?

— Ничего. Я просто произнес им речь с трона. Сказал им, что «Финка» не была моей, и я не мог их ею одарить. Что я всего-навсего управляющий. И что если бы я поймал кого-либо при вторжении на территорию, я бы не стал задумываться, что делать. Уверенно, с достоинством и подлинной манерой великосветского раута. После чего я поднялся, сказал им, что они могут идти, и прошел по тропинке в дом. Полагаю, что я был в поле их зрения буквально минуту. Целую минуту моя спина была под дулами их ружей — и из этой сотни насекомых никто бы никогда не определил, кто выстрелил. Птица под ребрами! — Подняв руку, он пошевелил пальцами.

— И у меня было новое ощущение — муравьев, ползающих вниз-вверх по спине. Ужас — но только телесный; глубоко внутренний, если вам знакомо то, о чем я говорю. В глубине души я знал, что они не выстрелят — не могут выстрелить. Сотня ничтожных жучков — у них не было духовной силы сделать это. Птица под ребрами, муравьи на спине, но внутри черепа был человек, и он был уверен, несмотря на то что тело сомневалось; он знал, что игра выиграна. Эта минута была долгой, но и достойной. Очень достойной. И впоследствии случались такие же минуты, как эта. Единственно, когда они могли стрелять в меня, это по вечерам, из кустов. Я был в пределах их досягаемости, но они были далеки от меня. Далек от моего сознания и воли. Вот почему у них нашлась смелость выстрелить. Когда нет человека, будут торжествовать черви. К счастью, никакая недюжинная храбрость не научит индейца стрелять метко. Со временем, конечно, они могли бы достать меня гарпуном, но тем временем революция выйдет из моды. Она никогда не рубила много льда на Тихоокеанском побережье. — Он зажег сигарету. Повисла длинная пауза.

— Да, — наконец вымолвил доктор Миллер. — Это один способ действий с разгневанной толпой. И судя по тому, что вы здесь, с нами, именно этот способ является успешным. Но не для меня. Я антрополог, понимаете ли.

— Какая разница?

— Очень большая, — ответил доктор Миллер. — Антрополог — это человек, который изучает людей. А вы предпочитаете иметь дело с жучками. Я назвал бы вас энтомологом, Марк Стейтс. — Его улыбка не вызвала ожидаемого дружественного сочувствия. Лицо Марка было каменным, когда его глаза встретились с глазами доктора и снова ушли в сторону.

— Энтомолог! — презрительно повторил он. — Это просто глупо. С какой стати вы играете словами?

---

<sup>327</sup> Текила — крепкая мексиканская водка.



— Потому что слова выражают мысли, Марк Стейтс, а мысли определяют действия. Если вы называете человека жучком, это значит, что вы предлагаете относиться к нему как к жучку. В то время как если вы называете его человеком, вы будете относиться к нему как к человеку. Моя профессия заключается в изучении людей, это означает; что я всегда буду называть их именем, всегда думать о них, как о людях и, что самое главное, всегда обращаться с ними как с людьми. Потому что если вы не обращаетесь с ними как с людьми, они не ведут себя как люди. Но я повторяю, я антрополог. Мне нужен человеческий, а не насекомый материал.

Марк издал короткий взрывчатый смешок.

— Вы можете хотеть человеческого материала, — сказал он. — Но это не значит, что вы обязательно получите его. Обычно получается... — Он снова рассмеялся. — Да, по большей части простой, беспримесный жучок.

— А вот в этом, — заявил доктор Миллер, — вы не правы. Если вы ищете людей, то вы их и находите. Весьма приличных в большинстве случаев. Например, пройдите среди подозрительных, плохо обращаемых дикарей; пройдите без оружия и с открытыми руками. — Он вытянул вперед свои прямоугольные руки, будто хотел добровольно отдать что-то. — Пройдите с твердым, упрямым решением сделать им хоть какое-то добро — излечить их больных, например. Мне все равно, насколько сильной может быть их ненависть к белым людям; в конце концов, если у вас будет достаточно времени прояснить ваши намерения, они примут вас как друга, они будут людьми, обращающимися с вами как с человеком. Конечно же, — добавил он, и признаки внутреннего смеха вновь показались у него в глазах, — иногда происходит так, что они не дают вам времени. Они пронзят вас копьем, пока вы идете к ним. Но такое случается нечасто — это никогда не случалось со мной, как видите — но если уж случится, всегда есть надежда, что человек, который придет к ним вслед за вами, будет более удачлив. Антропологов могут убивать, но антропология будет жить, и в конечном итоге она неизбежно продвинется вперед. В то время как ваш энтомологический подход... — Он покачал головой. — Он может быть успешным вначале; вы сможете запугать их, внушить благоговение, чтобы покорить. Это и есть поступить с ними как с жучками и заставить их вести себя как жучки — ползать и возиться ради победы. Но придет удобный момент, и они восстанут против вас. Антрополог может быть убит, когда завязывает свой первый контакт, но, пройдя начальный этап, он в безопасности — он человек среди людей. Энтомолог может начать с безопасности, но он охотник на жучков среди жучков — жучков, которые, самое главное, ненавидят подобное к себе отношение, которые знают, что они не такие. Его роковой час наступит позже. Это старая история: со штыками можно делать все что угодно, кроме как сидеть на них.

— А и не придется сидеть на них, — сказал Марк. — Проткнут чужую задницу, а не вашу. Если вы умеете обращаться со штыками с определенной долей разума, не понимаю, почему вам не стоит продолжать управлять так же. Настоящая беда, конечно, в том, что нет необходимого разума. Большинство охотников за жучками неотличимы от самих жучков.

— Совершенно верно, — согласился доктор Миллер. — И единственный выход — чтобы охотник на жучков бросил свой штык и стал бы относиться к жучкам как к нормальным людям.

— Но мы говорим о разуме, — возразил Марк. Тон презрительной сдержанности подразумевал, что он изо всех сил пытался не рассердиться на старого дурака за его неспособность мыслить. — Чувствительность не имеет ничего общего с разумом.

— Наоборот, — настаивал доктор, — эти понятия тесно взаимосвязаны. Вы не можете разумом понять человека, если сперва не проникнетесь чувствами к нему. Чувствами добрыми, конечно. В том смысле, что вы проявите заботу о нем. Это первое, неотделимое условие понимания. Если вы не имеете к нему участия, вы его не поймете; вся ваша острота будет просто иной формой глупости.

— А если вы заботитесь о нем и проявляете участие. — сказал Марк, — вас захватят слезливо-сентиментальные чувства, которые лишат вас возможности видеть его таким, каков

он есть. Посмотрите, какие смешные, унижительные вещи случаются, если люди проявляют слишком большую заботу. Молодые люди влюбляются и воображают отвратительных, придурковатых девок образцами красоты и интеллекта. Преданные женщины, которые упорно считают своих жалких муженьков самыми очаровательными, благородными, мудрыми и глубоко мыслящими.

— Может быть, они и правы, — проговорил доктор Миллер. — Безразличие и ненависть всегда слепы, но не любовь.

— Не любо-овь, — издевательски протянул Марк. — Видимо, нам сейчас нужно спеть гимн.

— С удовольствием. — Доктор Миллер улыбнулся. — Христианский гимн, или буддийский, или конфуцианский — какой предпочитаете. Я антрополог, а в конце концов, что такое антропология? Просто религия, примененная в научных целях...

Энтони нарушил затянувшуюся паузу.

— Почему вы только применяете ее к туземцам? — спросил он. — Не лучше ли было начать с дома, как и благотворительность?

— Вы правы, — сказал доктор, — нужно было начать с дома. Ведь если она начинается с заграницы, это просто исторический несчастный случай. Она началась там, потому что мы были империалистами и таким образом входили в контакт с людьми, чьи привычки отличны от наших и поэтому казались нам странными. Несчастный случай, я повторяю. Но с некоторой стороны достаточно удачный случай. Ведь благодаря ему мы усвоили множество фактов и ценный метод, который вероятно был бы недоступен для нас дома. По двум причинам. Во-первых, трудно оценивать себя беспристрастно, а оценить себя правильно и того сложнее. Во-вторых, Европа — это высоко цивилизованное общество, которое оказывается нашим собственным. Общества дикарей, как оказалось, имеют простое цивилизационное устройство. Нам довольно легко познавать их. И когда мы научились понимать дикарей, мы можем научиться, как мы обнаруживаем, понимать цивилизованных людей. И это еще не все. Дикари обычно враждебны и подозрительны. Антрополог должен уметь справляться с этой враждебностью и подозрительностью. И когда он постигает это, он постигает весь секрет политики.

— Который звучит...

— Если вы обращаетесь с людьми хорошо, они будут также обращаться с вами хорошо.

— Вы оптимист, как я вижу.

— Нет. В конечном итоге им все равно придется обращаться с вами хорошо.

— В конечном итоге, — нетерпеливо сказал Марк, — нас всех поубивают. Все дело в том, кого прикончат быстрее.

— Вам придется пойти на риск.

— Но европейцы — это не дикари из вашей воскресной школы. Это будет колоссальный риск.

— Может быть. Но всегда меньший, чем если вы будете обращаться с людьми как с падалью и вынуждать их на войну. Кроме того, они не хуже, чем дикари. С ними просто плохо обходятся, и им нужен антропологический подход, вот и все.

— И кто же будет применять к ним эту антропологию?

— Ну, наряду с другими я, — ответил доктор Миллер. — Надеюсь, что и вы тоже, Марк Стейтс.

Марк соорудил болезненную гримасу и покачал головой.

— Пусть они перережут друг другу глотки. Они сделают это в любом случае, независимо от того, что вы им скажете. Так предоставьте им спокойно вести свои идиотские войны. Кроме того, — он указал на плетеную сетку, которая предохраняла его рану от соприкосновения с нижним бельем, — что я могу сейчас сделать? Посмотрите — вот и все, что от меня осталось. Долго это никак не продлится. Всего несколько лет, а потом... — Он

умолк, опустил глаза и нахмурился. — Как там у Рочестера?<sup>328</sup> Да. — Он снова поднял голову и принялся декламировать.

Так старость вместе с опытом, как сеть,  
Его убили, дав уразуметь  
После исканий долгих и глухих,  
Что жизнь провел в ошибках он сплошных.  
В грязь втоптаный, лежит безмолвно Тор,  
Кто был так горд, так мудр и так остер.

— В грязь втоптаный, — повторил он. — Это просто восхитительно! В грязь втоптаный. И не нужно ждать, пока помрешь. Мы отыщем маленькую, уютную лужу грязи и сольемся с нею. Да? — Он обернулся к Энтони. — Станем грязью среди коровьих лепешек и будем взирать на то, как доктор станет испытывать свои лучшие антропологические методы на генерале Геринге. Будет очень смешно.

— И несмотря на это, — сказал Энтони, — думаю, я пойду с Миллером и буду в числе тех, над кем смеются.

## Глава 52

*24 июля 1914 г.*

В поисках принимали участие четверо: Энтони, полицейский, старый пастух с седыми усами и величественным профилем викторианского государственного деятеля и светловолосый, румяный паренек семнадцати лет, сын булочника. Мальчика обязали нести кусок парусины для носилок, в то время как пастух и полицейский были вынуждены тащить длинные шесты, используемые как посохи.

Они начали с пространства за усадьбой, шагая в шеренгу — как загонщики, поймал себя на мысли Энтони, — вверх по склону холма. Был великолепный день, без ветра и без единого облачка. Холмы в отдалении казались покрытыми пеленой, тусклые от обилия солнечного света и почти бесцветные. Трава и вереск у них под ногами были пыльными от долгой засухи. Энтони снял свою куртку и затем, немного поразмыслив, еще и шляпу. Внезапный солнечный удар все бы упростил; не было бы нужды давать объяснения и отвечать на вопросы. И без этого он чувствовал себя достаточно плохо из-за рези в кишечнике, но этого вряд ли было достаточно. Как много проблем отпало бы, если бы он действительно был болен! Много раз, пока они медленно продвигались, он прикладывал руку ко лбу, и всякий раз его волосы чувствовали тепло от прикосновения, как от шкурки кошки, сидящей перед камином. Жаль, думал он, что волосы такие жесткие.

Три часа спустя они нашли то, что искали. Тело Брайана лежало лицом вниз в какой-то скалистой бухте у подножия утеса, над карстовым озером. Между скалами рос папоротник-орляк, и в горячем воздухе его сладковатый, вязкий запах был почти удушающим. Место изобиловало жужжащими мухами. Когда полицейский перевернул тело, изуродованное лицо было почти неузнаваемым. Энтони глядел буквально секунду, затем отвернулся. Все его тело непроизвольно затряслось; ему пришлось прислониться к скале, чтобы не упасть.

— Пойдем, дружок. — Старый пастух взял его под руку и, отведя в сторону, усадил на траву; откуда не было видно тела. Энтони ждал. Канюк медленно разворачивался в небе, прослеживая ход времени на циферблате невидимых часов. Затем они наконец вышли из-за

---

<sup>328</sup> *Граф Рочестер Джон Уилмот* (1647–1680) — английский поэт и политический деятель XVII в., фаворит короля, участник Буржуазной революции и соратник Кромвеля.

столба, подпирающего скалу, туда, где все было как на ладони. Пастух и мальчик шли впереди, каждый держа одну ручку носилок, а полицейский сзади был вынужден поддерживать вес на обоих перекладинах. Разорванную куртку Брайана сняли и положили ему на лицо. Одна окованная рука выпросталась в сторону и при каждом шаге несущих неумолимо раскачивалась и дрожала в воздухе. На рубашке были пятна крови. Несмотря на протесты, Энтони настоял на том, чтобы взять половину ноши полицейского. Очень медленно траурная процессия двинулась вниз по направлению к долине. Был четвертый час, когда они достигли усадьбы.

Затем полицейский обшарил карманы куртки и брюк. Табачный кисет, трубка, сверток с бутербродами, данный миссис Бенсон, шесть или семь шиллингов и записная книжка, полная сокращений, посвященных истории хозяйства в Римской империи. И ни единого намека на то, что то, что случилось, было чем-то кроме обыкновенного несчастного случая.

Миссис Фокс приехала на следующий вечер. Сперва сжавшись и пытаясь держать себя в руках, она молча, с каменным лицом слушала рассказ Энтони, затем совершенно внезапно забилась в отчаянии, страстно обливаясь слезами. Энтони секунду постоял возле нее в полной неуверенности, затем выполз из комнаты.

На следующее утро, когда он снова увидел ее, миссис Фокс вновь обрела спокойствие, но оно было совершенно другим. Спокойствие живого, чувствующего человека, а не механическая, замороженная недвижимость статуи. У нее под глазами появились темные синяки, а лицо говорило о том, что это была старая, страдающая женщина; но в страдании этом присутствовали прелесть и кротость, ярко выраженное достоинство, почти величественность. Смотря на нее, Энтони почувствовал себя в сильном замешательстве, как будто он находился в присутствии чего-то, чего был недостоин, к чему не имел права приближаться. Замешательство и вина, вина даже большая, чем вчера, когда ее горе вырвалось из-под ее контроля.

Он бы с облегчением сбежал еще раз, но она держала его при себе все утро, иногда сидя в тишине, иногда медленно говоря что-нибудь своим прекрасно смодулированным голосом. Для Энтони молчание и разговор одинаково казались пыткой. Сидеть там и слушать, не говоря ни слова, как тикают часы, было подобно смертельной агонии; еще хуже казалось беспокойство о будущем — как избежать Джоан, что сказать ей о том проклятом письме, которое Брайан написал ей. И всякий раз, украдкой глядя на миссис Фокс, он спрашивал себя: что происходит у нее в душе, догадывается ли она, подозревает или нет о том, что на самом деле случилось. Да, ее молчание было болезненным, но не менее болезненными были ее слова.

— Я осознаю, — начала она медленно и задумчиво, — я осознаю теперь, что любила его не так, как было нужно, — слишком себялюбиво.

Что он мог ответить? То, что это было правдой? Конечно же это было правдой. Она выполняла роль вампира, духовно эксплуатируя его. Высасывала из него жизненные соки. (Здесь Энтони вспомнилась святая Моника Эри Шеффера.) Да, она вампир. Если кто-то и был в ответе за смерть Брайана, так это она. Но его самооправдательное негодование против нее улетучилось, лишь только она заговорила снова.

— Может быть, именно поэтому все случилось — чтобы я усвоила, что любовь не должна быть такой. Мне думается, — продолжала она после паузы, — что Брайан достаточно усвоил. Ему, правда, немного нужно было понять. Он слишком хорошо знал все с самого начала. Как Моцарт — только его гений раскрылся не в музыке — он раскрылся в любви. Может быть, поэтому он ушел так рано. В то время как я... — Она тряхнула головой. — Я должна была извлечь этот урок. После всех этих долгих лет познания остаться своенравно-глупой и невежественной! — Она еще раз вздохнула.

Вампир! Но она знала это; она принимала свою часть ответственности. Оставалась его часть — еще не исповеданная. «Я обязан сказать ей», — мысленно произнес он и подумал: все произошло оттого, что он не сумел сказать правду Брайану. Но пока он колебался, миссис Фокс начала снова.

— Нужно любить каждого как своего единственного сына, — говорила она. — И единственного сына как любого встречного. Сына, которого не можешь не любить больше, чем всех остальных, потому что больше случаев любить его. Но любовь должна отличаться только количеством, а не своей природой. Нужно любить его так же, как любишь всех других единственных сыновей — только во имя Бога, а не во имя себя самого.

Голос, горячо вибрирующий, звучал громко, и с каждым произнесенным словом Энтони чувствовал себя все более виноватым и вместе с тем полностью и безнадежно зависимым от своей вины. Чем дольше он откладывал свое признание и чем больше она говорила в этом состоянии смиренного напряжения, тем тяжелее ему становилось высказать все начистоту.

— Послушай, Энтони, — продолжила она после долгой паузы. — Ты знаешь, как я тебя всегда любила. С того времени, как умерла твоя мать — ты помнишь? — когда ты в первый раз приехал, чтобы остаться у нас. Ты был тогда беззащитным маленьким мальчиком. И именно таким я всегда видела тебя с тех пор. Беззащитным под твоей собственной броней. Ведь ты носил броню. Ты до сих пор под броней. Чтобы защититься от меня, да и от других нападений. — Она улыбнулась ему, и Энтони опустил глаза, покраснел и пробормотал что-то бессвязное. — Никогда не задумывайся, почему ты хотел защитить себя, — продолжала она. — Я не хочу знать, если ты не расскажешь это мне сам. А может быть, ты почувствуешь, что все еще хочешь защищать себя. Потому что я хочу сказать, я бы желала, чтобы ты занял место Брайана. Место, — определила она, — которое Брайан занимал бы, если б я любила его правильно. Вместе с другими единственными сыновьями одного, которого больше возможностей любить, чем всех остальных. Вот кем я хочу, чтобы ты был, Энтони. Но конечно же я не стану принуждать тебя. Это можешь решить только ты.

Он сидел, не говоря ни слова, отвернув от нее лицо и нагнув голову. «Выговорись, — кричал внутри него неведомый голос. — Как хочешь, любой ценой!» Но если тогда это было сложно, то теперь вовсе невозможно. Сказать, что хочет, чтобы он заступил на место Брайана! Это она сама сделала признание невозможным. Он был потрясен приступом бесплодного гнева. Если б только она оставила его в покое, отпустила его. Внезапно его горло сжалось, слезы навернулись на глаза, мышцы груди напряглись и их пронзило несколько сильных судорог; он рыдал. Миссис Фокс подошла из другого конца комнаты, склонилась над ним, положила руку ему на плечо.

— Бедный Энтони, — прошептала она. — Он навечно стал рабом своей лжи.

В тот же вечер он написал Джоан. Этот жуткий несчастный случай. Так бессмысленно. Трагедия была ужасно глупой. Все дело в том, что она произошла до того, как он имел шанс рассказать Брайану о тех событиях в Лондоне. И кстати, писала ли она Брайану? Конверт, надписанный почерком, был доставлен около полудня, когда бедняги уже не было дома. Он хранит его для нее и передаст лично при возможной встрече. Тем временем миссис Фокс прекрасно держалась, и все они должны быть мужественны, а он остается ее преданным другом.

## Глава 53

*23 февраля 1934*

Элен вошла в гостиную, держа в руке сковородку, на которой все еще скворчал бекон, снятый с огня.

— Завтрак! — объявила она.

— *Komme gleich* <sup>329</sup>, — раздалось из спальни, и секунду спустя Экки появился в дверях в рубашке с закатанными рукавами, с бритвой в руке и со светло-багровым лицом, покрытым

---

<sup>329</sup> Сейчас иду (нем.).

мыльной пеной. — Сейчас заканчиваю, — сказал он по-английски и снова исчез.

Элен улыбнулась сама себе и села за стол. Любя его так, как она только могла, она находила неизъяснимое удовольствие в этой тесной и нескончаемой близости к нему — близости, к которой бедность волей-неволей принудила их. Почему людям нужны большие дома, отдельные комнаты, все эти личные тайники, которые богачи считают неотъемлемой частью жизни? Теперь она не могла этого понять. Фальшиво напевая песенку, Элен налила чай, положила себе бекона и затем принялась разбирать утреннюю почту. Элен Эмберли. Без обращения «миссис». Коммунистическая открытость и отсутствие ненужных церемоний. Она вскрыла конверт. Письмо было из Ньюкасла. Сможет ли она или Гизебрехт провести беседу о положении в Германии с молодыми товарищами? Ну, там будет видно. Мистеру Э. Гизебрехту. Из Швейцарии. Несомненно, этот ершистый почерк принадлежал Хольцману. Эkki будет приятно.

— Что-то от Хольцмана, — сказала она, когда он вошел. — Интересно, что на этот раз.

Эkki взял письмо и с методической уверенностью, которая была свойственна всем его движениям, вскрыл, затем положил его на стол рядом с тарелкой и стал нарезать бекон. Потом он сунул в рот кусок, снова взял письмо и, медленно жуя, начал читать. Его лицо приобрело внимательно-серьезное выражение; он все на свете делал тщательно и с полной отдачей. Закончив, он снова вернулся к первой странице и стал перечитывать письмо целиком.

Нетерпение наконец охватило Элен.

— Что-нибудь интересное? — спросила она. Хольцман был самым информированным из всех изгнанных журналистов; у него всегда имелось, что рассказать. — Что он там пишет?

Эkki ответил не сразу, молча читая еще несколько секунд, затем свернул письмо и убрал его к себе в карман.

— Мах в Базеле, — наконец ответил он, глядя на нее.

— Мах? — повторила она. — Тот самый Людвиг Мах?

За последние несколько месяцев имя этого самого энергичного и бесстрашного из всех немецких товарищей, занятых в распространении коммунистической пропаганды и запрещенных известий тотчас же стало для Элен знакомым и почти фантастическим, как имя какого — нибудь литературного или мифологического героя. То, что Людвиг Мах мог оказаться в Базеле, казалось также невероятным, как и то, что там мог быть Одиссей, Один или Алы Цветок<sup>330</sup>.

— Людвиг Мах из Штутгарта? — словно не веря переспросила она.

Эkki кивнул.

— Мне нужно поехать и повидать его. Завтра.

Произнесенные медленно, с пафосом и немецким акцентом, слова имели странное свойство абсолютной безапелляционности. Даже самые случайные его реплики по-английски всегда звучали так, будто он говорил слова клятвы.

— Мне придется ехать, — повторил он.

Осторожно, тщательно произнесенный, каждый слог обладал одинаковой ценностью. Три тяжелых спондея, в то время как англичанин, как бы бесповоротно он ни решился на что-то, произнес бы фразу каким-нибудь кулдыкающим анапестом: мне-придет-ся-ехать. Если бы столь громоздкое, тарабарское высказывание, как она сама дразняще назвала это было сделано другим человеком, Элен сочла бы его глупым. Но Эkki это лишь прибавляло очарования. Ей казалось почти правильным и необходимым, чтобы этот человек, которым она (совершенно не принимая в расчет любовь) восхищалась и которого уважала более всех, кого она знала, был так трогательно нелеп.

---

<sup>330</sup> *Одиссей* — легендарный герой Гомера, царь Итаки, участник осады Трои. *Один* — в скандинавской мифологии: верховный бог, бог войны. *Алы Цветок* — главный герой одноименной книги баронессы Орчи (1865–1947) — английской писательницы, помогавший во время Французской революции 1789–1794 гг. представителям благородных семей избегать якобинской расправы.

«Если бы я не могла иногда посмеиваться над ним, — объясняла она себе, — все бы пошло прахом. Обыкновенное пустое обожание. Как религия. Как одна из лэндсирских собак. Смех делает все воздушным и разнообразным».

Слушая и глядя ему в лицо, одновременно нелепо-несведующее благодаря своей чистой и искренней серьезности, и героически-непоколебимое, Элен не в первый раз чувствовала, что вот-вот взорвется от смеха, а затем опустится на колени и станет целовать ему руки.

— Мне тоже придется ехать, — громко сказала она, пародируя его манеру говорить. Вначале он подумал, что она шутит; затем, когда он понял, что она не шутила, стал серьезным и начал возражать. Она устанет — ведь ехать придется третьим классом. Расходы. Но Элен внезапно стала вести себя как ее мать — избалованная женщина, чьи капризы должны были быть удовлетворены.

— Это будет так забавно, — возбужденно кричала она. — Такое приключение! — И когда он продолжал приводить аргументы против ее поездки, она разозлилась. — Но я хочу поехать с тобой, — упрямо повторила она. — Хочу.

Хольцман встретил их на вокзале, оказавшись не высоким, худощаво-подтянутым, что было бы свойственно выдающейся личности и как представляла его себе Элен, а низеньким, коренастым и со складкой жира на затылке, а между маленькими свиными глазками сидел рыхлый, бесформенный нос, похожий на картошку. Его рука, когда она пожала ее, была покрыта холодным потом, и она почувствовала себя оскверненной; украдкой, когда он не видел, она вытерла ее о свою юбку. Но еще хуже, чем внешность и потливые руки, было поведение этого человека. Ее присутствие, как она заметила, ошеломило его.

— Я не ожидал... — начал заикаться он, когда Эkki представил ее, и его лицо на мгновение показалось распавшимся на отдельные черты от возбуждения. Затем, взяв себя в руки, он стал крайне вежливым и учтивым. Всю дорогу по платформе раздавалось *gnadige Frau, lieber Ekki, unbeschreiblich froh*<sup>331</sup>. Как будто он встречал их на сцене, подумала Элен. И вдобавок играл плохо, как второстепенный артист в третьесортной труппе. А как отвратительна была его нервозность! Человеку будто было нечего делать, кроме как подобным образом хихикать, жестикулировать и корчить рожи.

— Сплошные гримасы и ужимки, — проговорила она, едва открывая рот. Идя рядом с ним, она чувствовала себя окруженной плотным полем неприязни. Это жуткое создание за несколько минут испортило все удовольствие от путешествия. Она уже почти стала жалеть, что поехала. — Какой омерзительный человек! — тайком шепнула она Эkki, пока Хольцман экстравагантно разыгрывал роль того, кто велит носильщику аккуратней обращаться с печатной машинкой.

— Тебе так кажется? — спросил Эkki с искренним удивлением. — Я не думал... — Он запнулся и покачал головой. Едва заметная хмурая морщинка омрачила его гладкий лоб. Но секунду спустя, прервав новые заверения Хольцмана в преданности и любви, он уже спрашивал, что Мах думает о теперешней ситуации в Германии, и когда Хольцман принялся давать ответ, сосредоточенно слушал.

Наполовину рассердившись на него за бесчувственность и тупость, наполовину восхищаясь его способностью не обращать внимание на то, что ему казалось несущественным, Элен молча шла рядом с Эkki. «Мужчины необыкновенный народ, — думала она. — И все-таки я тоже хочу быть такой».

Но вместо этого она позволила себе отвлекаться на лица прохожих, жесты и смешки; она тратила свои чувства на свиные глазки и складки жира. В это время миллионы мужчин, женщин и детей мерзли и голодали, подвергались эксплуатации, работали до изнеможения, терпели скотское обращение, словно они были простой тягловой силой, винтиками и рычагами; миллионы были вынуждены жить в постоянном страхе, нищете и отчаянии, их

---

<sup>331</sup> Прекрасная леди, дорогой Эkki, несказанно рад (нем.).

подвергали погромам и избиениям, доводили до безумия ложью и запугивали с помощью угроз и зуботычин, гнали, как бесчувственное быдло, по дороге на рынок и в конечном итоге на бойню. А она здесь ненавидела Хольцмана потому, что у него потели руки, вместо того чтобы испытывать к нему уважение за его дерзновение, за то, что он осмелился пострадать ради этих несчастных миллионов. Он мог себе позволить иметь потные руки; он жил в изгнании, рискуя жизнью, подвергался гонениям за свои убеждения, был воплощением справедливости и истины. Она уже стыдилась своего чувства, но в то же время не могла не думать, что жизнь у таких людей, как Эkki, должно быть, чрезвычайно узка и ограничена, невообразимо бесцветна. Жизнь в черно-белых тонах, подумалось ей, тяжелая, ясная и четкая, как гравюра Альбрехта Дюрера<sup>332</sup>. В то время как ее была расплывчато-яркая, как у Тернера<sup>333</sup>, Моне<sup>334</sup>, дикарского Гогена. Но «ты похожа на полотно Гогена», сказал Энтони тем утром на раскаленной крыше, и здесь в прохладных сумерках, на базельском вокзале она внезапно поморщилась, словно от физической боли.

«О, как ужасно! — сказала она про себя. — Как ужасно!»

— А трудовые лагеря, — спрашивал Эkki, — что Мах говорит о настроениях в трудовых лагерях?

Выйдя с территории вокзала, они остановились.

— Может быть, начнем с того, что перетащим вещи в гостиницу? — предложил Эkki.

Но Хольцман и слышать не хотел об этом.

— Нет, нет, вы должны прийти сразу, — настоял он. — Сразу ко мне домой. Мах ждет вас там. Мах неправильно поймет вас, если произойдет хоть какая-то задержка. — Но когда Эkki согласился, он все еще непреклонно и нервозно стоял на краешке тротуара, как пловец, боящийся прыгнуть в воду. «Что случилось с этим человеком?» — нетерпеливо думала Элен, затем произнесла вслух:

— Ну, так почему мы не возьмем такси? — спросила она, забыв, что время такси давно уже прошло. Теперь ездили на трамваях или на автобусах. Но Гоген неумолимо влек ее обратно в прошлое; думать о такси казалось естественным.

Хольцман не ответил ей, но внезапно, с быстрыми, взволнованными движениями, свидетельствующими о том, что волею обстоятельств он вынужден принимать непопулярные решения, схватил Эkki за руку и, отведя его в сторону, заговорил с ним шепотом. Элен увидела удивленно-рассерженный взгляд Эkki. Его губы задержались; он, очевидно, спорил. Хольцман с улыбкой стал возражать, глядя его по плечу, словно надеясь таким образом склонить его к согласию.

В конце концов Эkki закивал головой, и, повернувшись к Элен, сказал в своей обычной тяжелой, отрывистой манере.

— Он говорит, что Мах не хочет, чтобы кто-нибудь был рядом со мной.

— Не думает же он, что я выдам его нацистам? — негодуя спросила Элен.

— Дело не в тебе, — объяснил Эkki. — Он не знает тебя. Если бы он знал, все было бы по-другому. Но так он боится. Он боится любого, кого он не знает. И его предосторожность вполне оправданна, — добавил он непрерываемо окончательным тоном, это значило, что вопрос был решен.

Сделав огромное усилие, чтобы подавить в себе недовольство и огорчение, Элен закивала головой.

— Ну хорошо, мы встретимся за обедом. Хотя зачем тогда я сюда приехала? — не

---

<sup>332</sup> *Дюрер Альбрехт* (1471–1528) — немецкий живописец и график, крупнейший представитель немецкого Возрождения.

<sup>333</sup> *Тернер Уильям* (1775–1851) — английский живописец и график, представитель романтизма.

<sup>334</sup> *Моне Клод* (1840–1926) — французский художник, один из ведущих представителей импрессионизма.



могла не добавить она. — Не могу себе представить.

— Дорогая мисс Эмберли, *chere consoeur, gnadige Frau...* <sup>335</sup> — Хольцман сыпал буржуазными и коммунистическими любезностями на всех языках, которыми владел. — *Es tut mir so leid.* Простите, мне очень жаль. — У него в руках был его адрес. В половине первого. И если бы он только мог с самыми наилучшими намерениями посоветовать ей провести утро в Базеле...

Она сунула карточку в свою сумочку, не дожидаясь, пока он закончит свои предложения, повернулась спиной к двум мужчинам и быстро пошла прочь.

— Элен! — крикнул Экки ей вслед.

Но она не обратила внимания. Второй раз он окликать не стал.

Было холодно, но небо имело чистый бледно-голубой цвет, светило солнце. И внезапно, выйдя из-за высоких домов, она очутилась на берегу Рейна. Облокотившись о гранит, она смотрела на быструю зеленую воду, молчаливо, но стремительно и целенаправленно стремящуюся мимо, словно живое существо, словно сама жизнь, как сила, что из-под земли правит миром, вечно, неумолимо плывущая. Элен смотрела, пока наконец ей не стало казаться, будто она сама плывет вместе с великой рекой, словно она растворилась в ней, став частью ее силы. «Если Трелони помрет, — ни с того ни с сего вдруг запела она. — Если Трелони помрет, в Корнуолле вмиг узнает весь народ». И она тут же почувствовала уверенность, что они победят, что революция произойдет вот-вот — словно за первым же поворотом этой реки. Поток уверенно шел в этом направлении. И какой же она была дурочкой, когда сердилась на Экки, какой самой последней тварью! Угрызения совести немного спустя уступили место восторженно нежному предошущению их примирения. «Родной мой, — скажет она ему, — прости меня, я была совсем глупая и плохая». И он обнимет ее одной рукой, а другой уберет волосы у нее со лба и нагнется, чтобы поцеловать ее...

Идя вдоль по набережной, она чувствовала, что Рейн все еще бушует внутри нее, и, облегчив душу, в которой засела обида, нанесенная ей Экки, вдруг ощутила себя легкой, как пушинка, и стала, словно парить в тонком, пьянящем ореоле счастья. Миллионы голодающих вновь превратились в какую-то абстракцию. Как все хорошо, как красиво вокруг, совсем так, как все должно быть! Даже эти полные старые женщины, даже готические дома начала девятнадцатого века были прекрасны. А чашка горячего шоколада в кафе — как невыразимо восхитительно! И старый официант, такой дружелюбный и чем-то похожий на ее отца. И вдобавок он говорил на швейцарском немецком, отчего она невольно взрывалась от смеха, как будто все, что он говорил — от замечаний о погоде до жалоб на суровость времени, — было огромной, длинной шуткой. Эти заднебные звуки, похожие на ржание! Как язык гуигнгнмов<sup>336</sup>, подумала она, продолжая провоцировать его на дальнейший разговор и получая несравненное удовольствие от этого невольного представления.

Из кафе она напрямик направилась в картинную галерею, и картинная галерея показалась ей такой же причудливо-комичной, как и немецкий официанта. Эти полотна Беклина<sup>337</sup>! Фантастические картины, которые можно было видеть лишь на почтовых открытках или обоях, в репродукциях или на стенах пансионеров в Дрездене. Русалки и тритоны, словно сфотографированные; кентавры в застывших, неуклюжих позах лошадей на

---

<sup>335</sup> Товарищ (*фр.*), дорогая фрау (*нем.*).

<sup>336</sup> В страну *гуигнгнмов* (лошадей) попадает Лемюэль Гулливер, герой романа английского писателя Джонатана Свифта (1667–1745).

<sup>337</sup> *Беклин Арнольд* (1827–1901) — швейцарский художник, представитель символизма и стиля модерн. Одна из лучших его картин — «Остров мертвых» (1880).

скачках на фотографии в газете. Созданные доброй верой и усердием, заменяющим талант, они были чрезвычайно трогательными. А вот — несказанное удовольствие — *Toteninsel*<sup>338</sup>. Надмогильные кипарисы, белые храмы, похожие на надгробия, фигуры в длиннополых халатах, одинокая лодочка, плывущая через море винного цвета... Шутка была великолепной. Элен громко рассмеялась. Несмотря ни на что она все-таки была дочерью своей матери.

В зале примитивистского искусства она задержалась на секунду перед тем, как выйти, у картины мученичества святого Эразма. Инквизитор в костюме пятнадцатого века с блеклым, розовым, как раковина, куском трески, методично вращал коленчатую рукоятку, крутил кишки жертвы, ярд за ярдом из вспоротого живота, в то время как несчастный лежал на спине, словно на диване, устроившись как можно удобнее и глядя в небо с выражением невозмутимости и безразличия. Юмор здесь был более тонким, чем в «Острове мертвых», и более откровенным, более грубым, но тем не менее великолепным в своей простоте. Она все еще улыбалась, когда выходила на улицу.

Хольцман, как оказалось, жил всего лишь в нескольких сотнях ярдов от галереи, в маленьком, но милом домике эпохи поздней готики (уж слишком хорошо для человека с потными руками!), отделенном от проезжей части небольшим сквером, посыпанным гравием. У дверей стояло большое авто. «Хольцмана?» — подумала она. Он, должно быть, богат, старая свинья! Проход от галереи занял у нее так мало времени, что четверть первого она поднималась по ступенькам. «Ничего, — говорила она себе. — Им придется мириться со мной. Я не стану ждать ни единой секунды». Мысль о том, что меньше чем через минуту она увидит Экки, заставила ее сердце учащенно забиться. «Какая я дура! Законченная дура». Но как восхитительно было быть в дураках! Она позвонила в дверь.

Хольцман лично открыл дверь, одетый в пальто, при виде которого она изумилась: он что, собирается уходить? На его лице появилось то же самое выражение, с которым он встречал ее на вокзале.

— Вы пришли слишком рано, — проговорил он с подобием улыбки, но в его глазах застыли смущение и страх. — Мы не ждали вас до половины первого.

Элен рассмеялась.

— Я сама не ожидала, — объяснила она. — Но я добралась быстрее, чем предполагала.

Она сделала движение, чтобы шагнуть через порог, но Хольцман взял ее за руку.

— Мы еще не готовы, — сказал он. Его лицо вспыхнуло, потя от смущения. — Если бы вы подошли через четверть часика, — почти взмолился он. — Всего лишь четверть часа.

— *Nur ein Viertel Stundchen*<sup>339</sup>, — снова засмеялась Элен, думая о тех расшитых подушках на диванах, где спал тайный советник после полуденной трапезы. — Но почему бы мне не подождать в доме? — Она прошмыгнула мимо него в маленькую темную прихожую, наполненную чадом и спертым воздухом. — Где Экки? — спросила она, внезапно охваченная желанием увидеть его без единой секунды задержки, чтобы сказать ему, какой она была тварью, но в то же время такой любящей, такой страстной, несмотря на свою взбалмошность и плохой характер. Но она счастлива и хочет разделить с ним свое счастье. В другом конце вестибюля была открытая дверь. Выкрикнув его имя, Элен устремилась туда.

— Стойте! — крикнул Хольцман у нее за спиной.

Но она уже перелетела через порог.

Комната, в которой она очутилась, была спальней. На узкой железной кровати, повернув голову набок и открыв рот, лежал одетый Экки. Его дыхание было медленным, редким и хрипящим. Она ни разу не видела, чтобы он спал так!

---

<sup>338</sup> Остров мертвых (нем.).

<sup>339</sup> Еще четверть часика (нем.).

— Эkki! — успела крикнуть она, когда хлопнула дверь, и другой голос присоединился к голосу Хольцмана. Вестибюль наполнился громким топотом. — Дорогой мой...

Затем внезапно какая-то рука взяла ее за плечо. Она обернулась, увидела лицо незнакомца в нескольких дюймах от нее, услышала голос Хольцмана откуда-то из глубины: «*Schnell, Willi, schnell!*»<sup>340</sup>, и незнакомец почти шепотом, сквозь сжатые зубы прошипел: «*Schmutziges Frauenzimmer*»<sup>341</sup>; затем, когда она открыла рот, чтобы закричать, то почувствовала сокрушительный удар по подбородку, заставивший ее зубы с силой сомкнуться, и словно провалилась куда-то в темноту.

Она пришла в себя на больничной койке. Какие-то крестьяне нашли ее лежащей без сознания в маленькой рощице в пяти или шести милях от города. «Скорая помощь» привезла ее в Базель. Только на следующее утро действие барбитона прошло, и она вспомнила, что случилось. Но к тому времени Эkki уже около двадцати часов был в Германии.

## Глава 54

23 февраля 1935 г.

Энтони провел утро в штаб-квартире организации, надиктовывая письма. Большею частью они касались трудностей с идеологическим настроением будущих пацифистов. «Что бы вы сделали, если бы увидели, как иностранный солдат насилует вашу сестру?» Ну, что бы он ни сделал, он, конечно, не стал бы посылать сына убивать своего троюродного брата. Нуднейшая работа, но она должна быть сделана. Он продиктовал двадцать семь писем, и наступило время идти на обед с Элен.

— У меня нечего есть, — сказала она, когда он вошел. — Я просто не в состоянии ничего готовить! Какая это страшная скука — готовить! — Ее голос зазвучал с почти злобным негодованием.

Им пришлось довольствоваться банкой осетрины и салатом. Энтони пытался завязать беседу, но его слова, казалось, отскакивали, натываясь на непроницаемую оболочку ее хмурого и унылого молчания. В конце концов он прекратил попытки говорить с ней.

— Сегодня ровно год, — наконец произнесла она.

— Год чего?

— Год назад эти сволочи в Базеле... — Она покачала головой и вновь умолкла.

Энтони ничего не ответил. Все, что бы он ни сказал, было бы неуместно, почти оскорбительно.

— Я часто жалею о том, что они не убили и меня тоже, — медленно проговорила она. — Вместо того чтобы оставить меня заживо гнить здесь, как кусок грязи на свалке мусора. Как мертвый котенок, — добавила она, поразмыслив. — Слишком много падали. — Эти слова прозвучали с сильным отвращением.

— Почему ты говоришь это? — спросил он.

— Потому что это правда. Я падаль.

— Не нужно добровольно втаптывать себя в грязь.

— Ничего не могу поделать. Я — падаль от природы.

— Да нет же, — уговаривал ее он. — Ты сама себя казнишь. Когда Эkki был с тобой...

— Тогда я не была такой.

— Ты можешь снова вернуть то, что утратила.

— Без него — нет.

Он кивнул.

---

<sup>340</sup> Быстрее, Вилли, быстрее! (нем.)

<sup>341</sup> Букв. Грязный будуар (нем.).

— Если захочешь, то сможешь. Все дело в выборе. Нужно сделать правильный выбор и правильно взяться за дело.

Элен покачала головой.

— Я должна была быть на его месте. Если б ты знал, как я ненавижу себя! — Ее лицо исказилось в гримасе. — Я кончилась. Кончилась навсегда. Я теперь — просто комок грязи. — И после паузы она продолжала: — Мне даже неинтересно дело Экки. Мне не нравятся его друзья, эти коммунисты. Они обыкновенные мелкие, грязные людишки, как и многие другие. Тупые, вульгарные, завистливые, наглые. С тем же успехом можно было бы носить шиншилловую шубу и обедать в «Клэридже»<sup>342</sup>. Может быть, единственное, что мне остается, — это продать себя какому-нибудь богачу. При условии, если мне удастся найти такого. — Она снова рассмеялась. Затем, тоном еще более горького презрения к себе, продолжала: — Сегодня всего лишь год, а я уже смертельно устала от всего этого. Терпение лопнуло, и я хочу поскорее свести все счеты. Я омерзительна.

— Да можешь ли ты обвинять целиком себя?

— Конечно же. А кого еще?

Энтони покачал головой.

— Может быть, это все из-за твоей работы?

— То есть?

— Организованная ненависть — это не так-то приятно. Не то, ради чего большинство людей действительно хотят жить.

— Экки жил ради этого. Множество людей живут ради этого.

— Каких людей? — спросил он. — Они бывают трех видов. Идеалисты с обостренным чувством самообмана. Они либо не знают, что это организованная ненависть, либо искренне верят, что цель оправдывает средства, закрывая глаза на то, что средство обуславливает цель. Экки был одним из таких. Они-то и формируют большинство. Но кроме них есть еще два более мелких класса. Во-первых, люди, которые отдают себе отчет в том, что их дело — организованная ненависть, и радуются этому. И во-вторых, те, которые имеют какие-то цели и пользуются движением как удобным средством достижения этих целей. Ты, Элен, не имеешь никаких целей и не страдаешь от самообмана. И несмотря на то, что случилось в этот день год назад, не желаешь реально уничтожить людей — даже нацистов. И вот почему шиншилла и орхидеи так тебя привлекают. Не потому что ты так уж рвешься к ним. Только лишь оттого, что другая альтернатива тебя не удовлетворяет.

Помолчали. Затем Элен встала, поставила другие тарелки и водрузила на стол вазу с фруктами.

— Какая же альтернатива меня удовлетворила бы? — спросила она, угощаясь яблоком.

— Все должно начаться, — ответил он, — с постижения тяжелого искусства любви к людям.

— Но большинство людей невыносимы.

— Они невыносимы, потому что мы их не выносим. Если бы мы их любили, они были бы неплохими.

— Ты в этом уверен?

— Абсолютно.

— И что нужно делать после этого?

— А после не будет, — ответил он. — Потому что, конечно, это задача на всю жизнь. Любой процесс перемены затягивается на всю жизнь. Каждый раз, когда ты забираешься на вершину пика, перед тобой открывается еще один пик — пик, который ты не могла видеть, когда находилась ниже. Возьми, к примеру, механизм взаимодействия разума и тела. Ты начинаешь познавать, как использовать его лучше, ты делаешь успехи, и с того положения, к которому ты приблизилась, ты открываешь для себя то, как можно достичь еще более

---

<sup>342</sup> «Клэридж» — один из самых престижных и дорогих лондонских отелей.

эффективного использования. И так далее до бесконечности. Идеал отдаляется от тебя по мере того, как ты к нему приближаешься; он кажется тебе иным, более значительным, чем казался до того, как ты сделала рывок вперед. Точно так же, как исправление отношений с людьми. Каждый шаг вперед обнаруживает необходимость делать новые шаги вперед — непредвиденные шаги по направлению к цели, которая была невидима, когда начался путь. Да, это длится всю жизнь, — повторил Энтони. — Не будет никакого после. Может быть всего лишь попытка, по мере того, какдвигающийся идет вперед, наложить то, что открыто, на личностную сферу, на сферу политики и экономики. Одно из первых открытий — то, что организованная вражда и насилие — не лучшие средства для обеспечения мира и справедливости. Все люди способны любить себе подобных. Но мы искусственно ограничили нашу любовь посредством условностей, которые есть не что иное, как ненависть и насилие. Ограничили ее внутри семей и кланов, внутри классов и наций. Твои друзья хотят удалить эти ограничения при помощи еще большей ненависти и большего насилия, то есть при помощи тех же самых средств, которые были первопричиной этих ограничений. Элен некоторое время смотрела на него, не говоря ни слова, затем покачала головой.

— Я предпочту свою шиншиллу.

— Нет, — ответил Энтони.

— Да. Лучше я буду комком грязи. Так легче. — Она встала. — Хочешь кофе? — В маленькой кухне, когда они ждали, пока закипит чайник, она вдруг принялась рассказывать ему о том молодом человеке в рекламном агентстве. Она встретила с ним пару недель назад. Такой забавный и такой интеллигентный! И он тотчас же страстно влюбился в нее. Ее лицо загорелось какой-то безрассудной, насмешливой злобой. — Голубые глаза, — говорила она, словно аукционер, перечисляя достоинства своего молодого друга, — курчавые волосы, огромные плечи, тонкие губы, прекрасный боксер-любитель — лучше, чем каким ты когда-то был, мой бедный Энтони, — присовокупила она тоном презрительного сочувствия.

— В общем, прекрасно подходит для моей постели. Иди, по крайней мере, выглядит так. Ведь никогда не знаешь, пока не попробуешь, так ведь? — Она засмеялась. — Я твердо решила попробовать сегодня ночью, — продолжала она. — Отпраздновать годовщину. Как тебе кажется, Энтони, неплохая идея? — И когда он не ответил ей, она продолжала настаивать: — Не правда ли? — Она посмотрела ему прямо в глаза, пытаясь по ним определить, что он чувствует — злобу, ревность или отвращение.

Энтони улыбался ей в ответ.

— Это не так-то просто — быть комком грязи, — сказал он. — Я бы даже сказал, что это очень непростое дело.

Румянец исчез с ее лица.

— Непростое дело, — повторила она. — Может быть, это одна из причин того, чтобы попробовать. — И после паузы, наливая воду через фильтр, спросила: — Так ты сказал, что у тебя встреча с народом сегодня вечером?

— В Бэттерси.

— Может быть, мне пойти послушать тебя. Если, конечно, — добавила она смеясь, — я не решу праздновать годовщину другим способом.

Когда они допили кофе, Энтони пошел назад к себе домой и на несколько часов сел за памфлет, который взялся написать для Перчеца. С дневной почтой пришли два письма. Одно было от Миллера с описаниями прекрасных встреч, которые он провел в Эдинбурге и Глазго. Другое, без обратного адреса, было отпечатано на машинке.

Он взял в руки второе.

«Сэр, мы наблюдаем за вами некоторое время и считаем, что вам нельзя более позволять продолжать вашу теперешнюю преступную и предательскую деятельность. Мы предупреждаем вас по-хорошему. Если вы произнесете хоть одну из ваших поганых пацифистских речей, мы поступим с вами, как вы того заслуживаете. Обращение в полицию

не принесет вам ничего хорошего. Мы рано или поздно доберемся до вас, и вы сильно пожалеете об этом. Ваша речь назначена на сегодняшний вечер в Бэттерси. Мы будем там. Поэтому мы предупреждаем вас, что, если вам дорога ваша трусливая шкура, убирайтесь подобру-поздорову. Вы не заслуживаете и этого предупреждения, но мы хотим вести себя дипломатично даже с такой собакой, как вы.

*Группа английских патриотов».*

Шутка, подумал Энтони? Нет, похоже, что это серьезно. Он улыбнулся. «Каких благородных чувств они, видимо, преисполнены! — сказал он себе. — И какого героизма! Мстят за родную Англию».

Но мечь, продолжал размышлять он, усевшись перед камином, падет на него — если он произнесет речь, то есть если не предотвратит их нападение на него. И конечно же не может быть и речи о том, чтобы отказаться от речи. Ни в коем случае не просить защиты у полиции. Ничего, кроме того, чтобы исполнять то, что он проповедовал.

Но хватит ли у него силы духа выдержать это? Допустим, они станут угрожать ему, допустим, они попытаются столкнуть его с трибуны. Удастся ли ему выстоять?

Он пытался работать над памфлетом, но личные вопросы неустанно преследовали его, отесняя в сторону далекие и неактуальные проблемы колоний и престижа, рынков, инвестиций, миграций. У него перед глазами стояли жуткие, искаженные от гнева человеческие лица, ему слышались резкие оскорбления, виделись руки, то поднимающиеся, то опускающиеся. Сможет ли он не дрогнуть? И боль от ударов — острая, затмевающая все прочие чувства, на лице и тяжелая, ноющая по всему телу — как много и как долго он сможет терпеть? Если бы только Миллер был здесь и помог ему советом, ободрил бы его! Но Миллер в Глазго.

Неуверенность в себе росла в нем. Стоять там и дожидаться, пока тебя ударят и столкнут, и не иметь возможности ни дать сдачи, ни уступить — он никогда не будет способен на подобное.

— У меня не хватит смелости, — все повторял он, охваченный паникой. Вспомнив то, как он вел себя в Тапатлане, он покраснел от стыда. А на этот раз позор будет всенародным. Все будут знать, и Элен в том числе.

И на этот раз, продолжал думать он, на этот раз не сработает эффект внезапности. Они сделали ему предупреждение — «такой собаке, как вы». И кроме того, он целый месяц тренировался обращаться с такой публикой, как эта. Сцена была отрепетирована. Он наизусть знал каждую реплику и жест. Но когда наступал его черед сыграть, когда боль была уже не воображаемой, а настоящей, вспомнит ли он свою роль? Где гарантия, что он просто-напросто не свалится с этой трибуны? На виду у Элен — в тот момент, когда Элен, колеблясь, стояла на пороге своей жизни, и, может быть, также и его. Вдобавок, если он упадет, он опозорит себя как нельзя более сильно. Упасть значит изменить своим убеждениям, уничтожить свою философию, предать друзей. «Ну почему ты такой дурак? — стал спрашивать его тонкий голосок, — почему ты вдруг взвалил на себя всякие убеждения и философии? Почему не вернуться к тому, что тебя заставляет делать природа — взирать на все из своей ложи и делать комментарии? Что это все значит, в конце концов? И если это хоть что-то значит, что ты можешь сделать? Почему нельзя спокойно покориться неизбежности и между тем продолжать делать работу, которую умеешь делать лучше всего?»

Голос говорил с ним из какого-то томного облака. В течение минуты он был всего лишь мертвым, обмякшим телом, жутко изнуренным и не желающим ничего делать. «Позвони им, — продолжал голос. — Скажи, что заболел гриппом. Что должен посидеть дома несколько дней. Затем сделай вид, что врач посоветовал тебе поехать на юг Франции...»

Внезапно он расхохотался. Из мрачного, коварно-настойчивого голос превратился в нелепый. Доведенная до такой высоты, выраженная так невинно, низость была почти

смешной.

— Единство, — прошептал он сценическим шепотом.

Он был предан им, как рука предана телу. Предан своим друзьям, предан даже тем, кто называл себя его врагами. Он ничего не мог сделать, кроме как воздействовать на них всех, как врагов, так и друзей, — ради добра, если его действия были добром, и на это, если они были злом. Единство, повторил он. Единство.

Прежде всего физическое единство. Единство даже в различии, даже в разделении. Отдельные фрагменты, но повсюду одинаковые. Везде одни и те же сочетания предельных источников энергии. На поверхности солнца то же, что и на теле с солнечным загаром; в ароматном соцветии будлейи то же, что и в голубом океане и в облаках на горизонте; в пистолете пьяного мексиканца то же, что и в черной, спекшейся крови на изуродованном теле среди скал, свежая кровь алыми каплями забрызгала обнаженное тело Элен и те же капли источают смрад, исходя из гниющего колена Марка.

Одинаковые формы и одинаковая связь между ними. У него в мозгу вертелась эта мысль и наряду с ней мысль о жизни, непрестанно бьющей в этих формах, отбирая и сортируя их по видам. Жизнь строит сложные формы из более простых и все более сложные, доходя наконец до живых тканей.

Сперматозоид проникает в яйцеклетку, клетка все делится и делится, чтобы наконец стать таким-то человеком, крысой или лошадью. Гипофиз коровы заставляет лягушек размножаться вне сезона. Моча беременной женщины приводит мышей в возбуждение. Щитовидная железа овцы превращает аксолотля<sup>343</sup> из земноводной гусеницы в саламандру, живущую на суше, полоумного карлика во вполне нормального, умного человека. Разные формы животной жизни взаимозаменяемы. Такая же связь существует между животными и растениями, растениями и неживым миром. Жизненные формы в виде семян, листьев и корней сотворены из более простых форм, существующих в воздухе и земле, а их используют и трансформируют насекомые, пресмыкающиеся, млекопитающиеся, рыбы.

Единство жизни. Единство, построенное на поглощении одной жизни другой. Жизнь и любое существо — одно. Иначе ни одно живое существо не смогло бы произойти из другой формы неживого материала вокруг себя. Единство даже посредством разрушения, даже несмотря на разделение. Каждый организм уникален. Уникален и все же связан со всеми другими организмами одинаковостью строения; уникален несмотря на внешнюю неотличимость.

И сознание — сознание также уникально, но уникально выше субстрата умственной тождественности. Тождественности и взаимозаменяемости любви, доверия, смелости. Бесстрашная преданность превращает лунатика в здорового человека, злобного дикаря в друга, укрощает дикое животное. Умственный код любви может переводиться от одного индивидуума к другому и при этом сохранять все свои качества, так же, как физический код гормона может со всей эффективностью переводиться из одного тела в другое.

И не только любовь, но и ненависть также; не только доверие, но и подозрительность; не только доброта, щедрость, мужество, но и злоба, жадность и трусость.

Эмоции различны, но тот факт, что они могут быть взаимозаменяемыми, могут переходить из сознания в сознание и сохранять всю прежнюю страсть, является наглядным подтверждением, что существует фундаментальное умственное единство.

Реальность единства все же меньше, чем столь же весомая реальность уникальности. Нет нужды раздумывать над фактом уникальности — он очевиден. Очевиден дуализм единства и различий; только иногда, и то чисто умозрительно, только как результат логического хода мысли можно сознать неотрывность своего разума от разума других людей, других жизней и всего живого. Случайно в размышлении мы интуитивно наталкиваемся на единство, или эта интуиция работает наугад, шаг за шагом осваивая новые

---

<sup>343</sup> *Аксолотль* — способная к размножению личиночная форма земноводного амбистомы.

области.

Одно, одно, одно, повторял он, но в то же время разное, единое и все же непохожее.

Зло есть преобладание различия; добро, наоборот, служит воссоединению с другими живыми существами. Гордыня, ненависть, гнев — яркие признаки зла; и они тем сильнее оттого, что они усиливают данную реальность разобщенности, оттого, что они настаивают на разделении и уникальности, оттого, что они не считаются с другими. Похоть и алчность также настаивают на индивидуальности, что не влечет за собой неприятного ощущения соседства с другими, по вине которых разрушается единство. Принцип похоти таков: «Я должен получать удовольствие», но не «Ты должна испытывать боль». Алчность в своем обычном качестве есть просто требование моего насыщения, а не твоего воздержания от насыщения. Они не правы в том, что делают упор на отдельную личность, но менее не правы, чем гордыня, ненависть или гнев, потому что их эгоизм не сопровождается ущемлением других.

Но зачем вообще нужны различия? Почему обязательно, даже при самой крепкой любви и, по другую чашу весов, даже в том, что есть или кажется ниже пределов добра и зла, зло различий должно существовать? Различий даже между двумя святыми или между двумя самыми примитивными жизненными формами. Один человек не может питаться другим. Лучшие должны мыслить, наслаждаться и страдать, должны осязать, зреть, вдыхать аромат, слушать сладкозвучия, вкушать амброзии в изоляции. Добрый человек всего-навсего чуть менее замкнутая вселенная, чем дурной, но все же замкнутая, как замкнут атом.

И конечно же, если существует жизнь — жизнь в том виде, какой мы ее знаем, — бытие должно существовать в виде замкнутых вселенных. Такие умы, как наш, не могут воспринимать неопределенное единство вообще.

Неизбежный парадокс о том, что мы всегда желаем, чтобы п всегда равнялось единице, но на деле оно всегда равняется нулю.

Различия, неодинаковость — вот условия нашего существования. Условия, при которых мы обладаем жизнью и сознанием, познаем добро и зло и имеем власть выбирать между ними, распознаем истину, соприкасаемся с красотой. Но различие есть зло. Тогда зло есть условие жизни, условие познания добра и красоты. То, что требуется, и то, что люди в конечном итоге требуют от себя сами, есть реализация союза между существами, которые обратились бы в ничто, не будь они различны; познание доброты созданиями, которые не существовали бы, не будь они злыми. Невозможно — но ничуть не менее необходимо.

«Рожден в одном и принужден к другому»<sup>344</sup>.

Он сам, продолжал думать Энтони, он сам выбрал позицию смотреть на весь процесс как на шутку — либо непреднамеренную, либо умышленную. Да, выбрал. Ведь это был акт его воли. Если бы все это было бессмыслицей или шуткой, то он обладал бы свободой читать свои книги и упражнять свои таланты ради саркастического комментария; не было причины, по которой он не стал бы спать с любой подходящей женщиной, которая согласилась бы с ним переспать. Если бы это не было бессмыслицей, если бы у этого было какое-то значение, то он не мог бы более жить безответственно. У него были бы обязанности по отношению к себе, к другим и к самой природе вещей. Обязанности, выполнять которые не давали постельные связи, беспорядочное чтение и вошедшая в привычку отстраненная ирония. Он предпочел думать, что это была бессмыслица — вот чем все это казалось в течение свыше двадцати лет — бессмыслицей, несмотря на случайные неудобные откровения, что смысл все-таки есть, и смысл именно в том, что он предпочел смотреть на все как на бессмыслицу, на дежурную шутку. И вот наконец все прояснилось, теперь благодаря какому-то непосредственному опыту он знал, что смысл был парадоксален, заключаясь в том факте, что единство стояло в начале и в конце, что в это время условием жизни и существования всего было несходство, которое равнялось злу. Да, смысл, настаивал он, в том, что человек требует

---

<sup>344</sup> «Рожден в одном и принужден к другому...» — цитата из Шекспира.



от себя достижения невозможного. Смысл тот, что даже самой доброй волей в мире разделенная, злая вселенная человека или любой другой жизненной формы не станет одним с другими существами или совокупностью живых существ. Даже ради высочайшего блага эта борьба бесконечна, ибо никогда в природе при современном положении вещей то, что закрыто, не станет полностью открытым; добро никогда полностью не освободится от зла. Это проба, дело опыта — поиск, причем сложный, длящийся практически всю жизнь, а зачастую и несколько жизней. Жизней, проведенных в попытке открыть более и еще более закрытую вселенную, которая постоянно хочет захлопнуться вновь в тот момент, когда усилия ослаблены. Проведенных в преодолении разделяющих страстей — ненависти, злобы и гордыни. Проведенных в жажде постоянного самовыражения. Проведенных в постоянных усилиях воплотить в жизнь единство с другими жизнями и формами существования. Для того чтобы испытать любовь и сострадание. Испытать это на другом уровне через медитацию, в свете прямой интуиции. Единство за пределами суестьи несходств и разделений. Доброту несмотря на возможность зла. Но всегда факт разделения присутствует, всегда зло остается одним из условий жизни. В начальном давлении не должно быть ослабления. Но даже для самых лучших из нас цель чрезвычайно далека.

Кроме того, существуют любовь и сострадание. Постоянно сталкивающиеся с препятствиями. Но — Боже! — пускай они останутся неутомимыми, неумолимыми в преодолении любого препятствия, душевного нерадения, безвкусицы, интеллектуального презрения. А извне — ненависть и подозрение со стороны другого. Приязнь, сочувствие и также вместе с тем этот созерцательный подход, это усилие связать единство живых существ и бытия с интеллектом и, в конце концов, может быть, интуитивно прийти к всецелому пониманию. От одного аргумента к другому, шаг за шагом к цели, где нет более рассуждений, а только опыт, только первичное знание, как у цвета, благовония и музыкального звука. Шаг за шагом к познанию того, как не испытывать больше различий, но тесно воссоединиться с другими живыми существами, со всей жизнью. Соединиться в мире. В мире, повторял он, в мире. Мир в глубине сознания. Тот же самый мир для всех, мир между одним разумом и другим. С виду разные волны, водовороты, брызги, но посмотри чуть глубже — и там бесконечная, одинаковая гордыня моря, становящаяся чем глубже, тем спокойнее, пока наконец не обретающая полный покой. Мрачная тишина в глухих глубинах. Мрачная тишина, одинаковая для всех, кто сможет достичь ее. Тишина, которая по странному парадоксу стала составом и источником бури на поверхности. Порожденные тишиной, волны сами разрушают ее, но и это необходимо, поскольку без бури на поверхности не будет жизни, познания благодати, не будет старания победить воинствующее зло, не будет открытия тишины на дне, понимания того, что состав зла тот же, что и состав добра.

Зло и разделение бушуют, а в мире они образуют единство. Единство с другими жизнями. Единство со всем живущим. Ибо в основе всего живущего, под бессчетными, одинаковыми и в то же время разными моделями, под притяжениями и отталкиваниями лежит мир. Тот самый мир, который составляет основу непримиримому рассудку. Мрачный, бездонно глубокий мир. Мир, свободный от гордыни, ненависти и гнева, от вожделения и презрения, от разделяющей воинственности. Мир через освобождение, ибо мир есть достигнутая свобода. Свобода и в то же время истина. Истина единства реально прожитая. Мир в глубинах, на дне бури, слишком далеко от бьющихся волн, бешено летящих брызг. Мир в этой глубокой подводной ночи, мир в этом молчании, этой безмолвной пустоте, где нет более времени, нет более образов, нет более слов. Нет ничего, кроме переживания мира; мира в виде черной дыры за пределами всей жизни, и все-таки жизнь более интенсивная, несмотря на всю свою распыленность, на отсутствие цели и желания, более богатая и обладающая более высоким качеством, чем жизнь обычная. Мир за пределами мира, сконцентрированный, уплотненный и затем открывающийся в неизведанное, бескрайнее пространство. Мир на кончике сужающегося конуса концентрации и уничтожения, конуса, чья основа находится на мутной, вздыбленной поверхности жизни, а вершина в глубинном

мраке. И в этой тьме вершина одного конуса соприкасается с вершиной другого; с одной-единственной, фокусной точки мир расширяется и расширяется по направлению к основе неизмеримо далекой и настолько широкой, что этот круг является основой и источником для всей жизни, всего сущего на земле. Конус, повернутый днищем к прерывистому и скользкому свету поверхности; конус, развернутый острием чуть вниз, туда, где сгущается тьма; поэтому в другом конусе, расширяющемся и расширяющемся сквозь тьму по направлению к... да! к какому-то другому свету, падающему уверенно и прямо и такому же тихому, как и тьма, из которой он возникает. Конус, слившийся с другим, стоящим прямо. Проход из широкого штормового света в тихое жерло тьмы, а оттуда сквозь расширяющуюся мглу снова к свету. От шторма к затишью и снова сквозь еще более глубокий покой к конечной цели, к последнему свету, который есть источник и состав всего сущего; источник тьмы, пустоты, донной ночи живого покоя; источник даже волн и неистовых брызг — теперь забытых. Ибо теперь есть только одна тьма, расширяющаяся и углубляющаяся, углубляющаяся и стремящаяся к свету; есть только один последний покой, сознание свободы от разделения; это ослепительное свечение...

Часы пробили семь. Медленно и осторожно он позволил себе выскользнуть из света, обратно сквозь тьму к хаотичным лучам и теням каждодневного существования. Наконец он поднялся и прошел на кухню, чтобы приготовить себе какую-то еду. Времени оставалось немного; встреча была назначена на восемь, а дорога к залу займет у него добрых полчаса. Он поставил варить пару яиц и тем временем съел бутерброд с сыром. Удрученно и с кротостью он, бывший совершенно в ясном сознании, подумал о том, что ждало его впереди. Что бы ни случилось, он знал теперь, что все будет хорошо.